

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

5

НОВЫЙ МИР

2002

5

2002

# **НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ**

**В 2002 И В 2003 ГОДАХ  
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Гимназист (повесть);  
АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);  
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);  
СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. «Ты человечество презрел» (об одном классическом сюжете);  
МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;  
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);  
ДМИТРИЙ БЫКОВ. Орфография (роман);  
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Присяга (рассказ);  
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);  
АНДРЕЙ ВОЛОС. Новая повесть;  
ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ. Друг Утят (сценарий);  
РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);  
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;  
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;  
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);  
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;  
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);  
ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);  
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);  
ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);  
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новые рассказы;  
ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);  
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);  
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);  
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;  
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);  
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. Перед вторым пришествием (роман);

(См. на обороте)

**ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;**  
**ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Горизонт событий** (роман);  
**ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Третье дыхание** (повесть);  
**ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;**  
**ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Избранник** (роман); **Призрак среди руин** (повествование в рассказах);  
**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек** (документальное повествование);  
**РОМАН СЕНЧИН. Нубук** (повесть);  
**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период** (роман);  
**АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. Игры на свежем воздухе** (рассказы);  
**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания;**  
**ИРИНА СУРАТ. Пушкин и Мандельштам** (параллели);  
**МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. «Отдай мое»** (повесть);  
**АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Прощание с гармонистом** (роман);  
**ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч** (повесть);  
**АНТОН УТКИН. Новый роман;**  
**МАКСИМ ШАПИР. Какого «Онегина» мы читаем;**  
**СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Ура!** (повесть);  
**ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ. Жизнь окнами в сад** (очерк);  
**ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Питомник** (рассказы);  
**ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Ангел мертвого озера** (роман);

а также стихи **МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, СВЕТЛАНЫ КЕКОВОЙ, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ЛАРИСЫ МИЛЛЕР, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, МИХАИЛА ПОЗДНЯЕВА, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА;** статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА НОВИКОВА, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ИРИНЫ СУРАТ, ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО** и других авторов.

# NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 2002 году: \$ 10,

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 120.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.  
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,  
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо  
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2002». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на второе полугодие 2002 года — 330 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. Пушкинская, «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Паблिकейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Уважаемые зарубежные подписчики!*

*Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».*

*Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.*

*Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).*

### СОДЕРЖАНИЕ

ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Прицел, стихи	7
ВЛАДИМИР МАКАНИН — Неадекватен. За кого проголосует маленький человек. Из книги «Высокая-высокая луна»	13
ТАТЬЯНА ПОЛЕТАЕВА — Скошенная трава, стихи	52
БОРИС ЕКИМОВ — На хуторе, рассказы	55
БАХЫТ КЕНЖЕЕВ — Лазурная польня, стихи	93
ИГОРЬ БУЛКАТЫ — Самтредиа, маленькая повесть	98
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Yesterday, стихи	119

#### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

МИХАИЛ АРДОВ — Книга о Шостаковиче	124
ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ — Государственная тайна пенсионерки	141

#### ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — Саундтреки	152
-----------------------------------	-----

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АРМЕЙСКАЯ ТРИЛОГИЯ ОЛЕГА ПАВЛОВА — Кирилл Анкудинов. Манихейский вариант; Евгений Ермолин. Инстанция взгляда	166
--	-----

#### *Борьба за стиль*

ГЕОРГИЙ ЦИПЛАКОВ — Свобода стиха и свободный стих	177
---	-----

#### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Анна Фрумкина. «Мы так хохотали»	185
Владимир Губайловский. Жизнь и речь	191
Василий Костырко. Новейший опыт инициации	194
Михаил Эдельштейн. Между методом и любовью	195

---

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА	199
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО	202
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	207
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	212

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	217
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	219
SUMMARY	240

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,  
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА  
АНДРЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА БИТОВА  
С 65-ЛЕТИЕМ!**

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ  
АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА ДМИТРИЕВА,  
ЛЕОНИДА ГЕНРИХОВИЧА ЗОРИНА,  
ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ СЛАВНИКОВУ,  
СТАВШИХ ЛАУРЕАТАМИ  
ПЯТОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ  
ИМЕНИ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА,  
УЧРЕЖДЕННОЙ АКАДЕМИЕЙ РУССКОЙ СОВРЕМЕННОЙ  
СЛОВЕСНОСТИ (АРС'С) И РОСБАНКОМ!**

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА БОРОДИНА,  
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПАНАРИНА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА!**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

---

---

## ЕВГЕНИЙ РЕЙН



### ПРИЦЕЛ



Голые ветки орешника перед моим окном,  
и земля уже схвачена первым снежком.  
Шапку надвинь на брови, руки в карманах согрей,  
если зима наступает, то хорошо бы скорей.  
Пусть поскорее стемнеет и станет простор светлей,  
пусть ветер и снег смешаются где-то среди полей.  
Пусть фонарь по дороге перечеркнет метель,  
пусть она ходит кругами, как праздничная карусель.  
Звезды на низком небе зазубрены и легки.  
Достань из карманов теплые, тяжелые кулаки.  
Подкинь их вверх и подумай, что дожил ты до зимы,  
и все, что вокруг темнеет, белеет, на память себе возьми.  
И свет жилья человеческий, и легкий узор под ним...  
Когда все это минует, ты будешь совсем другим.



Первый снег — нелепая погода,  
точно позабытая тропа,  
по которой топала пехота,  
а не городская шантрапа.

Он еще сгустится и растает,  
ибо так положено вовек,  
потому-то ничего не знает  
снегом занесенный человек.

Тот, кто видел все четыре части, —  
видел все и ко всему привык,  
потому-то снежное ненастье  
падает ему за воротник.

Не уйти, не убежать от снега,  
потому что этот снег — судьба,  
может быть, прибавить слово «эго»...  
«Эго-снег» — час Страшного суда.

---

Рейн Евгений Борисович родился в Ленинграде в 1935 году. Окончил там Технологический институт. Знал Анну Ахматову; Иосиф Бродский считал Рейна своим наставником. Автор нескольких книг лирики; эссеист. Живет в Москве. Лауреат Государственной премии России. Постоянный автор «Нового мира».



## Первое декабря

Подслеповатая, дурная  
 Угомонилась ночь Москвы,  
 И я один под утро знаю,  
 Что примешал к своей крови,  
 Что это был игорный случай,  
 Подсказка дьявольского дна,  
 И больше, как себя ни мучай,  
 Мне не покажется она.  
 Под Этной закипала лава,  
 Масон стирал запретный знак,  
 По мановенью автоклава  
 Катился в пропасть «кадиллак».  
 Мне назначалось в долю к бритве —  
 Почти что лезвию «жиллетт» —  
 Ошибку срезать в темном титре,  
 Пожрать себя, как самоед.  
 Свести Денницу и Мессию  
 Хотя б словечком показным  
 И наглой шуткой под ракию  
 Подвинуть толковище им.  
 Быть может, вонью самогона  
 Здесь отыгрался «хеппи энд»,  
 И примиренные знамена  
 Склонились и сдались в момент.  
 И на всезнающем экране  
 Дирк Богарт и Сарданапал,  
 К ведру припавшие заране,  
 Пустили петуха в финал.  
 Но я, усталый до склероза,  
 Не различал подземный гул  
 И жадной смеси купороса  
 Слезою детской не сглотнул.  
 Я горько спал, не понимая,  
 Что через девять тысяч дней,  
 Другого случая не зная,  
 Мы справим этот юбилей.

\* \*  
 \*

В темноте новогодья  
 под обильный снежок,  
 натянувши поводья,  
 запад прет на восток.

Под чужим зодиаком  
 все смешалось в горсти.  
 Город воском закапал.  
 Подходи — отпусти.

Не бывает начала,  
 далеко до конца.  
 Пусть паролем звучала  
 оговорка Творца.

Подведенные брови,  
перекрашенный рот,  
след запекшейся крови  
меж долгот и широт,

долгий путь намечает  
нам сегодня между.  
То, что он замечает,  
никому не скажу.

Это правда обмана  
или тайна зимы,  
но сейчас еще рано  
от сумы и тюрьмы

зарекаться под снегом,  
биться лбом у ворот  
вместе с вихрем и веком,  
забежавшим вперед.

\* \*  
\*

Сражение сизых и алых  
небес на исходе зимы.  
И мы, словно трубки запалов,  
открыты и поднесены.  
Кентавры мои, полукони,  
война зажигает шнуры,  
на зимнем пустом полигоне  
смердит от ее кожуры.  
Но перистым сомкнутым строем  
уж мы ничего не простим.  
О алые, что же мы стоим?  
О сизые, что мы стоим?  
Сейчас пробежит, огневая,  
начальное это тепло,  
и первый раскроется веер,  
где город, река и стекло,  
запалы, поля, полукони,  
то кругом, то снова в одно.  
О тот, кто нас держит в ладони,  
все кончено и решено!  
Когда мы очнемся внезапно  
под небом, утратившим пыл,  
ни мука, ни жалость, ни жажда,  
а только бы ты не забыл,  
а только свидание это  
в обратном своем полусне,  
мешая две жизни, два цвета,  
пройдет по немой полосе.

## Памяти Б. Р.

Голландской ночью бестелесной,  
 за баром открывая бар,  
 у входа в новый, бестелесный,  
 но привлекательный угар,  
 я поглядел — ты был усталым  
 и, быстро выдернув банкнот,  
 решил отгородиться малым  
 от всех наитий и забот,  
 от будущего в светлом мраке,  
 от настоящего в пивной,  
 и слепо огненные знаки  
 ты принимал за южный зной.  
 И, смачивая галстук водкой,  
 поэт трагических забав  
 из полупамяти короткой  
 доказывал, что я не прав.  
 И вот в поспешности немилой,  
 заглядывая в окоем,  
 я плачу над твоей могилой  
 меж полной рифмой и рублем.

С\*\*\*

Вот поверну настройку и снова тебя услышу —  
 южное «р» и широкое море гласных.  
 Но не того, что со мною гулял по Парижу,  
 а молодого, что праздновал всякий праздник.

В свитере черном, в обуженных старых брюках,  
 с томиком польского Хемингуэя под мышкой,  
 голодноватого, поднаторевшего в трюках  
 и различавшего разницу между тюрьмой и вышкой.

Но иссякают даже волны эфира,  
 и вырастают дети, и старятся жены.  
 Только в закрытом сердце можно спасти полмира,  
 только в ночном припадке век стоит протяженный.

## Прицел

Я хотел бы сидеть в приличной шашлычной  
 как-нибудь в апреле на финском взморье  
 над бутылкой забытой уже «Столичной»  
 и высматривать вас, находясь в дозоре,  
 чтобы в дюнах зюйд-вест шевелил песочек  
 и «Цветущий май» радиола крутила,  
 чтобы местный стилига давил фасончик,  
 заходил бы к даме с флангов и тыла.  
 Вы вошли бы и сели ко мне за столик,  
 молодые, такие, как в шестидесятом.  
 Я сказал бы: «Привет вам, Дима и Толик!  
 Где Иосиф? Хлопочет опять с детсадом?»

Сочиняет с картинками книжку для Насти  
о Юсуфе, Гурзуфе и Черном море?»  
Вот и он. И пускай за окном ненастье,  
нам-то что, если все мы сегодня в сборе.  
Вы оттуда явились. О, как бледны вы!  
Поскорее согрейтесь и закусите.  
Может, это свет такой от залива?  
Ничего, товарищи, не тужите.  
Я не знаю, откуда вы долетели,  
дошагали, доехали, добежали,  
только руки ваши заолодели,  
там, где были вы, плохо вас утешали.  
Да и мне приходилось довольно круто,  
только я, дорогие, другое дело —  
вас отвесили «нетто», меня вот — «брутто»,  
и короста от времени затвердела.  
Там, где к шведской премии вьется тропка,  
там и глупой нежитью веет гнусно.  
Наша жизнь — не только переподготовка,  
но еще и дней череда, и это — грустно.  
И немеет язык, и сухо в гортани,  
и спасаешься лишь молоком матерним.  
Я предсказывал все это вам заране,  
но уж слишком хотелось вам роз и терний.  
Возражаете? Что ж, я вас понимаю —  
то да се, а главное, годы минут,  
эту смятую рукопись вынимаю,  
только пусть сациви нам отодвинут.  
Вот она — напечатана больше тыщи  
в антологиях, сборниках, на листовках,  
так раскройте еще раз свои глазищи,  
а потом разбегайтесь в своих кроссовках.  
Вот и рифмы: «самоубийство — витийство»,  
лишь потом поставлено «византийство».  
Уж как вы ни говорили цветисто,  
получилось все-таки неказисто.  
Но куда уж мне заколачивать уши,  
да и дух-то ныне совсем свободный.  
Так давайте крикнем: «Спасите души»,  
наши души от вашей муры загробной.  
Возвращайтесь, Дима и Ося, тоже,  
мы вас встретим с Толей, хоть мы чужие.  
Неужели все это было, Боже,  
в Комарово ездили и дружили  
и питались чаем в известной «будке»,  
за грибами шастали и за водкой.  
Кто виновен — давно умывает руки,  
это он и стреляет прямой наводкой.  
Вот оно — проклятое это око,  
что примкнуло к снайперскому прицелу,  
и теперь от запада до востока  
все направо пристреляно и налево.  
И когда ты маешься в паутине,  
и когда совмещается перекрестье,  
получает за голову по полтине  
этот снайпер, чье имя мне неизвестно.

Нажимает курок — и давай в «Науке»  
издавай прованские переводы,  
нажимает снова — и в Милуоки  
едешь в старом «форде», как царь природы.  
А потом он долго в пространство целит  
и сбивает шапочку академий  
и затем затвором бряцает перед  
самым точным из снайперских нападений.  
И лежу я, уткнувшись щекою в лужу  
на Воровского, около ЦэдээЛа —  
и тогда кладет он в заглашник душу  
и цедит сквозь зубы: «Вот это дело».  
Ну и ладно. Хоть там наконец сойдемся —  
на пустой платформе чужого света —  
и отстукаем в бывший мирок содомский  
телеграмму имени Ленсовета.

22 октября 1984.



---

---

## ВЛАДИМИР МАКАНИН



### НЕАДЕКВАТЕН

Человек думает и рассказывает  
о красоте. В конце-то концов!..

*П. Валери.*

**(О)** дежда его вечерами проста и всегдашняя — темно-серый пиджак, темные брюки. Также темная беретка, придающая ему знаковую интеллигентность: он лишь слегка надвигает беретку на высокий лоб. Туфли как туфли, неприметные. В целом же — все для ночи, невидный, неброский. (Но в этом нет умысла. Так получилось. Другой одежки просто нет.) В лунную ночь старикан Алабин собирается бродить по дачному поселку. (А лучше б спал!) Движущийся по дороге, он в профиль кажется вырезанным из черной бумаги.

Светлое пятно в нем тоже есть: в разлете пиджака белая рубашка. С старомодными уголками воротника — пристегнутыми на пуговички. Рубашкой он гордится, чистая, белая, — у него их две! Они надежно сменяют друг друга. Стирает их он сам. Одинокий.

Сняв с плечиков, надел рубашку. Брюки. Пиджачок...

— Мой вечерний костюм, а? — говорит старикан Алабин сам себе, по привычке всех одиноких. (И многих неодиноких.)

Он как бы посмеивается, однако же вдруг очень уважительно проводит по плечам и полам пиджака влажной тряпицей. Моль — известный недруг одиноких стариканов.

Пиджачок... теперь беретка... Он готов!

В окно (погасил свет) ударила сиянием ночная луна — старику кажется, что она его поторапливает.

— Да, да! — говорит он ей по-приятельски. — Уже иду.

Натягивая еще раз, поудачнее (да, да, покрасивше!) беретку на лоб, старикан выходит из своей скромной дачной пристройки в полную тьму.

Дачный поселок спит.

Нет-нет и подымая к небу глаза (луна вдруг спряталась), старик вышел на дорогу и поторапливается. Страдающий бессонницей идет, спешит на свидание к луне, почему бы и нет?.. Но идет он не к ней.

— Боже мой! — вздохнула во сне молодая женщина. Прозвучало лишь невнятное, утонувшее в подушке «бы-жи-мый...».

А законная луна, сбросив налипшую тучку, вдруг заново просияла.

Старикан Алабин, весь на свету, тотчас напрягся. На свету (если это внезапно) человеку хочется съежиться. Человеку некомфортно. Человеку даже хочется себя пожалеть. (Вроде как до света, человек в темноте толь-

---

Маканин Владимир Семенович родился в 1937 году в Орске Оренбургской обл. Окончил МГУ. Живет в Москве. Постоянный автор «Нового мира».

Из книги «Высокая-высокая луна». (См. также: «Однодневная война» — «Новый мир», 2001, № 10.)

ко и делал, что жил полнокровной и правильной жизнью.) Свет с человека спрашивает.

Но заодно лунный свет дал увидеть себя со стороны: ночь... чужая темная спальня (чужая к тому же дача!), а он, пробравшийся, сидит рядом со спящей молодой женщиной... правда, на краешке постели...

Нет, нет, ничуть не бывало. Я не напрягся, когда луна засияла и меня в чужой спальне залило бледным светом, — я лишь на миг задержал дыхание. Я крепкий старик.

И я вовсе не собирался себя жалеть.

— Игорь? — позвала-спросила она.

Никак я не мог определить, спит ли она. (Надолго задержал дыхание.) Когда у женщины в постели голос сонлив и гундос, ясно, что она не спит. Но голос был неотличимо ровный.

Я еще выждал. Она могла протянуть сонную руку и тихо привлечь меня к себе. (Бывает же и такое!) Или, скажем, в полусне погладить... Тогда бы ясно, что спит. По мягкости ее руки. По мягкости ее ночного желания. Я ведь сидел совсем рядом.

Однако же вместо того, чтобы нечаянно и с ленивой лаской ко мне потянуться, она окликнула мужа по имени.

Я на случай уже отсел к ее ногам. Подальше. Вне отсвета луны.

И затаился.

— Игорюнчик! — звала она, обращаясь к отсутствующему мужу, словно бы он был близко, в другой комнате.

Она так ласково взывала к нему:

— Принеси мне анальгин. И воды немного...

Могло ли быть так, что муж и впрямь вернулся? Рановато ему. (Шума машины не было, это точно.) Но иногда обстоятельства против нас. Машина машиной, а он мог вдруг вернуться электричкой... и прийти пешком!

Мне стал слышаться шорох шагов.

Настрой был сбит. (Я уже уходил мягким-мягким шагом. Ни шумка.) Через сад и обойти дом — удобнее. У них здесь сплошь яблони и сливы. Ее звали Анна, какое имя! Мог бы звать ее *Аня. Аня. Аня.* (Я уже выбрался через калитку на улицу. Тихо.)

Был ли там, в доме, объявившийся муж Игорюнчик или, скорее всего, его не было? Звала ли Аня его въевь или со сна? — Я поразмышлял так и этак. Окна темны. Окна нигде не зажглись. Но муж, разумеется, и не включая света мог оказаться там. И отозваться. И принести ей сейчас анальгин.

Не зная, на что решиться (колеблясь), я остался стоять напротив их дома. Так и торчал на дороге, залитый насмешливым лунным светом. Я мог стоять здесь хоть до утра. Дорога — она ничья. Можно стоять, можно сесть на траву у обочины. Трава тоже ничья. И мне стало вдруг замечательно! Я все еще вглядывался в завораживающие темные окна.

Смотрел и на луну. Я даже высказал ей несколько слов упрека... Мол, как же так. Пообещать и не помочь — это нехорошо. Я усмехнулся. Это нехорошо и нечестно. Поманить — а потом оставить человека среди ночи ни с чем.

— Как же так, подруга! — повторил я со смешком (и легко вздохнул), не отрывая глаз от светила.

Вернулся в мой Осьмушник — таково прозвище этой пристройки дачного дома. (Раньше звали функционально: слесарка.) Хозяева — Крутовы, от одной фамилии уже веселеешь. Вдруг купили эту дачу, здоровенную, большую. А тот аппендикс, что выходит к забору (слесарню предыдущего хозяина), отдали мне.

Просто так отдали: живи. Со мной они добряки. Зимой (а также среди лета, если Крутовы вдруг на юга, к морю) я присматриваю за всем домом — это ясно.

Так что у меня отдельный клочок земли, отдельный вход сбоку: *осьмушник*, хотя, я думаю, здесь меньше одной восьмой. Вдвое меньше. То бишь шестнадцатая доля всего строения, если в дробях. Но мне хватает. Две комнаты, свой туалет. Правда, рядом с туалетом газовая плита — готовь себе еду, поглядывая на унитаз. Что-то вроде жрального мemento мори! Ешь, но знай и помни, куда и как это все уплывает с большой волной.

Вошел я и сразу, одним крупным шагом, — направо. Там моя комнатка, одна без дверей.

Вторая, конечно, тоже моя, но вторая комнатка сама по себе, она по светлее и с дверью — она получше. При случае она как бы для летних гостей, для родственников. Как раз гостит мой племянник Олежка. Приехал дня на три. Он меня любит. Самый теперь близкий мне родич. Так получилось *по жизни*. Есть, конечно, где-то взрослые мои дети. Есть и дети детей. Есть ведь и жены — вспомнил!.. Однако жены уже прошли. Жены как сезонный жизненный период. Жены как облака. Были — и нет.

То есть жены где-то, конечно, есть, они живые. Как облака, они и сейчас в порядке и где-то плывут высоким небом дальше и дальше; и даже (вполне возможно) кого-то других, терпеливых, осчастливливают дождичком своих слов. У меня все были говорливые. Давно было!

Олежка спал, молодой, недавно после армии, чего ж не спать!.. Ищет теперь хорошую работу в Москве, а сюда, за город, приехал меня проведать, заодно же негородским воздухом подышать! Полезное с приятным. И вдруг оказался с деньгами — так что меня, старого, подкармливает. Привез сыру, копченой колбасы две палки.

Пройдя к своей кровати, я рухнул. Успел только на миг подумать об Анне, об этой красавице дачнице, — и заснул. Был с ней рядом! Сидел!.. Но какой же у нее радующийся голос. Даже среди ночи радующийся. Даже со сна. *Дрожащий в воздухе голос*. Легко такую любить.

Утром — раненько! — я встал по нужде, но решил не будить шумом Олежку. У меня грохочущий унитаз. Крутов — хозяин, любит поутру, щуря глазки, меня расспрашивать, откуда такой шум и откуда булыжники... Нет? Неужели?.. — так с утра он шутит. Ему (как и мне) по душе утренняя звуковая мощь, сам по себе могучий поток — плюс эхо.

Я прошагал в самый угол моего в пять деревьев сада, там летний сортир, скромный, зато весь в сирени. Забравшись туда, тихо-тихо сел на толчок. Все хорошо, и утро как утро, сидел не спешил. Еще и подумал, какая, мол, тишина. И вдруг голоса. Именно что вдруг. Похоже, что я заснул на толчке. Это точно, заснул. Потому что солнце, прорвавшись сквозь сирень и крохотный туз сортирного окошка, уже вовсю буравило мне темя.

— ...Это ничуть не смешно, Олег.

— Само собой, — отвечал мой племянник (однако опять засмеявшись).

А напевный, нет, дрожащий в воздухе голос повторил, стараясь быть голосом серьезным:

— Ничуть не смешно.

Разговаривали буквально рядом со мной, но территориально уже на улице — с той стороны сирени и забора. Они не знали, где я. Они легко общались, только-только познакомившись: красивая тридцатилетняя Аня и мой широкоплечий племянник.

Из осторожности (это сразу чувствовалось) они оба не хотели, чтобы я их услышал. Должно быть, нет-нет и посматривали в сторону забора и сада, чтобы сразу примолкнуть, если я появлюсь. Дрожал ее голос. Такие ее чистые гласные звуки. Сам летний воздух дрожал! Я бы слушал и млея,



даже сидя на толчке, полусонный. Млел, если бы речь не обо мне. Аня меня ночью узнала. Новость, от которой мне стало жарко.

Лоб мой прошибло мелким липким потом (еще и от пригревшего темя солнечного луча).

Ночью она вполне разглядела — увидела (при луне) — сидящего на постели с ней рядом. Проснулась — но даже не вскрикнула. Смолчала. И оказывается, только чтобы разрядить ситуацию, она, умница, подала голос — вроде как просто позвала мужа: «Игорь!.. Анальгин...» — и еще про воду, запить. Потому что не надо было делать резких движений. Потому что не хотела меня напугать. И сама, торопливо она прибавила, не хотела в темноте ночи вдруг напугаться.

— А вот когда ваш дядя ушел, я поняла, что мне страшно.

→ Еще бы!

— Я его не виню. Он стар. Он безопасен. Я, Олег, все понимаю... Не всякая женщина его так поймет.

— А он тихо ушел?

— Как тень.

Я слушал затаив дыхание. Все-таки я успел обидеться на это скользнувшее мелкой льдинкой «безопасен». Я бы тебе показал, милая, этой же ночью, пусть ты меня к себе поближе! Показал бы — стар или не стар! Я бы тебя аттестовал как следует!.. — хорохорился я, сидя на толчке, весь уже взмокший (от прямого солнечного луча). Еще и одуревший, одурманенный буйной в это лето сиренью.

Хорохорился, а меж тем их разговор за забором продолжался. Теперь они оба (с какой-то зловещей суровостью) рассуждали о том, что в ином таком случае перепуганная женщина могла криком поднять весь поселок... И уйти не уйдешь. Схватили бы. Сдали бы ментам! (Могли судить.) А уж сколько бы и каких слухов по округе наворотили!.. И, мол, еще очень-очень хорошо, если бы поимка и шум-гам кончились для меня лишь боем и заслуженным отдыхом в ближайшей психушке.

— Сказали, конечно, мужу, Анна Сергеевна?

— Конечно.

— А он?

— Он интеллигентный человек. Хотя рассвирепел.

— Еще бы!

— Сказал, что старика жаль, но жалеть стариков надо умеючи. Что еще?.. Что старика теперь не остановить. Старик повадился ходить ночами. Надо его своевременно показать врачам. Проверить его... и... и тем самым ненавязчиво ему помочь.

— Что значит — проверить?

— В какой-нибудь хорошей деликатной больнице. Это можно. Это сейчас делают... Так сказал мой муж.

Оба продолжали дружно охать и ахать. И всё сокрушались, что такого доброго (как я) и не вполне управляемого старика — не поняв его угасающих чувств (во как!) — иной муж просто бы забил ночью кулаками. Прибил бы. Мог и покалечить... При том, что мужа, с его кулаками, еще бы и всем хором оправдали!

Она, молодая, просто из кожи лезла, хотела показать, как здорово мне в жизни в эту ночь повезло. А каков на все согласный Олежка?..

Я встал с толчка. Сколько можно этот бред слушать! Я живой человек. Я вам не выживший из ума дедок... Если б меня заловили в десятый раз!.. Пожалуй, завело меня далеко. Пожалуй, что чувственный удар. Согласен. (Женщина слишком красива!) Да, был неосторожен. Да, не представился я перед ночным визитом. (Не расшаркался. Не предложил вместе выпить водочки.) Но и хватит, хватит об этом!..

Когда, озленный, я резко встал, деревянный кружок, прилипший к заднице, поднялся вместе со мной. Громыхнув, кружок упал на толчок.

Звук был сейчас ни к чему. Звук был слышный. Оба переговорщика разом примолкли, насторожившись. Я тоже притих.

Но вот они постояли и оба пошли по дороге — похоже, что к даче, где Анна.

Я наконец вылез из сортира. Глядел им в спины, осторожный и совершенно очумевший от сирени. Не спать живому среди цветов. (Надо же, вздремнул, сидючи на толчке!) Меня душило. И еще полдня разламывалась голова.

Олежка вернулся и с наигранным восторгом мне рассказывал, как хорошо поутру он только что прогулялся! — а я тоже сыграл в хорошо выспавшегося и уже завтракавшего. Я завтракал яичницей. Глазунья!

— Не хочешь ли себе такую же, мой мальчик?

Я его зову «мой мальчик» — он меня просто «дядей».

Не напугало, что меня могли и впрямь поймать, потащить куда-то, ославить, — фиг им!.. Огорчило другое: меня выбило из той жизни, где Аня. Не увидеть мне ее больше. Так я чувствовал.

Я встретился с Петром Ивановичем. Я не собирался с ним обговаривать случившееся (это лишнее) — я собирался с ним посидеть на скамейке. Я хотел просто расслабиться. Мы с ним любим общаться на воздухе. Петр Иванович — мой здешний сверстник, тоже старикан, с которым мы приятельствуем и иной раз сидим вечером на скамейке, передавая друг другу бутылку с портвейном. (У нас есть и стаканы.) Петр Иванович немного странный. Но у меня уже не бывает нестранных сверстников.

Разумеется, я мог упереться рогом и сказать, что ничего не было и что все это ее (Ани) ночной бред. Что это ее видения. Что «у красотки попросту глюки»!.. Я мог, непугливый старик, сказать им и третье, и пятое. Но тем определеннее я боялся, что она (Аня) теперь исчезнет. Уйдет из поля зрения. Уйдет как в никуда. Тут-то, на самом острие, и возникла мысль, что, если я на чуть поддамся, она (Аня) тоже, пожалуй, придет и станет меня уговаривать «лечь на обследование». Дрожащим в воздухе голосом...

Получилось неплохо, когда, опережая нажим, я дал понять, что я не против. Олежка, по-солдатски, только-только закручивал серьезный, очень серьезный, уж такой невысказанно серьезный разговор — а я как бы уже согласился. Да хоть завтра.

Но для вида (и дела) я поломался.

— Какая еще психика! — кричал я. — Чушь! Я здоров. Я мужчина. Какое такое расстройство, если она мне очень понравилась, мой мальчик.

— Важно, дядя, в вашем возрасте другое — важна взаимность чувства. Сами знаете! Важно, чтобы и вы ей понравились.

— Неужели еще и это? — Я сердился, но больше дурачился. И ничуть не боялся, что игра зайдет далеко. Я не пугаюсь больниц. Я в них побывал. Как и большинству мужчин моего поколения, больница напоминает мне общагу и молодость. Больница напоминает былую жизнь. Это так тонизирует! Мы там молодеем, под окрики медсестер. (А потом там умираем.)

Да и неплохо, пожалуй, побывать в некоей такой больничке — в полупсихушке. Нет, не дурдом. А что-то вроде. Что-то интеллигентное. Чтобы еще и подстраховаться на подобный ночной лунный случай впредь. Жизнь есть жизнь, справочка не мешает, как подсказал Олег! (Эта суетная солдатская мысль тоже означилась. Суетные мысли, они же очень практичны!) Тем более, что психологи, психиатры! Я запросто смогу им задать свой вопросик открыто. Относительно тяги к женщине в лунную ночь — пусть-ка запишут и проанализируют. Вопросик этот и впрямь шекотал! Философский вопросик. Лукавый.

— ...Анна Сергеевна.

— А?

— Анна Сергеевна тоже просит вас, дядя. Она вам советует... Если надо, она готова сама вам объяснить.

Этого и хотелось. Наконец-то.

— Анна Сергеевна?.. Это Аня, что ли? — я переспросил.

— Аня.

Я закрутил слегка башкой. Ну, мол, посмотрим. (Такой жест. Зачем, мол, человеку, если всерьез подумать, психушка!) Не знаю, мол. Успеется!.. Психушка — дело хорошее, но лето — это лето. Знает ли он, мой мальчик, что пропустить, просвистать лето — грех?

— Знаю, знаю! — сердился на мое многословие он, недавний солдат. — Так что передать Анне Сергеевне?

Очень он спешил.

Я же гнул свое — мол, колеблюсь. Важно, конечно, побеседовать с ней, с Аней, очень важно — но...

У меня на это чутье: когда и какой из набегающих (из мне обещающих) вариантов выбрать — приметить уже сейчас!

И беседа состоялась. Я был зван по-светски — к пяти. Намекалось, что у них на даче в это промежуточное и провисающее время — чай. Вернее сказать, кофе. Мы пили кофе. Аня сразу и очень мило провела меня не к запахам кухни, а в гостиную, этакую всю в спокойных обоях, салатовую гостиную. Мир во человецех.

За кофе я вполоборота мог видеть чуть приоткрытую дверь «лунной» спальни. (Днем это совсем другое, скучное место. Не узнать!) Мы беседовали. Аня заботливо, но и с улыбкой заливала мне про незадавшуюся любовь и что нас с ней развело само Время. (Старым психам наверняка нравится про Время.) В принципе, я ей нравлюсь, очень нравлюсь, но уж так случилось... разный возраст! Вот и разошлись...

— Как корабли, — кивнул я.

Я поддакивал. Тоже улыбался. Мне главное, что такая красавица — и вот ведь рядом, беседует со мной. Как-кая! И голос, голос ее! И кофе был со сливками.

Разок меж нашей (с Аней) гостиной и спальней (тоже ведь отчасти *нашей*) на нейтральном пространстве возник муж. Шел на кухню. (Игорюнчик, так она его окликнула ночью.)

— Игорь. Мы беседуем. Мы в порядке... — Она отсылала его подальше. — Покопайся, пожалуйста, в моем компьютере.

Он кивнул. Видно, и хотел только глянуть, в порядке ли? — тиха ли беседа и не притиснул ли старикашка его доверчивую Аню прямо здесь, в гостиной, к обоям — к салатовой стенке?

Солидный муж. Ответственный. Ушел, а Аня в его теплый след тотчас мне сообщила, сбавив голос, что эту будущую для меня больничку (полупсихушку, приличную и интеллигентную вполне, вполне!) Игорь уже добыл. Расстарался, просидев полдня у телефона. Добыл. Достал. (Но где же термины новейших хватких лет?.. Я был удивлен.) Устроил. Добыл. Организовал. Нашел ход. И ни разу — *кутил*.

Старомоден этот Игорюнчик?..

Кофе бодрит, но думаю, что мне (перед скорым путешествием в полупсихушку) дали желудевого, дедушку не возбуждать. Я и не возбудился. Чего уж тут. Я вдруг загрустил. Нет, не из-за желудевого, а из-за той луны в той спальне... Подумать только! Какой случай! Она могла проснуться уже моей?.. Эта увядшая, но еще сладкая мысль бросила меня посреди задумчивой и гладкой нашей беседы в такую печаль, в такое горькое горе, что Аня забеспокоилась. И срочно опять шутить... Смеялась... Чудесно смеялась! И, живо стреляя глазками, нарочито серьезничала (ах, ах!.. в счет несостоявшейся нашей любви), а нет ли у меня схожего сынка лет тридца-

ти — для нее? или хоть скоровыросшего балбеса внука? Чтоб похож на меня лицом и чтоб был свободен вечером в ближайшую субботу. В театр сходить не с кем!

Но ведь так и задумывалось, чтобы согласиться на психушку только в конце концов и только по ее просьбе. Зато взамен и с ходу я обговорил, что она меня там навестит. Отчасти деликатное (и гротескное) продолжение нашего с Аней знакомства — отчасти мое условие. Это я талантливо придумал. Пришло же в голову угадать ту самую из житейских троп!

— И, конечно, без Игорюнчика, — сварливо заметил я, уже совершенно соглашаясь на обследование (и на то, что Аня там меня посетит).

А куда было деться?

Оба (Аня да плюс Игорюнчик) могли хоть сегодня, хоть завтра настроичить заявленьице и дать ему ход. Всю интеллигентскую перхоть сдуло бы как ветром. Олежка, племяш, мне так и сказал — соглашайтесь, дядя, пока просят. Пока без ментов. Пока без криков. Пока и больничку они вам обещают ласково и хорошую. Знаете ли, дядя, какая дорогушая больничка, ого-го!..

Обследование всего-то три недели, чем плохо, этакая, в сущности, профилактика здоровья дедушки.

Аня (по наводке Игорюнчика, конечно) тем еще мне польстила, что в деликатной полупсихушке, куда меня пристраивали, *сам Башалаев* ведет за большие деньги некоторых больных... ведет? или просто консультирует? — не уточнялось. Так что я (заодно с обследованием) могу и что-нибудь особо спросить у известного врача. У знаменитости.

Луна луной, но ведь той ночью у Ани (если честно) мне было опасливо — я сидел почти у изголовья. Слышал ее дыхание. Я балдел, это верно. Но я волновался и все, все, все понимал — что я в чужом доме, что возле чужой постели, возле чужой жены... Я не бесстрашный. Я и это понимал. (Быть бесстрашным шизом нехитро.) Но именно опаска, волнение и понимание ответа за приход к ней ночью (разве нет?) делали мое чувство к Ане человеческим... Спросить, что ли, и впрямь у Башалаева при случае: почему? если я просто-напросто спятивший дедок, чего бы мне волноваться? И еще — почему луна?

Убеждая Олежку, Аня сильно перебирала в чувстве. (Но что я мог тогда возразить, сидя на толчке?)

— ...В какой-нибудь другой даче (но, конечно, не в нашей!) вашего дядю могут за вора счесть. И вы уже не заступитесь. Такое время. Люди сейчас так злы. Люди свирепы... А этим летом как раз уж-жасно воруют!

Красивая девчонка прихвастывала своей добротой и своей порядочностью. Своим заемным гуманизмом (явно от мужа). Она, тридцати лет от роду, выпендривалась, она почти пела, ах, ах, этот ее дрожащий в воздухе голос! — а мой Олежка, здоровенный, плечистый, только-только из «горячих точек» солдат, слабенько так, услужливо поддакивал:

— Ага. Ага... Понимаю.

Ей явно нравилось навязывать ему, что все мы люди, все мы человеки. Что нам надо жалеть стариков. Что неплохо бы жалеть и нищих... И бравый Олежка тут же:

— Ага. Ага.

А какая восхитительная (хотя и барская) интонация:

— Этим летом уж-жасно воруют!

— Я здесь мало что знаю. Я здесь редко, — произнес мой смущающий-ся племяш.

— Еще как воруют! А представьте, если ваш дядя что-нибудь, хоть мелкое... хоть книгу с собой прихватит. В руках у него окажется. Что тогда?..

— Книгу?

— Ну да. Он без конца морочит мне голову — читала ли я то? Читала это?.. Подойдет к нашему забору, штакетник прозрачный, поманит меня — и о чем хотите: о фигурном катании! об инопланетянах!

— Иногда с ним болтаете?

— Запросто!.. Он милый старик. Разговариваем. Но, конечно, я и думать не думала увидеть его ночью. Рядом. Сидел такой тихий...

— Испугались?

— Не очень! У меня уже был случай в жизни, после которого я научилась не вопить и не кричать чуть что.

— Могли бы и завопить.

— Знаете, Олег... Он чуткий. Он почувствовал, что я проснулась. И стал тихо-тихо отодвигаться.

Так они говорили. А я задыхался сиренью.

В палате шикарно. Телевизора, правда, нет (он в коридоре), но все остальное чудо — палата ровно на двоих. (Петр Петрович Алабин ликовал.) И чисто! И старательно прибрано! Больничка из кино!.. Я ликовал. Люблю, когда вокруг хорошо.

Сосед, что напротив, — туповатый угрюмец. Он покосился, когда я вошел в палату, но тут же отвел глаза — я или не я, ему все равно. «Петр Петрович», — все же назвал я себя, на что мой сосед только вздохнул. Пуганый жизнью. Лет сорока.

— Шиз? — Это я тихонько, это я спросил у медсестры нашего этажа. У Раечки. — Шиз? — спросил — и мотнул слегка башкой в сторону соседа.

— А вы кто? Не шиз?

— Нет.

— Интересно. — (С иронией.)

— Мы по другой части, Раечка, — лихо сказал я, весь из себя молодец.

— Это по какой?

Как-нибудь ей расскажем. Должен же (после пережитого) я чем-то занять воображение. Раечка молодая и толстенная. Тридцатник откровенный. Глазки строгие, но живые. Я бы сказал, подмосковные. Главное — она сразу меня отличила.

И к тому же человек она здесь основной. Куда ни шагни — Раечка на виду. Только и слышно:

— Раечка!

А этаж небольшой. Этажик. Всего-то пять двухместных палат. (Не надорваться ей на работе.) И еда приличная. Повезло этой Раечке. Нам всем здесь повезло.

— Раечка-аа!..

Я же расхаживал по коридору в таком шикарно-спортивно-больничном халате. Теплый. Дивный на ощупь! Весь мой чувственный импульс, я думаю, был в этом халате. Это мог быть и боксерский халат. Халат отставного чемпиона по боксу. Или сытого министерского чиновника. Сказать проще, это был халат, в котором чувствуешь себя богатым и сильным! (У халата было некое *прошлое*. Это более всего пьянит стариков.) С красивым толстым шнуром, заменявшим пояс. Чудо, а не халат! (Аня и ее муж подбросили. Где теперь мой пиджачок. Где моя белая-белая рубашка с пристегивающимися уголками ворота!)

У меня и речь стала иной. Особенно для Раечки. Меня распирало! Я чувствовал себя поутру сытым бухарским котом. Я чувствовал себя блистательным (и лишь чуть пошловатым) малаховским Казановой. Я шел по коридору, пружина ногами, — но одновременно, мысленно, я пританцовывал. Я давал распуститься витому шнуру-поясу и все его перевязывал. Вязал его играючи и очень ловко, хоть бы и в темноте!

В очередной вечер, за ужином (ужинаем в коридоре), я припозднился. Раечка чай гоняла — со старшей медсестрой. Однако Старшей уже как раз уходить домой.

Раечка сама спустя минуту подседа рядом.

— Долго вы попиваете, Петр Петрович! Чаевник, а?

Голос строгий. Но свойский. С полуулыбкой женщины-заговорщицы. Мол, сейчас самое наше время. Мол, все *дневные* (врачи и Старшая) уже разошлись.

— Так по какой же вы части? И за какую немилость к нам попали?

Ответ напрашивался. Я засмеялся:

— За любовь.

За неспешным чаем, сидя вдвоем, напустить туману молодой медсестре нетрудно, — я лишь считался сколько-то с тем, что Рая из любопытства могла заглянуть в мое ДЕЛО загодя (еще вчера!).

И рассказал. И даже интересно получилось (мне тоже) в моем зачатном рассказе — в моей истории болезни, где я никакой не шиз, а настоящий мужчина (оплативший любовь *самим собой*). Старики легко придумывают. Это была всего лишь импровизация. Зато какая!

Получалось, я сам принес себя в жертву, когда муж застал нас *с ней* вдвоем. Получалось, сам и выставил себя подглядывающим шизоидным старикашкой. Хочешь не хочешь — надо же было выручить женщину в критическую минуту. (Жалко же вас, бабенок!) Надо или не надо уметь (мужчине!) принять вину на себя? Уметь смолчать. Дураком, шизом готов выгладеть, лишь бы замести *ее, женщины*, сладкий след...

Рассказывая, я лишь горделиво посмеивался. Сочувствия не искал. Жизнь как жизнь.

— Ее муж, что ли, вас застукал? — уточняла.

— Почти.

— А что дальше? А вы?.. А она?

— Я одинокий, стерплю, что мне! Но ее надо было как-то оберечь. У нее — семья.

Раечка заинтересовалась. Однако (неверующий белый халат!) свое любопытство притушила. Отхлебнула еще чаю из стакана. Карамелькой похрустела. И никакой спешки с расспросами. (Да и куда пациент от нее денется, когда весь и надолго в ее руках.)

— Не очень-то сегодня свежий чаек! — заметила она бабе Глаше, толкавшей тележку с чайником и уже убиравшей посуду.

Но взяла еще стакан.

И подсмеялась. Кто это, мол, верит старикам в таких делах?.. У нее вон в третьей палате Козюнин! Старикашка не умолкает о своих подвигах в чужих постелях... С врачами молчок, осторожничает. Скромняга. Зато уж все остальные вокруг — медсестры, тетка на почте, уборщицы, даже баба Глаша — все мы его женщины! И каждую, каждую!.. шепотком переспросит насчет где-нибудь нескрипучей кровати.

Но разве у Козюнина такой халат? А толстый, витой свисающий пояшнур? (Эти ее смешочки над стариками задели меня за живое.) Ёрничает, хихикает, а ведь доверчива, как рыбка. И, конечно, любопытствует. (И слегка проверяет!)

— Ладно, Раечка. Чего там! — говорю. — Это всё ваши сплетняки коридорные. Это, извини, болтовня. Вот ты, — (я на «ты»), — завтра увидишь, какая это женщина!

— Увижу — и что?

— Увидишь — и примолкнешь. — (Я неспешно увязывал толстенный шнур.)

Я-то знал, что Аня (Анна, Анна Сергеевна) завтра, в субботу, придет, как было оговорено загодя.

Муж Игорюнчик хотел было сам отвезти меня прямиком в эту больничку. Но я сказал — нет. Звонить — пусть звонит, пусть устраивает, договари-

вається, но ехать с ним — нет. Почему?.. А потому. Вот если бы она, Аня, меня отвезла, то-то бы угодила, пощекотала стариковское тщеславие. Чтобы я, мол, почувствовал, что вокруг одни друзья. И что мне хотят сделать добро — а не запереть наспех в психушку... Аня так Аня! Они до такой степени жаждали меня поскорее сбить, что не спорили ни минуты.

Но в назначенный день Аня была занята. Извинилась. И что-то там в ее голосе, робкое и нежное, скользнуло еще, оттенок! (Чего-то побаивалась — не меня ли рядышком, когда она за рулем?) В итоге сошлись на такси. Аня тотчас заказала. Не я же. Но зато, садясь в такси, тут-то я и оговорил надбавку. На милейших людях как не поездить!.. Я выпросил, чтобы не когда-нибудь, а в ближайшую же субботу Аня меня там навестила.

И вот она — в субботу после завтрака! Где-то в одиннадцать! Молодая!.. Сама за рулем!

Все как надо. (Выспалась на даче, утром чашечка кофе и не спеша, по хорошей погоде, красивая, — такой добралась Аня к нам из далекого загорода.) Раечка не удовлетворилась подглядываньем из окна. Раечка направилась вроде бы куда-то по делу (однако шагала со мной, встречающим, бок о бок).

Спустились с этажа вниз, Раечка вся уже на взводе и как-то сурово смолкшая. Зато и увидела Раечка все — больше, чем все.

— Ах! — сказала. Ахнула.

И каждую вторую секунду Раечка (со мной рядом) опраивала свой мятый сестринский халат.

Красавица женщина вышла к нам из машины. В изящном летнем платье. И чудесным летним утром! Все как надо. С легкой сумочкой через плечо.

Великолепные длинные ноги. И уверенная, слепящая улыбка (улыбка поверх всей этой зримой нам красоты). Раечку могло убить.

Я с ходу рванул туда — вперед к Ане. Мы легко, нежно поцеловались. То есть это я при встрече решительно потянулся к Анне лицом — а она ко мне. Да, она тоже. С усилившейся, чуть ироничной улыбкой (но и не отвергая) она качнулась лицом и улыбочивыми губами в мою сторону. Щедрая! Секунда — и наше объятие распалось.

Секунда — это немало. Мне и моей секунде — завидовали. И шизы, и персонал. (На нас оглядывались.) Мы походили с Аней по больничному саду. Были вразброс и скамейки, но мы не сели. Мы просто ходили.

Я повторял — неплохая, мол, больница, Аня, совсем неплохая, и дело свое вроде бы здесь знают. Видал больницы и похуже. Да, врачи мной занялись... Да, да, анализы. Что-то еще я бляял, но плохо помню. Был как пьяный. Был с ней. Был совершенно счастлив. И все вдруг кончилось... Ушла.

Зато Раечке (по ее алчной просьбе) я всю эту садово-тропиночную невнятицу изложил очень даже внятно — как некий важный наш с Аней разговор. Забавно вышло! Вроде как мы с Аней продолжали биться за наше правое дело. «За наше чувство», — сказал я, и Раечка (я видел) слегка затрепетала. Ее интересовала теперь всякая подробность. В третий раз она переспрашивала, как муж вдруг вернулся на дачу без машины, пешком, вернулся внезапно, и как было тогда с Аней и со мной у самой уже постели! И ведь ночью!.. Нет, муж не успокоился, когда увидел, что я староват. И только когда я признался, что псих... Мало ли какой больной проникнет к вам на дачу летней лунной ночью.

Раечка млела.

— Да уж, — согласилась. — За такую красавицу и в тюрьму сядешь!

Вечером чай вдвоем. Сначала я подзадержался (это легко), оставшись один за больничным столом. Скоро и Раечка подгрребла туда мягким вес-

лом. «Да, — повторяла за чаем. — За такую красавицу...» Нашему общению едва не помешал мой шиз: тоже подошел и норовил сесть рядом. Бедолага стоял около меня с тарелкой. Если мы делим с тобой палату, почему бы, мол, нам и не ужинать вместе?

Я покачал головой: нет! нет!.. Пришлось быть жестким. А шизы здесь нежные. Трогательные. (Я уже приметил парочку евших из одной тарелки. Складывали кашу из двух в одну — и ели.)

Но как же дальше? — волновалась за Аню и за меня Раечка, она уже была «с нами». Была участницей большой любви.

Я объяснял: мы с Аней будем видеться здесь хотя бы кратко. Но это сложно, сложно! Муж — большая шишка. Богатый...

— Богатый? — ахнула Раечка.

— Да.

И ничего, мол, в запасе — ничего лучшего, чем эта рискованная игра с больницей, у нас с Аней пока что нет. Но сгодится ли это хотя бы еще на раз? — дурил я Раечку голову. Поможет ли в будущем? Если, скажем, он опять нас на даче застукает — я опять в психушку?

— Как же она рискует!.. Она такая... такая...

У Раечки не было слов.

Зато в ее глазах — было. Я заметил. Там вспыхивали и гасли настороженные чувственные огоньки. Эти огоньки были мне.

Я сказал:

— Бывает по-разному, Рая.

— Что бывает?

Эти чувственные огоньки в ее глазах уже подсказывали. Огоньки уже ждали.

— Что, что бывает?

И тогда слова, как солдаты, перешли границу:

— Бывает же, что мужчина нравится не красотой, не молодостью.

— А чем?

Я отхлебнул чаю и помолчал.

Она тоже отхлебнула чаю, но как-то заторопилась. Молодая! Отхлебнула еще. И еще.

— А чем нравится?.. Умом, что ли? Деньгами?

— Не обязательно. Бывает, что и ум ни при чем, и деньги ни при чем.

— А как же?

Я еще помолчал.

И вот тут она стала медленно-медленно краснеть.

— Не умом и не деньгами, — повторил я. — Однако же факт...

— Так чем же? — спросила она настойчивее. Она даже перебила. (Чувственные огоньки погасли. Зато в голосе — накат честной прямоты и грубоватого любопытства.)

А я только развязывал и завязывал на поясе толстый шнур.

Так и сидели вдвоем. Вечер. Мужчина и женщина, невостребованные, как на острове. (Жизнь где-то. Жизнь от нас далеко-далеко за больничными стенами.) Впереди уйма времени. А вокруг опустевшие унылые столики.

Кто-то зашаркал шлепанцами в глубине больничного коридора.

— Раечка... Давайте-ка о другом. Сегодня меня ваш Башалаев достал.

— О-о! — Раечка (зная, что раскраснелась) охотно сошла с шаткой тропы в сторону. — Наш умеет. Гений. Кого хочешь достанет!

— Он всегда такой?

Ничуть он меня не достал — он мне понравился, этот их Башалаев. *Гений с пронзительным взглядом*, так они его меж собой называли. Ярлычок, как водится, льстив. Но что-то настоящее, похоже, там есть. И показалось (поверилось), что этот *с взглядом* не станет лгать или вредить старику (мне) за просто так.



У нас (с Анной и ее мужем) была джентльменская договоренность, что сам я пожалуюсь врачам на нервишки, ночной недосып, возрастную сварливость — вот и все, не более.

Башалаев, однако, скривил рот:

— Этак мы недалеко уедем. — И с места в галоп стал въедливо, долго, а то и нудно расспрашивать. Еще и посмеивался. Жизнь долгая — вот, мол, и спрос долгий. Все это у него, в кабинете Башалаева.

С нами третьим трудился врач Жгутов, молодой, крепкий, с густой черной шевелюрой. Этот жгучий Жгутов схватывал с полуслова: обрабатывал и с лету вносил в компьютер наши вопрос-ответ, вопрос-ответ...

Наконец из меня пар пошел.

— Всё? — спросил Жгутов (то ли меня, то ли своего Башалаева).

Они перемигнулись, и молодой поставил первую точку. Я увидел, что из них тоже шел пар. Молодой весь взмок. А Башалаев закурил (первую за три часа).

Вернувшись в палату, я от усталости пал на кровать. Я просто рухнул. Отчего шиз, мой сосед, взволновался и то подходил ко мне, распластанному, поближе, то стремительно удалялся к дверям. При этом он что-то ловил руками высоко в воздухе. Нет, он ничего не ловил. Он страдал за меня. (За соседа. За чужого ему старика.)

Не было даже сил прогнать его в его угол, так истощил спрос! Ни движения. Ни слова. Скосив полузакрытые глаза, я лежал и только следил за страдальческой пантомимой. А шиз продолжал немо заламывать тонкие руки, топчась теперь на месте. Мучительно раскачивался туда-сюда. Не знал, как помочь.

«Из темной воды прошлого», как пошучивал «рыбак» Жгутов, они теперь вылавливали, выуживали подробности моей жизни. Я, увы, плоховато помнил былых моих жен. (Путал имена.) Обмолвки профессору не нравились, да и компьютер нет-нет попискивал, протестуя. Им все казалось, я скрытничаяю. А я не знал, чем им помочь.

Я рассказал, и они тотчас (прямо-таки впились) ухватились за случайную и безобразную драку в загородном ночном автобусе, в которую я недавно ввязался. Но выяснилось, что я никого не побил. И что меня, в общем, не побили. Меня и еще двоих, нас попросту выбросили на ходу. В снег. Нет, эти двое выброшенных были мне никто. Нас выбрасывали постепенно, время от времени, так что мы оказались метрах в ста друг от друга. Мы даже не познакомились.

Ловили «рыбаки» и с другого берега. Очень нацеленно они выбирали из своих сетей мои сны. Любая небывальщина во сне (мне объясняли) имеет отношение к былым житейским промашкам, ошибкам! Однако и сны мои на просвет, как и мои жены, оказались бесхитростны, милы и ничтожны, и потому оба «рыбака» как ни перемигивались, а заскучали. Улов был не густ.

Тем не менее каждый раз, прежде чем вогнать в компьютер очередное нехитрое мое признание, молодой Жгутов ласково-иронично меня заклинал:

— Пациент должен говорить правду, и исключительно правду.

Башалаев, посверливая глазами, добавлял:

— Если он хочет, чтобы ему и его психике помогли.

За уши мне (к вискам) Жгутов прицепил лейкопластырем датчики, меня посадили на стул в темной комнате, пустили микротоки, и — заново вопросы про жен, только вы уж, пожалуйста, их сегодня не путайте. Какая-то их иезуитская сверххитрость была в этом. (Не спутать жен в темноте.) С Галей, как в темноте обнаружилось, я жил раньше, чем с Машей. А попивала, не путайте, не Маша, а Марина. Микротоки должны были помочь мне не завираться, а моей психике выйти на чистую свежую воду —

микротоки шли честно туда-обратно, как не понять, дело важное! Но у меня уже ум заходил за разум. И не нравилось, что каждый раз с меня стягивали мой шикарный халат. (В красивой одежде пациент особенно лжив. Не знал!)

Как-то, плотно зашторив окна и ни о чем не предупредив, привесили датчик к члену — и опять же в темноте спрашивали, спрашивали... Затея, возможно, неглупая — микротоки сами знают, куда проникнуть. Я уже не вникал. Я расслабился. Пусть их!.. На процедуру, что с зашторенными окнами, просилась ассистировать Раечка, хотела помочь, но ее изгнали. (Ее при мне и отчитали. Датчик на член привешивают очень ответственно и всегда без женщин. Чтобы пейшента не провоцировать.)

Они нет-нет и произносили «пациент» по-английски — пейшент.

Увешанный датчиками и мечущимися туда-сюда микротоками, я был озабочен, пожалуй, только одним: Аня... Она не может оставить меня здесь одного. Приедет ли она глянуть на старика хотя бы еще раз? Или хотя бы забрать меня отсюда...

Раечка, похоже, заскучала. А тут ей и случай. Мне прислали обновки — хорошее легкое белье. И тапки меховые, тигровые, теплые, коридором идти и тихо пришаркивать. «Твоя привезла», — шепнула мне Раечка. Отдавая должное чужой красоте, она звала Аню уважительным полным именем — приехала *Анна* рано-рано утром. И уехала *Анна*, не захотев меня будить.

И сразу же Раечка перешла на нормальный голос нормальной медсестры:

— Пошли мыться. Быстро.

— Это зачем?

— Как?! Неужели такой в чистое белье полезешь? Ты чё! Ты чё! — Какой «такой», Раечка означила интонацией. И добавила резче: — Пошли!

У нее со всеми с какой-то минуты командный тон и на «ты». Что хочет, то и велит. И еще, как хлыст, это простецкое «Ты чё!». (А я был огорчен, что разминулся с Аней. Тапки привезла!..) Послушный, я шел, плелся за Раечкой следом, — она, командирша, выступала впереди белохалатным колобком. У нее зрела своя мысль. Еще и крутила ключи от душевой на пальце. Возможно, загодя хихикала.

Когда подходили, я заметил, что и она с полотенцем. Она объяснила, что присмотр и что заодно она тоже pomoется.

— А что такого? Нормально... Ты же пейшент.

Дело в том, что помывочная для нас, придурков и пейшентов, была, прямо скажем, прохладная. И близкая к слепому окну. (Замазанному белилами.) А вот рядом, сбоку от нашей помывочной — сразу у входа и направо, была совсем другая душевая. Эта тепленькая. Уютная. С отдельными небольшими отсеками. Она отделялась от нашей душевой (и от нас) полупрозрачной стенкой. Как бы для персонала, для врачей, сестер. Ну и для присмотра за нами. А при случае разделяла, конечно, мужчин и женщин.

Милая Раечка собиралась не просто выставить меня в холодке голым себе на обозрение, но еще и собой поддразнить. Забава! Спровоцировать пейшента на волнение (в чем ей отказали, когда она рвалась лепить мне в темноте датчик). Посмотрим, мол, что с пейшентом станет. Ау, дедок-говорун. Голая — и совсем неподалеку!..

Я было осердился; а потом рассмеялся. Я вдруг повеселел. Задумка медсестры была достойна ее врачей. Не лучше, но и, ей-ей, не намного хуже микротоков и нудных тестов Жгутова — Башалаева!

К тому же (тест на тест) затея, если я не зазеваюсь, обещала быть взаимной... Ну пусть, пусть! Ситуация незамысловата. Будем-ка мыться. И после чистого душа наденем-ка на себя чистое, легкое белье. Белье, пах-

нущее свежестью и текстильной новизной (я уже такое забыл). Я пустил воду погорячее! Задвигал по телу намыленной и ласковой мочалкой. Надраивал плечи и бока. Ах, вода-водица! Я и Раечку, признаться, забыл. Душевая сверкала чистотой, белизной (и была наудачу теплая в этот день) — чудо! А Раечка разделась. За полупрозрачной перегородкой и всего-то в трех скользких шагах. Она напевала все громче. Принять душ и медсестре в радость. Но я, счастливый старик, весь в водных струях, о ней сейчас не помнил. Я блаженствовал. Как вдруг помог случай. Погас свет.

Раечка вскрикнула в испуге:

— Что это?

Она только-только разделась. Лучше (для теста) и быть не могло. Я, очнувшись, ходко прошел туда. (Теперь я для куража напевал. В темноте.) Шел, осторожно оскальзываясь на мокром полу. Шел мелким-мелким шагом. Уже трогая ее плечи, сказал коварным стариковским шепотком — *не надо и некого*, мол, здесь, Раечка, бояться. Я успокаивал, это ведь как наш долг. Женщины пугливы. Да и темно было по-настоящему. Черно. Мы ослепли.

— Что это? Что это? — повторяла она в растерянности. А это «что» был... я. Минута — и я ей уже вставил. На их топчанчике. Как следует вставил, хотя и бережно. (А что еще мог Петр Петрович? Что еще он мог сделать, кроме того единственного, что легко сделать в темноте на ощупь.) *И ведь у них, за перегородкой, было так тепло!* Топчанчик был сух, душ Рая еще не включила.

Но прошелся я раз пять-шесть. Сколько успел. Пять-шесть движений, пять-шесть секунд, не больше. Может быть, всего-то четыре, не так это важно. Важно, что вдруг врубили свет и захлопали двери... Я птицей взлетел и метнулся в свой край, в свой отсек для придурков. И вовремя. В дверях душевой возник врач Жгутов — молодой, перспективный, строго смотрел на меня.

А я (в мою пользу подробность) уже стоял на самом входе — из нашего прохладного отсека в их, теплый.

Стоял как поодаль. Стоял осторожно на скользком полу. Вроде как любопытствующий шиз заглядывает к собирающейся освежиться душем медсестре.

— Что это вы тут?! — повысил голос жгучий Жгутов.

Я развел руками:

— Я... я же пейсент.

Он продолжал высоким криком:

— А это что?! — и указывал рукой мне в пах. На мой стоящий.

*Пациент должен говорить правду, и исключительно правду.* Подумав, я так и сказал:

— Похоже, это член.

Он строго мне заметил:

— Слишком похоже.

Меня вызвал к себе Башалаев. (Знак конца. Истекали мои три недели.) Уже с утра Башалаев был взмылен спросом и выпиской. Он обработал в путь-дорогу пять шизов. Это много. Меня, шестого, он встретил как-то весело и слишком ласково.

Я, войдя в кабинет, тоже для вида улыбался, улыбался вовсю. Я как раз думал о Рае.

Отношения с женщиной в больнице возникают по-особому, но и ценятся особой, дорогой ценой. (А ведь Башалаев, если позвал, мог выписать меня сегодня же.) Я и Раечка никак не умели подыскать себе места. Время поджимало. Это как незабитый пенальти. Но если не в душевой, то где?.. В душевой мы теперь панически боялись. Она боялась. (Я бы снес. В конце концов, я придурок.)

Он сразу поддел меня за главное — а я не стал мяться и мямлить. Ответил ему честно. Так, мол, и так: чем больше мне нравится молодая женщина, тем острее возникает у меня ночное желание.

— У меня тоже, — подмигнул Башалаев. А он тоже сед, тех же, что и я, счастливых пенсионных годков. (Старый мудила. Меня удивила эта его несерьезность в серьезном, как я считал, разговоре.)

Я пояснил кратко: желание... и еще я как бы слышу некий ее ночной зов. Зов к себе. Я чувствую через расстояние, что женщина спит... но и не спит.

— Если высокая луна... — начал я.

А он тотчас подхватил:

— Высокая-высокая?

Опять смеялся! Ласковости в его взгляде было уже поменьше. Он буравил меня глазами.

Зазвонил телефон.

И тут случилось вот что. Башалаев долго-долго смотрел на аппарат — телефон звонил, пока не иссяк. Затем гений уставился своим взглядом в какую-то далекую угловую точку. (Вот у кого перенял этот взгляд мой сосед-шиз.) Лицо Башалаева стало серым. В морщинах легли тени. Устал.

Я даже подумал, не уйти ли мне. Он сегодня явно выдохся. Он в отключке. Может, он так спит?

Я даже привстал.

Но он тотчас вскинул на меня глаза:

— А! — проговорил он, едва я шевельнулся на стуле. — Высокая-высокая луна! Летняя жаркая ночь!

Он словно и впрямь пробудился. (И вспомнил про меня, как-никак пациента.) Его страстное взрывное начало (для меня внезапно) вдруг вышло наружу — выплеснулось! Теперь он не говорил, а выкрикивал. Отрывисто:

— Как не понять... Как не понять! Высокая луна-лунища. И бабец спящий. Сидите, сидите, Петр Петрович! И перистые облака. Да?..

При слове «перистые» он нервно хохотнул:

— Перистые! Перистые при высокой луне, Петр Петрович! Они особенны! Вы, конечно, замечали, что в такую ночь луна захватывает полнеба! Полнеба... однако же оставляя место для нежных перистых облаков! Но как можно в такую ночь спать? Или пить? Или жрать?.. Водка! Колбаса! Телевизор! Невозможно! Невыносимо! Омерзительно! Чего стоит тогда вся жизнь? Рупь рваный? Кусок гывна?

Он так и выговорил с дрожью: «Г-гг-гывна!» (Я ошеломленно сидел напротив. Помалкивал.)

— Да, Петр Петрович! Да, да! Думаете, ваш врач про луну ничего не знает?! Ха-ха! В мире врачей та же суета и та же корысть! Те же уловки! Обкрадыванье друга-приятеля! Тайное расхищение чужих замыслов... От людишек задыхаешься! Все мысли о ста долларах! Ста долларах сверх, которые тебе вчера выдали, в обход налога, по-черному! Душа, Петр Петрович! Душа начинает вонять! И вдруг над этой вонью — небо и высокая луна! И... и... и вдруг... женщина. Спит в лунном свете! Полунагая! Бабец! Бабец, Петр Петрович, рубенсовский! Вся теплая. Даная! Живот ее теплый! Только руку протянуть, а?

Столь же резко оборвав речь, он пронзительным взглядом уставился теперь прямо в меня. Гения немного трясло, но глаза! Глаза никак не хотели потерять свою сверлящую силу и направленность. Я чувствовал себя под легким кайфом гипноза. Мне стало славно! Мне даже захотелось на халяву спянуть по сильнее.

Но от навалившейся сегодняшней усталости (или, может, не желая выжечь до дна мои зрачки) Башалаев сам закрыл себе глаза. Он положил на свои пронзительные глаза ладони. Прикрыл лицо. И так сидел...

Сидел с ладонями на лице минуты три.

Сидел пять минут. Ни слова.

Двое за столом (один напротив другого), мы тихо-тихо сидели — два старика. (Старик сильно уставший — и старик сильно ошарашенный.) Наконец он отнял ладони, лицо открылось. И засмеялся:

— Ладно. Что тут у вас.

И как ни в чем не бывало стал листать мое ДЕЛО.

— Вот, — повторял он. — Вот... Вот...

Долистав до конца (он ничуть не спешил), ожившим ровным голосом Башалаев констатировал, что, в общем, у меня «все в норме, не считая мелочевки».

Он даже фыркнул и перешел на «ты» — мол, все это семечки, старик. Мелочевка. Езжай домой, старик. Отклонения есть кой-какие. Возраст есть кой-какой, верно?.. Тут он, извинившись, понес сколько-то латинской премудрости.

Трехнедельные обследования именно *это* (эту премудрость) подтвердили. Он уверен. Он, великий Башалаев, так и записал своей рукой в моем ДЕЛЕ. Живи, старик. Любишься на свою луну и на перистые. Поосторожней с бабцом. И не кашляй. *Так что все совпадает...*

— Что совпадает? — я переспросил.

— Да вам это ни к чему. Живите. Живите — и все. Вам знать не обязательно.

Опять перешел на «вы». Разговор заканчивался как официальный. Профессор и пейшент.

— Как это — не обязательно? Как...

— Да так.

Я почувствовал досаду. (Я не вполне доверяю гениям.) Хотелось знать, что именно понаписал он там своей рукой.

Однако в дверь уже ввалился врач Жгуттов, глазищи горят — у него свои заботы. Поважнее всех иных!

Жгуттов возмущался: его на дежурствах разделили с медсестрой Гривковой (Раечкой) — а ведь он сработался, привык...

Башалаев ему кивнул — садись, садись! У нас и помимо твоих дежурств разговор есть. А мне гений показал глазами на дверь:

— Вы свободны.

«Луна!.. Бабец!.. Даная!..» — как легко все-таки и как быстро и точно было им прочитано. Крикливо, сумбурно, едко — но как в самую точку была угадана завораживающая меня ночная красота. А ритм! (Так, так именно, такими ударами и колотилось при высокой луне старое сердце.)

А это осторожное ночное присутствие — на скосе неба — двух-трех вытянутых в нитку облаков. Когда высота луны их подсвечивает...

— Перистые, — сказал я себе. — Перистые, Петр Петрович!

Я попытался вызнать о заключении Башалаева у старшей медсестры. (Любит лесть. Стареющая строгая женщина.) Но сразу слов не нашел — а она, вдруг хищно на меня ослабившись (на легкую добычу), велела, чтобы я помогал ей наклеивать ярлыки на оранжевые бутылочки.

Два шиза ей уже помогали. Бутылочки были веселые, с мочой, их почему-то следовало передвигать с великой осторожностью. Чуть что, и придурки вопили мне в оба уха: «Не вспенивай!..» Большим нравится всякое новое для них энергичное слово. Это тоже тест. Это важный тест. Я прошел его с легкостью. Я знай наклеивал молча ярлычки на оранжевые бока бутылок.

Старшая в мой край тоже пофыркивала: «Мягче, мягче! Не вспенивайте... А что, собственно, Петр Петрович, вы хотели прочитать в вашем

ДЕЛЕ?» — спросила она вдруг прямо (как только желтые бутылки закончились). И еще шепотком, нет-нет, Петр Петрович, *бумага серьезная* — бумагу покажут (и выдадут) тем, кто просил сделать (и кто оплатил) обследование. А кто просил?.. Она полистала подручную книжицу приема и коротко (и совсем тихо) сбросила мне фамилию с именем-отчеством. Само собой, это был муж Ани.

Я ушел, а Старшая озабоченно кричала вслед:

— Не забудьте помыть руки.

Впрочем, опыт чужих жизней говорил: что тебе ни напишут в психушке — все лучше, чем пустота. Сотню раз по жизни я это слышал. Тому или другому, людям здорово повезло из-за нескольких плохо разборчивых латинских слов. Написанные (на чистом и белом), эти каракули-слова вдруг помогали. Учили услышать людишкино горе. Получить пенсию побольше. Не дать с ходу гнать или преследовать. И всякую иную, пусть малую или даже нищенскую, но льготу... Человека вдруг по-человечески освобождали. Так я себя уговаривал. Но по сердцу скребло.

Тут мой взгляд упал на соседа.

Шиз сидел на своей кровати, у противоположной стены, и взволнованно (почему-то) смотрел вверх. А я не понимал. Да и как понять? Он подпер голову рукой и неотрывно смотрел — пялился в самый угол нашего общего с ним потолка. Но там не было ни паучка. Ни даже чуть дышащей паутинки. Ни хера. Белый и пустой... На этом белом и пустом ничего не было написано! Зато о нем самом (о моем соседе), наверное, страниц напечатали! — подумал я. А прочесть-то не дали!

Это успокоило. Есть и похуже меня — и попечальнее. Он и знать не знает, как хитро (и подчас коварно) та латинская писанина соотносится с ним и с его земной долей. С его пугливой душой... Бедный!

Свое прочесть я мог попытаться еще раз. (Через Раечку.)

Хорошо, что она теперь не в смену с этим гжучим Жгутовым. Конечно, врач обязательно трахает медсестру, если она не замужем. Это я знал. Это получается само собой. Ничего хитрого. Но если их разлучили на дежурствах — их разлучило Время, а значит, у меня стойкий шанс.

Нас с ней грубо спугнули, это же факт! Наше с ней нечаянное и стремительное начало в душевой, в полной тьме, на их сухоньком (кожзамени-тель), потрескивающем от трения телами топчанчике, не могло быть забыто. (Топчанчик, мне казалось, искрил.) Меня и Раю, такова жизнь, обязывало к продолжению, вот только где?

А шиз смотрел себе вверх!..

— Есть одно дело, — сказал я ему. Ему бы сейчас из палаты уйти. Уйти — и ни в коем случае скоро не возвращаться (а там я быстро кликну Раю).

«Скоро» — это не передать. Но еще сложнее передать «нескоро». Слова оказались для моего соседа непосильными (и не имели жеста). Часов же ни у него, ни у меня не было. Счастливые часов неносят!

Шиз только невнятно улыбался. Не понимал — и украдкой поглядывал в белый потолок. Боялся потерять там своего невидимого паучка. Боялся уйти из палаты.

Я за руку его отвел, ласково оттащил от магического угла и объяснил снова... Нет, он не выписывается сегодня из больницы. Нет, он не возвращается домой. Нет, нет, его никто сегодня дома не ждет. (Кому мы нужны!) Он — остается здесь... Эта кровать, эта палата и этот нравящийся ему угол потолка — остаются ему навсегда. Его собственность, его радость! Его, в конце концов, личный трофей за долгие горькие годы.

Он понимающе замычал. И, повернув лицо, вновь восхищенно уставился в тот угол. Там сходились вечные три линии — длина, ширина и высота. Чудо!

— Но ты должен уйти. Уйти. Уйти, — повторял я.  
Я бился с полчаса, проклятый угол!

Перехватить «угловой» взгляд и отвлечь (взгляд на меня) удалось лишь случайно — яркой пачкой сигарет. Курить в палате нельзя, я только вынимал сигареты и снова прятал. Но в легком бешенстве (слишком долго толковывал) я машинально мял, терзал эту пачку — и шиз вдруг прикипел к ней глазами.

Ага! Я тотчас усилил позицию!.. У шиза был здешний приятель — рыженький тощий шиз. Они с некоторых пор сидели за обеденным столом вместе. А то и прогуливались по коридору. Милейшее развлечение начинающих дружбу шизов: ходить по коридору парами и молчать.

— Да, да, да... твой приятель! Он самый. Рыженький! Ты уйдешь, — (жест в сторону двери!), — и вы оба побудете какое-то время вместе. Да, да, можно вместе пойти в курилку. Покурите там... Потом погуляете.

И я (показательно-поощрительно) дал ему сигарету. Мне думалось, что это весьма умно. Что это кстати. Но мне и присниться не мог бы дальнейший ход его логики!

Уйти он ушел, но тут же привел ко мне зачем-то своего рыжего. Может быть, двоих выставить проще?.. Однако нет — выяснилось, что теперь они оба меня не понимают. Оба не отрывали глаз от пачки с сигаретами, так что я (уже как-то вяло) выдал и рыженькому его сигарету. Мой, не зазевавшись, тоже себе прихватил.

Озленный, я высказался напрямую: «Парни. Мужики. Вам по тридцать — сорок лет. Ну что тут умного или сложного?.. Вы уже должны это понимать. Я хочу оттрахать медсестру...» Я объяснял, я опустил до жестов, при этом, возможно, я слишком резко взмахивал рукой. А в руке треклятая яркая пачка.

Я выпроводил их в дверь: «Вы должны уйти. Вы должны час-полтора быть где-то. В твоей, — (это я рыжему), — палате. Да, да, хоть в любой другой палате! У вас же есть приятели. Да, да, еще лучше — в курилке!» И я для урока сурово постучал костяшкой пальца по двери, которую запрю.

Каша жизни в их головах вроде бы забурлила. Их лица просветлели. Про дверь оба поняли. Про курилку тоже. И вышли. И вскоре же вернулись с третьим идиотом, который, едва войдя, уставился на мою пачку с сигаретами.

Я завопил на них. Всех в шею! Вон! Вы должны уйти надолго!.. Я даже затопал ногами. Но в конце концов сдержал гнев. (Считал до тридцати. Считал до пятидесяти.) Еще разок терпеливейше я все объяснил — и дал им по новой сигарете. Мой сосед уже заработал три — куда он их складывал? Они прямо-таки исчезали. А это были хорошие сигареты. Дорогущие. Такие, конечно, не курю. Пачка была от Ани («Все твоя Анна!..»), вместе с бельем. Чтобы белье, домыслила вслух Рая, продымилось повкуснее.

— Понял, теперь-то понял! — заверил меня мой сосед.

И все трое, смекалистые, согласно закивали головами — поняли, теперь поняли! Мы поняли. Мы уходим... Ушли и, конечно, вернулись с четвертым.

Я рассмеялся, отдав им последнее. Этот четвертый шиз так кротко смотрел! Как ему не дать сигаретку!.. Я каждому выдал. Зато моему (вместо) я отдал, слегка злорадствуя, опустевшую пачку — мол, сам видишь, больше нет. *Тебе-то и не хватило.* Финиш!.. Ладно, ребята. Точка. Живите как хотите. Живите где хотите. Я уже ничего не хотел. (Хотел отдохнуть от затянувшейся благодетельной деятельности.) Я бросился на кровать. Головой в подушку. Забыться — и заснуть. Что там сейчас Рая?.. Должно быть, трудится. Вся в сестринских своих заботах. Уколы! Неужто она меня еще ждет? (Сгоряча я ей пообещал, что скоро, что вот-вот организую наше непростое счастье.)

Часок я лежал в нелепой дреме. Но постепенно стало кое-что приходить в голову. Мысли мои (обе, любовная и пациентская) вдруг стали сближаться. Мыслишки (обе) как-то ловко срастались в одно. Обе гляделись теперь дерзко, красиво!

Мысль «я и Раиса», а к ней в пару клеилась пациентская мысль — «я и ординаторская». (В ординаторской с ведома Раисы я запросто смог бы прочесть скрываемый от меня диагноз.) Объединение двух мыслей шло полным ходом уже сейчас, но объединение двух интимных дел могло произойти, разумеется, только ночью. (Я поглядывал в тот магический угол на нашем потолке. Он помогал думать. Что-то в нем таилось?) Ночь! ночь! — так возник импульс открытия. Еще бы старику немного удачи и высокую луну.

А меж тем мой сосед исчез — и не появлялся. Но я знал, где он. Мой трудный товарищ бродил сейчас по палатам, показывая там украдкой пустую пачку сигарет. (Зазывая весь доверчивый шизоидный народец ко мне — на поживу.)

Раечка нещадно колола их, обламывая ампулы одну за одной. Веселый ломкий треск слышался уже на подходе. Я заглянул. Трое со спущенными штанами стояли с ней рядом. Наготове. Слишком загодя заголились, она не любит. Шесть тощих мерзких ягодиц. Она им сейчас влупит. (Ух, сердитая.)

Я выждал. А оставшись наконец с глазу на глаз, рассказал Рае наш новый план. В ординаторской. Сегодня, конечно, уже по нулям. Сегодня поздно. (Расслабься. Не сердись на них, Раечка, *больные!*) А вот завтра... Завтра, когда она заступит дежурить в ночь...

Я говорил — Рая кивала. Оба соображали все-таки побыстрее шизов. (Она и точно расслабилась.) И похвалила меня:

— Надо, надо!.. Хорошо придумал.

И заулыбалась. И (женщина) голос заиграл:

— Хорошо, хорошо придумал! Вовремя! Считай-ка дни! Тебя вот-вот выпишут. *Три неде-ели пролете-ели*, — она пропела.

Одобрением подстегнутый, я открыл ей мой параллельный ночной интерес. В ординаторской ночью — никого, мертвая тишина, ты да я, *Раечка, три недели, мне важно прочесть, что за херню они про меня настроили. Три недели допрашивали. Сама знаешь. Это же Башалаев! Имя! Мало ли что! Кусок хлеба в старости!.. Мы по-тихому. Мы потихоньку. Заодно (нечаянный юмор) и туда заглянем. Хотя бы глазком одним.*

Рая согласилась:

— Ключ от ординаторской я возьму. А как открыть шкаф?

— Запросто, — сказал я.

Живя в бывшей дачной слесарке, в ключах я понимал. От скуки ковырялся в замках даже пальцем. Но для Раи (для ее уверенности) я тут же, на месте кое-что сцыганил. Женщину поощряй сразу! Из могучей канцелярской скрепки (скрепляла анализы), распрямив ее и заново выгнув ей кончик под цифру «пять» (5 — лежащая на правом боку), я сработал ловкий крючок. Цепкую «козью ножку».

— Откроет? — спросила.

— Легко.

Глубокая ночь, оба полусонные, тяжелые на подъем, а все-таки и ей и мне сердчишко навязчиво стучит: надо, надо!.. Почему надо мне, не вопрос. Но ей-то, Рае, эта жданная ночь выпала самая трудовая и суетная. У шизов в пятой палате, у обоих сразу, начался излом — приступы преследования. Вой на весь этаж. Врач по Раиному звонку прибежал скоро, примчался, хотя и ночь. Прибежал, уколол обоих и убежал досыпать. Какой-



то врач Иванов, близко живущий и практикующий на подхвате. И стало в коридорах тихо-тихо.

И вот взмыленная, уставшая, еле на ногах, Рая приползла среди ночи к нашей палате и разбудила меня. Пошли!.. Я тоже в ту ночь хорош — выпил не свои четверть склянки, а шизовы. Похожие склянки. Иду за Раей, глаз не разлепить. Шатает. А в мыслях этак вяло-вяло, но все же с настойчивостью стучит: надо, надо... Боже ж мой. Что мне за старость выпала! И как покорен в тусклом коридоре мой шаг-шажок.

Впрочем, едва только пришли и скоро разделись, я понял совсем другое: старостью горжусь. И такой женщиной, как Рая, горжусь. Хотя и в темноте. Хотя и без луны! Свет в ординаторской мы, понятно, не зажгли.

Шепот!.. Этот всегда удивительный, бесстыдный в темноте женский шепот. И тишина. Глубокая, глубочайшая больничная тишина. И нет-нет подвывавшие (все еще) с этажа два бедных шиза нам ничуть не мешали.

И само собой — на их столе. Никаких диванчиков-топчанчиков. Правда жизни. Стол был достаточно длинный, но, конечно, жестко и небурно — сорно, чего только нет, бумаги, папки, даже скоросшиватель! Ручки пишущие! Прямая Раю и уже трудясь, я между делом прихватывал все это добро рукой и, особо не отвлекаясь, сбрасывал на пол. Рая, молодец, как ни устала, а тоже трудилась, мало-помалу уже распалась и пробно постанывала. Мы, что называется, нашли друг друга. Вот только там и тут под Раей возникали чистенькие ребристые пепельницы. И сколько же их! Сонный есть сонный. Я в темноте сталкивал на пол пепельницу за пепельницей, как вдруг упал со стола сам. Оказался на полу. Было и неожиданно, и довольно жестко. И Рая, оставшаяся на столе, выбрала меня с высоты:

— Вот уж упал на ровном месте.

Я упал и во втором тайме. Рая сердилась, хотя бился о пол я. Скоро ей надумалось здесь же, на столе, меня оседлать. Что и говорить, дело модное, приятное, но в крошечной темноте я не вполне понимал, кто я и где я теперь. («Зато больше не упадешь!» — подбадривала меня невидимая Рая откуда-то сверху. Как бы с потолка.) Медсестры любят самоутверждаться. Ей думалось, что она скачет на лихом коне. Или даже на раздвоенной снежной вершине Эльбруса. Зря ей не думалось, что она скачет на старом осле. (Нет и нет! Стариков надо щадить. Я мог теперь упасть на пол гораздо серьезнее — упасть спиной.) Скачка не прекращалась ни на секунду.

А Рая молодец! Распалась, разыгралась вовсю, вот только во тьме мы с ней опять куда-то тревожно сползали. Но куда? Оседланный, я никак не мог сообразить, где у стола края. Как на льдине. Я даже не знал — лежим мы на столе вдоль или поперек.

— А как она?.. Как?.. Ну, скажи?.. — спросила.

Это уже после. Это уже Рая на отдыхе. Уже когда мы с ней тихо-тихо лежали рядом.

Я тоже расслабился. Все-таки лежали мы, как оказалось, вдоль стола, и можно было свободно вытянуть ноги.

— Чего молчишь?.. Как она? Скажи. Скажи. — Раечка меня расспрашивала и даже выпытывала. Женщина есть женщина. Люблю таких! У нее горели глаза — и еще оставались силы на слова, *на подробности*. (Притом на подробности не нашей с ней любви, только-только отгрохотавшей на столе, а совсем другой любви — ей чужой и от нее далекой!)

Лежали рядом в обнимку, усталые, выдохшиеся, а все-таки она спрашивала *о ней* — об Анне. О такой красавице. Как она любит? (Шепотком на ухо — *как дает?*) И бывало ли с ней вот так взалхб на жестком столе?

Что-то я, помнится, плел и отнекивался, мол, о женщинах не болтун. А Раина заинтересованная речь вдруг в тишине осеклась. (Словно бы Рая подпрыгнула от меня опять куда-то вверх и к самым облакам.) И мои слова, что ей в ответ, тоже запнулись. (Я тоже подпрыгнул в тишине к белым

облакам в небе.) Потом говорили — кажется, о дружбе и любви. Но на очередной запинке мы оба теперь подпрыгнули к белым облакам и разом заснули. Я на полуслове, Рая на полувсхрапе. У нее такой легкий милый прихрап. Ручеек. Ручеек убаюкал нас и унес.

Подхватились мы уже засветло.

— Ма-ама!.. Мама родная! — вопила Раечка, бегая кругами у стола. Вскрикивала, хватая там и тут что-то с пола.

Врачи вот-вот придут. А у нее (вспомнила!) на главном коридорном столике, где пост и пульт, лежат горой медикаменты. Даже пантопон! Наркотик. Отчетный... Как раз на самом виду (кололи ночью шизам из пятой)!

Убежала, велев мне собрать и сунуть бумаги в шкаф. Нет, не запирай. Он у них и был такой!

— А?

— Шкаф был на ночь открытый.

Теперь я забегал кругами, поднимая с пола то и это. Вдруг до меня впрямую дошли ее слова *убери бумаги*. Слова дошли смыслом — среди прочих бумаг это же *мои бумаги*. Рая их загодя извлекла из шкафа. Нашла и выложила. Мое ДЕЛО. Вот оно. На столе. Подумать только! На нем мы и резвились.

Я метался от стола к створкам шкафа — и обратно. Я то складывал бумаги пачками в шкаф. (Чьи-то.) То торопливо листал, читал выбранное Раей из всех прочих ДЕЛО. (Мое!) Наконец сосредоточился. Стал разбирать ровненькие каракули Башалаева. Ага... Плевать на мои АНАЛИЗЫ... Не надо и про МОИХ ЖЕН. К чертям СНЫ!.. Заключение... Вот... Вот... Было как в шпионском фильме. Сердце подстукивало.

Каждый миг я ожидал звучных коридорных шагов. Листал и читал. Запоминал. Я, правда, не фотографировал. Не щелкал, раз от разу (финал фильма) приставляя вплотную к засекреченным бумагам шпионский аппаратик, крохотный, как кал мухи.

Успел.

Когда я шел мимо Раечки, она уже у пульта — восседала на посту. В полной готовности. Дежурный столик был прибран, чист, сверкал. Темнел только телефон.

Уже успокоившаяся, в ослепительном белом халате, Рая поманила меня властным пальчиком. Велела мне причесать всклокоченную седину. И шепнула с улыбкой на ухо:

— У тебя видок, будто ты всю ночь трахался.

А в палате поутру тихо. Сосед-шиз еще спал.

Но появился жгучий Жгутов. Под мышкой врач держал мое ДЕЛО. (То самое. Примятое.) Он сел на табурет напротив моей постели и наскоро со мной переговорил. Он как-то слишком небрежно со мной расплевался. Сказал, что мной довольны и что меня выписывают — три недели прошли. Оплаченное обследование завершено.

— И что? — спросил я. (Хотя уже знал — что. Прочел.)

— Ничего. Жизнь продолжается. — У него был насмешливо-вежливый голос. То есть после Башалаева он уже никаких других слов мне не скажет. Таков, мол, их стиль. Не вправе он со мной открыто и по-человечески. Хотел бы, но не вправе! (А у меня не шло из головы, как он увидел меня голого в душевой — возле голой Раи. Он тогда остолбенел.)

Могли меня выписать хоть сегодня. Но ведь пятница, улыбнулся Жгутов. Придется пейсенту пересидеть на больничных кашах томительные выходные. А уж в понедельник — полный вперед!

— Но, может быть, вы хотите поскорее домой?

После любовных мук на кабинетном столе хотелось мяса. (Завтрак.) Я сразу же попросил котлетку сверх. Мямлил, что мне вот-вот уезжать... вот-вот... когда, мол, еще я съем такую котлетку!

Мне дали даже две лишние. Посмеялись. Бедный подголадывающий старикан!

Я же, сдерживая улыбку, думал о заключении врачей. Я был здоров. Я был здоров!.. Я был совершенно здоров! Единственное, что в профессорских каракулях настораживало, так это их каменное слово НЕАДЕКВАТЕН. Я раздумывал над ним, жуя котлету за котлетой. То есть как это теперь понимать?.. Психика в норме (записано!). Никакой патологии нет (записано!). *Однако временами неадекватен по отношению к реалиям жизни.*

Вот как виделось это игривое профессорское НЕАДЕКВАТЕН — камень, и тропинка моя у камня *временами* вдруг круто раздваивалась: туда? или сюда?.. Камень-валун меж двух разбегающихся степных тропок. Но естественные возрастные отклонения невелики (записано!). Жизненные функции в пределах нормы (записано!). А дальше для баланса еще одно интересное словцо. *Неадекватность воображения пациентом, ВПРОЧЕМ, контролируется...*

Словцо ВПРОЧЕМ — оно так и заплясало у меня перед глазами. Радостное, спасающее, оправдывающее, гениальное словцо! Они ведь написали мне кое-что впрок! На всякий опасный случай (*настучали* впрок и мне во благо), что мое воображение усиливается к ночи. Что самоконтроль с некоторым запозданием... Но тем яснее победа, триумф. Всем бы нам в наши годы (в мои, в мои годы) такое великолепное ВПРОЧЕМ! Завидуйте!

Однако же какова жизнь: повсюду страсти! Врач Жгутов не просто так был недоволен тем, что их с Раей разделили на дежурствах. У него были виды на нее. Жгутов на нее целился. И целился он, как оказалось, тщательно и издалека — уже полгода!

Рая (вот-вот обед) отозвала меня пошептаться. Доверие на доверие — теперь она делилась со мной сокровенным. «Представляешь, он сам заговорил. И пригласил меня!..» — рассказывая, Рая смущенно сияла.

Жгучий Жгутов пригласил ее назавтра в дорогой ресторан. (Субботний вечер. Оба не работают.) Вечером в ресторан — а потом, сказал, выпьем у меня (у него) дома кофе. Мой кофе, сказал, лучше, чем в любых ресторанах... «Сам кофе варит, представляешь?..» Я представлял. Оказывается, он ее не трахал. Оказывается, жгучий врач только собирался. Уже полгода. И вот решился.

Рая даже замахнулась на меня крепким кулачком. Неужели непонятно, почему она нервничает? Он ей симпатичен! Он ее врач. Он ее, можно сказать, шеф... и... и уже ведь полгода! Разговариваем с ним. А после обхода больных шутим, смеемся. Жгутов одинок, все знают, — и стало быть, женщине какой-никакой шанс! Неужели непонятно?..

Еще одна причина ей понервничать — та, что он не просто врач, а психиатр. Психиатры не бывают стеснительны. Молодой врач Жгутов, едва обговорив завтрашнюю встречу и свой вкусный кофе, прямо спросил — как у нее, у Раисы, с другими мужчинами. А она была не готова к вопросу. Понятно, что не готова! Она в тот миг уже совсем разомлела от доверия. (Оттого, что пригласил. Оттого, что к себе домой. Кофе...) Она как-то глупо призналась — она честная молодая женщина — у нее мужчина бывает где-нибудь на отдыхе, раз в год. Ну, два раза в год, не чаще. Так получается. Такая линия жизни. Кончается лето — и кончается любовь.

А что за человек был у нее в этот год — кто, так сказать, последний?.. Растревоженная Раечка, вконец смутившись, уже и рот открыла, чтобы честно и с ходу меня, пациента, сдать... но помешали. «Башалаев! Башалаев!» — вскрикнули вдруг с тревогой на этаже. Оповестили. Кажется, кричала Старшая. Башалаев как раз появился в психушке, приехал ворчливый, раздраженный, — и тотчас все они, маленькие, кинулись к станкам.

Жгутов, напав на след, теперь обязательно поищет, посчитает, поудит «в темной воде прошлого». Ну, не вообще, не пальцы загигать, однако

спросить спросит (даром, что ли, психиатр). А то вдруг уже завтра вновь деликатно поинтересуется — кто, мол, у тебя, дорогая, был крайним?

— И что ему сказать?.. Если спросит — если уже завтра?! — Рая была растеряна. Молодая! (Вот не ожидал. Медсестры такие находчивые!)

Но и я советчик никакой, разве что своеобразный. Одно дело рассказать Жгутову с легкой талантливой слезой некую историю, мол, расстались с моряком летом, уже год назад, а еще лучше (за давностью) все два года. Растаять ей нельзя. Что за беспомощность! Врать надо красиво и не больно. Как не понять!.. Ух, эти женщины!.. Одно дело уплывший в море красавец морячок или бросивший тебя (упорхнувший в облака) весельчак летчик... и совсем другое — признаться и ошарашить... от скуки, мол, и от нечего делать *как раз вчера мне вставил вон тот придурковатый дедушка... пейшент...*

— Мне так трудно врать. Не умею. И еще боюсь, что после забуду, чего наврала... — вздохнула Раечка.

И глазками покосилась на меня:

— А вы?.. А мы... Как дальше?

— А что я? К чему тебе я?.. В понедельник уеду.

Она опять растерялась:

— Ты чё, ты чё! Ты же прикольный старик!

Но уехал я (так получилось) в этот же день — в эту самую пятницу, когда после обеда за мной «уже прибыли» — приехала Аня, «Анна Сергеевна». Меня тотчас выписали.

Анна Сергеевна вела машину отлично, на светофорах как по маслу — спокойно, ровно. А мое ДЕЛО с заключением лежало у нее на коленях.

Сама о нем заговорила:

— Вы даже не спрашиваете о заключении врачей. Никаких секретов нет! У вас там все хорошо. Все нормально... Есть там мелкие оговорки. Но в целом...

— А я знаю, что в целом все хорошо.

— Почему?

— Иначе бы, Аня, вы не сидели со мной рядом так спокойно.

Она засмеялась:

— Да. Вы угадали... Это тоже правда. Я пугливая. Есть даже причина... Со мной был когда-то случай.

Но тут мы как раз повернули к важному офису ее важного мужа.

Нелегкий был туда подъезд, машины там бросают, как хотят. Полусотня так и этак сверкающих машин, одна поперек другой!.. Аня трудилась изо всех сил, маневр и еще маневр — и подрулили благополучно. Затем мы (я вслед за Аней) поднялись в этот офис. Так у них изначально было задумано: Аня заезжает за ним (за мужем) после работы — и дальше прямиком на дачу. В наш поселок.

Персона он важная, и рабочий день, конечно, не нормирован. Так что мы с Аней изрядно ждали. Но наконец уже ехали домой. Дорога возвращения сложнее, за руль сел он сам. Поток машин рвался за город. Зато я теперь сидел рядом с Аней на заднем сиденье. Это она так мне доверяла (после нашего с ней в офисе разговора). Мне же вдруг стало не по себе — все хотелось взять ее за руку. Хотя бы прикоснуться. Ее красота заново ошеломила меня почему-то в машине. (Словно пробудился после затянувшегося пошлого большого сна.) Я умирал, так хотел прикоснуться.

*Впрочем*, как справедливо отметили в ДЕЛЕ, я себя контролировал. Я нет-нет и считал до ста. Зевнув, я нарочито отворачивался посмотреть, что там мелькает за боковым стеклом (не видеть ее узкие руки, сверкание белых коленок). Мое напряжение — это легкий озноб. И уже опасно думалось про лунную ночь: их дача от меня совсем близко...

Наш с ней разговор в офисе произошел у солнечного окна. Это в самом торце пустого их коридора. Специально отведенное для ожидания (и для болтовни) место, где на виду приманчивая кожа кресел, фикус, светлый ореховый столик, а на плоскости столика пара свежих пепельниц на изготовку — кури, дыми! Шагах в трех от их буфета. Мы поначалу как-то сразу пошли к буфету, но уже на ходу выяснили, что Аня не хочет кофе, а я не хочу (пока что) чай. Так что мы просто устроились в креслах, расслабились и ждали ее мужа с его ненормированного рабочего дня.

Ничуть не томились. Аня вдруг рассказала. А я, примолкший, как-то не уловил, что в рассказе уже знак — ее знаковое, хотя и осторожное со мной объяснение. Я думал, собираемся долго сидеть и ждать, да и сколько уже ждем, — а от ожидания чего не расскажешь. Рассказ был о маньяке, который на нее напал. В лифте. Когда в их доме летнее безлюдье. Первый раз в лифте он с Аней просто проехал вместе. Просто осмотрелся. «До свиданья» сказал. Во второй раз напал... Для начала он приставил к ее глазам длинную плоскую штуковину из металла, похожую на пилку для ногтей, — но не с насечками, а гладкую, даже сверкала. («Заточка», — кивнул я.) И стал стоя ее насиловать. (Держа левой дрожащей рукой заточку то у ее лба, то у горла.) Аня онемела, обмякла. Правой, тоже дрожащей рукой лез к ней через живот в пах. Сдвигал юбку книзу. Сорвал крючки... Левая с заточкой вверху, правая внизу — мужчина в позе «кофейник». Лифт остановился на этаже и замер. На это мужичок тоже рассчитывал. Пусть лифт постоит.

Он вполне изучил их задумчивый лифт. Он и тишину брал в расчет. Но на его несчастье, на этаже — ожидая лифт (ждали лифт, чтобы уйти из дома, чистый случай! про возвращение Ани домой не знали) — оказались люди. Оказался ее муж и его громадный телохранитель. Мужик с заточкой так и застыл «кофейником». Телохран растерялся, а муж нет. Он за ворот рванул насильника на себя. Тот и вывалился из лифта... А уж тут всюю телохранитель. Это сейчас у мужа (его повысили) телохранители крепкие, но издали, если не знать, оба вполне незаметны (профессионалы). А тогда были два мордворота. Обычные недоучившиеся менты. Огромные. Первый свистнул второму, и здесь же, на этаже, на лестничной клетке, насильника стали бить. Но как бить! — охнула Аня.

От переживания заново Аню стало трясти. И наш светлый столик стало трясти тоже. И обе настольные пепельницы к решающей минуте рассказа (минуте расправы) впали в мелкую дрожь.

— Как же теперь бьют людей... Как бьют! — проговорила Аня.

Будто она знала, как их били раньше.

Я сидел рядом, ей сочувствуя. Я только поприжал зябко подпрыгивающие пепельницы.

Но в паузу я, конечно, встревал — я находчиво спрашивал Аню что-то по мелочам и тут же с ней соглашался. Как обычно спрашивает и тут же соглашается человек, облегчая другому трудный рассказ.

Помнится, я думал о том, как решает одна-единственная минута. Я думал о растерявшихся телохранителях. Я думал также о наших старинных лифтах и о возможностях там глухой защиты, думал о всяком-разном — вот только о себе я не думал. Маньяк — это маньяк, а я — это я. Ни на чуть я не спроецировал на себя тот случай.

Помнится, я даже обдумывал довольно сложную мысль о неизбежности существования маньяков *вообще* среди тысяч и тысяч — также и о феномене женской красоты *вообще*. (И с какой безусловностью увязано одно с другим.)

Аня меж тем как бы провалилась в прорубь собственного рассказа. Уставив глаза в пустую коридорную даль офиса, она, похоже, считала заново удары той внезапной расправы... В лицо. В позвоночник. В лицо! В позвоночник! В промельк ударов ей тогда же увиделось *его личико*... Пи-

нок! Пинок в почки! Пинок и вскрик! Кровь струйкой из уха. Кровь рваной губы. И снова в просвете кружащихся кулаков — *личико*. Аня вдруг сказала, что лучше б он ее в лифте получил, поимел. Гнусно, но пережила бы она легче. Честное слово, легче... К тому же мог быть заурядным импотентом.

— Как бьют... Как они бьют! — повторяла Аня, стиснув виски руками.

Напавшему на нее было лет тридцать пять, худой, в жалком светлом плащишке. Заляпанном кровью.

Лежал на полу возле лифта. Уже не били... С мочки сломанного на сторону уха неостановимо стекала кровь. Остренькое лицо несчастного человека.

Не ухо, «капающее кровью», меня задело. И не «рваная в крови губа». (Кровищи, этих красных клякс, если жить жизнь, никто не минует. Так или иначе.) Однако же, старый дурак, я почему-то надеялся (все мы надеемся, необъяснимо!), что таким, как Аня, не приходится видеть этих *мерзких и жалких*. Что хотя бы на таких, как Аня, не наползает, не накатывается гриб отвратно-серой жизни — этой пепельной радиации, пронизывающей весь мир и нас всех, улица за улицей, дом за домом.

— Как их бьют, — повторяла она. Красивая. Молодая. А я не понимал. И не соотнес с собой.

Слепая вера в красоту легка и всеобща. Все, как один. Живописцы, к примеру. Знаменитые, сытые, обласканные, они не могли не верить. (Когда рисовали таких, как Аня. Когда не хотели рисовать других.)

Покруче, чем *личико*... Старик, с отбитыми почками, мочившийся (случай) со мной рядом. Стоявший бок о бок и повизгивавший при каждом своем жалком капельном выплеске (вместо струи). «О-ёй. О-ёёй». Он даже повернулся ко мне, умоляя глазами, — старик старика. Но о чем? О своей ли струе просил — о своей боли? Или о серой-серенькой кончающейся жизни-жистянке? Которую кто-то сильный и великий (кто-то с небес) ему сейчас заменит на совсем другую жизнь, а? Вот сейчас же, стоя с ним бок о бок, возьмет и жизнь ему заменит! (Словно бы здесь, в вокзальном сортире, сошлись отлить всеильные боги.) А может, не о жизни-жистянке, а о той талой буйной воде, утекшей с солнечного пригорка далекой-далекой весной? «О-ёй. О-ёёй».

*Личико?* — А та женщина у дощатого строительного забора? Стояла на коленях в желтом песке, а также в изгибе засохшего ручья белой блевотины. Походя оттраханная и обобранная, она теперь пробудилась, но ровно настолько, чтобы пьяно и больно выть в небо (оплакивая мятые рубли) — опять же в небо, а? Жалкая, она еще и показывала небу на всякий случай кулак: «За что?.. За что?!» — подвывала, а что ей ответил я, проходивший мимо с затуманенным взглядом? А что ответили другой и третий? А что бы ей ответил тот, непроссавшийся, старик, — а ясно что:

— О-ёй. О-ёёй.

Других не лучше, я все-таки надеялся (известная слепая, неумирающая иллюзия), что красивая молодая женщина — это в стороне. Что красота спасает. Это, мол, по другую сторону.

Я сказал ей, на самого себя (и на ту «лунную» ночь) наконец-то оглянувшись. Сказал негромко, совсем тихо:

— Я старик. Я просто старик, Аня...

Она кивнула.

Мы оба как-то очень согласно примолкли. Такая сложилась, мол, вдруг жизнь.

Но слишком долго молчать невозможно. Как бы хорошо двое ни понимали друг друга.

— Мне тогда показалось, Аня, что вы. Вы... — заговорил я. (Нелепо, но я как бы настаивал на той своей ночной затее.) — Что вы тоже... хотели меня тогда видеть.

— Я?.. Ночью? — Она даже отпрянула.

А я тоже отодвинулся и еще показал ей свои пустые нестрашные ладони. Зачем? (Почему ладони? Потому что там не затаилась заточка?) Я не знал, как еще я мог выразить свою нестрашность — и неожиданный советливый укол за ночной приход. Я мучился, это правда.

Аня хотела что-то сказать (и очень решительно, резко), но к нам быстро шла женщина в форменном белом передничке. Официантка принесла из буфета термос с кофе — и еще чайничек со сливками. И чашки.

Мы пили кофе.

Нет, объясняла мне Аня, она не испугалась ничуть. Просто цепкая память. Как бывает в сентиментальном фильме (знаете, особенно в конце фильма!), иногда ей кажется, что тот жалкий насильник живет здесь, в поселке. Идет прямо по нашей дороге. Но не навстречу идет — а уходит. Его спина. (Хотя, скорее всего, он уже неживой, так его били.)

Наливала мне сливок в кофе, и... секундная заминка. Меня обдало теплом. Когда ее тонкая рука двигалась мимо моей. Едва ли она хотела меня коснуться (упреждая мое будущее). Это мне хотелось ее коснуться.

Второй раз мне хотелось коснуться ее руки в машине, когда уже возвращались в поселок. (Когда я, старательно выворачивая шею, смотрел в боковое стекло.) Муж вел машину, а Аня сзади, со мной рядом.

Тогда же, выглядывая в боковое, я сообразил, что это за джип не отстает от нас. Джип делал повороты вправо и влево точь-в-точь за нами — там и сидели эти два профи, неброские и крепкие, с чугунными руками.

Я шел пообщаться с моим приятелем (это Петр Иванович), а вечерок был тусклый. Было даже мрачновато. (Лунные ночи еще не приспели.) Я случаем шел мимо дачи, где Аня. Просто шел себе и шел.

И помню — увидел. С восточной стороны Аниной дачи различились вверху два движущихся светлячка. Этакие милые крохотные огоньки. Они жили парой. (Как бы в нескончаемой любви!) В полной тьме светлые точки кружили друг друга.

Но для светлячков, пожалуй, высокогато, подумал я. И тотчас оттуда басовитый мужской голос ворчливо посетовал, что «сам уехал в город, а нас обоих здесь оставил».

— Выпендривается, — ответил второй басок.

Оба светлячка сигарет вновь взлетели — вновь замерли. Двое мужчин покуривали в открытое темное окно второго этажа.

Но у меня мелькнуло только, что, может, жильцы новые с той стороны ее дачи.

Зато следующего человека в полутьме я угадал. Кто-то сутулый сидел на скамейке под жасмином. Ага! Старенький Александр Александрович. (Значит, дача Мазаркиных.)

Петр Иванович, мой приятель, был уже здесь — и от нечего делать старенького поддразнивал. (Старик дразнил старика. Мы как дети.)

— Сан Саныч, ау! Скоро выборы!

При слове «выборы» Сан Саныч, как автомат, начинал несколько вяло рыться в карманах и искать свой бюллетень. Искал в брюках, искал в пиджачных карманах. Во внешних, во внутренних. Он не спешил. Он спокойно искал. Это длилось три минуты... пять... и будет длиться все десять...

Древний старец давным-давно на автопилоте — все забыл, ничего не помнит. Я и Петр Иванович уходили по дороге, а Александр Александрович все еще двигал руками. Сидел на скамейке. Обыскивал заново карман за карманом.

Ему под девяносто. Дважды отсидел классическую «десятку». И как всегда, старый зек проголосует за коммунистов. Не все забыл.

И первая же лунная ночь стала мучительной. В пытку входило еще и то, что мужа Ани практически не было — уезжал почти каждый вечер. (Если завтра ранняя ответственная встреча, ему проще заночевать в московской квартире. Чтобы успеть выспаться.) А в эту ночь уехал неожиданно — я думал, он уже точно остается на даче (мне бы легче). Но машина вдруг вымчала из их ворот, фары, пересчитав штaketник, полоснули огнем по глазам — шурясь, я шел навстречу.

Он мог меня видеть. (Но — не разглядеть. Мало ли кто там идет тропой.) Машина ушла. Мощные фары уже вытянули свой свет по всей длине дороги.

Оставшись теперь «один на один» с светящимся окном Ани, я забеспокоился. Я боялся увидеть. В совпадающий просвет (меж деревьями и громоздкими скелетами ночных дач) ее оконце все же выныривало. Окно появлялось из черноты леса без предупреждения — внезапно. Как раз там, где я поворачивал у раздвоенной, как лира, сосны. Где кочки (и где старыми ногами надо поосторожней).

Но в эту ночь кочки под ногами не беспокоили. Кочки были как на моей ладони. Луна сияла!

Следующей ночью я осмелел и подошел к даче совсем близко, когда вдруг слева послышался громкий смех. (Это возвращались с поздней электрички.) Боясь быть узнанным, я быстро приотодвинул штaketину — и в сад. Тут меня не увидеть. Я шел меж деревьев. Сливы и яблони.

Теперь я уже не мог не глянуть на запретные ее окна. Темные, но одно окно теплится. Как свечечка.

Я был так близко от Ани. Вот и веранда, где дверь. Я стоял. Я сходил с ума. По счастью, отвлекла соседская собачонка, вдруг засуетившаяся дружески возле моих ног. Она казалась белой в лунной ночи. Еще когда я пролез в штaketник, она твякнула. Я дал ей себя узнать: «Ц-ц-ц!» — собаки, нюхнув, сразу смолкают, считая меня своим.

Кое-как я выбрался из сада. Уже плохо соображал. Слишком устал. Душа ныла. Да и ноги уже ныли... Я не смел пойти туда, к ней, это факт, но и уйти спать я не мог: кружил и кружил возле их дачи.

В конце концов стало невыносимо. Подняв глаза к высокой луне, я ей выговорил. Я был сердит:

— Чего от меня хочешь?.. Ну, вот я. Терплю. Терплю вторую ночь. Но дальше, что дальше?

*Впрочем, я контролировал себя...*

Именно, именно так, как понаписали ему врачи! Старикан Алабин себя контролировал (он успел увидеть себя со стороны). И вот какой хороший старик он был сейчас, если со стороны, — он задира голову к луне, ворчал, однако шел по дороге мимо. Он умирал, так хотел увидеть Аню, но мимо. Мимо забора. Мимо дачи, где ее одинокое оконце наконец-то погасло.

Ноги устали, болели. Старик чертыхнулся, ступив в дорожную рытвину...

Олежка появился в Осьмушнике поздним вечером. Приехал он чуть ли не последней электричкой, уже затемно, однако в доме пусто, в доме тихо, — Петр Петрович еще где-то бродил.

— Гуле-оо-на! — Зная о любовных муках (время от времени) своего дяди, Олежка только посмеивался.

Он привез старику сколько-то продуктов. Хотелось, конечно, поболтать с ним — посидеть по-родственному за стопкой-другой. Это у них называлось *поужинать с дороги*.



Но дядя все не возвращался. Стопку-другую, увы, пришлось выпить в одиночестве. После чего Олежка завалился спать.

Старик вернулся лишь глубокой ночью. Олежка проснулся и слышал его... Какая-то возня. Какая-то приглушенная брань. Старик сердито там бормотал. Кажется, каялся. Недоволен собой и жизнью.

У стариков бывает!.. Олежка заснул, но скоро снова проснулся. Он несколько раз засыпал-просыпался.

В какой-то раз проснувшись и встав, чтобы помочиться (захотелось на свежем воздухе), Олежка пошел к выходу. Шел и зевал. Ночь чуть светле-ла. Но все еще слышался голос неспящего Петра Петровича.

По ходу движения Олежка глянул в его всегда раскрытую (отсутствующую) дверь.

— Дядя! — окликнул Олежка. — Дядя. Что это вы опять страдаете?

Старый Алабин, сидя на постели, только промычал:

— М-м.

И как был, одетый-обутый, повалился на постель, лицом в подушку. Старик постанывал.

Олежка еще разок окликнул — по имени-отчеству:

— Петр Петрович... Водочки, а? Или, может, чаю покрепче?

— М-м, — стонал тот лежа, уткнувшись в подушку.

Луна и любовь, похоже, его доконали, — Олежка лишь сонно улыбнулся — и вышел к последним ночным звездам.

А старик с очередным стоном поднялся. Включил зачем-то свет...

На обратном пути Олежка увидел в дверном проеме, что старикан раздевался. (Наконец-то.) Петр Петрович снял пиджак, брюки, снял и белую рубашку, бережно развешивая свое добро на плечики. А крепкий телом! — отметил Олежка.

Неугомонный старик загремел какой-то посудиною. Задвигался. И бормотал себе под нос: «Надо! Надо!..»

Олежка метнулся к нему:

— Дядя. Не сходите с ума! Не делайте этого!

Уже в который раз по приезде сюда Олежка уговаривал Петра Петровича принимать какое-нибудь всем известное лекарство от давления. (Если это давление!) Сейчас классные препараты! У гипертоников никаких же проблем! «Дядя! Стоп, стоп!» Сию же минуту он, Олежка, толкнется к крутым Крутовым.

К Крутовым — а можно и к соседям по даче слева, там своя пара живучих стариков — спросить таблетку легче легкого! «Это же дикость, дядя!» — выкрикнул Олежка, в недавнем прошлом — читающий солдат. И — замер.

Теперь правильнее было молчать. Так Олежке подумалось. Он не мог оторвать глаз. Он каждый раз замирал и не мог оторвать глаз при этом действе.

Старик, его дядя, с опасной бритвой в руке уже восседал за столом, наклонившись над пустой белой тарелкой. Вид был торжественный. Вид был словно бы кому-то угрожающий. На миг старик сосредоточился. Раз — и решительным движением он надрезал левую у запястья. Пустил кровь.

— Средневековье! Дикость! — шепотом вскричал Олежка.

Он все выкрикивал про дикость — а старик рассуждал спокойно:

— Да, диковато. Это правда... Но мой дед (а твой, между прочим, прадед) так поступал.

— Твой дед, дядя, а мой, *между прочим*, прадед жил в прошлом... нет, уже в позапрошлом веке! Это всё были придурки. Представляю, какой это был мудака! Он наверняка верил в леших! в домовых!

— Неправда. Он не верил в нечисть, — отвечал старик, сливая кровь вялой стружкой.

В тарелке красного было на палец. Немного. Не так уж много. Старший Алабин показал глазами на бинт, и Олежка, спохватившись, перевязал ему руку... Продолжая бранить родного ему, но несомненно пещерного человека.

Петр Петрович выпроводил племянника из своей комнаты. Оставшись один, сразу лег. Он притих. Теперь-то он уснет.

Теперь-то я усну. Кровопуск действовал на меня лучше таблеток, и дело, конечно, не в дедах-прадедах. Таблетки я перепробовал. Они бы не удержали меня дома. Еще меньше они удержали бы меня в саду, вблизи Аниных окон. В какую-то минуту я бы шагнул через тот порог.

После кровопускания душа ныла. Но помаленьку.

Переживал он за меня! Олежка хороший парень. Но что-то в разговоре меня кольнуло. И я ему выразил. (Возможно, несколько напыщенно, но уж зато прямо.)

— Ты тоже — Алабин. Фамилию надо поддерживать.

Он только хохотнул:

— Фамилию?.. О чем это вы, дядя. Да кто в наши дни поддерживает фамилию!

В его смешке вновь послышалось нечто — вроде как грубоватый намек на родного дядю. Только-только так славно поддерживавшего фамилию в психушке.

Но ведь мне нечего таить. Я открыт.

— Ты хоть знаешь ли заключение врачей обо мне?

— А?

— Заключение врачей не знаешь?

Он не знал. Я дал ему копию бумаги. То-то, мой милый!

Олег прочитал. Мне показалось, он разочарован. И врачами психушки отчасти разочарован (результатами их обследования) — и мной, вернее, моим столь скорым и свободным оттуда возвращением. Он, кажется, загрустил. (Уже было настроился носить мне передачи! Приятно же, когда дядю запрут на полгода.)

Это я так шучу. Это я так его поддразниваю. Он меня любит. Я знаю. Потому и поддразниваю его. Мы — родные.

В подробностях (и с удовольствием) я ему поведал, что как ни крутили, как ни вертели эти ершистые врачешки и даже сам Башалаев, а накрутить-навертеть мне лишнего так и не смогли. Слабо им.

— Ты понял?.. Я всего лишь неадекватен к жизни, мой мальчик.

Я отступил чуть в сторону, чтобы видеть его молодое лицо. Засмеялся — и внятно ему сказал:

— А кто сейчас адекватен?

На третью ночь луна забралась так высоко, что я на нее не смотрел. Я лег спать и решительно отвернулся к стене.

Луна выше — ночь светлее. Это так забирает!.. Это меняет мир. Меняет человека. Вот поэтому я лег, отвернувшись от всей лунной торжественности, и сразу же настроился на сон. Лицом к стене. Без размышлений... А потом вдруг встал, быстро оделся и вышел. Сначала к кустам боярышника. На тропу. А дальше тропа повела, ноги шли сами.

И надо же такому произойти в минуту моего там появления: единственное светлое окошко (в ее спальне) как раз погасло. Но вот что сначала!.. Сначала Аня к окну подошла, приблизилась и в законную темноту взгляделась. Я тотчас взволновался. Она смотрела. Она прилипла к окну на полную минуту, не меньше!

Однако, чтобы себя контролировать (урок Башалаева), я стал над собой и над своим воображением подсмеиваться. Подумать, мол, Аня подумала у

ночного окна (иронизировал я), да только не обо мне, а о том битом маньяке. Которого она все еще боится. (Жалеет и боится.) О нем ее ночные мысли. А не о тебе, глупый старик!.. Так умело я себя осаживал. Бабец и луна. (Именно так, по-башалаевски.) Держал себя в узде — ирония, сарказм, все как надо. И я не понимаю, как это я опять направил туда шаги.

Я уже прошел калиткой. (Она подумала, подойдя к окну, *все-таки обо мне...*) Я уже обогнул дом, чтобы войти со стороны веранды. (Дверь там легкая, *никакая*.) Если ее муж уехал, машины нет. Но посмотрел ли я сквозь яблони в сторону их гаража? Вот этого я не помнил. (Ворота гаража в случае отъезда были бы слегка приоткрыты...)

Прихожая, как и в тот раз, мне показалась (при луне) огромной. Я повернул шаги сразу к спальне и, чуть робея, приостановился. Но луна так сияла! Разбрызгивала!.. Отвага и любовь переполняли мое старое сердце.

Я стоял на предпороге. Нет, я уже шагнул: стоял в трех, что ли, шагах от ее постели.

Но я не услышал в чуткой тишине дыхания спящей. Замер... Вместо сонных придыханий с той стороны, где подушки, послышался ее, Ани, негромкий мягкий голос — она спросила: «Это вы?..» В лунной полутьме и тишине расслышалось совершенно неожиданное: «Это вы?..»

Простенько так, буднично спросила, чтобы меня (и себя) не напугать. Я сказал — «да». Что я еще мог. И стоял... застигнутый на месте воришка! Стоял весь вдруг в робости. (И в стыде за эту ночь. За высокую луну.)

И тогда она сказала (я же знаю: думала, она думала, когда на миг подошла к окну) — «Идите ко мне».

Я вернулся в Осьмушник умиротворенный, тихий. Покой и счастливая слабость. Как вдруг со стоном-вскриком во мне прорвалось...

Надо же, как меня взволновало! Как разобрало. Всерьез и со страстью я себе доказывал, повторял, что есть же и во мне что-нибудь привлекательное, что бывает приманивающая стариковская красота... что Аня сама ждала... что в окно выглядывала!.. и что в конце концов ее муж тоже не гиацинт. Ей тридцатник, а ему-то полтинник! (Могла и во мне увидеть.) Быстро-быстро я говорил, спешил сказать (сам себе), что нет, нет, нет!.. не только из-за ее испуга и ее жалости ко мне. Сам акт был так скромн, тих, это правда! — нас словно бы притушило, приструнило лунной, вдруг засиявшей в окна. Но ведь как-никак любила! Не только же из боязни за меня и за мою непредсказуемость! Меня мучил этот рассудочный итог. Я что-то бормотал. Я до боли прикусывал губу. (И как в детстве, не соображая, насасывал соленькое.)

Бормотал, уверял себя... А насмешливые и злые зубы-зубчики знай подгрызали старику его нелепое сердце. (И луна спряталась. Не хотела, подруга, очной ставки.) Я сел прямо на крыльце, ноги в траве. Я даже курить не мог. Думать не мог. Пожалела? Ну да — пожалела. Это Аня. Этак-кий шрам на ее психике. (Чтоб у меня из оторванного уха не прыскала струйка пульсирующей крови?.. Чтоб с отбитыми почками жалкий старик не вскрикивал, мочась в общественном туалете: «О-ёй. О-ёёй».)

Если думать о себе долго, думать напряженно и жестко, то к душонке (к своей) свирепеешь. И как ни пристраивай к ней после самооправдание или находчивую мысль, они неинтересны.

Ты чё, ты чё! Ты же прикольный старик! — как-то вяло подбадривал я себя словами женщины (это казалось важным!) — словами медсестры Раи. Прикрываясь ее добротой, как охранной грамотой. Прикрываясь простецкой добротой одной женщины от напугавшей меня доброты другой.

Я, видно, все еще бормотал. (Со всяким бывает.) Это как заклинание-самоделка. Я чуть ли не затверживал эти и другие обнадеживающие меня слова, сидя на боковине крыльца, свесив в траву ноги.

Но вот проснувшийся Олежка, рослый, стоя в одних трусах за моей спиной, спросил несколько насмешливо. Он позевывал:

— Это вы, — (зевок), — про себя, дядя?

То есть что я прикольный и что вообще неплох собой старикан. Это даже сонного его развеселило.

— Неужели про себя?.. Дядя! Вы только не сердитесь, но вам следует знать правду. Вы старый козел.

Он позволял себе такое. Он считал, что человека лечит только принижающая его правда. Что она врачует и что именно она, правда-матка, отучит меня наконец от ночных походов. (Называлось *правдой в полном объеме*. Он выудил ее из телящика. Как-то услышал там болтливого врача и закричал: «Дядя! Дядя!» — звал меня к экрану.) Старых психов тыкать нюхом в их собственное дерьмо — модное лечение, кто, мол, его не знает!

— Вы плохо одеты... Вы часто неряшливы... Пахнете слегка, чтобы не сказать, воняете... Вы же себя не видите со стороны.

Он не прав. Не прав! У меня старый, но приличный костюм. У меня всегда белая отглаженная рубашка. Само собой, я подстригаюсь, моюсь, я чист...

— И не обижайтесь, дядя.

— А кто обижается, мой мальчик? Все честно.

— Идите спать... Хлебните, если хочется, водочки — и в постель. Я тоже... пойду-уу. — Олежка медленно зевнул.

Я поднялся с крыльца. И точно, пора. Рассвет серенький — краски блеклые. Рассвет, похоже, тоже лечили словом; принизили, как смогли. Но все равно рассвет.

— Вы еще держитесь, но вот-вот... Слышите, дядя, — вот-вот. В этом правда жизни. Вот-вот изо всех живых дыр начнет сыпаться песок...

Он продолжал меня так осаживать. Считал, что правда жизни одна — и именно такая. Но я вдруг нашел, что ему на его правду ответить.

Я сказал:

— *Вот-вот* к каждому приходит по-разному, мой мальчик.

И добавил:

— Мой песок посыплется, когда я уже буду в земле сырой.

— А вдруг — нет? — Олежка улыбнулся.

Этот молодой засранец (в том смысле, что молод слишком) еще и присвистнул. Все равно люблю его. Родной человек. Прямота солдата.

Небось подумал: что вы, что вы, дядя! — в какой такой сырой земле?!. По нашим временам *сырая земля* — это слишком. Дороговато это обойдется. Даже не надейтесь. Я вас *сожгу*, дядя. Мы иногда с ним жестко говорим. Зато любим друг друга.

Луна чеканила черты ее лица — и какого лица! Аня очень-очень легко, однако же отвечала мне лаской. Ее рука сжимала мою. Она (ее рука) слышала, как я задыхался слепым счастьем. Она (ее рука) в ту ночь разговаривала со мной, незамысловатая азбука пожатий. Ничего больше не помню. (Ничего и не надо помнить.)

Долго ли я был там — часа два? Как это я, старый, в ту ночь не дал дуба!.. Помню все же, как она меня спросила. Подняв к луне мою забинтованную в кисти руку, Аня рассматривала — что это вы? Поранились? Где?.. А я только тупо и счастливо уставился на сияющий в окне желтый диск.

Негромко шепнула мне на ухо, что, может быть, хватит. Он может рано вернуться... и выпроводила меня.

Два дня Аня куда-то отлучалась, они с мужем раз от разу садились в машину и уезжали. (Подыскивали себе? Смотрели?..) А потом они вернулись — и в скорые полчаса съехали совсем. Сменили дачу.

Я видел, как два неброских, но крепких телохранителя выносили чемоданы. (Я ходил отдаленными кругами и смотрел. Я, помнится, все спотыкался.)

Хозяин Жуковкин (сдавал им дачу за изрядные деньги) искал теперь новых жильцов. Про только что съехавших, про Аню и ее мужа, говорил с полупрезрением и полувосхищением:

— Надо же, всю мебель запросто оставили!.. Взяли — и подарили.

## ЗА КОГО ПРОГОЛОСУЕТ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

— А после — у меня настроение портится.

— Почему это оно портится?

— Не знаю.

— А что значит «после»?

— Ну... Ну, когда все кончено.

Послушать со стороны, мы говорим о чем-то интересном.

А говорим мы о выборах. Мой здешний приятель (Петр Иванович) цепок, как клещ. Спрашивает до упора. Настроение портится «после» — это через месяц? Или через год? Или «после» — это аж к следующему голосованию?.. А я не умею ему объяснить. Я и себе объяснить не умею.

«После» — это в ту же секунду.

Поначалу я, должно быть, как все — иду и улыбаюсь, немного выпил, настроение приподнятое. Нет, я даже радуюсь, я в восторге! Я похож на больного, выпущенного домой на субботу-воскресенье. Когда прохожу улицей, я чуть пританцовываю. Я влюблен в сам воздух! Как-то меня остановил и обнюхал алчный малаховский мент. Уловил-таки мой скромный сегодняшний дых, но только погрозил пальцем. (Я тоже уловил его дых.)

Что ни говори, а чудо голосования — это великая *игра Свободы*. Или даже так — свобода *великой Игры*. Все еще с заметной торжественностью я вошел в интимную кабинку и задернул за собой шторку. Затем — к кубу-ящику. И... опустил бюллетень. Его уже не вернуть (и не подделать)! Но едва мой скромный, сложенный вдвое лист зашуршал, утонул, как во мне легонько оборвалось.

Едва-едва проголосовал (а проголосовал я правильно, как всем нам лучше!), во мне что-то пропало — и нет его. Что-то исчезло. Как будто обманул ребенка. Пообещал ребенку и не сделал. (Или просто так обманул.) Мальчишка даже и знать не знает. Идет себе, трещит палкой по штакетнику. Или мяч пинает.

Да и солгал-то я мальчишке без мук. И даже из каких-то вполне правильных педагогических соображений солгал. Мальчишка и побежал себе дальше, веселый, обманутый, мяч пинает... бежит, бежит!

Этот мальчишка — мое «я». Мое старое, тертое «я».

— Да уж заходите, если у калитки стали! — Это нам с улыбкой Маша Сырцова. Смешок ее не обидный. Но если бы обидный, мы с Петром Ивановичем все равно бы зашли — покладистые!

Сам Толя Сырцов в саду — сидит мрачноват. Маша (несколько демонстративно) от него в стороне. Но нам-то в саду важнее всего их стол — большой, длинный стол с выпивкой, и стульев вокруг стола полно. Сядь так или этак — прекрасно, когда в саду много стульев!

Пока угощают, мы свою не вынимаем. Она у Иваныча в кармане. (Смотрим, как дело пойдет.) Маша пока что пошла нарубить нам огурчиков, лучка, помидоров. С веранды, стуча ножом, она нарочито весело кри-

чит нам о том о сем. (Тоже отчасти демонстрация.) Толя и Маша в затяжной, день за днем, разборке.

А я, знак старения, люблю красивые пары. И некрасивые, впрочем, тоже люблю: во всякой паре есть музыка. Толя сидит на стуле, а Маша, подойдя сзади, вдруг руки, локотками вперед, ему на плечи. Стоит сзади, чуть навалившись ему на спину. И голову — к голове Толи, нашептывая на ухо. Такая вот поза. Проходя мимо, я много раз через штакетник видел их и прикидывал — почему нет такой скульптуры? (Когда женщина сзади.) Тоже ведь НЕЖНОСТЬ. Или ЛЮБОВЬ. Как угодно можно бы назвать!.. Или ДОВЕРИЕ. (Вот уж дефицит.) Наверное, потому нет, думал я, что в бронзе или там в камне возникнет непременно громоздкое. Возникнет пугающе карикатурное. Вроде как она, женщина, измученно толкает вперед его, сидящего в инвалидной коляске. Вперед и вперед. Уже на нервном пределе. Или же (как знать!) от избытка любви душит его, вдруг подкравшись сзади. Камень как камень, но живьем — это красиво. У них красиво. Еще у них замечательно, когда Толя свистит. Красивый сильный свист...

— Я вот все думал и думал. Твой двоюродный Саша — просто говно, — сообщает жене Толя.

Сообщает он после бесконечного молчания. Сообщает как некую важную (где-то наконец вычитанную) новость.

Маша вернулась к нам с огромной миской нарезанных овощей. Ставя закуску на стол, отвечает ему негромко:

— Долго думал?

И уходит опять на веранду. Забыла для овощей постное масло.

Они мне нравились, когда Толя свистел, а Маша опускала глаза. Муж и жена, похожие на влюбленных. И еще когда они так странно друг к другу прижимались: она стоя сзади, а он сидя на стуле. Красивая пара, которая кончилась.

Словно бы комедия! Как только выборы или иная политическая встряска, у них в семье нелады и почему-то сразу кончаются деньги. А кончились деньги — кончилась красивая пара. И тотчас полезло разное — он вдруг поминал ей ее еврейство, вернее, еврейство ее «отвернувшейся родни», а она бранила его за начавшееся вдруг пьянство и гульбу на стороне. Он ей — двоюродного Сашу и какую-то там «насмешку над бедностью», она ему — ночи вне дома и какую-то «кривоzubую Гальку».

И каждый раз получалось, что оба они, Толя и Маша, пригреблись на своем счастье и как-то слишком скоро вылежали его, как старое одеяло.

Конечно, наш Толя классный музыкант и мужик. (Маша тоже умеет язвить.) У нашего Толи все с вдохновением. Щедр. Добр. Но на чужие деньги. Кончились заемные деньги — кончился классный мужик. (Это бы ладно. Это часто бывает.) Но почему кончился классный музыкант?

— А кто же это кончился?.. Неужели я. Угадал? — И Толя громко, пьяно захохотал. Он попивал. Однажды, сойдя с электрички, черный лицом, он натолкнулся на меня и спросил выпить. У меня что-то было. Когда зашли, он выпил из горлышка сразу все полбутылки. И стал кусать свои тонкие руки, в глазах слезы. Так его унижали весь день. Унижали — но работы не дали. Жаль, конечно. Меня, кстати, не слишком растрогало. Меня растрогало, что все выпил и сразу же все выблевал.

Чтобы не торопить чужую бутылку, мы с Петром Ивановичем закурили — курили как помедленней! Праздные гости, мы в перебранку не вступаем. Мы понимаем. Деньги кого угодно достанут.

Но Иванович все же заводит речь: Петр Иванович считает, что хороший гость хотя бы для приличия должен говорить.

— Н-да-а, — тянет он. — Выборы скоро. Дни вроде погожие... Выборы... А за кого голосовать, не знаем.

Толя и Маша смолкли, оба слегка оторопев. (От него не ждали.)

Иваныч в атаку (беседуем!) — он еще и нарочито усиливает свое недоумение:

— А что?.. Я серьезно. За кого нынче *наш маленький?*

— А? — говорю я.

— За кого проголосует маленький человек?! — И довольный собой (и прихваченным с телеэкрана риторическим вопросом) Иваныч наливает себе заслуженные полстакана.

Толя кривит рот.

Но Иванычу, видно, сильно неймется, беседуем! — и он опять и опять за свой красиво удавшийся зачин — уже обращаясь к Маше (она поливает овощи постным маслом прямо из бутылки):

— Вот, говорю, погода. Погода какая стоит... а голосовать хер его знает... — И прикусывает язык, спохватившись насчет не той лексики.

Толя, затягивая кривую улыбку, наконец откликается:

— Тут, Иваныч, не угадаешь... Кто за кого. Вот Маша — за НТВ.

Иваныч удивлен:

— НТВ?.. Разве есть такая партия. Я и партии такой не знаю.

— Кому надо, тот зна-ааа-ет, — тянет Толя. И следом начинает что-то насвистывать. Но первые же красивые звуки обрываются. Звуки замирают. Кривизной рта не посвистишь. Тогда Толя тоже выпивает полстакана и смотрит вверх — на верхушки высоких сосен. Смотреть — это у него получается.

Маша только-только ополоснула руки (умывальник у них прибит прямо к дубу. И полотенце на суку. Чтоб близко. Чтобы у стола.) — с чистыми руками, проходя мимо мужа, она зашла сзади и локти ему на плечи. (Словно расслышав мою эстетическую заявку.) Склонилась к нему. Все в точности. Попытка примирения. И губами к его уху. И висок к виску. Но не шептала — сейчас, в споре, этого было не надо.

Скульптура состоялась. Мужчина весь застыл — лицо окаменело. Даже губы рельефны. И даже возник античный слепой взгляд вдаль (вдруг лишивший Толю зрачков). Но, едва зафиксировав мраморное двуединство, Маша ушла. Только и всего.

Нас, старых нешумных выпивох, они зазывали, чтобы подвернувшемуся словом не ударить друг друга слишком больно — слишком хлестко и резко. Мне так казалось. Каким-то неведомым нам самим образом мы помогали им не сжигать все мосты. При нас их собственные слова прослушивались ими «со стороны». Возникал стереозвук (стереослышимость звука) за счет двух молчаливых пьяненьких отражателей.

Нет, они не зазывали нас к себе так уж явно. За Иванычем и за мной на улицу, разумеется, не выходили. И из-за штакетника нам не кричали, нас завидев. Но вроде как если уж вы, старые, топчетесь у калитки — так и быть, заходите. И мы топтались. Мы иногда долго там топтались.

Иваныч сам себе кашлянул. (Значило, что есть некая кривая мысль.) Притихшая пьянь, он обдумывает и с некоторым личным драматизмом решает — ждать хозяйского винца еще или уже выставить наконец на стол нашу бутылку. У нас — белая. Она у него в бездонном левом кармане. Я как ни ошупывал, как ни похлопывал со всех сторон — нет и нет. Немыслимые недра. Карман до щиколотки. Иваныч любит дать свой карман ощупать, охлопать и признать, что там ничего нет. Такой карман невольно уважает!

А я о Лидусе. (Это уже моя набежала мыслишка вкривь). В ее имени мне слышится сюсюкающее и одновременно несурзное, с привокзальной вульгарностью. Лидуся мне нравится, а ее имя — нет. Житье-бытье на да-

чах (деревня) всех нас сильно опрощает. Хочется быть поближе к крапиве. Пусть бы Лида. Пусть бы Дуся.

Лидуся и я, мы в эту минуту почти рядом — в прямом соседстве. Сажу в саду у Сырцовых, а прямо перед глазами забор и сад Лидуси. (Я и стул себе так выбрал, когда сажился в саду за стол. Стул и ракурс.) Лида-Лидуся Пескарева. Молодая. Бухгалтер. Моя новая «лунная» любовь. Как все бухгалтеры, водку не признает. Однако и за водку ничуть меня не бранила. Только подсмеивалась. *Не упал? Неужели ни разу?..* Если же я припахивал вкусным винцом, слегка укоряла:

— Мог бы и Лидочке принести.

И я этак туповато (и запоздало) соглашался:

— Мог бы.

Вдруг (что-то вспомнил) моя рука со стаканом дрогнула, плеснув вином. (Хотел унять, удержать, а выплеснул еще больше.) Подтолкнул и вилку Петра Ивановича, с нанизанным уже помидором.

— Ну, ты! Криволапый! — взвился Иванович.

Я и сам вдгон своему неловкому движению матюкнулся. (Маша, по счастью, вышла.) Стал матюкаться чаще и как-то свирепее. И по всякому пустяку. Споткнулся. Или уронил что-то... И тотчас великолепные и грязные словцо-два выпрыгивают сами собой! Возрастная брань, это понятно, но не потому, что с годами жизнь стала хуже. Не жизнь стала хуже — а я. Откуда-то из прошлого — из вековых завалов, из каких-то порушенных и уже истлевших в земле поселений, домов и хлевов (сгнили вместе с моими предками) — выскакивают, как из засады, эти дикие сгустки энергии! Залпы, оскорбляющие слух — но не сердце.

— Как не знать!.. Мы, к примеру, очень даже знаем. За НТВ мы с ходу проголосуем, — начинает вдруг снова Толя Сырцов. (Явно для Маши.)

Маша (она принесла вареной картошки) отвечает, как бы размышляя вслух:

— Но я, кажется, за ОВРаг голосовать буду.

Белые крупные картофелины под руками Маши исходят облаками пара.

— Я еще не совсем решила. За ОВРаг... — (Маша выкатывает картофелины ложкой на тарелки.) — Наверное, за ОВРаг.

А Толя Сырцов, наливая нам и себе еще по полстакана, продолжает:

— Да, ОВРаг... конечно, ОВРаг... Скорей всего, ОВРаг, а завтра, как зайдем, как только запремся в кабинку, листочек трясушейся ручонкой перед собой положим, оглянемся на все четыре стороны и... скоренько, скоренько за НТВ!

И снова Петр Иванович удивлен и негромко опять за свое:

— НТВ?.. Что-то я, право слово, такой партии не знаю. Отстаю от жизни.

Он толкает меня в бок:

— Есть такая?

Я только пожимаю плечами.

Мы не вмешиваемся — мы, гости, несем им некий мир. Для чего-то же нас зовут. (Остальное не наше дело!) Толя Сырцов, этот попивающий ядовитый эгоцентрик, уже четыре месяца как потерял работу в оркестре. Торговал в киоске газетами. Теперь просто собирает бутылки. Маша потеряла редакторство в музыкальном журнальчике, который вдруг издох. И в другом журнальчике тоже потеряла. Вот тогда-то некий ее родственник, двоюродный Саша, и подсмеялся над их неумением. «Сказать?.. Сказать, что твой Саша тогда мне сказал?»

В Толе клокочет обида. Толя несколько раз затевал сказать «до конца», но мы с Ивановичем так и не узнали у-жасной сей реплики. Нет-нет, он не скажет, потому что щадит Машу...



Что за жизнь! Он сам себе противен! Он бы и вовсе ушел из этого бездарного мира, но куда ему уйти? Некуда. Сиди здесь и поплеывай в сторону дуба (там умывальник) — и еще подначивай в сторону Маши! Нет-нет, он не скажет!..

Но и Маша ему не прощает, тотчас переводя разговор на развеселое пьянство на стороне, — да, да, красиво так погуляли! Да, да, позавчера! Когда мальчик Толик забыл где-то триста рублей и заодно потерял зубик в ночной драке. Верхний слева. Зато теперь он куда больше похож на эту свою блядь, кривозубую Гальку...

Я допиваю стакан и передергиваю плечами: у-уух!

Запущенные, отсыревшие полдачи, которые Маша и Толя никак не могут на лето кому-нибудь сдать, текущая крыша, блядь Галька, двоюродный Саша, двоюродный Паша, русские, евреи... вы нас... мы вас... Петр Иванович и я слушали в охотку, пили винишко и знай похмыкивали. Это интересно, когда русские и евреи кроют друг друга открыто — без оглядки. С любовью, но без оглядки. Есть что послушать!

И у него, и у нее уже повторный брак. Уже знали, как терять. Так что держатся они до последнего. И однако она никак не умеет стать на сторону его интересов. И однако он — уже с утра недобр, с утра усталый, — и с красными глазами! Скорей бы полстакана. Скорей бы усесться в саду и язвить... Чего не посвистишь? Или все высвистел? — хотелось спросить красивого и пьяненького озленного музыканта.

— Сидите, сидите, Петр Петрович, — удерживает меня Маша. — Додайте! Куда это все со стола девать!

Маша как раз выставила нам еще кой-какой колбаски.

И Толя тоже:

— Сидите. Мы на гостях пока что не экономим.

— Да какие мы гости. Вечер уже!

Маша (мне) с улыбкой:

— Луна какая высокая, а? — И подмигивает. В поселке знают, что я люблю побродить лунной ночью.

Петр Иванович, хороший гость, все-таки остается (допивать нашу бутылку), а мне хватило, мне пора.

В том-то и дело. Луна всю карабкается на небо. Меня уже забирает. Какие-то минуты я еще ерзаю на стуле, вроде как сейчас выпью белой и закушу. А затем, забыв поблагодарить хозяев, стремительно ухожу, почти убегаю — вдруг выскочив за калитку. (Где меня ждет мой уходящий поезд. Этот разлившийся лунный свет.)

Лида совсем томная:

— Знаешь. Я что-то наскучала. Ну и вообще... Давай сегодня помедленнее. Как сможешь помедленнее. Ладно?

— Я разве тороплюсь?

— Знаю, знаю. Но все равно... К дождю, что ли.

Женщина ближе к ночи всегда с какой-то новизной. (День в этом смысле скучнее.) Женщина обновляется то в жесте, то в слове, то в нечаянном желании. При том, что ночная обмолвка вовсе не ключ к каким-то скрытым ее обстоятельствам, просто живая женщина — как вода, волна за волной!

— Так? — спросил-сказал.

— Так-так. Хорошо... — сказала-похвалила.

Ее поощрение, это я сразу чувствовал. Ее молодость. Ее легкую усмешку.

— Так-так. Хорошо, — еще и еще похваливала она неспешный мой ритм.

Лишь отчасти мешал телевизор, там шли, кажется, уже последние предвыборные судороги. Но ведь негромко. (С убавленным звуком.) Да пусть его!.. Телевизор не мешает и не лишает нас запараллеленного удовольствия. Это известно. Как не мешает, скажем, плывущий пейзаж за чистеньким вагонным окном.

Лидуся меня потянула этак за плечо. И еще раз потянула. Той же рабочей рукой, что обнимала.

— Плечо чуть прими, — попросила непонятливого.

— Зачем? Хочешь видеть экран? — Да, она хотела видеть, хотела совмещать. У нее это получалось мило и просто. И даже честно. Лишало наши отношения напряженности. И завышенных, скажем, друг от друга ожиданий.

Отодвинув плечо, я еще сколько мог замедлил себя.

— Так-так. Хорошо, — одобрила.

Придерживаясь нарочитой ее сегодня медлительности, я испытывал, если честно, столь же медлительное удовольствие. Но старался. Неяркая радость мало-помалу обернулась неожиданной картинкой прошлого — когда-то давным-давно я (молодой) не мог выбрать направление в переходах метро. Метался туда-сюда между разделенными станциями. Между ветками — красной и синей. С ума сойти! Точь-в-точь, уверен, выбирает теперь она — мечется меж неизвестными ей станциями. Забавно, если поколения (мы с Лидусей) разнятся не временем, а лишь меняющейся суетой. Разнятся не наши молодости — разнятся лишь некие станции метро, из которых ни ей, ни мне уже не выбрать.

Пусть, пусть телевизор! Экранная голубизна в темноте — это наша свеча конца-начала века. Горела на столе. Ненавязчиво горела. Мы, впрочем, тоже ведь заняты самими собой, и что нам шумящий Жириновский... что нам Явлинский... Зюганов... Медведи... ОВРаги...

А меж тем дело у них, у спорящих, было всерьез. Так называемый «круглый стол», когда выступают сначала скучновато и по кругу, а потом выясняют отношения кратко и вразной. Кто с кем. Кто за кем. И кто — кого. Смещаясь корпусом (но не разрывая наших с Лидой медлительных объятий), я этак меланхолично потянулся к ним рукой.

Дотянувшись кончиками пальцев, шелк! — я вырубил спорщиков всех разом. Не чтобы совсем темно. А чтобы совсем тихо.

— Зря, — говорит Лида.

Ничуть не зря. За окном-то луна.

— Понимаешь, — улыбнулась. — Я загадала. На ком ты кончишь, за того проголосу.

А лунный свет так и лился! Лил себя. (Глаза охотно свыкались с колдовским сиянием.) И тишина.

Мы оба помолчали. Медленно так, слаженно трудились — уже счастливо и уже легко, как на втором дыхании. Как с горки идти.

— Зря выключил. Чем тебе мешали?

— Извини.

— Я не колеблясь отдала бы свой голос.

Она красиво это сказала. Тонко и точно копируя чью-то знакомую интонацию с экрана. На что я, душой добр, подумал — ладно! Пусть. (Не убудет же нас с ней от этой необходимой народу круговой беседы.) И потянулся опять к ящику — привстал.

Лидуся, угадав, тоже потянулась туда же и заскользила, гибко смещаясь молодым телом вместе со мной. Я хочу сказать, что, привстав, мы очень согласно держались вместе. А наново включив телевизор, согласно же сместились к постели и проделали путь назад. Все удачно.

И опять лежали в комнатной голубизне. (Вот только звук я не восставил. Ей, она шепнула, хватит картинки.)

А они на картинке тоже времени не теряли: трудились! Они убеждали каждый каждого в своей правоте. Но, конечно, особенно ярко они убеждали всех нас — напрямую с экрана, — мелькая там и *промелькивая* просветленными лицами — без единого, впрочем, звука и слова. Ах, как напористо, как зримо сменяли друг друга! И все же я не уловил, как там у них и у нас к концу вышло.

Меня отвлекло в сторону. В голубизне комнаты (и к экрану спиной) я напридумывал (помню) в эти минуты странную лунно-телевизионную реальность.

Вот какую: у нас здесь сложился свой очень изысканный «круглый стол». Я вникал — я отслеживал взгляды: этакую вязь четырех взаимно сплетенных и потаенных переглядываний (или даже подглядываний). Это был наш интим:

экран (знаменитыми лицами) уставился и безусловно смотрел (в обход моей спины) на нагую Лиду —

нагая Лидуся смотрела в основном на меня (на мое медлительно подвижное плечо) —

нагой я — на луну —

а нагая луна, завершая круг, уставилась прямо в голубеющий экран ящика — на мельканье там знаменитых лиц (обнажавших, по полной, свои души).

Засмеялась:

— Угадай, о чем я подумаю, когда буду заталкивать их бюллетень в шель?

Ну вот. Грубовата иной раз. (Имя аукнулось.) Но, конечно, прощаю. Сам не лебедь.

— О чем?.. Угадай.

— Не знаю.

— А ты угадай!

— Наверное, о том, как твой кандидат втискивается в свой «вольво».

Она фыркнула:

— Вовсе нет.

— Ну, значит, как ты сама втискиваешь попку в узкую юбку.

— Нет! Нет!

— Значит, почтальон...

Я так и не угадал. Она хохотала:

— Какой глупый!

Смеялись оба мокрые — так крепко пробил нас трудовой чувственный пот. И оба шумно дышали. Лида-Лидуся, молодой бухгалтер, однако же и ей сердчишко давало знать!

Но только-только мне сладко подумалось о незаменимой в такие минуты чашке чая, как вдруг на стене заплясал луч. Свет... Фары машины... Я тотчас встал. Лидуся тоже. (Заметалась в темноте.) Спешно мы оба оделись.

Я — к их боковому входу-выходу, что со стороны веранды. Уйду садом.

Ее мужик... Уже года три, как он у Лиды, но в последнее время это похоже на финиш: отчаливает помаленьку наш мужичок куда-то в левую сторону. (Уже нечаст гость. Не балует Лидусю...) Открыл ворота. Ага! Въезжает... Закрыл...

Пока он там, на въезде, возится, мы прощаемся.

— Хорошо, что пришел... Поболтали, — говорит Лида. — Спокойной тебе ночи.

— Тебе вряд ли спокойная будет.

— Эт точно!

— Сейчас примется за тебя. Прямо с порога, а? Все по новой.

Она зеваает:

— Э-а!.. Пусть его. Знаешь, девчонки в таких случаях говорят: второй — не первый!

Мы тихо смеемся.

Она:

— Он еще и телевизор сейчас же включит. Новостями всегда интересуется.

И тут мы оба смеемся громче, чем надо бы.

Она:

— Тс-с. С ума сошел...

Я шагнул в ночные запахи — шел садом. С глухим шуршанием (осторожно) ступал по траве. Вокруг всё были яблони, яблони... Разлапистые... Старые... Большие... Ни от кого не уходили и не бежали — деревья застыли в белесой лунной пыли.

Сад волнует. Я легко засмеялся... Я видел, что здесь, у деревьев, тоже свои выборы. Голосуют по старинке — сразу двумя руками. (Или даже тремя, четырьмя. Сразу всеми руками, сколько есть!) В полном согласии яблони скидывали ветки к белому лунному свету.



---

---

ТАТЬЯНА ПОЛЕТАЕВА

\*

## СКОШЕННАЯ ТРАВА

\* \*  
\*

Нынче дворник Виктор так чисто мел,  
Как уже нечасто у нас метут.

*А. Сопровский.*

Дождь со снегом обещает диктор.  
Сторож Александр и дворник Виктор  
Вышли погулять до магазина —  
Для меня знакомая картина.

Погляжу им вслед без осужденья,  
Улыбнусь, как после пробужденья, —  
Отстоялась времени вода.  
А они не оглянулись даже...  
Снег растаял, под ногами — каша,  
И уже не видно ни следа.

\* \*  
\*

Синева апрельских первых дней,  
И река берет начало в ней.  
Ты взбежишь на холм отлогий —  
Ноет грудь и ноют ноги  
По дороге к ней.

И любовь, которая сильнее  
Наших слов и наших снов о ней,  
Впереди кружит, как птица,  
Чтобы нам не заблудиться  
По дороге к ней.

Родина надгробий и теней,  
Издали б печалиться о ней.  
Но во рту крупинка соли —  
Слезы жалости и боли  
По дороге к ней...

---

Полетаева Татьяна Николаевна родилась в Москве. Закончила Институт культуры. Участник неформального поэтического сообщества «Московское время» (А. Сопровский, С. Гандлевский, Б. Кенжеев и другие). В советское время публиковалась за рубежом и в самиздате. Автор лирического сборника «Наука любви». Живет в Москве. В «Новом мире» печатается впервые.

## Баллада о неизвестном поэте XVIII века

Раз на исходе лета  
 Стояла у крыльца  
 Дорожная карета,  
 А в ней красавица.  
 Она, храня молчанье,  
 Нахмурилась в ответ  
 На то, что на прощанье  
 Ей говорил поэт:

*«Ты, кровь мою встревожа  
 И ум мой полоня,  
 Прости, моя надѣжа, —  
 Ты едешь от меня.  
 Я вечно не забуду  
 Любви твоей ко мне,  
 А плакать я не буду —  
 Гори ты на огне!»*

Он стук колес прощальный  
 Дослушал до конца,  
 И бросил взгляд печальный,  
 И в дом ушел с крыльца.  
 Вослед глядели хмуро  
 И жались у воды  
 Венеры и Амуры —  
 Век восемнадцатый.

Седой, на теле шрамы,  
 Он был убит в Крыму,  
 И перед смертью самой  
 Склонилось к нему  
 В лучах слепого света  
 Прекрасное лицо.  
 И он увидел лето,  
 Карету и крыльцо...

*«Я столь великодушен,  
 Что даже не грущу,  
 И столь тебе послушен —  
 Тебя я отпущу.  
 Я вечно не забуду  
 Любви твоей ко мне,  
 А плакать я не буду —  
 Гори ты на огне!»*

\* \*  
 \*

Море, голубое море, принеси волною мне  
 Раковину золотую, что лежит на самом дне.  
 Унесу ее с собою, под подушку положу,  
 Буду долгими ночами спать и слышать моря шум.

Море, голубое море, принеси волною мне  
 Голубых, зеленых, серых и оранжевых камней.

Соберу на нитку камни, на запястье завяжу.  
Скажет милый: «Ты — жена мне». — «Может быть», — ему скажу.

Море, голубое море, принеси мне весть о том,  
Где мой муж, он умер, что ли, или он забыл свой дом?  
Как ему в краю немилом или там в пучине вод?  
Я его три дня любила, а оплакиваю год.

Море, голубое море, мне к лицу лишь черный цвет,  
А тебя не изменили столько зим и столько лет.  
Каждый вечер на закате я на берег выхожу —  
Море, голубое море, ничего я не прошу.

\* \*  
\*

Дом построила. Дочь родила.  
Сеяла траву и косила.  
А закончила и спросила:  
«Боже, как там мои дела?»  
Разучилась с годами петь.  
Заплетаю и расплетаю  
Косу длинную. Села средь  
Скошенной травы и гадаю:  
Что мне делать, как жить да быть.  
Знала я, но теперь забыла...

А умела ли я любить,  
Знали те, кого я любила.

\* \*  
\*

Среди тех, кого поминаю,  
Чаще я тебя вспоминаю.  
Как крестила меня рукой,  
Собирала, и провожала,  
И за поездом побежала  
В зимний день, промозглый такой.

Как неловко на льду скользила  
И о чем-то очень просила.  
За оконной рамой глухой  
Я родное лицо увижу.  
— Повтори, я тебя не слышу.  
Я тебя так давно не слышу.  
Если можешь, махни рукой.



---

---

БОРИС ЕКИМОВ



## НА ХУТОРЕ

*Рассказы*

### ПРИЕЗД

**О**бычно, когда летней порой я приезжаю на хутор к своему товарищу на короткое ли, долгое гостевание, в первый день, с вечера, мы ставим сетчонку. Это — обряд. Конечно, и рыбкой надо побаловаться. А еще — для удовольствия. Это самое «удовольствие» объявилось несколько лет назад. Приехал я, припозднившись, уже в сумерках, товарищ мой был немного навеселе. Он тут же скомандовал: «Пошли сетку ставить». Мне было, признаться, не до рыбалки: с раннего утра весь долгий жаркий день провел я в дороге, мыкаясь по округе пыльными избитыми проселками. Хотелось обмыться и скорее — в постель. Жена моего приятеля, добрая Валентина, это поняла и стала мужа корить: «Куда ты тащишь? Человек устал... Сетки твои...» Товарищ мой произнес веское:

— Я ему удовольствие хочу предоставить. Поняла?

Валентина лишь руками развела.

Снарядились мы вмиг. В железном корыте — рыболовная сеть, уже «набранная», то есть аккуратно уложенная: поплавки — к поплавкам, грузила — к грузилам. Всю эту снасть — на самоделочный просторный багажник велосипеда. И подались. До речного залива, до лодки, рукой подать.

И я скоро понял, что это и впрямь — удовольствие.

Тихая река, большая луна над холмами. Дух пресной воды, чакана, камыша; от холмов — еле слышный пахучий вей терпких степных трав. Ночная река темна и просторна, берега — молчаливы. Луна серебрит маковки высоких тополей, верб, золотит зыбкую дорожку поперек реки. Ночное безмолвие напоминает о том, какие далекие версты: воды, леса, поля, безлюдные и молчаливые, — стерегут эту густую тишину, в которой даже падающая звезда еле слышимо, но звучит, словно рвется что-то далекое, легкое. Вот она — белым огнем прочертив небосвод, погасла в темной реке.

Все ушло: дневная усталость, заботы. Осталась лишь ночь, парное тепло воды, близкой земли, терпкий и пресный дух. И бередящее душу: вот она — жизнь.

Сетку мы поставили, вернулись домой и долго еще не ложились спать, вечеряя с разговорами и новостями, как и бывает при встрече.

Вечером сетку поставили. Рано утром пошли ее снимать. Тоже удовольствие: алая заря, местами розовый туман над водой, в заливе, возле камышей, рыба играет, там и здесь круги на воде, а на глуби, на реке, нет-нет да и вывернется что-то большое. Бывает, вот так поутру плывешь на лодке — и вдруг возле борта начинают выпрыгивать из воды могучие толстолобики, один за другим. По пуду и больше. Вылетит золотистое чудовище, изогнется и так хлестанет, что брызги — фонтаном. И в лодку запрыгива-



ли. Бывало такое. Это не рыбацкие байки, а толстолобик. Из невода он уйдет легко, перепрыгнув через верхнюю обору. И в лодку судру заскочит. Лишь сумей удержать.

Нынче толстолобик не играл. Но улов оказался неплохим: пара лещей, сазанчик, хорошие красноперки, щурята, подлещики и конечно же новые поселенцы: «гибрид», или «душман», «гайдар», «демократ», — как хочешь его именууй, — плодущая, прожористая, живучая помесь карася, карпа и черт-те кого. Ученые люди пускай расскажут, какого оккупанта они вывели и поселили, на нашу беду.

Рыбу мы принесли, представили хозяйке, жене приятеля.

— Сазанчики пожарю, по-нашенски, как вы любите. Ухи сами навари-те... — постановила Валентина. — А все остальное — куда хотите девайте. Не нужна рыба.

— Как «не нужна!» — возмутился хозяин. — Курам, с комбикормом... Жрут всюю! Цыплятам, утятам...

— Куры не жрут. Заварила, наклала — не глядят. А цыплята по жару еще запоносят, не дай бог, с твоей рыбы. Разнести надо по людям. Дед Федор пускай возьмет, у него дочка приехала. Баба Катя щербы похлебает, она любитель. Хомовне я сама отнесу. Может, из беженцев кого углядите... А вот Шура идет, — увидела она входящую во двор с коромыслом да пустыми ведрами маломерку Шуру по прозвищу Мормышка — бабочку телом крепкую, но ростом с вершок.

— Можно водички набрать? — здороваясь, спросила гостя.

— Бери, бери... — ответила хозяйка. — Тебе на полив, так черпай прямо из бака. А потом принеси сумку, рыбки покладу. Едите рыбу?

— Мы все едим! — весело отозвалась Мормышка.

Когда она с полными ведрами вышла со двора, хозяин спросил:

— Огород поливает?

— Посадила, говорит, кой-чего. И правильно. Своя зелень. А водокачка не работает какой день.

— Огородники... — осуждающе процедил Тимофей.

— Чего ты?..

— Да ничего... Для еды — за водой мыкаются. Теперь еще огород она будет поливать с нашей колонки.

— Жить-то надо...

— Башкой надо варить. Чего она этого-то родила? Самой жрать нечего, пацан голодный по дворам бегаёт. Теперь еще одного...

Товарищ мой — человек серьезный. Он рассуждает здраво. Мормышка живет без мужа. Двое детей. Один, правда, взрослый уже, вроде — в армии. Другой — подросток. Весною она третьего сына родила. Говорит, на аборт денег не было.

Живет она недалеко. Домишко старый, колхозной постройки, для переселенцев. Немытые окошки с каким-то тряпьем, кособокое крылечко, дырявая крыша, вместо забора — репы в человеческий рост да крапива. Поселенцы. Такой у них закон. Мимо двора пройти гребостно. Тем более, что Мормышка — соломенная вдова. Числится она — при хуторской водонапорной башне. Включает насос и выключает. Оклад от сельсовета: тридцать рублей в месяц. Пять буханок хлеба можно купить. Летом ходит полоть бахчи, за речку, к Конькову. Малая, но копейка. Осенью собирает шиповник, продает скупщикам. Вот и все доходы. А теперь еще и мальчонка родился.

Мормышка за рыбою прибежала скоро, семена короткими толстыми ножками.

Добрая Валентина дала ей рыбы, принесла из погреба уже последние, прошлогодние яблоки, другой овощ.

— Яблочки невидные, но хорошие. Ты их натрешь, дитеночку, — ставляет она мамашу. — Моркови тоже натирай. А свеклу — себе. Я покладу в ведрушку, а ты ее потом принесешь.

Мормышка все забирает, благодарит, идет со двора нагруженная, переваливаясь, словно утка.

— За молоком вечером приходи, не боись... — напутствует ее хозяйка и говорит, словно оправдываясь: — Нехай хоть один наш дитенок на хуторе растет.

— А ты уверена, что наш, не чеченский? — спрашивает муж.

— Нет. Он — хорошенький, он от Вовки.

— Да там кроме Вовки...

— Наш, наш мальчонка, белявенький. Пускай растет. Приданого ему набрали со всего хутора. — Это уже для меня объяснение. — И она — бабочка неплохая. Но такая жизнь. Колхоз был, она безотказно работала. А сейчас трудно. Но старается. Грядки какие-то посадила. Сигарет, говорит, в райцентре взяла. Будет продавать. Малая, но копеечка. Самогон учится делать.

— Это точно! — подтвердил мой товарищ. — Я к Чокову зашел вечером, а его нету. Жена говорит: «У Мормышки». Я потом его перевстрел, смеюсь: «От живой жены бегаешь к Мормышке? Молодятинки захотелось?» А он нос копылит: «Работаю дегустатором. Позвала, налила, говорит, покушай. Как специалист. Можно продавать? Я доразу не понял, а со второго стакашка одобрил. Говорю, не хуже Мишкиного, лучше, чем у Вахи».

— Вот и правильно, — одобрила Валентина. — Как-то надо к нынешней жизни применяться. Не помирать же.

Валентина принялась за сазанчика, мы с приятелем чистили рыбу для ухи. Остальной улов быстро разошелся.

Дом моего товарища стоит посреди хутора. Когда-то рядом теснились школа, магазин, почта, клуб, медпункт, бригадная контора. Нынче — руины да пустыри с заплывшими ямами. Подворье моего товарища теперь словно пуп, мимо не пройдешь и не проедешь. Здесь хранит свой нехитрый инструмент приходящий фельдшер. И хлебовозка, коли доберется, останавливается и торгует рядом. Тут телефон, считай, на хуторе единственный, потому что другой — у бывшего колхозного бригадира, который на отшибе живет и не больно гостей привечает. А здесь, пожалуйста, в любое время приходи и звони. В пору летнюю, для удобства, телефон стоит на крыльце, под навесом. И народ идет.

Покойная баба Акуля с этого двора не выводилась. Хозяева, бывало, уедут, а она все равно придет и дремлет на скамейке возле крыльца. «Она у нас была как замочек», — с улыбкой вспоминает покойницу жена моего товарища.

Дед Федор, вдовец и бобыль, заглядывает по три раза на дню. Порой здесь и отобедает. Баба Катя, на правах родной тетки хозяина, забегает всякий день, потому что ее сын Петро из города, с работы, звонит по утрам, справляясь о матери. Близкие соседи: Чоков да Юрий. Кума Шура да кум Павло по прозвищу Лис, у них дети — в райцентре. Кравченко, Мишка Хука, чеченка Полина, чеченцы же Алик да Ваха. Словом, весь свой хутор да еще и малый соседний, который за речкой. И тоже: «Передайте да перекажите...» — «Туда проводу нет! — порой отвечает мой товарищ. — Как я передам?! — Но быстро меняет гнев на милость: — Ладно. Чего-нибудь придумаем».

Иногда вся эта колгота ему надоедает, и он грозитя:

— Поставлю забор шиферный, сплошняком, железные ворота и прикрою эту ярмонку.

— Додумался... — перечит ему добросердечная Валентина. — Забрались в глухомань да еще стеной отгородимся.

— Отгорожусь!

— Отгораживайся и живи бирюком за железными воротами. А я в город уеду!

Этот спор — давний. Товарищ мой — местный рожак, но всю жизнь прожил в городе, в областном центре. Там — хорошая квартира, родственники, друзья. На хуторе, до времени, оставалась лишь мать. Помогая ей, он обложил кирпичом родительский дом, крышу перекрыл; потом пробурил артезианскую скважину, чтобы не надеяться на ветхий колхозный водопровод. Кирпичный гараж построил, чтобы, приезжая, было куда машину ставить; под ним — просторный погреб. Бок о бок с гаражом, под одной крышей, поднялась, тоже кирпичная, жилая кухня в две комнаты, за нею — баня. Пришел черед скотных катухов, птичников, выгульных базов, огорожи. Все строилось своими руками не вдруг, в отпускное время, надежно и крепко. И получилась помаленьку лучшая усадьба на хуторе. Ее сразу видать.

Когда мать схоронили, родительский дом бросать беспризорно стало жаль. А тем временем подошла пора льготной, до срока, пенсии. Решили на хуторе летом пожить, оглядеться. Остались в зиму. Потому что скотину в город не возьмешь. А продавать жалко. Так и пошло. И теперь уже десять лет живут, отлучаясь в город лишь на короткий срок, по нужде. Но вечный спор продолжается.

— Чего мы, плохо живем? — горячится мой хозяин. — Едим — от пуза, чего захотим... — Он и впрямь глядится таким сытым боровком, правда, седым. Но рослый мужик, тушистый, еще не горбленный. — Мы бы на пенсию так жили, скажи? Мы бы сухие джуреки глодали! Без мяса — ни дня. В зиму режем быка. Летом — птица. Индоуток — сотня. Кур — столько же. Рыба — любая и себе, и людям, — погибает он за пальцем палец, — молоко, сметана, творог, масло, яйца. Зелень вся с огорода: помидоры, лук, огурцы, картошка, яблоки... А сколько своим перевозили в город?.. И это все — бесплатно. Пенсии на книжку идут. Про них раз в год вспоминаем.

— Бесплатно! — всплескивает руками Валентина. — А ты труды наши считаешь? Батрачим с утра до ночи!

— Гляди... Дюже перетрудилась.

— Ты, может, и не дюже. А мне все надоело. Я бы сейчас в город уехала и весь день бы сидела на скамейке, возле подъезда. Или — на диван и глаза — в телевизор.

— Это — одни разговоры... — машет рукой мой приятель. — Весь день человек не может лежать. Ему нужны упражнения. Вот мы и упражняемся... — смеется он, на меня глядя.

Прошлой осенью я приехал и рассказал про людей пожилых, которые из года в год занимаются утренней зарядкой в сквере, на речном берегу, возле моего дома. Утром гуляю, вижу их, здороваюсь. В компании физкультурников объявилась наша старая учительница. Сто лет ее не видал. Трудно ходит. Но тоже машет руками. Молодец!

Я на хутор приехал, приятелю рассказал о пожилых физкультурниках. И он всякое утро, управляясь по хозяйству, сообщал весело на весь двор:

— Выпускаем кур! Набираем зерна, насыпаем в кормушки! Зобайте! Воды набираем и наливаем! Это считается сгиб-разгиб, поворот налево-направо. Для поясницы полезно.

Стая пестрых кур высыпает на выгульный баз, петух, тяжело хлопая крыльями, взлетает на плетень, кукарекает.

— Выпускаем уток... Насыпаем зерна... Принесем скотине воды! Нажрались, на питье потянуло. А ну, Марта, шевелись! Беяна, пошла... Гришка, чего потягаешься? Геть рысью! Прогоним их в стадо. Это считается пробежка.

Две коровы, бык Гришка, две телки, не торопясь, шагают к выгону, чтобы отправиться вместе с другими на долгий дневной попас.

— Катяши убирать! — вернувшись с выгона, сообщал мой приятель. — Корыто — транспорт, лопата — инструмент. Ноги на ширине плеч, накла-

дываем и везем. Иначе за неделю в навозе потонем. У курочек тоже надо прибраться... Теперь кобеля накормить. Вот и все дела. Утренняя зарядка закончена! Можно завтракать. И — гуляй, Вася!

Разговор про «физкультуру» был прошлой осенью. Приятелю моему он помнится и ныне, добавляя аргументы в вечном споре с женой.

— Для здоровья... В городе от врачей не вылезают. В поликлинике народу — не пропихнешься, один на одном. А мы?

— А мы бы и рады к врачу, да где его взять.

— Для какого интересу?

— Для простого. У меня ноги болят. С утра до ночи топ да топ. Вареники со сметанкой... — передразнивает она мужа. — Любишь, коток?

— Люблю, грешный... — нутром ворчит мой приятель. — В каймаке слаже.

— А каймак с возу не падает. Коров надо два раза доить всякий день, да процедить молоко, да перепустить, перетопить, откинуть, заквасить, то в тепло, то на холод. Не захочешь и вареничков. А у тебя все легочко и скоро...

Спор этот — нескончаемый. Хуторское подворье — не скамейка возле городского подъезда. И потому: «Гуляй, Вася!» — это для красного словца. Хватает забот.

С недавних пор в летней кухне, на стенке, мой товарищ вывешивает листок бумаги: «Чтобы не забыть... Склероз...» Там — список дел, не терпящих отлагательства. Каждое утро хозяин трудится над листком, морща лоб. Что-то вычеркивает, исполненное, что-то дописывает. Ныне там значится: 1. Согнать самогон. 2. Отремонтировать «запаску». 3. Нарезать сибирьковых веников для двора и березовых для бани. 4. Продолжить строительство лодки. 5. Делать завалину у курника. 6. Копать яму под туалет. 7. Подготовить рубильник на столб. 8. Подготовить гумно...

Всего в списке на сегодняшний день значатся двадцать три пункта. И все — важные.

Без «запаски» на машине далеко не уедешь. Риск. И лодка нужна деревянная, с «алюминьки» неловко ставить сети, и парусит она при ветре. Веники — самая пора нарезать, Троица позади. И самогон... Брага поспела. Мой товарищ — не пьяница. Просто на хуторах водку давно отставили. Она — дорогая. Пользуются самогоном. Покупают. Но лучше, конечно, свой. Поставил бражку, отыграла. Перегоняй. Без бутылки в запасе никак нельзя. Тот же — Чокков. Дрова привезти, сено, солому. Денег не возьмет. Свои люди. А на стол выставить — это закон. Так что без самогона не обойтись. Надо гнать. И кирпичная завалинка нужна. И электрический рубильник — на столб, чтобы подключать пилу-циркулярку. А прошлогоднее сено давно пора в сторону сдвинуть, готовя место под нынешнее. Уже косят... Словом, все пункты надо выполнять и новые туда просятся всякий день. А еще, каждодневное: скотина, птица, огород, картофельник, плодовый сад — хуторская жизнь, в которой день начинается на белой заре, а завтрак обычно поздний, когда утренние дела переделаны. Солнце уже высоко. Но в тени раскидистого клена еще держится холодок. На столе шкварчит сковородка с яишенкой, рассыпчатый творог желтеет, банка с молоком квашеным запотела, в густую сметану ложку не воткнешь.

— А может, вчерашнюю рыбу?.. — предлагает Валентина. — И каша есть, молочная. Сливки принести к чаю?

— Принести, — коротко отвечает супруг ее.

Время завтрака. На хуторе — тихо.

— Кресна! Кресненька! — Не вошла, а влетела во двор голенастая невеликая девчонка. — Баба Ксения вашу Пальму хотит удавить! Говорит, зови Федю-Суслика, нехай он ее удавит!

— Чем она провинилась, Пальма? — недоуменно спросила Валентина.

— Говорит, кутька оставим. Он будет гавкать. А Пальма — старая... — захлебываясь, со слезами рассказывала девочка. — Ее удавить. Федю позвать...

Валентина вздохнула.

— Сами все — трухли старые. Кто бы нас передушил. То насилочку выпросила: дай Пальму, дай... С ней не буду бояться... Надежа. А теперь — на сук. Не реви, веди сюда Пальму, — постановила она.

Обрадованная девочка умчалась вихрем.

Тимофей, до того лишь рассеянно слушавший девчонку и жену, возразил резонно:

— А нам на кой другая собака? Волчок-то есть. — Услышав имя свое, Волчок — молодой поджарый пес — взвизнул и загредел цепью. — Ксения-премудрая: то надо ей Пальму, то не надо. А ты — простодырая. Ксения бы Пальму не забирала, мы бы Волчка не заводили. А теперь собачатник разведем.

— Волчка — на скотий баз, — рассудила Валентина. — Там ворота. Кто чужой сунется, Волчок не пропустит.

Тимофей недолго подумал. Он не любил с ходу сдаваться. Но правда была в словах жены. Пришлось одобрить:

— Вообще-то верно. Там — темный угол: сено, солома. А всякая скотина и птица там. У Алика-чечена собака — у скотины. И правильно. А Волчок, он — сторожкий. Никого не пропустит. Да, Волчок, — обратился он к собаке. — Новое тебе назначение. Считай, повышение по службе. Во дворе мы сами себя укараулим. Старуня подможет. А там — основное: куры, утки, поросята, скотина. Будешь стеречь. Понял? Ответственность.

Остромордый, овчаристого вида, но статью потоньше и потому приглядный, Волчок довольно повизгивал, радуясь речам хозяина. Он еще не понял, что новая служба — это скучноватая ссылка. Здесь, во дворе, на глазах у людей — весело. И обеденный стол рядом. Нет-нет да и перепадет сладкий кусок. А на скотьем базу — высылки. Там лишь глупые утки кричат да куры гребутся. Но этого Волчок еще не знал. Валентина отвязывала его и уводила, освобождая место для Пальмы. Волчок повизгивал, норовил лизнуть хозяйку.

Место освободили. Скоро и Пальма прибыла на старые пепелища. К обжитой конуре, к прежним хозяевам, которые помнили ее.

— Моя Пальмочка... Захудала... — лаская старую собаку, приговаривала Валентина и выбирала из собачьей шерсти репы да колтуны. — Откормим ее. Яичками надо свеженькими, это — полезно. Молочком — парным...

За время отлучки старая собака исхудала, глаза ее потускнели, словно не год, а долгий срок ее не было.

— Она снова будет молодая, веселая... — приговаривала Валентина. — Молочка ей...

— Каймачку... — ехидно добавил Тимофей.

— Она не любит каймак, она молочко любит парное. Старые, они тоже как дети...

Тимофей лишь рукой махнул: еще одна колгота.

## ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК

В летнем хуторском быту утро начинается на белой заре, до солнца. Подоить, напоить скотину, прежде чем выгонять на пастьбу. Птица кудахчет да крикает, требуя своего. Первые дела огородные и дворовые, на базу за скотиной прибраться — тоже по холодку, пока не припечет солнце. Дело дело цепляет, время летит, солнце поднимается быстро. «Господи, уже по-

чти девять...» Пора завтракать. Первый упряг долгой дневной работы — с плеч долой.

Хуторские дела меряются не часами, а упрягами: первый, второй — самый тяжкий, дневной, третий — вечерний, уже до звезды.

Первый упряг — спорый: со свежими силами, по холодку. После него — завтрак. Мне нравится время хуторского завтрака. Это — не городское хватанье кусков, когда жуешь на бегу. Здесь, на хуторе, в летнюю пору уже отработано три-четыре часа. Первые дела сделаны, и можно, не торопясь, посидеть, еще и побеседовать.

Летний стол на воле, в тени. На столе в сковородке шкварчит какое-нибудь жаркое: рыба, картошка, мясо; парит в кастрюле молочная каша, лучше — пшенная, с запекшейся желтой корочкой. Рядом — крупитчатый творог, густая сметана, молоко пресное да кислое, крошенная зелень: огурчики да помидоры, молодой лучок с нежными, сладкими луковками, редиска, перец... Глазам и чреву отрада. Похрумкиваешь да причмокиваешь. А потом — чай с молоком, белыми пышками ли, румяными оладушками в каймаке.

Мне нравится этот поздний утренний час. В тени развесистой ивушки еще держится холодок. И еда — в пору: аппетит разгулялся. Торопиться некуда. Самое время для неспешной еды, разговоров, новостей нынешних и прошедших.

Приходят первые гости. Баба Катя — сухонькая востроглазая старушка по прозвищу Газетка; газет она сроду не брала в руки, но знает все. Дед Федор объявится с первым, но не последним в нынешнем дне визитом.

— Беженка вчера с зонтиком гуляла, — сообщает баба Катя, поджимая губы. — Туда-сюда, туда-сюда, при зонтике. Приглядный такой, с цветками.

— Либо в вашем куту дождик был? — усмехаясь, спрашивает мой приятель.

— Солнце, — объясняет баба Катя. — От солнца она хоронится. Боится загореть.

— А куда ей загорать? Она и так жуковая, — удивляется дед Федор. — Грузинка или армянка... Кто они?

— Лодыри, — веско произносит приятель мой. — Монастырь беззаботный. Вот под зонтиком и хоронятся.

— У тебя одна песня, — застывает Валентина, жена его. — Может, человек больной.

— Мигрень — работать лень...

— Может, аллергия от солнца или давление. У нас — пекло, вот она и прикрылась.

— У тебя тоже давление, но ты с зонтиком не гуляешь. Лодырюки.

Спор этот давний и долгий. Приятель мой к дипломатии непривычен, режет правду-матку. Жена его, Валентина, — другого, мягкого теста. Она жалеет старых и малых, своих и чужих, людей и скотину. К ней подбрасывают котят да кутят. Хуторские старухи в ней души не чают — она их лечит своими средствами: ставит банки, растирает суслиным жиром да муравьиным спиртом, не забудет побаловать печеным да рыбкою, когда муж поймает; секретничает, потакая и сострадая стариковским заботам. Когда она уезжает в город, своих проведать или по делам, старухи ждут ее, а потом признаются: «Тебя нет — и полхутора нет. Мы об тебе горимся, плачем... Сберемся и плачем...»

О беженцах у приятеля моего с женой спор давний. На хуторе приезжему люду не больно сладко. Колхоз развалился. Теперь на хуторе — ни молочной фермы, ни гуртов, ни отар, ни свинарника нет, ни птичника, ни амбаров, ни мастерских. Раньше не хватало людей. Бригадир Христа ради просил: «Пойди поработай...» Нынче лишь Шура Мормышка при должности. Другие и этого не имеют, Мормышке завидуя.

— Алырники! Лодыри! — определил мой приятель. — Работать не хотят. Почему не идут к Конькову бахчи полоть? «Жарко... — передразнивает он. — Спина болит... Пыльно...» С зонтиком ходить — не болит спина? А от этого зонтика лишь новый пискун появится. Да-да! У Мормышки появился сын хутора, и у этой — не заржавеет. Готовьтесь приданое собирать. Надо работать! — настаивает мой приятель. — Не слезы точить, а работать. Полинка закопчила нос, когда Евлашин флигель за бесплатно, считай, отдавали: «Базов нет, сараев нет...» Там старый человек проживал, едва пекал, а ты — в силах. Значит, поставь сарай, базы.

— Чем ставить? — возражает Валентина. — Из чего лепить? Из така?

— Плетней наплети.

— Она их не может плесть.

— Отговорки. Я тоже не мог. А приперло, еще каких наплел. Вот они. Ты помазала, и скотина в городье и под крышей.

— Ты — мужик, а они — бабы.

— А как же наши матеря... — горячится приятель мой. — После войны на хуторе мужиков не осталось. Одни бабы. Все делали: колхозное и свое. Хлеба, скотина, огороды, кизяки, плетни... Сами жили и нас вырастили. Ну ладно... — сдавался он. — Не умеешь плетни плесть. Но башка у тебя должна варить. Постановь Савушке миску шей да чекушку, он тебе весь белый свет заплетет. И базы будут, и сараи. Ребятишкам купи конфет, они тебе и хворосту, и чакану, и столбушков натаскают. Вода — близочко, сделай копанку. Сажай свеклу, морковь, картошку — всю зиму сыт будешь. Бабке Евлаше было девяносто лет, а огород — пенился. Все свое. Еще и поросенка держала. Сколько лет бабе Кате? — вопрошал он, пальцем указывая. — Восемьдесят два. Она кому жалится?.. Собесу, властям? Она работает. Себя кормит да еще сынок в город полон кузов везет, аж рессоры лопаются. Скажи, баба Катя?

Старая Катерина лишь смиренно опускает глаза.

— Они — городские, непривычные... — еще один довод. — Они всю жизнь на асфальте.

Мой приятель его отметаёт решительно:

— Я сам тридцать лет на этом асфальте прожил, и ты столько же. Коля Бахчевник, Коньков, Витя Кравченко, Юрка, Семеныч — все городские. А на хуторе живем, работаем и не жалимся.

— Мы с детства привычные, а они сроду земли не видели. Они и не думали на хутор попасть. Наш Ваха бессовестный, — это уже для меня объяснение. — Он вторую семью обманывает. Забирает в Грозном квартиры. Трехкомнатная у них была. Обещает, что поселит в райцентр, с работой. Они верят. А он привозит сюда и кидает в разоренную хату. Живите, как хотите. Я уж его стыдила.

— Достыдишься, что подождут нас, — сказал мой приятель. — Больше всех надо? То бича защищала, теперь этих...

— Не буду молчать! — на своем стоит Валентина. — Они бессовестные и наглеют, потому что все молчат. Держишь работника, значит, корми его, одевай. Они кинут кусок хлеба да молока снятого — вот и все. Да еще бьют. Я Вахе так и сказала: не бейте его, он человек. Заявлю в милицию.

— Испугался он твоей милиции. Гуся — участковому, и тот еще поможет живьем закопать этого бича.

Работник ли, по-нынешнему «бич», который пасет скотину у Вахи, существо жалкое: кожа да кости, рваниной прикрытые, калоши на босу ногу. Круглый год пасет: летом, зимой; и спит возле скотины. Хозяин обещает ему «выправить» паспорт. Но это, конечно, сказки...

Споры, которые ведет мой приятель с женой, им конца нет. Это — жизнь.

Приходит старая Хомовна, жалуется:

— Без хлеба сiju... Сухари догрызла, размачивала. Джуреки печь?

Станичная машина-хлебовозка поломалась. Другую неделю хлеб не везут. Люди помоложе что-то придумывают: у кого — машина, у кого — родня... А вот старым да одиноким — беда.

Приятель мой гнет свою линию:

— А как же наши матеря? Никаких хлебовозок не было. Сами пекли. Да еще какой хлеб... С нынешним рядом не построишь. Помню, бабка печет, еще в печи хлеб, а дух — на весь хутор. Я кружусь возле: «Дай корочку...» Вынет да на лавке раскладет, сбрызнет водой, да накроет полотенцем, чтобы дошел... Наши матеря... А теперь привыкли, чтобы готовое, «под ключ»...

— С вашими матерями... — отмахивается Валентина. — Надоед, как спасовская нуда. Где накваска, где хмелины, где печь, где квашенка? Ты ее сделаешь, квашенку? Языком лишь... — Она берется за телефонную трубку, звонит в кооперацию, в сельсовет.

— На лошадке пришлите! — доказывает. — Старые люди... Без хлеба... Голосовать не будем! — пугает она. — Не будем, и все! Так и запомните! Придут выборы, лучше не приезжайте со своими ящиками!! Всем хутором откажемся! Прославим на всю область!

На следующий день прибывает на хутор невеликая машинешка с хлебом да еще макароны привозит и сладкую воду. Вот тебе и Валентина! Хуторские старухи слезу пускают: «Лишь на тебя надежда...»

Оно и вправду. Ведь до властей — как до Бога. Да и каким властям до нас дело...

Порою Валентина влезает в дела, считай, уголовные.

Операция «Люминь» — позднее назвал эту историю мой приятель, с гордостью за жену добавляя: «Провела как генштаб. Не ниже».

А было так: утром в слезах прибежали Хомовна, Нюра-татарка да Ксения — все старье. Кричат:

— Участковому звони! Участковому!!

Дело для наших времен обычное: за ночь со дворов пропал весь «люминь»: тазы для стирки, молочные фляги, бидончики, сковороды, жаровни, миски, кастрюли, даже провода, на каких бельишко сушить развешивали — все алюминиевое, какое нынче на приемные пункты сдают, за наличные деньги. Раньше был в моде старьевщик ли, гунник, он тряпье собирал, теперь — «люминыщик».

— Звони участковому! Нехай приезжает, ищет! Ни сварить, ни постирать не в чем. Начисто жизни лишил...

На хуторе, в стариковском хозяйстве, алюминиевая снасть самая ходовая. Она и легкая, не чугун, не бьется, как стекло да эмаль. Легко и прочно.

Не враз, но отыскали по телефону участкового милиционера, он в станице. Отыскали. Но что проку? «Пишите заявления и везите ко мне», — был ответ.

Старухи еще горше заплакали. Кто напишет? И кто повезет? И какой прок от этих бумажек? Пока суд да дело, миски да кастрюли в райцентр уплывут, к «люминыщику».

Приятель мой старухам внушал:

— Надо собак заводить. На цепи. Да какие с зубами вот с такучими. У нас две собаки. Одна здесь, другая на скотьем базу.

Конечно, он прав был. Но что теперь охранять?

Валентина думала недолго.

— Это Мишка Рахманенок. Заимели соседа.

Словно сорная трава полоняло хутор рахмановское племя. Вот и Мишка, армию отслужив, обратал молоденькую приезжую учительницу, занял пустующий дом. Забота ли, работа у Рахмановых одна: где чего плохо лежит.

— Приходил, нечистый дух! Приходил! — вспомнила Нюра-татарка. — Отбойник спрашивал для косы. Откель у меня отбойник? И зачем ему коса? Мышам сено косить? Это он высматривал! — догадалась она.



— И ко мне приходил, — вспомнила Хомовна.

— И возле моего двора крутился... А ныне с ранья чего-то колотит. Стукотит. Либо нашу посуду?

И опять заслезилась старухи:

— В сельсовет надо жалиться...

— Нехай милицию пошуняют...

Но что проку от старушечьих причитаний да слез? Не пойдешь напрямую с обыском, тем более — учительская семья.

Приятель мой гнул свое, упрекая старую Ксеню:

— Пальму тебе давали. А ты ее назад возвернула. Она бы — за лытки...

Пальма — сторожка.

Старая собака, услышав кличку свою, загремела цепью: мол, все верно, не зря хлеб жую.

— Всем надо собак заводить. У чеченов, у них волкодавы. Попробуй влезь... — толковал мой приятель.

— Замолчи, Христа ради, — остановила его жена. — Слушайте меня.

Валентинин план оказался по-бабьи прост и легко выполним.

Бобыль дед Федор отправился к Рахманенку с просьбой:

— Овечку надо постричь. Снять волну...

Старая овечка по кличке Шура — притча во хуторских языцах — известно зачем проживала у деда Федора во дворе.

— Постричь надо, а то набьются репьи. Пол-литра есть, — пообещал дед.

К таким трудам молодой Рахман был всегда готов. Без лишних слов он согласился. Как только они скрылись из глаз — дед и стригаль, Валентина заспешила к Мишкиной жене — учительше и уже от калитки торопила ее, звала:

— Срочно к телефону! Срочно! Районо вызывает! Срочно... Беги, беги... Там трубка лежит...

Молодая учительша на резвых ногах помчалась к телефону, хату и двор оставив.

Три старухи: Хомовна, Нюра-татарка да Ксения, выбравшись из засады, словно вороватые сороки, шмыгнули во двор: одна — в сарай, другая — в старый курятник, третья — в коридорную пристройку.

Искать долго не пришлось.

В сарае все и обнаружилось: мотки провода, жаровни и уже молотком побитые, сплюсненные кастрюли да миски. «Люминышник» целую посуду не принимал, это запрещалось.

Все остальное было делом простым. На готовое и станичный милиционер объявился. Целую посуду старухи забрали. Побитой рахмановская родня быстро нашла замену, чтобы закрыть «дело».

Операция «Люминь» завершилась. Приятель мой, горделиво похмыкивал: «Генштаб», но при случае гнул свое:

— Собак надо заводить. Собака, она за лытки... Вот наши — что Пальма, что Волчок... они ночью не спят... А Мишка, он завтра поумничает, снова упрет все. Да не во двор, а в барак... Иши там свищи...

Поздний хуторской завтрак. Солнышко уже высоко. Но в тени раскидистой ивушки, у просторного стола еще держится холодок. Можно не спеша чаевничать, обсуждая дела вчерашние, нынешние. Впереди — долгий день. А теперь — лишь завтрак.

## КУДОВАЯ

На третий день хуторского житья, когда на подворье все новости собраны да рассказаны, наступает пора иная.

— Ты нынче чем займешься? — спрашивает поутру мой хозяин.

— Пойду попроведаю...

— Ну давай...

Отзавтракали. И пошел я по хутору бродить. Он нынче просторный, хотя и не больно людный. Но как в далекие годы протянулся и раскрылатился от донского берега, от лесистого займища до заливного луга и Лысого бугра, так и теперь доживает свой век в былых размерах, как и прежде делясь на куты: Забарак, Никишкин кут и Варшава. Последнее название почти позабыто.

Умирают, уходят с хутора люди, ветшают и рушатся дома, базы, разрезая былую тесноту дворов.

Соседства давно уже нет, когда через плетеный забор окликнешь живую душу. Нынче дома и поместья стоят вольно, будто чураясь друг друга; меж ними — пустоши, руины, заросли дурной травы или задичавшего сада.

Словно плавучие острова, все дальше расходятся живые дома, подворья, особенно в непогоду, во тьме, скупо светя желтыми окошками.

Но нынче — пора летняя и погожая. Еще издали, чуть ли не от своего двора, вижу, что у бабы Кати, на летней кухне, на крыше ее — человек.

Ближе подхожу, а это, оказывается, — сама хозяйка печную трубу глиной обмазывает. Дело летнее, но впереди — зима.

— Ты как туда залезла? — спрашиваю удивленно.

— По лестнице... — поняв мое удивление и обидевшись, коротко отвечает баба Катя. — Чего ж я, вовсе некудовая? Трухля?

— Кудовая... — усмехаюсь я. — Как коза по лестнице скачешь, в восемьдесят лет.

— Восемьдесят и еще два годочка, — спускаясь на землю, к гостю, уточняет старая женщина.

Сухощавая, росточку малого, возрастом гнутая, баба Катя имеет характер бойкий, любит поговорить. Газетка — ее старинное хуторское прозвище. Живет она одиноко. Сын Василий с давних пор — в городе, дочка — в станице. Живет одна, но дом и двор как и в прежние годы.

— Огород ныне огорчает, — жалуется она, когда идем мы осматривать ее владенье. — Картошка прет, прямо бушует, в огудину, а будет ли прок.

Огород старой женщины раскинулся так просторно, пышно и зелено, что оторопь берет. У хозяйки воробьиная стая: косточки, кожа, иссохшие плети рук... В чем душа держится. Но огород — не окинешь взглядом. Зеленой стеной — картошка, огурцы, помидоры, плетучие тыквы... И ведь не трактор пахал... А все — лопата, мотыга и эти старушечьи, словно птичьи, иссохшие руки.

— Ну и огород у тебя... — в который раз удивляюсь. — Надо бы уже поменьше. Все же — возраст...

— Года, года... — соглашается баба Катя. — Из могуты выбилась. Здоровья нет.

— Ну и сажай поменьше, куда тебе?

— Я тоже гутарю... — соглашается она. — Который год сына прошу: отрежь, Христа ради, огород наполовину, перенеси городьбу так-то вот: от кухни вкопай соху и перестановь городьбу. Тогда будет мне по силам: десяток рядков картошки да грядочки, для себя. И будет расхорошо. А ныне такая страсть...

— Все верно, — подтверждаю я. — Тебе много ли надо?

— Который год прошу: перестановь, сынок, городьбу. А ему все некогда. — Господь с ней, с городьбой, — говорю я. — Брось и не сажай.

Из-под белого платочка снизу вверх глядят на меня удивленные глаза:

— В своей городьбе... кинуть? Не сажать? Бурьяном зарастет... Люди будут глядеть. Вот и сынок мой упыристый тоже: кидай да кидай... Так не положено, — говорит она строго. — Городьба стоит, значит, моя земля, мой ответ. Я ведь какой год криком кричу: перестановь городьбу, чуток буду сажать, для себя. А ему — некогда. Я бы по силам сажала, для себя.

— Правильно, — одобряю я. — Дети себе посадят ли, купят.

— Вот-вот, и сынок галдит: нам не надо, не надо, мы купим, — вздыхает. — Купим-залупим... В городе за все — копейка. Мамкина картошка — не лишняя. А помидоров, огурцов сколь увозят... Машина трешит, кузова не хватает. Тыквы у меня всегда расхорошие...

Тыквы и в самом деле у бабы Кати огромные, в колесо, розовые, сахарные на вкус. Зимой в гости придешь, на стол — угощенье: в духовке запеченная тыква, оранжевые кусочки с подтеками темной патоки, пахучие, сладкие. Гостям — угощенье, хозяйке — еда. Пенсия у бабы Кати — копеечная, хотя всю жизнь в колхозе работала. И потому еда, как говорится, гусиная: постные щи, картошка, свекла. Пенсия малая. Но ухитрится своим помогать. Хвалится порой: «Внучке передала двести рублей, она — девочка, ей чапуриться надо, а внуку — сто рублей... Василий приезжал — ему тоже надо, хоть и взрослый, но сын»...

Сын — взрослый, тоже к пенсии подбирается. Чуть не всякий день из конторы звонит приятелю моему: «Как там мать?» На хутор приезжает, любит рыбачить. А зимой — охотится. Прибывают целым кагалом: друзья да приятели. Баба Катя заранее топит старинную мазанку — кухню. Там охотнички гулеванят.

Летом в этой кухне любят жить городские внуки: днем — прохлада, да и с гулянки можно прийти, когда вздумается, не тревожа бабку.

Мне нравится эта кухня, старинное жильё: глинобитные стены, мазаный пол, русская печь, запах сухой мяты, польных да сибирьковых веников.

Мне нравится хозяйка, старый воробушек в белом платочке с быстрыми живыми глазами. Мне нравится ее гнездо: флигелек в две комнаты: кухня да горница, все аккуратно помазано и побелено, от завалинки до трубы. Просторный огород, петунии, пахучий табак да высокие алые мальвы возле забора, скамеечка у ворот. Но сидеть на ней время не позволяет. Разве что ради гостя...

— Какие новости? — спрашиваю.

— Откель мне знать, — скромно опускает глаза хозяйка. — Зимой хоть радио гутарит. А ныне — лишь огород, хата да кухня, курята да поросенок с утра до ночи... Раздираюсь, как бык на склизу.

Но помаленьку кое-что узнаю.

Бобылка Раиса, что прибилась к хутору лет пять назад, оказалась мужней, приезжали за ней на машине, зовут в семью, и мужик обещает не пить, потому что постарел, вот теперь и думай. Премудрые Рахманы — они же привыкли чужими джуреками своих родителей поминать — доумились Рахманы: сыпят к своему порогу семечки, приманивают чужих кур, приманят — и шлычку набок, в лапшу. Надюрка Рахманова проводила своего Митрия в больницу, в райцентр, с серьезной болезнью, да его и было видать: сделался вошаной, долго будут лечить, запихнула в больницу и считай тем же ходом привезла ему на замену какого-то с усиками, может, на время, а может, насовсем. А ведь Митрий тоже не с возу упал, они в загсе, на жизнь записанные... Кошенковы наладились самогонку гнать, для жизни подмога, люди хвалят ихнюю самогонку из сахара, не то что Вахина отрава. А Вахины же — переселенцы из Грозного, к жизни нашей никак не привыкнут: лежат-лежат, потом сядут, сидят-сидят, потом лягут; осенью люди давали им картошку, капусту, свеклу — несли ото всех дворов, кто мог, весной — семена да рассаду навязывали, а у них одно — посохло, другое — не взошло, третье — Вахины козы погрызли, потому что зимой забор в печке пожгли, а новый не поставили... А у Коли Бахчевника...

Помаленьку хуторская жизнь для меня проясняется. Но нынче пора летняя, долго не рассидишь.

— Надо лезть, мазикать... — спохватывается баба Катя. — А то глина заклевет.

И вот она уже наверху, возле трубы, хоть и невысокая кухонька, но как-то боязно глядеть на старую женщину. «Восемьдесят лет да еще два года...»

На прощанье решил пошутить, кричу, посмеиваясь:

— На флигеле труба тоже рук просит!

— На той неделе полезу! — отвечает старая женщина. — Там еще на подложке делов...

Поднимаю глаза на шеломистую флигеля крышу, опасаясь и предостерегаю:

— Там высоко... Василий приедет. Или Мария...

— Дождешься их, — отвечает баба Катя и подсмеивается: — Чего я, вовсе, что ль, некудовая?

— Кудовая! — машу я рукой на прощанье. — Еще какая кудовая.

### «СКОЛЬ РАБОТЫ, ПЕТРОВИЧ...»

Подворье Алеши Батакова обычно встречает и провожает меня собачьим лаем: заливистая шавка — у ворот; у скотьих базов — волкодав в добрую телушку ростом глухо гавкнет, глядит: куда правишься. Хозяина не видать.

Подворье, даже по меркам хуторским, огромное: подле забора — малая хатка, а дальше — город: скотьи катухи, сараи, крытые да выгульные базы, скирды сенника, а еще — немереные огород да сад, которые тянутся в упор до займищного леса. Где-то там, в глубине своего просторного государства, Алеша. Заросшее недельной щетиной лицо, вваленные щеки, худое жилистое тело. «Петрович, сколь работы...» — обычное присловье его.

Видимся нечасто. Больше — на ходу.

Вечером, уже в полутьме, на лошади скачет, остановится:

— Бычки другой день домой не идут, — жалуется. — С чеченскими свалахтались, уходят на просо, аж к Змеиному рыну. Это ведь до поры... Надо искать да гнать. — И поскакал в гору. Пригонит бычков поздно, уже в ночи.

Чуть свет, на заре, на берег идем с приятелем, к лодке, навстречу громыхает Алешин тракторенок. Уже от воды. В тележке — мотор, сети да ящики с рыбой, коли есть она. Порою мимо проскочит, лишь рукой покажет: мол, спешу; чаще остановится, не выключая движка, доложит: «Сплыл на леща... Сплыл на чехонь...» И результат. Закончит обычным: «Петрович, на уху возьмешь?» — «Спасибо, сами поймаем». — «Ну гляди... Будешь уезжать — упреди. Посерьезней чего добудем...» И покати́л дальше.

Вечером возвращаюсь от речки и займища мимо Алешиного подворья. Сумерки. Солнце уже опустилось за Львовичеву гору. Шавка залаяла. На ступенях крылечка что-то шевельнулось. Глянул: Алеша сидит.

— Здорóво днєвали, — говорю.

— Слава богу, Петрович, заходи. — И на шавку прицыкнул, а сам сидит на ступенях.

Я вошел во двор, он лишь тогда медленно приподнялся, посмеялся над собой:

— До хаты добрался, а взойти не могу... Ныне жену отправлял, в три поднялся, поехал, три раза сплыл. Надо, Петрович... Отвез жену напрямиком к базару. Вернулся, сколь работы, Петрович, не присел за день. Одно за другое цепляет. Скотина, птица, огород... Вот прибился к хате, присел и не встану. А надо еще собак покормить да и самому... Тебя чем угостить, Петрович?.. Либо чехонью? Хорошая подошла...

Я отнекался и, быстро распрощавшись, ушел. Какие уж тут беседы...

Другое дело — днем. Идешь мимо, увидишь, окликнешь: «Здорово работáли!» — «Слава богу, Петрович! Заходи, попроведай...»

Побритый, улыбчивый, ясноглазый, Алеша глядит молодо, как и положено в тридцать с немногим лет; тем более, что он на лицо худощав и телом костляв и жилист, подвижен, на ногу скор.

— Новости какие? — любопытствует он. — В городе, в Москве? Мы тут потонули в навозе. Ничего не знаем. Газет не видим. Да и когда их читать, Петрович? Сколь работы... Телевизор паутиной оброс, летом про него и забыли... Сколь работы... Пойдем поглядишь мое хозяйство. Хвалиться особо нечем. Надумал вот хату строить...

Про хату давно было сказано. Два ли, три года назад притянул Алеша трактором ребристые молотильные катки с Евлампиевского хутора, с его руин. В древние годы этими катками, вырубленными из дикого камня-песчаника, молотили хлеб на токах, потом катки приспособили ставить фундаментом, под первый венец. Вот и Алеша на них позарился, трактором приволок, потом оправдывался, что они лежат без дела:

— Петрович, сами-то ладно, а скотина должна под крышей стоять. Иначе с нее не спросишь. Это мне отец всегда говорил. А он по скотине был первый. И гуляк держал, и овечек, и коз. Помногу. За что и выжили... Петрович, птица под белым небом лишь днем, а ночью надо в тепле... Тем более на гнезде, — внушал он. — Петрович, она хоть и свиной зовется, но в сырости, при сквозняке жить не будет, — убеждал он меня.

Его отец когда-то жил здесь. Батаковых подворье старые люди еще помнят. Оно давно в руинах.

Дело в том, что на хуторе Алеша — новосел, хотя и здешний рожек. Когда-то Батаковы здесь жили, а потом ушли в райцентр. Там и Алеша трудился на судоремонтном заводе. Женился, двоих сыновей народил, построил дом — все как положено.

А потом начались горькие перемены. Все закрылось. Невеликие заводы: авторемонтный, судоремонтный, металлопроволочный, «Сельхозтехника» и прочее. Бродят мужики по райцентру с утра до ночи, друг об друга бьются. Нет работы.

У Алеши сыновья — малолетки, жена, сам — четвертый... Вот и приехал на старые пепелища. Стали жить враскорячку: дом — в райцентре, там — школа, там учатся сыновья и, конечно, мать при них, хозяин — на хуторе.

Брошенную развалюху-«саманку» подправил, на землю нынче, слава богу, запрета нет.

— Петрович, тут столь делов... — показывал он свое хозяйство при знакомстве и первых встречах. — Тут работать и работать...

Летом приезжают жена да сыновья. «Трудятся, как мураши... — говорят о них. — На речку не ходят».

«Речка» — это вроде хуторского бульвара ли, клуба для молодых. Городские внуки там кувыркаются на зеленой травке, загорают, в воде бултыхаются, крутят любовь. Алешиных ребят там не видно.

Да их и нигде не видно. Батаковская усадьба в полхутора. Как не затеряться среди скотных сараев, катухов, базов да навесов, а еще — молодой сад, огородная плантация.

— Петрович, тут делов...

«Делов» и в самом деле немало. Тот же погреб. Кажется, что в нем? Обычная крытая яма с «выходом». Летом там холодок. Для молока, для всякого варева хорошо. Не скиснет. Зимой хранится картошка да другой овощ. Сам когда-то копал в доме своем, в поселке. Крышу менял, когда подпревала. Сосед мой, хозяйственный дед Петро, погреб соорудил — всей улице на удивленье, ходили на экскурсию. Широкий спуск по ступеням, а внизу — простор: картофельный закром, полки для банок с вареньем-соленьем, место для бочек, высокий потолок, труба для вытяжки — словом, хоромы. Но что дед Петро...

Алешин погреб, когда я лишь заглянул в него, обомлев, это что-то немислимое: вроде станции метро. Глубоченный бункер в два этажа с перекрытием. Дикого камня кладка на растворе. Электрический свет.

— Петрович, — убеждал меня Алеша, — погреб для хуторского быта — первое дело. Это в городе — холодильник, бросил кусок мяса — и все. А у нас... Молоко кислое, пресное, творог... А картошки сколь... А свеклы, моркови. Себе, скотине...

Мы опускались в глубины погреба, в глухие низы.

— Петрович... — внушал мне Алеша. — Сам знаешь, рыбой заниматься без погреба — пустой номер. При нашей жаре погубишь или за так отдашь... Такие труды, ночью не спишь, хоронишься, а проку... С погребом — уже моя воля. Цену не дают! Я засолю по-хорошему. Она в тузлуке все лето пролежит. Нужно, отмочил да повялил — и все в дело.

На воле полыхало жаркое лето. В подземной глубине было холодно. Поднявшись наверх, я с удовольствием подставлял озябшую спину солнышку, согреваясь. И вдруг иной холодок меня пронизал. Хозяин стоял возле: вовсе не богатырь, кожа да кости, жилистые плечи рук, узкие плечи, втянутый живот, про таких говорят у нас: на балык ли, в дощечку высох. А рядом — это каменная подземелье, колодезная глубина его, в два этажа, просторные своды...

— Алеша... — спросил я. — Ты как его сделал?

Это был пустой вопрос, потому что знал я: никаких экскаваторов, бульдозеров, никакой техники и никакой помощи, кроме сыновьей, а они — ребятишки... не было ничего.

Но ведь сделано. Я только что вылез оттуда, из холодного подземелья. Такую страсть лишь выкопать, столько земли выбросить, да еще с такой глубины ее тягать надо ведрами, да заготовить камень, привезти, опустить вниз, выложить стены, дважды перекрыть... Он стоит, светлыми глазами хлопает, вздыхает, повторяя свое:

— Петрович, сколь работы... Сколь работы, Петрович... А куда денешься... без погреба, сам понимаешь... Жизнь хуторская — это не город. Тем более рыбой заниматься...

Что тут скажешь... лишь повторишь, Алеше вослед: «Сколь работы...»

И только ли погреб? А скотьи сараи, базы, птичник, два артезианских колодца — во дворе и на плантации, — цистерны для воды, железные трубы по всему огороду и саду.

— Петрович... — внушал он мне. — При нашей жаре день и ночь надо лить. Что капусту, что помидоры... А уж молодые садины, особенно яблоньки, груши... Дед Астах — люди и ныне помнят — ночи напролет, бывало, возит из речки и поливает. Батаков сад, ты слышал, наверное, по-над речкой. И мельница там была, Батакова... За что и пропал. А без воды у нас ни в чем росту не будет, нечего и затевать.

В первую зиму он ставил забор. Из займища на санках — тогда у него и трактора не было — возит и возит жерди. На пиле под навесом «распускает» их вдоль, снимает кору. Только и видишь его: тянет сани, согнувшись. Только и слышишь: визжит пила, даже ночью, когда выходишь из дома. Зимняя ночная хмарь, снег по земле. Хутора во тьме не видать, лишь редкие огни. И голос пилы-циркулярки.

Встретишь его, в займище ли, на пути, он объясняет:

— Петрович, это же — скотина... Тем более у чеченов, они вовсе не пасут. Трудись все лето на огороде, вырасти, а они зараз снесут, а свиньи если залезут. Дикие приходят... Забор надо настоящий, Петрович... Сколь работы. Но куда деваться...

Закурит — и потянул немалый, крепко увязанный воз. Добро, что зима была снежная. Дорогу накатал. Деревянные полозья идут легко.

Ставил он забор с сыновьями. И теперь, когда мимо иду, не удержусь: подойду и потрогаю. Ровные струганые плашки. У каждого гвоздя под

шляпкой — еще и шайба. А сверху — краской закрыто. Тут никакая ржа не возьмет. Плашка за плашкой, пролет за пролетом... Тянется и тянется. Конца нет. Охват — километра два, не меньше. «Сколь работы, Петрович...»

Но это все — прошлое. Нынче Алешу, как на хуторе говорят, «рукой не достанешь». Коровы, быки, телята — табун немалый. Лошади есть, их татары берут. Свиноматки племенные. Поросята свои, это уже полдела. Десятка два, наверное, всегда на откорме. Конечно, птица: куры, гуси хорошие, белые. Огород, сад. Колесный трактор, хоть и старенький. Машина с прицепом «уазик». Для наших дорог — лучше не надо. Алеша занимается рыбой. Цены теперь неплохие. Перекупщиков — море. Лишь свистни. Но рыба — дело нелегкое. Весна, на воде — холод; тем более, по-таясь, ночью. Сладкого мало. Но где оно, сладкое?

Иногда Алеша спросит меня:

— Петрович, ты все же повыше... Когда же наладится? Заводы стоят... Я заезжаю иногда, кое-какие железки нужны. Погляжу — аж страшно... Но ведь без этого не обойтись, без техники?

Он глядит на меня с надеждой. А что я отвечу...

— Это же важное, понимаешь, Петрович. Мы делали водометные катера, баржи. На всю страну. Это ведь — нужное.

Мне кажется, что он по своему заводу тоскует. И чего-то ждет. А день нынешний — лишь для прокорма: сыновья, жена. Потому и раскорячка: райцентр и хутор.

Но время бежит. Старшего сына нынче забрали в армию.

— Петрович, все понимаю: долг, все мы отслужили, обязаны. Но сколь делов... Он парень до работы цапучий. Ни подгонять, ни подсказывать. Упрется как бычок. А ныне — ну вроде руку обрезали. А тот — еще молодой. И жена — при нем, не кинешь. Самый возраст. А здесь сколь работы, Петрович...

— Надо кого-то брать, — предлагаю я. — Бича привези. Будешь кормить, платить помаленьку. Ему хорошо и тебе. Чечены держат...

— Это надо привычку иметь, — вздыхает он. — Как-то неловко, вроде батрак. Я уж думал. Но надо чтобы по-людски жил человек... А у меня и жить толком негде. Мазанка... Дом строить... Сколь работы с ним, Петрович...

Разговор этот был в пору осеннюю. Потом долго не виделись.

Зимой возвращался я как-то с речки, ходил окуней дергать. День был ненастный. С утра проглянуло солнце, а потом стало гаснуть. По речке, на льду, дуло, мело. Поначалу шла метель низовая — кура. А потом повалил снег, и все смешалось в белесой мгле. Уже ни холмов, ни речки, а снежная круговерть.

Но все это — недалеко от хутора. Никакой беды. Одежда теплая. Пробирался я к дому, прикрывая лицо от ветра и снега. Прошел низину, заросшую вербой да тополем, и вот он — хутор, которого не видать. Лишь белесая мгла, ветер, снег. Но понятно, куда идти, ноги сами несут мимо подворья Алеши Батакова. Почуяв меня, глухо заворчала овчарка. Значит, рядом забор. Обогнул его и услышал стук. Рядом стучали, по дереву. Я остановился.

Все так же сыпало и мело. Под ветром снег летел сверху и снизу. Пуржило. Рядом серой мутой проглядывали ворота. Залилась лаем шавка, стук оборвался. Через снежную круговерть, глуховато, раздался голос:

— Кого бог несет?

По голосу узнал я Алешу, громко ответил:

— Гости идут! Гости!!

Открыл я воротца, а тут и хозяин встретил меня радостным возгласом:

— Петрович! Либо блукаешь?! Рыбалит?! — углядел он мои снасти и рассмеялся: — Нужда?.. По такой пурге.

— У меня-то нужда, — ответил я в тон. — Голод — не тетка, и в пургу погонит. А ты вот чего колотишь?

— Заходи, поглядишь. Проходи, проходи. В доме затишно.

Во дворе, в снежной метельной белеси, углядел я каркас строящегося дома. Вослед за хозяином поднялся по трапу, но обещанного затишья не отыскал, хотя одна из стен наполовину была закрыта.

— В горнице сядем? — посмеиваясь, спросил Алеша. — Или на кухне? У печки теплее.

— Кабы не вспотеть, — ответил я. — Выбрал ты время для стройки...

— Самая пора, Петрович. Ни сенокоса теперь, ни посадки, ни полива, жука не надо морить, заниматься рассадой, скотину пасти тоже не надо, и рыба не идет, лишь самые жадные, вроде тебя, хвост морозят. А я каркас заготовил еще по осени, сын приехал, поставили... Теперь лишь — колоти... Весной помажется, и помаленьку... Осенью — новоселье, приезжай, — пригласил радушный хозяин.

Я лишь головой покачал, произнеся присловье Алешино:

— Сколь работы...

Хоть и не больно высоко поднят был каркас над землей, но казалось, что здесь метет и дует яростней, даже снизу несло, из щелей настила.

Долго не поговоришь. Я быстро распрощался. Хозяин проводил меня до ворот: телогречка-ватник, солдатским ремнем подпоясанная, шапка-ушанка, под ней — острый нос, небритые вваленные щеки, а глаза веселые.

— Про новоселье не забудь...

Он успел нырнуть куда-то в белесую невидь, предупредив: «Погоди...» — и мигом вернулся с гостинцем — вяленой рыбой: пяток увесистых синцов осеннего посола.

От Алешиного подворья до теплого моего жилья путь недолгий.

Добравшись, я сбросил в сених тяжелую шубу да валенки. А потом налегке в натопленной хате чаевничал. И Алешиного синца разодрал, не выдержал.

Серебристая тонкая шкурка. Под ней — розовая нежная мякоть, текучий жир, невеликая грудка икры в ястыковой пелене, прозрачные боковины с тонкими ребрышками, головка, плавники, брюшина — все едовое. Ешь, смачно вгрызаешься, сосешь, причмокивая, и шумно нюхаешь, впи-ваешься глазами в сладкий кус. И жадно косишь на тот, что рядом.

Нет, это — не еда, не утоление плоти, но праздник ее.

Хороша рыбка у Алеши Батакова, а уж осенний посол и вовсе сказка.

## РАХМАНЫ

Позднее утро. Майское солнышко поднялось высоко, мягко припекая. На хуторе — тишина. Утренние дела давно справлены: скотину на пастьбу проводили, отстрипались, отзавтракали и расползлись по дворам, огородам, левадам к тихим трудам.

Холмистая долина с лугами, попасами, малой речкой. В укыве, на дне ее — горстка домиков вразброс. Ухабистая дорога стекает с холма и кончается. Дальше некуда ни идти, ни ехать. Тишина и покой. Весенние птичьи трели: скворцы заливаются, ласточки щебечут, стонут горлицы... Мир и покой. И потому голос человеческий, негромкая песня, звучит явно:

Наши дни проходят очень быстро,  
Все короче становится жизни путь.  
Не пора ли вам, Василь Иваныч,  
Потихонечку присесть и отдохнуть...

Песня негромкая. Но в тихом хуторском мире ее далеко слышать. Жалостливые слова, звуки перекатываются и не сразу гаснут, отзываясь в ок-



рестных холмах: «О-о-отдохну-у-уть...» Словно уже не слова человеческие, но глас Божий. «О-о-отдохну-у-уть...»

Старая Катерина — бабка не больно чувствительная — неволью к песне прислушалась, даже замерла посреди огорода и опустила мотыгу, вздыхая и искренне соглашаясь с певцом: «Взаправди... Пора бы и отдохнуть. Сколь лет-годов... А все — работа, работа. Огород, картошка, куры, поросята... Ни дня, ни ночи... Здоровья нет... А все надо, надо... Завтра помрешь, и ничего не надо...»

Певун смолк. Старая женщина, опомнившись, чертыхнулась: «Нечистый дух... Устал он. Смучился, бедный... Перину мять да подушки переворачивать». И принялась мотыгой орудовать споро, нагоняя упущенное. А потом вдруг — иная мысль, и мотыга — в сторону. «Это он чего-то уже упер, соловушка, упер и отнес, на самогон сменял, вот и запел». Старая Катерина в меру сил, вперевалочку, помчалась проверять свои запоры да живность: поросенок на месте, куры... «Цып-цып-цып... — сзывала она для пересчета хохлатое племя. — Цып-цып-цып...»

Тревога старой Катерины напрасной не была. Пел не кто-нибудь, а Васька Рахман, соседущка. «Не пора ли нам, Василь Иванович...» Значит, уже сыт, пьян, нос в табачке, и потянуло на песни...

— Цып-цып-цып...

Одна, две, три, четыре, пять, шесть... И кочет на месте.

Значит, где-то еще ухватил. Вот и запел: «Не пора ли нам...» Невелик хутор, но есть еще чем поживиться.

Жилье Васьки Рахмана — на взгорке. Воронье гнездо, из которого все видать. Оно и по виду — воронье: почерневший от времени дощатый дом с прорехами да щелями, с разваленной кирпичной трубой, остатками крылечка. Когда-то такие дома колхоз строил для переселенцев, назывались они «сборными», их складывали, точно карточные домики, из дощатых с теплой начинкою щитов. Добрые хозяева такие дома сразу же обкладывали кирпичом, делали наличники, ставни, прочую пользу и красоту наводили, чтобы жить хорошо и долго. Рахманам, как говорится, красоту не лизать. Как влезли, так и сидят, словно в тине. Одно слово — Рахманы.

— Наши дни проходят о-о-очень быстро-о...

— Певун — на виду: мордастый, с пузцом Васька Рахман.

«На виду», потому что дом его — словно пуп. Голо вокруг: ни палисадника, ни забора, ни ледащего огородика, тем более — дерева ли, куста.

— Нас советская власть воспитала! — четко ответит любому Верка Рахманиха. — За заборами хорониться не привыкли! Кулаки нехай прячутся и подкулачники! А мы открытой душой ко всем людям!

— А где же огород, картошка?..

— Я по специальности не овощевод, — веско и с расстановкой ответит Васька Рахман. — Я — скотник, техникум имею и стаж. Предоставьте работу!

Он будто и вправду когда-то и где-то чему-то учился. А скотником работал уже здесь, на хуторе, при колхозе.

Славное было время — колхоз. Взяли и построили возле хутора не просто коровник, но огромный животноводческий городок. «Комплексом» его именовали.

Пылили из областного центра караваны грузовиков с кирпичом да лесом; понагнали техники, людей. И возвели белокаменный город под шиферными крышами. Привезли из Англии — морем, потом вагонами, а потом «скотовозами» — телок, быков: черная масть, могучее сложение — абердины, иностраницы, одним словом, элита.

Верка Рахманиха стала при скотине бумажки писать да щелкать на счетах. Супруг ее, Васька, — старший скотник, как имеющий опыт и образование. А еще там были: Сашка Рахман — родной брат Васьки, пара молодых рахманят, да еще старый Рахман — отец всего рода.

Это была жизнь... До сих пор ее вспоминают. Круглые сутки в рахмановской хате кипел в котле жирный мясной шулюм. Рахманята росли как на дрожжах; у них щеки от сытости лопались. Рахманы постарше не только от еды пухли, но и от пьянки.

Коля Бахчевник — поставщик самогона для хутора и округи — не знал, куда мясо девать: ездил продавать в станицу, тушенку производил, второй холодильник приобрел.

— Не пора ли, ох не пора ли... — задумчиво пропоет кто-либо из Рахманов. И вот уже: предсмертный мык, хрипенье. Мясной шулюм кипит. Коля Бахчевник ругается: «С вашим мясом...» Но куда он денется? Бизнес.

— Ох, не пора ли...

Породистые телята шли нарасхват, окрестные стада улущая.

Весной да осенью, обычно за неделю до контрольных перевесов, когда колхозная комиссия считает поголовье да взвешивает: сколь мясов нагуляли — в такую пору по хутору пролетала весть: украли с фермы скотину.

Районная газета писала: «Угон скота с колхозных животноводческих ферм принимает катастрофические масштабы. Если раньше угоняли одну-две головы, то теперь угоняют десятками голов. Как рассказал нам старший скотник В. Рахманов, он лично два дня шел по следу угонщиков, но эти следы затерялись на Клетском тракте, где большое движение техники».

Васька Рахман и впрямь время от времени «ходил по следу» в поисках пропавшей скотины.

Сначала происходили сборы, у всего хутора на виду, словно по телевизору. Седлается лошадь; привязываются переметные сумы с харчами: дорога-то дальняя и, конечно, опасная. У любителя охоты, Володи Арчакова, берется ружье, в патронах — только «жакан» и «волчиная картечь». «Бить буду наповал безо всяких судов, — сурово обещает Васька. — А потом нехай сажают». Жена его, Верка, начинает рыдать: «Не езд! Нехай милиция ищет! У тебя дети... А ты за колхозное добро головы лишишься...» Но Васька суров и непреклонен. Он должен, обязан. Он — старший скотник.

Вот он удаляется. У всего хутора на глазах. «По следу пошел». Вот он скрылся за бугром. Теперь его не будет двое суток ли, трое. Злые языки плетут, что эти три дня Васька отлеживается на брошенном хуторе Найденов. Но мало ли что наплетут...

И вот по прошествии дней усталый Васька Рахман возвращается, рассказывает: «По следу шел. Весь признак: копыта, помет, подковы. На лошадах угоняли. И ведь чуток не успел. У Клетского тракта — колеса. Видать, погрузили и увезли. А тама...»

А там и вправду глухое дело: далекие хутора, лесистые займища, балки.

Время шло. Поголовье племенного скота на колхозной ферме уменьшалось и уменьшалось. А Рахманы множились, словно саранча, полоняя хутор.

Вроде недавно объявились они, из России переселенцы: старый Рахман с Рахманихой, два женатых сына. Отвели им два дома. Работы в колхозе хватало. Плодились рахмановские бабы словно крольчихи. И вот уже Верка Рахманиха стучит в свою могучую грудь:

— Как мать-героиня имею права! Предоставьте...

Вначале она трудилась на хуторской почте. В те годы с куревом на селе было трудно, а в городах — с харчами. Выручали посылки. Но с приходом на почту Верки Рахманихи связь посылочная стончилась, а потом и вовсе на нет сошла. Васька Рахман курил ростовские да киевские табаки. Малые рахманята хрумкали печенье да конфеты. По адресам если что и прибывало, то лишь всякая дрянь с кирпичами для веса.

Закрыли почту. А Верка Рахманиха стала заведовать хуторской колхозной столовой, которую Рахманы тут же, словно мухи, обсели, роясь там и день и ночь.

Столовая кормила механизаторов, шоферов, своих, но больше из города приезжих, последних в ту пору было много: заводы помогали селу. А тут еще стройка развернулась: животноводческий комплекс.

Веселая разбитная Верка приезжим оказалась по нраву; мужик ее был всегда готов добыть самогон, разделить компанию, душевно пропеть: «Наши дни проходят о-очень быстро-о...» — «Не пора ли, ох не пора ли!» — с готовностью подхватывали приезжие и свои. Но голос Васьки Рахмана звенел наособь, в нем — душа и слеза: «Потихонечку присесть и о-отдохнуть!»

Пели и гуляли на славу, не замечая, что столовские харчи все жиже и жиже. А если кто и замечал, то Верка Рахманиха ответить умела.

Но стройка закончилась, столовую прикрыли. Зато торжественно открыли животноводческий комплекс: белокаменный город под шифером; могучие мясистые скотиняки по имени «абердино-ангусы» прибыли из далеких краев, чтобы плодиться и множиться.

Многодетных родителей на комплексе работой обеспечили в первую очередь. Верка на счетах шелкала, Васька — старший скотник. Рядом — брат Сашка да молодые Рахманы. Славная была жизнь. Черные как ночь, могучие «абердино-ангусы», под ними земля дрожала, до тонны весом быки. Знаменитое «мраморное» мясо... Его на базаре вмиг с прилавков сметали. Коля Бахчевник за самогон принимал безропотно. Считаю, валюта. За телятами — очередь. Втихаря, конечно. По Веркиным отчетам рождаемость у коров катастрофически падала. «Климат, — разьяснял Васька Рахман. — Тут не Англия». Да еще постоянные кражи. Дважды в году тому же Ваське приходилось «идти по следу», разыскивая угонщиков скота.

Но жить было можно. Рахмановские ребятишки росли мордастыми, крепкими, быстро и много плодились — не в пример привередливым «абердинам», — занимали пустующие хуторские дома.

А потом вдруг все очень быстро сошло на мыльный пузырь: колхозной бригаде пришел конец, остатки скотины угнали в станицу, закрыли и растащили магазин, клуб, кузницу. Даже вечно ржавевшие железяки исчезли с Лысого бугра.

На хутор пришла другая жизнь. Поначалу вздыхали и ждали перемен, рассуждая: «Без хлеба город не усидит и без мяса... Остальцы доедят и запоют матушку-репку... Все возвернут: колхозы, совхозы...»

Но жданками сыт не будешь. Молодежь посмысленей подалась на все четыре стороны, даже на Север, там деньги хорошие.

За речкой приезжий Коньков занимался бахчами, ходили к нему полоть, собирать арбузы, дыни. Держали скот, птицу. Попасов и сена теперь — через край. И конечно, Дон-батюшка... Ловили рыбу зимой и летом. А по весне, на нерестовом ходу, ночами не спали. Рыба и прежде, и нынче — в цене, тем более донская.

Словом, от голоду никто не помер. Даже Рахманы. Хотя, как и прежде, их дом — словно ветром обдутый: ни забора, ни скотьего сарая, ни огорода. Вместо крыльечка лежит на шаткой подставе железом обитая дверь бывшего хуторского магазина. На ней: «Часы работы... Перерыв...» Добыча...

«Рахманское иго» — так определила новую хуторскую напасть грамотная Хомовна.

У бобылки Полины украли ночью всех уток. Она их целое лето пестала, надеясь с мясом зиму прожить. Пух и перья разносились по хутору от рахмановского гнезда.

У одинокой Ксени сначала пять кур забрали из курятника, а потом и остальных, вместе с петухом, уже из чулана. Даже там не уберегла. У Хомовны... У Нюры-татарки...

Рахманское иго... С утра до ночи по хутору бродят, словно бурлаки, выглядывая поживу. Сопливые и те на ходу цыпленка ли, утенка упрут.

Хозяйка спохватится, бежит к Верке Рахманихе.

— Откуда у вас цыплята?

— От нашей курицы.

— У вас и карги сроду не было!

— Детвора... несмысленные... — нехотя сдается Верка. — Поиграться взяли. — И тут же в атаку: — Какие вы все ненавистные! Поигрались бы и принесли.

На воде, на Дону, где полхутора кормится, Рахманово племя тоже не дремлет: угонят лодку, снимут вентерь ли, сеть. А если не упрут, то уж обязательно проверят чужую снасть прежде хозяина, заберут рыбу. Тут же задешево продадут каким-нибудь заезжим, городским, и — запели: «Все короч-и-и становится жизни путь...»

Вот и нынче. Майское позднее утро. Солнышко хорошо пригревает. Тишина и покой. Голубое небо. Зеленая степь, холмы. Меж холмами, в укрыеве, людское селение — хутор.

Наша жизнь проходит очень быстро.  
Все короче становится наш путь.  
Не пора ли нам, ох не пора ли  
Помаленечку присесть и от-дохнуть...

Поет Васька Рахман с душой и слезой. Не захочешь, поверишь.

Вот и старая Катерина уши развесила. Опомнившись, кинулась проверять, все ли на месте: поросенок, куры, погреб, сарай. Проверила, в огород вернулась, взялась за мотыгу, торопясь и досадуя: сколько времени зря потеряла. А ведь картошку нынче — хоть умри! — нужно окучить. Завтра — некогда; рассада не будет ждать. И хату нужно мазать, белить. Скоро Троица.

А Васька Рахман смолк. Видно, пригрелся и задремал. Хорошо в майскую пору косточки греть в затишке, на мягком припеке.

## ЛЕГКАЯ РУКА

Телефон на всем хуторе — разъединный, в этом дворе у Тимофея да Валентины. Вот и идут. Сосед Володя — пришел позвонить, а в эту пору у хозяйки забота: курица-клуша высидела цыплят. А один из них — никудышный: хроменький, на вид ледащий. Валентина принесла его в дом, пожаловалась:

— Гоняют за ним, клюют. И угреться под клушей толком не может. Выпихивают.

Она держала цыпленка в ладонях, отогревая, прижавшая:

— Маленький... А его бьют... А он и так едва пекает... Чего ж с тобой делать, мой хороший? В коробку тебя да грелку. Может, оклемаешься.

Сосед Володя сказал как отрезал:

— Сдохнет. Кохай его не кохай.

И вправду, когда много цыплят, они вместе бегают, греются, сбившись кучкой. А одному — трудно. Тем более хворому.

Добросердечная Валентина это понимала не хуже соседа, но все равно жалко. И тут взгляд ее остановился на кошке, которая в своем укромном углу, возле печки, кормила котят. Котятки лишь вывелись, еще слепые, все трое в мамку: белыми, желтыми и черными пятнами — трехцветные, говорят, к счастью. Потому и оставили. Люди разберут.

Каким-то безотчетным движением, цыпленку ли сострадав, котяткам завидуя, Валентина подошла к дружному семейству, присела возле него и выпустила из рук цыпленка.

Птенец шагнул раз и другой, пискнул и потянулся ближе к теплу кошачьему. Мурка поглядела на него прищуренно и, что-то поняв или ниче-

го не поняв, просто услышав жалобный писк, мягко пригребла птенца лапой поближе к себе. Птенец приник к ее горячему брюху и даже под лапу залез: там теплей. Пискнув еще раз, уже потише, он замер, угреваясь.

Сосед, собравшийся уходить, остановился, сказал усмехнувшись:

— Сейчас она позавтракает.

— Наша Мурка хорошая... — возразила ему хозяйка. — Она маленького не тронет. У нее свои маленькие. Она их жалеет. Она и чужого приголубит. Для всех — мамушка... — негромко объясняла ли, внушала Валентина, не поднимаясь с корточек и глаз не отводя от счастливого семейства.

Котят кормились, порою теряя сосок, и тогда, попискивая, цыпленок дремал в тепле. Кошка смежила глаза, наслаждаясь своим счастливым материнством.

Сосед уже от порога вернулся, поглядел и сказал:

— Приголубит. Это она наелась и спит. А как проснется — хрум-хрум... Одни перушки останутся...

Валентина поднялась, мягко, но возразила:

— Она хорошая, наша Мурка. Она добрая.

Но Володя был, что называется, с характером. Голова на плечах и варит.

Еще раз скептически оглядев кошачье-цыплячью идиллию и трезво все оценив, он постановил окончательно:

— Сожрет. Это она спит, не сообразила. Проснется и сожрет.

Последние слова отчеканил и ушел. Все было ясно.

Хозяйка, спорить не желая, лишь вздохнула, негромко повторив прежнее: «Мурочка, умница моя... Она маленьких жалеет... Она его не обидит...»

Покатился день дальше со своими делами, заботами. Годы у хозяйки уже не молодые и здоровье известное: хвори да болячки. А заботы все те же: скотина, огород, птица, дом, пусть невеликое, но семейство, а тут еще — летняя пора. Долгий день, но и его не хватает. Вот и торопишься. Всю жизнь.

Меж делом хозяйка нет-нет да заглядывала в дом: живой там цыпленок? А с птенцом ничего не случилось. Он отоспался, оживел и, выбравшись из теплого Муркиного плена, стал громко пищать, требуя еды. Валентина принесла ему на блюдечке свежий творожок да крохи рубленого яичка. Цыпленок наклевался и снова к Мурке — под бок.

Пришел с огорода хозяин, поглядел, посмеялся:

— Вот это номер...

А ближе к вечеру появился Володя-сосед.

— Позвонить надо... — сказал он, а глазами — к печке, где Муркино логово. Самой кошки не было, но вповал на мягкой подстилке там дремали котята и меж них желтый цыпленок.

У соседа глаза полезли на лоб.

— Не сожрала еще?.. — спросил он.

— Как видишь, — ответил хозяин.

— Сожрет, — твердо сказал сосед.

— Поглядим...

— А я говорю — сожрет. Потому что это — зверь. Ты понимаешь? Зверь! У него природ такой: обязан сожрать. Потому что — положено. Жрать! Мышей, птицу всякую!

— Мышей она хорошо ловит, — похвалил хозяин. — И воробья не пропустит. А мышей возле закрома каждый день душит. Молодец, Мурка.

И, будто услышав зов, объявилась кошка. Поуркивая, она облизала котят, словно будя их к очередному обеду. И улеглась, подставляя тугие соски. Котят дважды приглашать не пришлось. Мамкины титьки отыскав, они уцепились за них и принялись дудонить. Детское ремесло... Цыпленок же, потревоженный, поднялся, пискнул и тоже принялся за еду, глухо постукивая еще мягким клювом по блюду. Крошеное яичко, творог, а потом и воды попил, как правдашний, задирая крохотную головенку.

Соседу это не нравилось.

— Сожрет, точно сожрет, — твердил он. — Утром вот поглядите.

Наутро цыпленок никуда не делся, мирно проспав возле новой мамы. И пошло-поехало: греется, спит возле кошки, забираясь под лапу для тепла. Отоспится, пищит, бегаёт, клюёт, как положено, яйцо, творог, пшеницу, рубленую зелень, пьет воду. Набегается, снова — под теплый бочок.

Сосед Володя стал приходить на дню три раза. И с порога, не здороваясь, шел прямо к печке.

— Не сожрала?

— Целый...

— Должна сожрать. Обязана, — твердил он. — Потому что — зверь...

Хозяйка пела свое:

— Мурочка... Она у нас умная. Она маленьких не обижает. Мама — она мама и есть.

У хозяина свое объяснение:

— Легкая у Валентины рука... Вот она ей сказала, под бок подпихнула, и Мурка послушалась... Легкая рука. Недаром к ней бабы идут цветов отсадить, чтобы легкой рукой, лучше примется. Это еще моя мамка-покойница заметила.

Сидели мужики, глядели, словно на чудо. Оно и впрямь чудо: кошка лежит, развальясь, котят сосут ее, и тут же — цыпленок, под лапою, дремлет.

Соседу Володе эта мирная картина была — нож вострый.

— Она же права не имеет! У нее — природ! Зверь... Мясо ей, кровь нужно... И она обязана сожрать! Просто обязана!

Но то были лишь слова. На деле — иное.

На третий ли, четвертый день натуральный сосед придумал наконец объяснение.

— Она умом рухнула! Старуня! — крутил он пальцем возле виска. — Жила-жила и все выжила. Ничего не соображает. У старых людей так... Значит, и у кошек.

Он сразу успокоился и наперед предсказал:

— Котята подрастут чуть-чуть, они его враз сожрут.

— Не сожрут, — заступилась Валентина. — Он теперь у них вроде — братушка...

— С костями этого братушку... Вот поглядишь. Зверье! Природ такой! Понятно?!

Но и здесь сосед пальцем в небо попал. Время шло, росли котята быстро, а рядом с ними цыпленок помаленьку оперялся, хромать перестал. Они вместе играли, хотя эти игры были странными: котята, цыпленок. Вроде как не приложишь: кошка и птица. Но у них получалось. Наверное, потому, что — детвора. Цыпленок порой пищал, отбиваясь, и не в шутку больно клевался. И тогда пищали котята. Но все кончалось миром и сном вповалку. Скоро котята с цыпленком выбрались во двор, там росли. Время летнее. И для всех это стало привычным.

Кроме соседа, который в конце концов не выдержал и решил проверить, как говорится, на собственном опыте. Как раз у него клушка высидела цыплят. Он взял одного, отчаянно запищавшего, и сунул под нос своей кошке. Она у него обходилась без имени. Кошка да кошка... А нынче была с кошененком, с одним. Остальных потопил. Цыпленка ей сунул под бок, приказал:

— Воспитывай. Ясно тебе? Ясно?!

Кошка ответить не могла, лишь жмурилась. Цыпленок рядом пищал.

— Гляди не трожь! — серьезно предупредил кошку Володя. — Голову оторву. — И отправился по делам.

Когда он вернулся, от цыпленка и духа не осталось. А кошка лежала, кормя своего котенка, мурлыкала.

— А где цыплек? — с порога спросил Володя и начал по углам шарить. Но не было ни следа, ни писка. Понятно, что сожрала. Ни пушинки, ни перышка... Да какие у него перышки, лишь вывелся. Глотнула — и нет.

Сожрала. Это был факт очевидный. Хотя какие-то сомнения оставались. Ведь прямых доказательств нет! И еще одно: может, не поняла? Может, надо было посерьезней внушить?

Володя решил еще раз проверить. Еще одного цыпленка забрал у клушки. Принес. Комочек. Тепленький, щуплый. Один лишь писк.

Он держал цыпленка в руке, под нос кошке сунув, и объяснял:

— Не жрать. Поняла? Не жрать его, а воспитывать. А если сожрешь, я с тебя шкуру спущу. Ты меня знаешь. Засеку до смерти. Или повешу. Поняла.

Кошка смотрела на хозяина и вроде все понимала, зная тяжелую руку его.

— Вот так. Вторая проверка. И последняя!

Володя сунул цыпленка кошке под бок. Поглядел. Все вроде шло хорошо. Цыпленок пищал. Кошка лежала, жмурилась.

Но сторожить не будешь. Дела ждут. Он ушел. Скоро вернулся. Открыл дверь, кошка, шмыгнув под ногами, умчалась прочь. Цыпленка, конечно, не было. Сожрала. И, между прочим, правильно сделала. Потому что — зверь. Но вот за то, что хозяина не послушалась, за это, конечно, — смерть. Володя ружье со стены ухватил, оно всегда под рукой, снаряженное. И прямо с крыльца бабахнул, дуплетом. Взлетели испуганные куры, поднялась пыль столбом, собаки залились. На весь хутор — содом. А кошка улизнула. Конечно, до поры. У Володи на это дело рука легкая.

## ТЮРИН

Время вечернее. Издали слышно, как гудит трактор Тюрина, прибывая с работы к дому. Они на хуторе единственные колхозники: Тюрин и маленький колесный трактор его. Вот он с горы катит, погромыхивая прицепной тележкой. И напрямую к нашему двору. У ворот — остановка, Тюрин из кабины вылез, хозяина зовет:

— Сашко! До мэна ходи!

А во дворе — лишь я, гость заезжий, но не больно редкий, и потому в руки мне — бутылка и просьба: «Постановь в холодильник. Я зараз приду».

Тюрин — поговору и виду — запорожец с картинки: росту невеликого, сложения плотного, лысая голова — круглый арбуз, глаза — хитрая прижмурка и, конечно, «вусы». Балакает «по-хохлячьи»: «До мэна... До тэбэ... Малэнький...»

Бутылку самогона с бумажной затычкой отправил я в холодильник. Дело понятное: Тюрин где-то «скалымил», но домашних своих решил наказать за грех вчерашний. Семейка у него еще та: что жена, что сыночки... Так и глядят, чего бы из дома упереть да пропить. Глаз да глаз за ними. Вчера Тюрин еле успел. Свинью они сторговали заезжим людям, поменяв ее на сахар, муку и, конечно, — водку. Тащили, как муравьи. И уже свинью грузили в прицеп. А тут не в свою пору вдруг объявился Тюрин. Видно, подсказало сердце. Он мигом торг поломал. Да еще кое-кому костыля по горбу досталось. Все же — свинья, а не курица.

К тому же нести бутылку домой — самому на понюх не достанется. А здесь, во дворе моего приятеля, на воле, под развесистым кленом — стол. Хозяева — люди свои. Потихонечку выпивай да балакай. Чего еще надобно?

Даже Валентина — жена моего приятеля, которая пьющих не жалует, Тюрина привечает.

— Коля — молодец, — хвалит она его и жалеет. — Он — мученик, наш Колюшка...

— Такая свинья... — сразу вчерашнее вспоминает Тюрин. — Таких попросят приносить. И себе оставляем, и людям продаем. Золотая хрюша, кормилица. На нее надо молиться, а они ее за так отдают...

— Слава богу, обошлось, — успокаивает его Валентина. — Не переживай. Ты нынче весь день на тракторе, наработался, шей тебе разогрею.

Тюрин довольно жмурится, только что не урчит. Его бутылочка охладилась, пока он трактор к своему двору отгонял, обмылся да рабочую спецовку сменил на легкую рубашку.

— Ши — это хорошо, — причмокивает Тюрин. — А я пока трохи выпью с ребятами.

«Ребятки» — то мы с приятелем, седоклокие. Дело вечернее. Почему не посидеть за столом в хорошей компании.

Выпив стопку, Тюрин разглаживает усы, а потом истово хлебает горячие ши. Хозяйка сидит рядом, подперев рукой полную щеку, и хвалит едока:

— Молодец, Коля. Рюмочку выпьет, хорошо покушает. Все бы так, поумному.

Тюрина от еды пот прошиб. Он объясняет причину своего аппетита:

— Я с собой на работу брал харчей. Сала и хлеба. А подъехал с утра в бригаду, хлопцы там похмеляются, а закуски — ни у кого. Тут мое сало и подмели.

Тюрину уже немало годков, под семьдесят подпирает. А на вид еще крепкий. Работает в колхозе. Один со всего хутора. Остальных сократили да уволили, потому что от самого колхоза, в котором прежде было шесть хуторов, а земли — за день не объедешь, от прежнего теперь остались рожки да ножки. Но без Тюрина нельзя. Он — лучший сварщик в колхозе. А нынче все тракторы да комбайны — старье и утиль; Тюрин при них — доктор Айболит. Колесный трактор у него — персональный. Тележка — на прицепе. Там — сварочный аппарат, баллоны. Вот и катается зимой и летом.

Нынче жаркий июль. Уборка. Хотя чего теперь убирать? Это прежде хлебные поля подступали к самому хутору. Нынче они далеко.

Тюрин ши дохлебал, взопрев. И тут же на столе объявилась просторная сковорода с рыбой. Поджаренные до розовой смуглоты ломтики тонули в желтизне и бели яичной мешанки, щедро сдобренной зеленью лука, петрушки, укропа. А рядом, в миске, крошево помидоров, огурцов, болгарского перца, сладкого лука-«каба». Да еще — кислое молоко, сметана, пресные пышки.

Хозяйка присела рядом, сказав:

— И мы сразу поужинаем...

— А я не могу... — округляя глаза, отказался Тюрин. — Шей нахлебався... во... — показал он ладонью под горло.

— Ешь, Коля, ешь. Стопочку выпей и поешь. Ты — человек рабочий, тебе надо.

— Ну если со стопочкой... — согласился Тюрин.

Ему нравится такое застолье: хлебосольное, неспешное, без шума и ругани. И бутылка на столе словно не убывает. Хозяйка спиртного в рот не берет. Хозяин порой, для компании, лишь пригубит.

Да еще за столом — гость, человек заезжий, ему можно рассказать то, что другим давно уже известно. А рассказать Тюрин любит.

— Работать буду еще двадцать годов! — решительно заявил он. — Двадцать!

— И все бесплатно... — подсмеялся мой хозяин. — На майские праздники пятьдесят рублей отвалили. Барыш!

Но Тюрин его слушать не хочет, потому что речь — для меня.

— Двадцать лет буду работать, потому что... — загнул он палец. — Как только я уйду, мой заменщик... Я знаю, кто на мое место лезет. Он за месяц разобьет трактор и всю сварку погубит. Как тогда бригада будет работать? — вопрошал Тюрин, обводя нас, внимательных слушателей, строгим



взглядом. — Они же всякий день кувыркаются, технику бьют, я их чиню. А если я бы кувыркался вместе с ними? Кто бы варил? А мой заменщик в первый же день закувыркается. Вот все и кончится. Так что надо работать.

Естественно, мы согласились: «Надо».

— Другое дело... — продолжил Тюрин, загибая второй палец. — Я уйду, и тогда хутора конец.

Приятель мой — поперечник, он любит справедливость и потому возражает:

— Ну да, помрем без тебя. Пуп земли!

Жена его, человек сердечный, всегдашняя заступа:

— Вечно ты... Коля правильно говорит. Это у нас — машина. А другие?..

— Про других моя балачка... — подхватывает Тюрин. — Вы — не пропадете. Федя не пропадет, у него — тоже «Нива», у Кравченки «козел». И все. Кому — в станицу, кому — в район. В магазин, хоть раз в месяц, всем надо. Вермишели, крупы набрать. А зубы лечить, в больницу?

Справедливые речи. От хутора до асфальта в станице — пятнадцать верст. Большую половину из них каждый день можно одолеть на тюринском тракторе: в кабине, на тележке. Тюрин никому не откажет, довезет до бригады. А там и станица — рукой подать: пешком ли, другой попуткой. Иного транспорта нет. Ребятишек в школу порой возят, но лишь посуху, в сентябре. А потом начинается грязь, гололед, снежные заносы. И тогда лишь трактор Тюрина потихоньку пробирается вечным путем своим. Он хлебца печеного привезет. И на кладбище едут в трусской тележке, за трактором. Привычно.

Конечно, есть и третья причина: Тюрин — единственный кормилец своей немалой, но бестолковой семьи. Там сыновья — «бурлаки», там дочка с зятем, хоть и отдельно живут, но кормятся возле папки; там — внуки; там нет надежды даже на хозяйку. Но об этом — молчок. Все и без слов понятно, и нечего душу травить.

Застолье длится до темноты. Хозяева отлучаются по делам. Встретить скотину из стада, напоить, подоить, с молоком управиться. Иная живность требует вечерних забот. Утки да куры. И собак надо покормить, и кошек. Тоже своего просят.

Лишь мы с Тюриным за столом неотлучно, бутылка понемногу пустеет. Тюрин сыт и немного хмелен, всем на свете доволен. Слушаю его журливые речи, многие из которых слышал не раз. Про то, как на херсонской судовой верфи варил из корпуса боевых кораблей и на каждый шов ставил личное клеймо. Ответственность! Они и сейчас, может, плавают, тюринские крейсера, нас охраняют. И про целину: как жили в палатках, как строили, как пахали. Рассказов много. Долгая жизнь. Тюрин стрижется коротко, «под машинку», но голова — седая. К вечеру устает. Будто и крепко еще, но годков немало. За шестьдесят далеко-далеко. Долгая жизнь. Есть что вспомнить. Тюрин балакать любит. Я слушаю, знаю, что сейчас он расскажет еще одну повесть: про себя и знаменитого директора Штепо.

Вот налита последняя стопка. С чувством выпита. Тюрин смотрит на меня растроганно и благодарно. Маленькие глаза подернуты влагой. Лоб морщинится. Там, в круглой лысой голове, созрело и расцветает счастливое. Вот оно растекается, разглаживая морщины.

— Было дело... — начинает Тюрин. — Штепу, конечно, знаешь?

Киваю головой. Как не знать знаменитого Штепо — дважды Героя Труда, знаменитого директора прославленного на всю страну совхоза. Хоть и в прошлом все это, но память есть.

— Они у нас пахали в колхозе. Выручали, как передовики отстающих. А я лишь приехал сюда, начал работать. Они на подмогу тремя звеньями прибыли. Тракторы «Кировцы». Пахать круглосуточно. Лишь меняются трактористы, прямо в борозде. И веришь, у них не заладилось. Бегунок.

Такусенька штучка... Тьфу! — показывает он руками малое. — А сломалось — стой. И «Кировец» стоит. Машина! Надо везти за сто километров, на центральную усадьбу, в совхоз. Делать: менять бегунок на новый. И снова сюда. Сутки простоя. Ты понимаешь?!

От былой благодати на лице Тюрина не остается и следа. Лишь — боль и тревога.

— И каждый день, каждый. Отвезут, заменят, а он снова ломается. Простой на простое. Неделю мучаются. Ты понимаешь?!

Я понимаю. Серьезное дело. И серьезный рассказ. Даже сейчас, через много лет, Тюрин переживает. И это понятно: осенняя пахота, могучие «Кировцы» с мощными плугами стоят из-за какой-то мелочи. Но стоят! А должны круглые сутки пахать. Где план? Где график? Райком партии каждый день «шею мылит».

— Походил я вокруг, подумал... — Тюрин похлопал себя по выпуклой лысине: вот этим, мол. — Подхожу до бригадира, говорю ему: давай попытаемо. И обсказал свою мысль. Он руками машет: «Отстань! Заводское летит! А ты из дерьма — конфетку...»

— Попытаемо... — говорю ему.

Стемнело. Электрическая лампочка под жестяным колпаком освещает дощатый стол, остатки ужина. Маленькие глаза Тюрина горят. Речь его звучит тише, медленней, капают слова.

— Беру. Болт. Обыкновенный. Обрезаю. И начинаю головку болта обваривать. Потихоньку. В монолит. Ты понял? Ни боже мой, не спешить. Ровно и медленно. Быстро робят, слепых родят. Круг за кругом. Не торопясь... Бригадир поглядит и уйдет. Чего-то спросил, я молчу. Мне нельзя головы поднять. Медленно, ровно, чтобы проварилось и взялось монолитом. Но время засек. Один час сорок восемь минут. Готово. Кладу остывать. Тоже пусть потихоньку. Воды — ни боже мой. Даже капли. Перекал. Напряжение. И — хрустнет.

Курю. Три штуки зараз. Уши-то опухли без курева. Остыло. Говорю бригадиру: «Становь. Будет работать. Гарантия». Поставили. Пошел плуг в борозду. Пашет и пашет. Круг, другой... Бригадир глядит, хмыкает. А тут подъезжает другой трактор. Тоже бегунок полетел. Обрезаю болт. Прогрел. Начинаю обваривать. Потихоньку. Ни в коем случае не спешить. Ты понял? Монолит! Чтобы ни пузырька, ни трещины... Обвариваю ровненько в одну массу. Один час сорок восемь минут. Готово. Пусть остывает. Сел курить. Еще один трактор летит. Бегунок! Покурил. Начинаю варить. И так — до часу ночи. Тут и уснул, на полевом стану. Встал утром. Все мои бегунки на плугах работают. А заводские — летят. Все заменил заводские бегунки. И кончился простой. Пашут, пыль столбом. И план дают, график, райком доволен.

Приезжает Штепо. Ему все доложили. Я как раз лемеха навариваю. Подъезжает белая «Волга». Значит, начальство. А мне какое дело, варю и варю. Вижу: подходит Штепо, здоровый такой, ну, ты его знаешь. Я закончил, снял маску сварочную. Он говорит: «Давайте знакомиться. Я — Штепо, директор». Руку пожал. Крепка така рука. Достает конверт. Это, говорит, премия. Ну, говорю, благодарствую. Он опять не уходит. Говорит: «Переходите ко мне в совхоз, на работу. Про наше хозяйство, наверно, знаете». Я плечами пожал, говорю: конечно, передовики. Но я слыхал, что вы берете людей до тридцати лет, а мне пятьдесят. Ничего, говорит, переходите. Сразу даю квартиру в двух... Этих самых...

Тюрин запаматовал, я подсказал:

— В двух уровнях.

— Вот-вот... Два этажа.

Про «уровни» — это уже тюринские фантазии. У Штепо в его совхозе и сейчас стоит так называемый «поселок специалистов» — простор-

ные дома со всеми, как говорится, удобствами. Но этажей ли, «уровней» там нет.

Но все это — мелочь, потому что главное — правда.

— Я трохи подумал, говорю Штепе: два месяца всего здесь работаю. Приехал, дали хатку, работу жинке. Как-то нехорошо: взять и кинуть. Вроде не по-людски. Штепо мне отвечает: «Молодец. Но запомни: надумаешь, приезжай. Возьму, дам квартиру в двух...»

— Уровнях, — снова помогаю я.

— Да, да, они самые. В любой, говорит, момент.

Милая сказка былых времен, сердцу дорогая, кончилась, и Тюрин будто гаснет. Вдыхает, морщится, на глазах стареет. Притомился. Долгий день позади, долгий вечер.

Поздний час. За холмами догорела заря, оставляя нежную прозелень. Сумерки густеют.

Тюрину вставать со скамейки не хочется. Он устал. Не молоденький, а от зари до зари на ногах. Лень подниматься; лег бы тут и уснул. Но Тюрин уйдет домой, он не из тех, кто на чужих дворах валится. Покряхтывает, набираясь сил.

Из темноты, со стороны скотъего база, гавкнул пес; забелелось прозрачно, и объявилась малая девочка в светлом платье.

— Деда! — подбегая к Тюрину, закричала она. — Баба драников напекла! Вкусные!

— Что за драники? — от кухни, из темноты спросил мой приятель. — Ваши, что ли? Хохлячи? А? Маринка?!

— Наши, Сашко, наши! — живо отозвался за внучку Тюрин. — За уши не оттянешь.

— Деда, пошли! — торопила внучка. — А то они все поедят!

— Так положено... — подсмеивался мой приятель. — В большой семье рот не разевай.

Они уходят через скотий баз, Тюрин и внучка; хозяин провожает их, чтобы запереть скотьи воротца. Они идут, обговаривая дела завтрашние и те, что впереди: надо привезти соломы, надо притянуть — тоже тюринским трактором — несколько хороших лесин из прибрежного займища, на дрова, надо... Много дел.

Хозяин запирает баз, гости уходят. Белое платье девочки недолго светлеет во тьме и размывается. Лишь детский голос звенит и звенит, разбивая вязкую тишину засыпающего хутора и округи: просторной долины, пологих холмов и холмов, глубоких балок, заросших шиповником да тернами. Время глухой поры. Сторожкий ночной зверь голоса во тьме не подаст. Лишь гукнет порой нелюдимый сыч. Да малая степная речушка, обсохшая за лето, ночь напролет будет журчать и журчать на каменистых перекатах.

Потом запоят петухи. На белой заре выйдет из дома Тюрин. Трактор заведет и поедет, погромыхивая тележкой, через бугор, в поле. Нынче — уборка. Он в хуторе один колхозник и будет, по его словам, еще двадцать лет работать.

## В ПОЛДЕНЬ

Лето у нас — жаркое и даже больше того — знойное. В полуденный час порою там и здесь зыбится марево. И потому, когда однажды на хуторе знойным полуднем сидели мы в тени за столом и объявился вдруг молодой человек в белой рубашке и галстуке, в черных брюках и черных же башмаках... Когда он, будто с неба упав, открыл калитку и сразу же начал речь, ослепив белозубой улыбкой: «Здравствуйте! Сегодня наша фирма проводит юбилейную распродажу со значительной скидкой!» Я глазам не поверил. Может, жаркое марево?..

Нас было трое: хозяйка двора Валентина, супруг ее Тимофей — мой товарищ, да я — гость нередкий. Только что отобедали. Сидели, разморенные едой, жарой. И вдруг:

— Разрешите предложить вам товары со скидкой! Только сегодня, наша фирма, в честь юбилея...

Я не верил глазам.

В Москве — понятно. От них прохода нет, от этих молодцов: «Здравствуйте! — с белозубой улыбкой. — Сегодня наша фирма в честь десятилетнего юбилея проводит распродажу со скидкой...» И норовят всучить какую-нибудь ерунду. «Спасибо, спасибо...» — обычно говоришь им и — ходу.

В Волгограде, по летнему времени, та же песня: «Сегодня наша фирма...» Ребятки — на подбор: белая рубашка, галстучек, черные брюки.

Знаем мы эти «скидки»: море словес, замажут глаза и всучат ненужное и втридорога. Но это — Москва, Волгоград. А здесь... Я даже головой мотнул. Может, придремалось, пригрезилось. Далекое глухое селенье. Сюда и дороги нет, одни лишь колдобины. А он — вот: из жаркого марева ли соткался, а может, с парашютом... Белая рубашка и галстук, аккуратный пробор на голове, черные брюки. Тут в шортах да шлепанцах на босу ногу жарко. А он...

— Только сегодня наша фирма в честь юбилея предлагает...

Глядели на чудо-гостя, глазам не веря. Да что мы. Сторожкая собака Пальма от удивления пасть разинула и замерла.

На вправах человека городского, виды выдавшего, я проговорил все-гдашнее:

— Спасибо, спасибо... Ничего не надо...

Но молодой человек уже выкладывал из объемистой сумки сияющие наборы столовых ножей с надписью «Золинген», яркие, пластмассовые терки, шинковки, что-то еще...

Мой товарищ глядел на этот развал снисходительно. Ему ведь и вправду в хуторском житье ничего не нужно. Все есть. К тому же он — тоже городской человек, а еще — скептик, не любит обманов.

— Золинген, Золинген... — проговорил он снисходительно. — Это все — брехня, лишь хлеб резать. А вот я ножи делаю...

Товарищ мой — человек рукастый, он все может. И ножи. В бытность заводскую и теперь. Из настоящей стали, с наборными пестрыми ручками. Столовые ножи, секачи и, конечно, рыбацкие.

— Я такой Золинген...

Он любит рассказывать. Что и понятно при хуторском житье. Тем более новый человек объявился.

— Нет, нет! — горячо возразил ему нечаянный гость. — Наша фирма продает только качественный товар! Сегодня, в честь юбилея... — Он выкладывал и выкладывал, опорожняя объемистую сумку.

Простецкий, некрашенный обеденный стол радужно засиял красочными этикетками, никелем и пластмассой.

— Аппарат предназначен... — привычно тараторил наш коробейник. — В магазинах его цена двести рублей, наша фирма в честь юбилея предлагает...

Гость улыбкой сиял, словами сыпал, убеждая. Но в какой-то момент, по нашему равнодушию, он, видимо, начал понимать тшету надежд своих, стал гаснуть.

И в самом деле, не нужны были в этом дворе ни ножи, ни терки, ни прочее. У хозяев — своя машина, в город часто навевываются. Да и чем завлечешь людей пожилых и поживших? Все это, кажется, поняв, торговец сник и смолк.

— Мое дите... — пожалела его сердобольная Валентина. — Ты откуда взялось? По такой жаре. Садись в тенок. Молочка тебе кисленького или холодного кваску? А может, чего похлебаешь?

Молодой человек послушно уселся, квасу попросил, но выпил немного, на вопрос ответил:

— Нас привезли. В ту деревню, а меня в эту... — И завел было прежнюю пластинку: — Наша фирма в честь юбилея...

Но хозяйка его остановила:

— Фирма твоя... Мучают детей по такой жаре. Кто у тебя чего возьмет? Тут одни старики. Ни у кого и денег-то нет.

Хутор и вправду глухой, доживающий. Колхоза нет и работы — никакой. Лишь — пенсии, рубли да копейки на хлеб. Кому тут нужны ножи золингенские. Галди — не галди, хоть разбейся, не всучишь.

Молодой человек квасу выпил, и сразу его пот прошиб. Побегай по такой жаре да в такой амуниции. Лицо его, волосы были припудрены пылью. Белая меловая пыль покрывала рубашку, серея на вороте; брюки припорошены, черные башмаки и вовсе.

Но рассиживаться он не стал. Поднявшись, собирал и складывал в сумку свои товары.

— погоди! — остановила его хозяйка, поднимая глаза на мужа. — Давай хоть какую-нибудь турунду купим.

— Зачем тебе?

— Дите в такую даль мучалось, по жаре... Начальство ругать будет, что не продал. А чего тут продашь, кому? Ты у кого уже был?

— Крайние три дома прошел, но там...

— Старый Шахман, Шура... Из них покупальщики. Лишь ноги бил... Не сепети... — попыталась она остудить нетерпение молодого торговца. — Может, рыбки покушаешь? Целый день на ногах...

— Нет, нет! — отказался гость. — Надо обязательно все дома обойти. Обязательно должен продать. Нас специально...

Он уже был готов к дальнейшему бегу, к движенью по дремавшему в летнем зное хутору, где его вовсе не ждали. Разве что дворовые собаки?

— погоди... — снова остановила хозяйка с приговором. — Мучают детей. погоди... Чего ноги зря бить. Давай подумаем. К куме Шуре либо зайти? — посоветовалась она с мужем. — Они двух овец продали. К Володе? А к Зарецким не надо. Они еще кобеля спустят. Может... Мучают детей в такую даль... да в такую жару... Казня... Как тебе ловчей подсказать...

— Пойди да отведи, — подначил ее насмешливый супруг.

— Взправди! — не поняв шутки, на ноги поднялась хозяйка. — Он и к куме не пройдет, там Роза ошенилась, злющая, на всех кидается.

Хозяин открыл было рот, чтобы жену урезонить, но лишь рукой махнул. Разве убедишь?..

И вот они подались. Жаркий полдень. Спит глаза белая меловая дорога. В пухлой горячей пыли тонет нога. Обомлевший от зноя хутор. Немолодая женщина в белом платке. Отекшие ноги, ход неторопкий. С ней рядом — юноша с картинки или с неба упавший: белая рубашечка, галстук, черные брюки, аккуратный пробор на голове. «Наша фирма в честь юбилея...»

Они уходят. Мы остаемся в тени, у стола. Даже здесь жарко. Знойный полдень. Безветрие. На небе — ни облачка.

## НА УСАДЬБЕ

Великое дело — телефон, тем более — один на хуторе. Новости собирать не надо, они сами собой идут. Прибредет старый человек, детям в станицу позвонит, пожалуется на здоровье, на квочку, которая никак на гнездо не усядется, хоть ты ее гвоздями прибай. Другие договариваются с райцентровским магазином, чтобы свинью ли, бычка забить и сдать цели-

ком, тушею. Это — жизнь. Порой примчится раскуделенная Верка Рахманиха:

— Больница! Строчно приезжайте! Строчно!

В сельской больнице люди мудрые, болезнь рахмановских мужиков для них не секрет. Тем более, что единственная больничная машинешка на все четыре колеса хромает. Берегут ее для дела, больничная округа — пятьдесят верст.

— Вы клятву Гиппократова давали! — вскипает Верка. — Вы свято должны ее исполнять!

Что значит восемь классов закончила, всякие слова знает. Но доктора здешние и не то слышали. Пошумит Верка, брякнет телефонной трубкой и — ходу.

Приятель мой, хозяин двора и телефона, недовольно бурчит, осматривая аппарат: «А он, между прочим, не колхозный, колотить его. Пузырек от Коли Бахчевника вам поможет, а не «скорая», — ставит он безошибочный диагноз и, глянув через забор, добавляет: — Туда она и намылилась, к Коле. Сразу бы надо, без этих... Гиппократов. И аппарат целее».

Но самых впечатляющих спектаклей возле телефона нынче, видимо, не дождемся. На дворе — июнь, а Городские носа не кажут. Видно, нажились, нарыбачились, воздухом хуторским надышались. Самого Городского вроде бы от должности отставили. Кончились казенные машины да шофера. А своим транспортом сюда добираться далеко и накладно. Видимо, и спектакли закончились. Молочного производства на хуторе не будет, не получит город и экологически чистых овощей.

Но обо всем по порядку, не забегая.

Дом и двор, где я по летнему времени порою гошу, от просторного поместья Филюковых отделяет лишь скотий прогон да пустошь, на которой стояла когда-то хуторская почта. Филюковское поместье пустует который уже год. Хозяев нет: Праскуня умерла; Иван сразу же перебрался к сыну, в райцентр, где недолго прожил. Но усадьбу он успел продать случайному городскому человеку, помещанному на рыбалке. Места тут — рыбацкий рай: малая речка, Голубинская старица, Дон, озера.

Городской рыбак в первое же лето привез семью: жену да мальчонку. Был он каким-то начальником, при шофере и казенных автомобилях: то белая «Волга» его привозила, то вездеход «УАЗ», судя по погоде. Привезут, увезут. Обычно на выходные. Но порою неделю живет и больше. Рыбалка — его страсть. Чуть свет он уже на речке. Щук ловил, и очень удачно. Семью свою рыбою закормил.

Имени да фамилии его никто не запомнил. Так и остался Рыбаком или Городским, хотя городские на хуторе не редкость. Но те — свои, а этот напоказ чужой: белотелый, с пупцом, бабьим просторным задом, в очках и при соломенной шляпе — ни дать ни взять городской. И разговор бестолковый: «Какая рыбалка... Это просто удивительно... Мне просто не верят... Это невероятно: на четыре килограмма щука...»

В городе, может, такие разговоры и к месту. А здесь народ серьезный. Сомик пудов на пять — это интересно. Или весною за один «плав» поднять три ли, четыре сотни чехоней. Об этом стоит гутарить: под каким берегом вентирь ставил, «сплывал» да в какое время. А что твоя щука...

Но Городской был очень доволен жизнью на хуторе: охал, ахал, закатывая глаза. Жена его занималась нехитрым хозяйством, мальчонкой, любила чаевничать посреди своего двора, счастливо приобретая в собеседницы тоже ненашенскую молодуху, которая еще недавно работала на телеграфе в далеком городе Ош, а нынче бедовала на хуторе, в чужой хатке, попав сюда неизвестно зачем и как.

Одна баба — ум, две — вовсе кладезь.

Но виноват был еще и филюковский двор: просторное поместье, в котором жилой флигель занимал лишь малое место, а все остальное — ско-

ты сараи, стойла, базы, прибазники, закуты, рубленые амбарчики, клуни. Словом, поместье, в котором городской мальчонка забредал и терялся; находили его только по реву и не враз. А еще — немереный огород, просторная левада, полого стекавшая к речке.

Завязку будущих спектаклей я пропустил. В очередной приезд неожиданно встретил на хуторе земельного начальника из райцентра. Тот уже отъезжал, в ответ на мой вопрос засмеялся.

— Вам скучно, мы ездим и веселим. Все землю просят... — добавил он уклончиво.

Я подивился. Земли вроде все уже наелись. Какие брали, назад вернули. В том числе и мой хуторской приятель. Но мало ли...

И вот тут начались телефонные страсти, каких еще не бывало. Что молодая Рахманиха... Прошумит привычное: «Обязаны! Клятву давали!» И нет ее.

У Городских все много серьезнее. Вначале вдали слышится залиvistый голос хозяйки: «Гал-гал-гал...» — на весь хутор. И отзывается под горой. «Гал-гал-гал...» — подпевает ей подруга-телеграфистка. А сам Городской, которого от речки отлучили и ведут к телефону по делу серьезному; он поддакивает бабам, точно бьет в глухой барабан: «Реально... Это реально... Вполне... Вполне... Очень реально...» Да еще мальчонка верещит, и лает приبلудная шапка. Словом, табор цыганский. Все ближе и ближе.

— Взгалчились... — сообщает мой приятель и прибывается ко двору от база ли, с огорода, любопытствуя.

Пришли. В тихом дворе — то ли ярмарка, то ли Тришкина свадьба. Мудрая собака Пальма спряталась от греха в конуру: всех не перелаеть.

За главного, конечно, сама Городская. Она первая — у телефона. Остальные — вокруг.

— Весь необходимый пакет документов давно у вас. Бизнес-план прошел экспертизу и получил одобрение. Есть ходатайство городской администрации. Они заинтересованы в экологически чистых продуктах. Я в который раз... Настаиваю! И я буду вынуждена... Еще раз объясняю: бизнес-план одобрен... Экспертиза, понимаете. Разговаривай, а не стой как столб! — сует она трубку мужу, отступаясь и выливая свой праведный гнев теперь уже нашему двору: — Идиоты! Форменные идиоты! Такие проекты! Экологически чистые овощи! Без электричества! Без этих атомных станций! На Западе за такой проект сразу бы ухватились! Идиоты!

Между тем супруг ее, прикрывая ладонью трубку, солидно басит в нее:

— Да, да... Две независимых экспертизы подтвердили, что все очень реально. Заинтересован город. На уровне мэра. Да, да... Есть соответствующие бумаги. Конечно, конечно... Надеюсь, надеюсь. Договорились... Обязательно.

Трубка положена. Городской протирает очки, радостно сообщает:

— Кажется, дело сдвинулось.

— С боку — на бок, но не с места, — язвительно остужает его супруга.

Теперь за телефонную трубку берется их соратница и подруга, тоже толкует, словно по писаному:

— Закон о вынужденных переселенцах гласит... Вы обязаны в течение месяца... Служба занятости подтвердила согласие... Все документы у вас... У меня есть право... а вы не имеете права, по закону...

Телефонная трубка все терпит. Телефонные провода — длинные, от столба к столбу, на десятки верст, через пустую курганную степь несут и несут слова человечьи, остужая их и утишая.

Городским известно мое газетное да книжное ремесло; и потому весь нерастраченный пыл, какой в телефонную трубку не поместился, теперь — ко мне:

— Одну нашу идею напрочь забюрократили! Какой был проект! За него все двумя руками... — не в первый раз рассказывает мне Городская. — Экологически чистые овощи! Без нитратов. Без затрат электроэнергии! Ни атомные станции не нужны, ни тепловые! На Западе за такой проект сразу бы Нобелевскую премию дали! Овощи на родниковой воде! Вы же знаете, там столько родников! Там все очень просто! Но эти идиоты... А теперь второй проект, и то же самое: волокитят и волокитят... Экологически чистые молочные продукты: творог, сметана, сливки.

— Вполне, вполне реально... — подтверждает супруг, воровато оглядываясь и отступая.

— Я изучила конъюнктуру рынка, его потребности, — вычитывает мне Городская. — Проект экономически выверенный. Тридцать коров. Всю продукцию забирают лучшие рестораны: «Волгоград», «Интурист», «Дракон». Экологически чистейшие продукты. Здесь такой воздух, вода, трава... — со вкусом, даже причмоком вытягивает она воздух. — Продукты будут на вес золота. Только для очень богатых людей, которые это могут себе позволить. И банку это очень выгодно. Покупаем коров и тут же начинаем погашение.

— Это реально, реально... — уже издали поддакивает супруг, ныряя в отворенную калитку. И вот уже нет его.

— Всем выгодно: продукция, рабочие места...

Мой приятель, радушный хозяин двора и телефона, любит справедливость. Ему дипломатия чужда. Он ставит вопрос конкретно:

— А кто будет работать? Филюковы-то померли, Праскуня да Иван.

Начинается галда дворовая.

— Это — глупости. В стране — безработица. Здесь будет управляющая всем руководить. Она все организует. И рабочую силу. И производство.

Это о подруге-беженке, бывшей телеграфистке, которая подтверждает решительно:

— Производственные помещения есть, рабочую силу найдем.

— Где найдешь? Кто конкретно будет работать? — настаивает мой хозяин. — Кто будет на плантациях или за титьки тянуть?

— Таиса будет доить. Она согласна. Главное — кредит и организация, сбыт.

Таиса — одинокая немолодая баба, тоже пришлая, живет, как говорят, на прилипушках, в чужом дворе, но держит корову, кур.

— На тридцать коров одна Таиса? — недоверчиво переспрашивает мой приятель. — Да она их сроду не продоит. У колхозных доярок меньше нагрузка. Да еще подоить — полбеда. А молоко еще надо обработать. Процедить, охладить, перепустить, вскипятить, заквасить... На сметану ли, на творог, на кислое...

— Все будет сделано, — обещает помощница Городских, которую они в управляющие наметили. — И творог будет, и сметана.

Приятель мой настойчив:

— Кто будет прибирать у скотины, поить, кормить, базы чистить, пасты, сено заготовливать, телят пестать... Там — делов... С одной-двумя коровами моя вон хозяйка ревет. А тут — целое стадо.

— А как же Филюковы справлялись? У которых мы дом купили? — спрашивает Городская. — Ведь там всего понастроено. Там не тридцать, там, наверное, сто тридцать голов было. И люди говорят, они сами справлялись, вдвоем. Никого не нанимали.

Приятель мой отвечает не вдруг, вздыхая да головой качая. Но отвечает уверенно:

— Таких людей уже нет, как Иван да Праскуня. Нету! — ставит он в разговоре точку.

Городские со двора уходят. А мы остаемся, не сразу возвращаясь к привычным делам, толкуя, теперь уже между собой, но о том же. Подходит кто-нибудь: вдова недавно схороненного Фомы Жармелова — Хомов-



на; сухонькая востроглазая баба Катя — родная тетка моего приятеля; тихая, словно мышь, баба Акуля — все свои, прожившие на этом хуторе век.

— Могучие были родники... — это про филюковские огороды. — Прямо кипучие. Белый песок — буруном.

— Потому что их чистили каждый год, вот и буруном. А ныне?..

— Везде нужны руки. Те же огороды у Проскуни, бывало, как на картинке: канавочки везде ровные. А земля? Грядочки — любо глядеть. А все труды. Копай, боронуй, сажай, с рассадой кохайся, как с дитем. А потом на все лето казня: гнись и гнись. Трава — дурняком лезет. Да всякая гадость. Откель чего и берется. Зеленый червяк, тля, черепашка, клопы зеленые... На помидорах, на перце, на луке... Какой только страсти Господь не посылает.

— Проскуня... такую игу несла... Сколь скотины, сколь птицы...

— Иван тоже моторный, заядливый: надо и надо... Ни дня, ни ночи... Ни лета, ни зимы... Все надо. А теперь — ничего не надо.

Вспомянули, повздыхали, расходятся с вечным присловьем: «Сиди — не сиди, а работать надо...» Немолодые, пожившие. Морщинистые лица, мослатые корявые руки... Уходят к своим дворам и делам. Я остаюсь — философ...

Так — было. А нынче — уже месяц июнь, Городские носа не кажут. Их соратницы, телеграфистки из города Ош, тоже не видно. Может, пристроилась где.

А подворье филюковское пока на месте.

Когда летним вечером идет с пастьбы немалое хуторское стадо, филюковская усадьба — на пути. С мыком и бляньем, в полнеба пыля, штурмом берет скотина усадьбу, пробиваясь через худые и вовсе поваленные заплоты и растекаясь на просторном подворье, чтобы всласть почухаться, потереться о какой-нибудь стоянок или укрыться от надоевшего гнуса на пустых базах. В жаркую пору там прячутся от кусучего овода хуторские телята. Соседские куры порой заглянут, погрестись на чужом базу, а петухи — кукарекнуть. Вот и все. Дни напролет дремлет старая усадьба в тиши.

Порою я прихожу на это подворье, брожу по нему, присяду в тени ли, на солнцепеке, когда какая погода. Поместье доживает свой век. Но словно человек, годами старый, а телом еще могучий, оно завораживает. Сидишь в тишине, а прошлая жизнь — вот она, из каждого угла глядит.

Высоченный просторный сенник, словно самолетный ангар, большие ворота, куда можно въезжать на лошадях, на машине, на тракторе с возом сена. Шиферная крыша, крепкие столбы, стены. Теперь здесь пусто и сумрачно и оттого еще более просторно. По углам — тьма, под крышею — голуби воркуют. Как-то жутковато. Но кружит голову, ноздри щекочет настоянный за долгие года сенной дух. Кажется, различаешь: горьковатый степной полынок, что-то еще подзабытое.

Из огромного сенника ход напрямую в скотьи сараи, стойла. Низкая крыша, мазанные стены, решетчатые ясли-кормушки для сена, затянутые пыльной паутиной малые оконца, полутьма, отворенные двери к базам выгульным с плетневыми загатами — защитой от ветра. Скотий дух. Ласточки шныряют. Их лепленые гнезда здесь от века. В свою пору пищат птенцы.

Сумрачные лабиринты скотьих вертепов кончаются дверью, ведущей в «теплушку» — низкую просторную хату с глинобитным полом и печкой-«грубкой». Тут зимней порой, после окота, держали новорожденную малышню: телят, ягнят, козлят. Когда-то здесь крыша поднималась от блянья да мычанья. Из «теплушки» — ход в летнюю кухню-стряпку с просторною русской печью. Рядом — черная кухня, где на низких печурках в котлах грели воду, готовили пойло и мешанку для скота и птицы.

Чуть далее — птичники. Для кур, с насестами и гнездами, для гусей, для индюков, для уток. С лазами и выходами на базки, во двор и на волю. По летнему времени птица уходила на выгон, на воду — куда кому поло-

жено. А дальше — свинарники, тоже с базами, где навек вросли в землю неподъемные корыта, вырубленные из дикого камня. Даже могучему борову их не перевернуть.

Конюшня, навес для косилки и конных же грабель. А еще — мастерская с верстаками, наковаленкой. Рубленый амбар с плетневыми, мазаными закромами.

Скотьи сараи, катухи, загоны, базы, птичники, службы стоят, подпирая друг друга и охраняя поместье, словно крепостная стена.

Замшелый, камнем обложенный колодец, каменные корыта-поилки, тонущие в земле и траве, теплые от солнца. На них хорошо сидеть.

Хутор наш нынче довершает свой век, съезживаясь и умаляясь домами, людьми. Но он еще жив. И потому всякое брошенное ли, оставленное без надзора строенье быстро исчезает. На месте почты, клуба, колхозной столовой — заросшие бурьяном ямы. Магазин лишь закрылся, там сразу началась возня. Сначала в сумерках. Приятель мой всполошился: «Надо пойти хоть стекло принести, — и объяснил: — Окошко разобьется, а у меня в зубах нечем поковырять». Принес. Тут объявился дед Федор, увидел добычу, заохал: «У меня стекла грамма нет. Надо побечь».

Разнесли магазин вплоть до вывески. Она теперь во дворе у моего товарища. Большая, из жести: «Смешанные товары».

— Торговлю думаешь открывать? — усмехаясь, спросил я.

— Сгодится. Доброе железо.

В брошенной старой школе стучат добытки. Приятель мой похвалился:

— Три рамы припер. Гляжу, тянут. А рамы край нужны для парников. Надо еще сходить хороших досок с потолка или с пола выдрать. На запасные весла. Сломается весло, потом кукарекай. Пока не растянули, надо сходить.

Растянут. Дело обычное. С живого порой кожу снимают. Бобыль Савушка зимою криком кричит: «Ломают хату!!» Это его соседи стараются — Рахманы. У них сроду не хватает дров. Вот они и пользуются: чтобы далеко не ходить, по ночам дерут доски с живого дома.

Дело привычное. Колхозная бригада на хуторе закрылась, через неделю на месте бревенчатой кузни и склада — ровное место. Не сожгли ведь, а в пользу произвели. Для жизни. Любая доска нынче денег стоит. А где их взять? Тем более, что магазины — далеко. Хлеб месяцами не возят. О прочем чего и говорить.

Но к моему удивленью, вот уже который год стоит посреди хутора брошенная без пригляда филиюковская усадьба. Хозяева померли, новые городские владельцы носа не кажут.

Летней порою за долгий день лишь соседские куры проведуют, погребутся на чужом базу, петухи раз-другой кукарекнут. И снова — покой. Вечером чужая скотинка забредет ненадолго. И настанет ночь.

Зимой и вовсе усадьба стоит угрюмо и одиноко, словно черная крепость.

И не трогают ее, не зорят. Пробредет мимо старый Лисовин или жена его — тетка Шура, суетной дед Федор прошагает с костыликом, просеменил сухонькая Катерина по дороге ли, а то и напрямую, уже набитой скотьей и человечьей тропой. Идут-идут и вдруг остановятся, словно неволей, оглядывая дощатые и плетневые стены, шиферные да камышовые крыши. Потом — долгий вздох, и дальше пошли.

Стоит усадьба. Ни единого стеколка не вынули, листа шифера не сняли, не оторвали доски. Память ли, совесть... Как знать...

Но все равно этому будет конец. Ударит молния или чьи-нибудь городские внуки в затишке костерок запалят. Полыхнет — и конец всему. Новым летом на пепелище лесом поднимутся конопля, крапива, дурнишник, надежно укрывая остатнее: ржу да камень. Конец.

## В ЗАЙМИЩЕ

В мире — осень. Из окон городского моего жилья, с высоты шестого этажа, все видать: просторная Волга, воды ее, неблизкий левый берег с песчаными косами и пойменным лесом, но все далекое, словно картина. Главная радость — вот она, у подножия дома: тополя да березы в осеннем наряде. Ярко золотятся под солнцем, слепя глаза; а в пасмурный день кротко, лампадно светят, украшая и согревая осенний городской быт.

Издали из окна поглядишь — и тянет на волю. Ближе к деревьям, к земле, к желтой листве и горькому осеннему духу. Подышать им. Нагнуться, поднять и ощутить в руке легкость листа березового, тяжесть тополевого.

В день приезда лишь подошел к окну, глянул и сразу — вниз.

Но обманчивы городские виды. Рядом — береза и тополь. Янтарно светит листва, радуя глаз. Но чего-то душе не хватает. Вначале не понял. Прошелся по скверу и повернул домой.

Нет... Это не осень, а лишь красивая картинка, магазинная витрина ли, фотоснимок, телевизора глаз.

Под ногами — асфальтовые дорожки. Парковые работники целый день гребут листву и увозят. Но главное — с двух сторон обтекают невеликий наш сквер проезжие дороги. Неумолчный гул, бензиновый дух...

Осень должна быть тихой. Осень должна горчить на вкус и на запах.

Домой вернулся и, конечно, вспомнил иное. Как еще недавно, сентябрьским теплым днем, на хуторе, отправился я за Дон, в лесистое займище. Поглядеть, попрощаться.

День был пасмурный, ветренный. Казалось, что близок дождь. На хуторе пусто и скучно: в огородах, левадах — сухие плети огурцов да тыкв, почерневшие будылья другой сажанины; картошку давно выкопали. Редко у кого, в палисадах, сочно доцветают астры и распускаются голубые сентябрины, которых долговек: сначала они на воле будут цвести до самого снега, потом усердная хозяйка их пересадит в горшок и унесет в дом. Но это еще не скоро. Нынче — сентябрь.

На высоких окрестных холмах — рыжая шкура жухлой травы; а над водою — зелень. Кудлатые старые вербы, могучие тополя. По их вершинам с гулом катят зеленые волны. А на земле покой.

Дошатая лодка дремлет в тихом заливе. Отомкнул ее и потихоньку поплыл, угребаясь веслами, мимо зеленой стены камышей. Поодаль, в просторной заводи, плавает семейство лебедей. Старые и молодые. Уже не разобрать. Сахарная бель оперенья сияет на зелени. Красивые птицы.

В заливе тихо. Ветер над головой высоко. Голенастые цапли бродят по мелководью, неловко, неуклюже взлетают, звучно хлопая большими крыльями. Нынче цапель развелось, вот они, на виду: рыжие, серые, белые. Прячется в камышах нелюдимая выпь.

Залив кончился, зеленая стена камышей и дерев отступила. А на Дону — ветер, волна поперек хода, так и хлещет по скулам лодки. Теперь знай гребь да гребь.

Вроде и неширок Дон, всего полверсты. Но против ветра пока его одолеешь, с непривычки, умаешься. Но все равно путь недолгий и славный. Все дальше уходит берег правый, отступают рыжие холмы с белыми меловыми кручами.

А берег левый встречает по-доброму: ветер вдруг стих, и волна пропала. Это приютил тебя берег займишный, укрыл песчаным обрывом и густым лесом.

Лодку на всякий случай схоронил я в камышах: скорее по давней привычке. Мало ли... Хотя пришлый народ нынче тут редок и редок. Пустынная река: ни моторной лодки, ни буксира с баржонкою. Бакены и створные знаки, означающие путь, давно уже сняты. Это когда-то, лет десять — пятнадцать назад, здесь даже пассажирские теплоходы были не редкость, а

грузовым — счету нет. Моторки бегали, катера, байды. Там и здесь маячили по берегам машины, палатки, люди.

Все ушло. Иные теперь времена. Пустая осенняя вода, уже осветлевшая, опустевшие берега, шумящий под ветром займищный лес, воронье да редкий орел-белохвост на обсохшей маковке старого тополя.

Мой путь к озерам, далеким ли, близким, куда доберусь. Малые и Большие Куги, Шемаристое, Поплутное, Крестовка, Лубники, Свинорои, Большой и Малый Лопатин, Песчаненькое, Бурунистое, Сокори... Им счета нет. Лесистое займище и луга рассекают озера, словно три голубых ожерелья, по древним донским руслам, весною сливаясь протоками, старицами, по летнему времени обсыхая и рассыпаясь синими бусинами.

Идти нехоженным займищем — дело не больно ловкое: валежник, сухостой. Пробирайся да обходи. Но куда спешить?.. Бреду помаленьку. Непогода и ветер где-то там, наверху. А здесь могучие стволы тополей да верб, словно колонны; купы листвы и ветвей смыкаются — кров надежный. Кусты боярышника в спелых плодах. Как не посладиться их мучнистой мякотью. За горстью — горсть. Да еще про запас, в карманы. Возле самой земли, на тонких стеблях — красные ягоды ландышей. Как славно, как благостно тут было весной: нежная бель колокольцев, тонкий дух теплой земли и цвета. Не цветок, не букет, а ландышевый разлив. Бредешь... Сладкое забытье.

А заячья капуста цветет лишь теперь. Там и здесь ее заросли. Сочные мясистые листья, высокие стебли, сиреневые душистые зонтики цвета.

Тишина. Треснет под ногою валежник, шуршит палый лист. Вот наконец старая дорога. Заплывшая, затравевшая, но идти легко. Кое-где гниют, обрастая мхом, упавшие поперек пути деревья.

Истошные крики соек услышал я издали. Такой они развели базар, что мимо никак не пройдешь. Свернул я с дороги, любопытствуя, пробился через бурелом. И не зря. Осмотревшись, увидел, что причина гвалта — большая неясность. Она сидела на дереве невысоко над землей, нарядная красавица в черно-белом пестром пере.

Испуганные моим приходом сойки разлетелись, но недалеко; и скоро опять собрались, обсев соседние деревья и ветви, и подняли прежний гвалт, налетая на молчаливую большую птицу. Неясность сидела не шевелясь, лишь голова ее мягко поворачивалась на неподвижном тулове вправо да влево. В просторных окружьях глаз порой открывались черные зрачки.

Соек я разогнал подалее, крича на них и бросая палки. Галдливая порода, но трусливая. Разогнал и вернулся к неясности. Птица все так же недвижно сидела на прежнем месте, подремывая и дожидаясь своей поры: ее время — ночь.

Я подошел совсем близко. Красивая, чужая в наших краях птица, впервые вижу ее. Тем более рядом. Нарядное пестрое перо, круглая головка, окружья глаз, крючок желтого костяного носа, меховые «чулочки» на ногах.

Неясность широко раскрыла большие черные глаза и снова сузила их до шелок. Словно поглядев на меня: дескать, спасибо, что прогнал балаболку; спасибо, и шагай себе.

И тебе, спасибо, красивая птица, за то, что гостишь к нам. Отдыхай до ночи. Не буду тебе мешать, раз в жизни тебя увидав. Это — великий подарок.

И еще одну гостью углядел я нечаянно неподалеку, в дубняке. Она выдала себя звучным цоканьем. Я услышал, поднял голову и не поверил себе. Большая рыжая белка глядела на меня темными выпуклыми глазами.

Разглядывал я белку пристально, даже в бинокль, который до поры на шее висел. Зверек уже выкуневший, нарядный, с темной остью, с огромным пушистым хвостом. Это — не кавказская белочка и не тот малый зверек, что живет и кормится в Подмоскowie, даже в парках. Нет. Эту рыжую красавицу ни с кем не спутать. И откуда взялась? Разве спросишь? Охото-

веды лишь плечами пожмут. И слава богу, что не знают. Давно бы застрелили. Как-то спросил я у одного спеца про лесных голубей-вахирей: много ли осталось? «Есть еще! — ответил мне „охотовед” радостно. — Мы их в шулуом кладем, для навару. Они жирные». Так что лучше промолчать о нынешней встрече.

А вот больше за весь долгий путь живности я, считай, не видал.

В низинах, в мочажинах попадались свежие следы диких свиней. По теплomu времени они кормятся ночью. А теперь дремлют на лежке, где-нибудь в непролазных зарослях камышей.

На берегу озера — острые пеньки и стружка. Хозяиничает бобер, тоже зверь ночной, потаенный. Скоро он вовсе уйдет под лед, под воду на всю зиму.

Займишные лесные озера покойны. Осенние воды их прозрачны, словно стекло. Дно от самого берега выстлано утонувшим листом. Так бывает из года в год, и потому вода горчит. Горстью зачерпнешь, пригубишь, слышится горчина.

Лесная нехоженная дорога, попетляв, вывела на опушку к заливным лугам, к простору. Здесь — ветер, далекий осенний оком, а впереди — последний рубеж: Песчаненькое, Бурунистое, Лубники, Сокори, Клешни — озера, которые берегут займишную и луговую округу от подступающих сыпучих песков.

Летом это особенно видно. Приедешь сюда в июне: в лугах трава — по колено, зелень да цвет; на берегу озера — мягкая мурава, камыш, тенистые деревья. Словом — рай земной. А напротив, на другой стороне, — пустыня. Переплывешь озеро, и прямо от береговых верб встает песчаная круча. Поднимешься на нее: до самого горизонта горбчатятся бархан за барханом. В песках летом — палящий зной, в иную пору — ветер и ветер. Пески под солнцем сияют желтизной и медью, слепят глаза. Зыбится жаркое марево. Это — пустыня.

А возле воды всегда хорошо. Летом или весной, когда вербы цветут, распуская золотые сережки. Пахучая сладость пьянит и кружит голову. Озерная гладь светит золотистой пылью.

И теперь возле озерной воды приятно. Сентябрь. Цветет синий «батог»-цикорий, желтушник, зелень травы и молодых дубков осень еще не тронула. Простор и простор. Озеро, за ним — протока, снова — озеро. Высокий ветер. Горечь тополевой, вербовой коры, вянувшей травы и листвы.

Огромная живая земля, живая вода, бездонное небо и малая моя душа человечья, за все благодарная, порою до забытья, до слез.

В дальней дали смутно белеют придонские кручи. Над ними — тьма. Видно, близко уже непогода.

Над головой — дымные сизые тучи летят по небу стремительно. В разрывах — клочья голубого неба, солнечный проблеск, белый дым высоких перистых облаков. Но это — лишь в редких разрывах... Из края в край — стремительный, летящий бег. Словно огромные стаи убегают и убегают.

Скоро — осень. Но это вовсе не страшно. Просто придет иная пора. Задождит, похолодает, а потом вдруг, словно в единый миг, пожелтеет листва. Выглянет солнце — займишный лес светит золотом из края в край. Быстро остынет речная вода. Потянет на юг перелетная птица. Господи, сколь их много... Летят и летят, днем и ночью. Курлычут, гогочут, кричат. Порою так жалобно, словно расстаются с этой землей надолго, навек. Особенно по ночам, когда стаи летят низко над землею. Скоро, скоро...

Обратная дорога всегда короче. А тут еще ненастье меня торопило: порою начинал накрапывать дождь. Когда я выбрался из сумерек займишного леса, у воды, над Доном, уже вечерело. Ветер стих, небо разветрилось. Потихонечку шлепая веслами, плыл я и плыл. Куда в этой жизни спешить...



---

---

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ

\*

## ЛАЗУРНАЯ ПОЛЫНЬЯ

\* \*

\*

Побледнели ртутные фонари, шелестит предутренняя пороша,  
изо рта у прохожего, словно душа, вылетает солоноватый пар.  
Что ж ты передо мною, бессонница, деревенская книгоноша,  
раскладываешь свой небесный, запылившийся свой товар?  
Весь свой ассортимент я давно изучил от корки до корки,  
а перечитывать нет ни сил, ни охоты, тем более что очки  
помутнели от времени. Зимний мир, праздный пир, дальнорский  
взгляд Ориона в темные окна! В конце последней строки  
пускай стоит многоточие, я не против, только в начале —  
обязательно — первый снег на Пречистенке, первый надсадный крик  
новорожденного, первые листья на тополе, первые — что? печали?  
Нет, не эти зверки мохнатые, Иисусе, к ним я слишком привык.  
Убран ли стол яств, как положено? покрыты ли лаком царапины?  
Сверкает ли нож золингенской стали с ручкою из моржовой кости?  
Ах, как хочется жить, делать глупости, танцевать под Алену Апино —  
даже зная, что час неурочный, кто умер, а кто разъехался, и никакие

гости

не вломаются в дом, хохоча, размахивая бутылками и тюльпанами,  
спрятанными от мороза в сто бумажных одежек, в сто газет  
с безумными новостями. Помнишь — дыша туманами, тихо пройдя меж  
пьяными?

В назидание юношам можно считать, что вообще-то надежды нет,  
отчего же она так упорно возникает из праха, и трепещет снова и снова,  
и в архивах у Господа Бога ищет пепел горячей степной травы,  
ищет горного холода и долинного света — синего, золотого,  
как потрескавшаяся майолика на глиняных куполах Хивы...

### Урок литературы

Пока мы топчемся в передних  
бесчестной вечности, наследник  
муз светлых молится звезде  
вечерней и ночному зверю.  
Зачем же я в иное верю,  
зачем мне чудится везде  
Сальери (классика соцарта),  
взасос целующий Моцарта

и лесопильных школьных парт  
 ряды, где юно-пионеры  
 цветут, как веточки омелы,  
 в недобрых дебрях бакенбард  
 орденоносного пиита?  
 Лапта и прятки позабыты,  
 они за Горького горой,  
 любовь к отечеству слепа в них,  
 а за спиной — безносый Павлик  
 Морозов, гипсовый герой.  
 Скажи, остряк, в каком астрале  
 мы дружным хором повторяли  
 лихие богохульства, где  
 в нечистой блинной ли, пельменной  
 сидит художник непременный,  
 рукою роясь в бороде?  
 Костры, табак, ремни тугие.  
 Горбатый друг, от ностальгии  
 как ты излечишься, пока  
 хоронит погребальщик юный  
 свой алый галстук, и латунный  
 горн, и ручного хомяка?

\* \*  
 \*

Под свист метели колыбельной  
 вздремни, товарищ мой похмельный, —  
 синяк под глазом, ночь нежна.  
 стакан воды водопроводной  
 тебе по комнате холодной  
 несет усталая жена.  
 Костяшки на небесных счетах  
 стучат, спать не дают. Еще так  
 недавно нас пленяли сны  
 надежды, славы, тихой веры.  
 Но в темноте все кошки серы,  
 любые ангелы страшны,  
 и приобщиться к дивной тайне  
 разрешено такой ценой,  
 что ужасался даже Райнер  
 Мария Рильке. Бог — с тобой,  
 ты — с ним, ты шепчешь «благодарствуй»  
 сквозь сон, и «музыку готовь»,  
 и вдруг — «да минует нас барский  
 гнев и господская любовь...».

**29 января 2001 года**

При жизни мы встречались редко. Я  
 был слишком горд, чтоб ударяться в поиск  
 контактов с мэтром. Музыка кроя  
 на свой манер, не слишком беспокоясь  
 о будущем, к испарине труда

и водки привыкая, в тайны слога  
 российского вгрызаясь, навсегда  
 я избежал попытки диалога,

в котором надлежало бы изречь  
 друг другу нечто главное, по типу  
 Державина и Пушкина, извлечь  
 орех из скорлупы, сдружиться либо  
 поспориться. Но — комплексы, к чинам  
 почтение, боязнь житейских просьб и  
 презренной прозы. Нет, при встрече нам  
 разговориться вряд ли удалось бы.

.....

*Стоит зима, квадратный корень из  
 любви к небытию, присущей всякой  
 живущей твари, ослепительный эскиз  
 беды. Он замолчал и, кажется, заплакал,  
 Бог дал, добавил тихо, Бог и взял,  
 и сгорбился в отчаянье невольном,  
 во всяком случае, поднес к глазам  
 платок, застиранный, как небо над  
 Стокгольмом.*

\* \*  
 \*

Блеск нейлоновой лески, неловкий крючок, костры  
 на обрыве. После глотка из железной фляги  
 понимаешь, как хороши созвездия, как остры  
 молодые лучи. Ползут по листу бумаги,  
 остроумно свернутому в ленту Мёбиуса, пчела  
 и глухой муравей, шевеля антеннами, то и дело  
 поднимаясь на задние лапы. Как там — насквозь прошла,  
 но жизненно важных органов не задела.

Рыболов, я уже не пишу по ночам многословных од.  
 Годы — такая штука. Одни ушли, а другие не наступили.  
 Так гроссмейстер, отдав мне право на первый ход,  
 разгромил меня, как младенца, задолго до миттельшпиля.  
 Серебрятся во тьме берега воспаленных рек. Нельзя  
 в свете месяца отличить ладью от ферзя,  
 разве что на ощупь. Дрожащим ольховым дымом  
 из-под ног уплывает земля во мраке непобедимом.

Расстегай под водку, навар от тройной ухи —  
 это все отсутствует в области темной, древней,  
 где апостол взвешивает подвиги и грехи  
 много ревностней, чем в мировой деревне,  
 где грифон возлегает с единорогом, там,  
 где виляет, пуча глаза, душа по небесным вершам.  
 Мало что изменилось, далекий мой ибн-Натан,  
 с той поры, как ты считаешь меня умершим.



\* \*  
\*

Карельское озеро — бледные блики  
луны. Рябь — что медь или ртуть.  
Здесь царствует север, высокий и дикий,  
и дао (по-нашему путь)  
вполне справедливо, вполне бесконечно,  
разлито повсюду вполне, —  
вольнo же тебе, словно дрожи сердечной,  
на светлой качаться волне  
и Бога хвалить с подростковым азартом,  
склонившись на лодочный борт,  
следуя, как гоняется щука за карпом  
и тяжкий закат распростерт  
над чем? Не припомню. И ты не припомнишь.  
Не свяжешь, не вымолвишь, не  
взметнешь. Позови эту осень на помощь,  
удвой ее, выплачь втройне —  
но зеркальце в сумерках блещет кривое,  
расходится в тверди разрыв,  
и йог ухмыляется, силою воли  
дыхание остановив.

\* \*  
\*

Далеко еще до холмов, и до гор еще далеко.  
Над зеленеющей степью свет лилов, как подписанный приговор,  
не спеша течет известковое молоко  
облаков, и дрожит редкий воздух, не узнавая себя в упор.  
Дремлю в самолете, скорчившись. А за бортом — весна.  
Небо вибрирует, сотрясается ледяное небо,  
и детские ангелы Рафаэля, растиражированные на  
миллионах предметов ширпотреба,  
опираются на него, как Христос — на воду  
Галилейского озера, усмеваются, слезы льют.  
Это вам, шепчут, лукавому роду,  
нужна под ногами почва, нужен вечный приют.  
Это вы, твердят, неблагодарные твари,  
с образом в левой и обрезом — в правой руке,  
страсти ваши — словно дырка в воздушном шаре,  
все-то рветесь в лес, волчата на цирковом поводке.  
Я не слушаю этих безответственных откровений.  
Я, как и все мои близкие, незадачливый сын земли.  
Ангелы мои, ангелы, давно ль вы дружили с Веней  
Ерофеевым — и куда его завели?  
Я наслаждаюсь полетом, думая в полусне,  
что пчелиные соты к апрелю совсем пусты,  
и никаких пастухов в пустыне, конечно, не  
различишь с такой головокружительной высоты.

\* \*  
\*

Стыдно сказать, но в последнее время я сушим сухим листом  
ощущаю себя — тем сильнее, что мало-помалу ясно:  
осыпается всякий сезонный праздник, в том  
числе и победный салют небывалой частной  
жизни, выдыхается, словно яблочный самогон  
в чайном блюде с каемкой, ее голубая влага,  
и шуршит в темноте оберточная бумага  
на подарке недорогом.

По словам жены, я в ночи скрежещу зубами и, огрызаясь  
на угрозы хозяев небесных, сумрачным их рабам  
рассылаю в подарок сны о том, как мохнатый заяц  
крепкой лапкой бьет в игрушечный барабан.  
Дети мои, право слово, — это проблема. Запас мой  
(чувств и мыслей) оскудел, а пополнять его стало опасно. Ох.  
По утрам, как отец покойный, я страдаю не то что астмой,  
но застарелым кашлем курильщика. Вдох

вслед за выдохом все труднее. Подходит к штанге  
спившийся легковес, подымает ее, роняет, всхлипнул, ушел, затих.  
Так и я, дорогие мои, страшусь, что беспощадный ангел  
изблюет меня, морщась, из уст своих.  
Крепкое нынче пиво. И зима необычно сурова.  
Вот персонаж мой любимый, бомж без денег и крова,  
раздобыл где-то баян, научиться играть сумел.  
В переходе подземном поет, собирает монетки на опохмел.

Мимо него бредет человечество, нация без отечества,  
а над ним Христос, а под ним — могилы до самого центра земли.  
Сердце еще колотится, ландышем горьким лечится,  
в кепке мелочь с орлом ошипанным, полтинники да рубли.  
Procul este, profani. В смысле — прочь, посторонние.  
Как для камня нет бороны, так для гибели нет иронии  
(всю-то ночь радела, гасила в прихожей свет),  
но для музыки нет предела, и смерти нет.



---

---

ИГОРЬ БУЛКАТЫ

\*

## САМТРЕДИА

*Маленькая повесть*

**Л**юбительские кинокадры, снятые с высоты четырехэтажного дома, — это все, что связывает меня с ним. Нынче, спустя много лет, когда уже нет отца, а время сматывает свою бобину, я хватаю конец пленки, вставляю в лентопротяжный механизм старенького проектора и, закрепив на принимающей кассете, запускаю фильм, где все еще молоды и источают любовь. Иногда он снится мне, большой и неуклюжий, похожий на буйвола, развалившегося посреди дороги и греющегося на солнце. Глина присохла к бокам, слепни выются над ним, от него тащит за двадцать шагов, но это его не волнует, — он спокойно и тщательно пережевывает жвачку, обмахиваясь тугим хвостом да поводя мордой с огромными блестящими глазами, окаймленными пятисантиметровыми ресницами. Я ушел из моего города детства, но, простите за банальность, сердце мое осталось там. Часто повторяю, что ненавижу его, поскольку он предал меня с отцом, но это неправда, ибо по-прежнему просыпаюсь ночами в слезах. И тогда не важно, что сосед по лестничной площадке, учитель черчения Котэ Хучуа, пожилой холостяк с крашенными хной волосами, смущающий вечерами сопливых мальчишек рассказами о своих любовных похождениях, Тэко Чуаху, как мы переименовывали его имя, заявил мне однажды, дескать, осетины — гости в Грузии и пора бы мне зарубить это на носу. Не важно, что на митингах звиадисты в длинных чухах с чужого плеча требовали, чтобы мы с отцом, седым как лунь сердечником, высказали наконец-то перед народом свое отношение к осетинам. Мне не хочется вспоминать, как толстый мент Леван Никурадзе, недавно получивший лейтенантские погоны, ворвался со товарищи в кабинет к отцу и заявил, брызжа слюной, что ежели тот станет артачиться, то они доберутся до его младшей дочери. Отец прогнал их как шавок, затем позвонил моей сестре в больницу, где та работала, и велел исчезнуть на несколько дней из города. А Гия Стуруа, отличный вратарь нашей дворовой команды «Рогатка», что плакал, если его не ставили в ворота, — рыжий Гия окликнул меня как-то на ступеньках Дома культуры: «Игора, ты не в счет, никто тебя и пальцем не тронет. Я же помню, какие ты забивал голы». Но и это не важно, не стоит переживаний. Как и реплика аккумулятора Резо, брошенная им во время застолья, когда произносились пламенные тосты за великую и униженную Грузию, а я молчал, ибо любое мое слово было бы истолковано превратно, — он повернулся ко мне, держа в руке полный стакан, и сказал: «Послушай, если ты не поедешь в Цхинвал и не убедишь своих осетинцев убраться с нашей земли, то ты пидарас!» Я плеснул ему в морду содержимое моего стакана. Смешно, но Резо возмутился тем, что я вылил вино, коего и так не доставало. Господи, прости нам наши грехи! Я

---

Булкаты Игорь Михайлович родился в 1960 году в Тбилиси, окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Печатался в журналах «Литературная Грузия», «Литературная учеба», «Дружба народов». Живет в Москве. В «Новом мире» публикуется впервые.

не держу ни на кого зла, но порой не могу сладить с собой, и тогда вместе с воем хлещет горлом застоявшаяся в груди боль. Отец помер от тоски и безысходности, потому что и земля наша обетованная не приняла его как должно, и мне пришлось выносить гроб из чужой каморки, а рядом не было никого ни из друзей, ни из тех, кто до недавнего времени считался завсегдаем нашего дома. Но мне плевать и на это, потому что ночь и вроде как под покровом темноты не видать человеческих слабостей, и я позволяю себе ненадолго вернуться в город моего детства, совсем ненадолго, ровно настолько, чтобы успеть sprыснуть растрескавшуюся, подобно старому футбольному мячу, торбу души из фонтанчика, где гипсовый мальчик заливается смехом и аист щекочет его крылом...

Мы оставили себя там, примерно на середине улицы Руставели, вдоль которой растут самые красивые в мире кленовые деревья и асфальт изрыт от частых наводнений, во время которых мы с Джигом гоним утлые плотики до самой бакалейной лавки. Джиг — это друг детства, длинноносый и голубоглазый коротышка. Мать его, Мэри, которую мы в шутку называли Мехико, раньше купала нас в одной лоханке, а потом, подхватив обоих, несла на плюшевый диван и вытирала огромным махровым полотенцем. Я знаю, чем пахнет детская дружба. Она пахнет сатином с привставшими на дыбы рыжими лошадками, из которого шьют трусы на вырост, и на речке, выскочив нагими из ледяной воды и отстукивая дробь зубами, мы не тратим времени на выяснение их принадлежности, а надеваем те, что попались под руку. Она пахнет сырым подвалом, куда нас заперли в наказание за то, что мы курили бычки на футбольном поле, а Герка Туквадзе заложил нас. Она пахнет карамельками, горсть коих мы стащили в бакалею и принесли во двор и, хвастаясь, стали угощать мальчишек, а отец, узнав об этом, велел отобрать остатки конфет и отнести обратно в бакалею, и мы так и сделали — собрали конфеты и отнесли их, а войти в лавку не решились, да так и стояли у входа, обливаясь слезами, а сопровождавшая нас детвора хохотала до упаду, и тогда выручила продавщица — бабушка Лили — с морщинистым, как печеное яблоко, лицом, — она вышла из-за прилавка, взяла меня с Джигом за руку и повела во двор, где и заявила нашим родителям, что сама угостила нас конфетами. Она пахнет псиной, лохматой дворнягой Гуляш, заболевшей под ноябрьские праздники, и мы выхаживали ее, а восьмого утром нашли мертвой — кто-то проломил ей череп. Она пахнет деревней Ианети и горячей мамалыгой, к которой невозможно притронуться, и отец Джига, Гоги, коренастый мужичок, зачесывающий с левого виска на лысину волосы, говорит: «Берите свои тарелки — и десять кругов вокруг яблони бегом марш», — и мы бежим. Она пахнет рекой Губисцкали, где мы учились плавать, а Гоги голыми руками извлекал карасей из-под коряг, и однажды ему в трусы заполз водяной уж, и он до смерти перепугался, — то-то была потеха. И еще она пахнет хлоркой и карболкой районной санэпидемстанции, где ежеутренне мне колют в живот прививки против бешенства, потому что меня цапнула собака, а хозяин вывез ее за город и застрелил, — и Джиг сидит за дверью, обитой черным дерматином, на алюминиевом стуле и, болтая ногами, терпеливо ждет, и, когда я покидаю кабинет с невысокой кушеткой, покрытой простыней, старым деревянным письменным столом с массивной чернильницей, круглой спиральной плиткой возле медицинского шкафчика, на которой в блестящем биксе кипятят шприцы, тихо спрашивает: «Больно?» С врачом дядей Мишей мы подружились, а после курса уколов он принес нам за пазухой двух ослепительно белых голубей. Я слушал воркование птиц, что вполне умещались в его ладонях, видел огромный горбатый нос с голубыми прожилками, улыбчивые глаза с пучками морщинок по углам да густые седые усы над толстыми губами и понимал взаимозависимость пропорций человеческого лица и душевных качеств.

Нас изгнали из города. Джиг был единственным человеком, кто заступился за нас, но звиадисты быстро заткнули ему рот. Другие вообще молчали — и Юра Керенский, и Сосо Нанейшвили, и Гиви Гаганидзе. Понятное дело, у всех семьи, кому охота нарываться на неприятности, тем более когда с тобой особо не церемонятся. Вот они и помалкивали. Зато друзья отца проявили завидное рвение — они просто сдали его, втоптали в грязь.

Я не расставался с любительской кинокамерой «Кварц-2», купленной отцом по случаю в универмаге, таскал ее повсюду с собой и снимал все подряд, изводя километры пленки. Мог, например, израсходовать целую кассету на старушку Милию, кормящую с рук голубей и улыбающуюся беззубым ртом, или на толстую молодящуюся Магули, присевшую на скамейку отдохнуть и опустившую между расставленных ног увесистую авоську, а глаза печальны, и тушь потекла, и красная помада размазалась, тут подбежала дворняга Гуляш, размахивая хвостом, разлеглась в ногах и выставила пузо, и Магули чешет ей ногтями налитые молоком соски. Я снимал улицы и дома, знакомых и незнакомых людей (иногда тайно), канализационные люки, переполненные нечистотами, снимал деревья и птиц, уступающих гомон на крышах, и многое, многое другое. А по утрам мы с Джигом поднимались на крышу нашего дома заснять рассвет, и клубящийся туман, и отражающееся в окнах напротив красное солнце. По-кошачьи пробираясь между балками по пыльному чердаку, старались не шуметь, чтобы нас не засекала живущая на последнем этаже тетя Юля, мать Тенгиза Чхеидзе, прозванного Отставкичем. Отец его, Серго Чхеидзе, служил районным военкомом. Тенгиз был старше лет на семь, а то и на восемь, что не мешало ему общаться с нами. Дородный детина с наметившимся брюшком, он носил бакенбарды. Вечерами Отставкич выкатывал из подвала свой гоночный велосипед — некогда он состоял в юношеской сборной Грузии по велоспорту и даже завоевал бронзовую медаль в заезде Кутаиси — Зугдиди — протирал его паклей и травил матерные анекдоты, приводя в восторг толпящихся вокруг окрестных мальчишек. Серго успел его комиссовать, выдал белый билет и устроил на деревообрабатывающий комбинат учеником мастера, после чего со спокойной совестью вышел в отставку выращивать виноград. А Тенгиз стал Отставкичем.

На комбинате он работал довольно прилежно, добился разряда и вскоре стал приносить домой жалованье. О страсти его к автомобилям, велосипедам и прочим колесным средствам передвижения ходили легенды. Он умудрился починить старый, загаженный курами, казалось, безнадежно сломанный «Москвич», вросший в землю спущенными шинами во дворе у тети Паши и используемый ею в качестве склада для стеклянной тары. Отставкич отдраил машину, перебрал движок и, как ни странно, завел его, а затем преподавал нам первые уроки вождения. Естественно, все мальчишки влюбились в Отставкича. Меня он, в отличие от других, нередко звал в гости. Не знаю, по какой причине делалось это исключение. Возможно, потому, что я снимал фильм, или потому, что мой отец был известным писателем, и общение с членами его семьи льстило ему, а может, потому, что вдобавок ко всему я еще и играл на скрипке и не стыдился прозвища Паганини. Причем ударение делалось на втором слоге — Пага-анини. Отставкич сам поигрывал на аккордеоне, но известно было об этом не многим. Он забирал у меня кинокамеру и шел первым к подъезду, прижав к глазу резиновый ободок окуляра и разглядывая прохожих через объектив. Я не спеша плелся следом, чувствуя спиной завистливые взгляды, а сердце мое переполняло гордость. Дверь открывала тетя Юля, невысокая женщина средних лет с гладко зачесанными волосами и бородавкой на щеке. Серго привез ее с фронта. Говорят, она спасла ему жизнь, вытащив на себе с поля боя. Тетя Юля никогда не повышала голос.

— Игорец, будете еще лазить по крышам? — спросила она.

— Нет, тетушка Юля, чтоб мне провалиться, — нагло соврал я.

— Вот я пожалуйсь Клаве, — со значением закивала головой тетя Юля. Клава — это моя мама.

Из-за ее спины Отставкич наставил на меня объектив кинокамеры и, корча рожи, нажал на пусковую кнопку. Моторчик приятно зажужжал. Меня раздирал смех, но я крепился, как мог, однако, когда он, установив на возвышении работающую кинокамеру, полез под кровать за аккордеоном, спешно нацепил на плечи ремни и, широко раздувая мехи, заиграл знакомую мелодию, хохот вырвался из груди вместе с насморчным содержанием носоглотки.

Я больной, ты больной,  
Приходи ко мне домой,  
Вместе станем стрептоцид  
Глота-ать.  
Если это не поможет,  
Доктор в больницу положит,  
Вай, шени чириме-е!

Тенгиз пел густым приглушенным баритоном, видно было — дай волю голосу — и вся слободка сбежится.

— Сумасшедший, ох сумасшедший! — заткнула уши тетя Юля. — Чтоб тебя этой бандурой придавило! Пошли, Игорек, я тебя вареньем угощу.

— Сними меня одного, Паганини, — попросил Отставкич, и я его снял.

После чая мы устроились в зале за столом, заваленным книгами, кляссерами, журналами и радиодетальями. Отставкич для пущей многозначительности принял за разглядывать какую-то схему, по ходу дела передвигая книги с места на место.

— Хочешь, подарю коллекцию марок, — предложил он внезапно, — только тс-с-с, Михалу ни слова!

— А на что они мне, Тенгиз? Я же не филателист.

— Так станешь им! Не будь фраером, бери, пока дают. Представь, все будут заискивать перед тобой. Только отцу не говори.

— Почему?

— Э-э-э, он же писатель.

— Дай посмотреть.

Он пододвинул большой зеленый кляссер и раскрыл его. Однако интерес мой быстро угас — это были обыкновенные почтовые марки с изображением животных, цветов и космонавтов.

— А хочешь пистолет подержать настоящий? — спросил Отставкич.

— Конечно! — ответил я.

Отставкич вышел в соседнюю комнату, разделенную с залой занавесками, и долго не возвращался. Зала была небольшая, интерьер типичный для пятидесятых: круглый стол посередине, покрытый зеленой скатертью с бахромой — под цвет обоев с кленовыми листьями, огромный абажур с кисточками над столом, полированный сервант с парадной посудой напротив двери, книжные полки да канапе со стульями. Пахло валерьянкой. Наконец Отставкич вернулся, неся коричневую кобуру с портупеей. Он аккуратно положил все на стол, расстегнул кобуру и достал пистолет. Это был именной браунинг. Отставкич благоразумно разрядил оружие и протянул его мне:

— На, держи!

Большой черный пистолет приятно оттягивал руку. На стволе виднелась гравировка: «Полковнику Чхеидзе за доблестную службу». Он был в масле и пах швейной машинкой. Я сжал рукоятку ладонью. Браунинг будто сросся с рукой. Снял с предохранителя и прицелился в один из кленовых листьев на стене. Раздался сухой щелчок.

— Здорово! — произнес я восторженно.

— Как думаешь, в чем должен разбираться мужчина в первую очередь? Я пожал плечами.

— В оружии и в женщинах!

Что Отставкич знает толк в оружии, я понял по тому, с какой ловкостью он разобрал и собрал браунинг, вставил магазин в рукоятку и привычным движением протер ствол. Что же касается женщин, то это вопрос. Год спустя он женился на бывшей своей однокласснице по имени Лали, девице с мелкими частыми зубами и огромными деснами, бросающимися в глаза, стоило только ей улыбнуться. А улыбалась она поминутно, дай Бог здоровья. Да, возможно, была чистая и возвышенная любовь, только зачем же кичиться знанием женщин. А тетя Юля между тем жаловалась соседям, что Лали захомотала бедного Тенгиза. Поди теперь и пойми, разбирался он в женщинах или нет.

Через некоторое время я собрался уходить.

— Эй, Паганини! — остановил меня в дверях Отставкич. — Твой отец что-то бормочет под нос, когда гуляет. Скажи, что люди смеются над ним.

— Ладно, скажу, только ему плевать на это.

Спустившись на второй этаж, я услышал скрип дверных петель — это Тэко Чуаху делал приседания, держась за металлическую ручку, и в такт его движениям дверь то распахивалась, то прикрывалась. Я немедленно приготовил камеру и начал снимать. Сосед был в длинных, до самых колен, трусах в горошек и голубой майке. На голове его красовалась сетка для волос. Тэко был холостяком и внимательно следил за физической формой. Впрочем, молва приписывала ему странности в обращении со своими ученицами. Увидев меня, он скрылся в глубине квартиры. Я же просунул голову в дверной проем и крикнул по-грузински:

— Котэ бидзиа, ботлеби ар гак? (Дядя Котэ, нет ли у тебя бутылок?)

Тэко вернулся уже одетый, распространяя запах «Шипра». В руках он держал несколько разноцветных пузырьков из-под одеколона.

— Ты что, кино снимаешь? — протянул он склянки.

— Ага!

— А зачем тебе пустые бутылки?

— Мы крошим их камнем, а осколки прячем в ямочках под стекло и засыпаем землей.

Это называется секрет. У всех детей нашего двора есть свои секреты.

— Делать вам нечего! — захлопнул Тэко перед моим носом дверь.

Квартира наша никогда не запиралась. Справа от входа, на стене, были выцарапаны имена — мое и сестер: Игорь, Залина, Жужу. Из-за двери доносился стук пишущей машинки — папа работал. На цыпочках, стараясь быть незамеченным, я вошел домой и вдохнул родной запах мастики, смешанный с запахом старых пальто, висящих в прихожей.

*Кадры из фильма, снятого любительской кинокамерой «Кварц-2».*

*...Он стоит на пороге и что-то говорит быстро-быстро, потом вдруг высовывает язык. У него волнистые с проседью волосы, зачесанные назад, черные усы и волевой подбородок, как у всех у нас. А глаза бархатные, как у вола. Я играю на скрипке-четвертушке, иногда заглядывая в ноты. Менуэт Баха, ля минор, специально для меня подобранный великим учителем музыки Владимиром Ксаверьевым. Дизезы и бемоли похожи на канделябры тронного зала. Творится действие, от которого по спине пробегают мурашки, и, о Боже, я причащен к этому. Пюпитра нет, ноты прислонены к белым пуховым подушкам на кровати. Папа подходит и смеется. Передние зубы немного стерлись. Камера делает панораму: слева от входа массивный платяной шкаф с зеркалом, никелированные кровати у окна — на одной спит бабушка, укрывшись черным пледом так, что видна только голова в темном платке, вторая кровать ис-*

*пользуется мною в качестве подставки для нот, справа круглый стол с ровными стопками учебников, вешалка с какими-то халатами и огромная, во всю стену, карта Советского Союза. И я, стриженный боксом маленький школяр в зеленой рубашке, с черной подушечкой на шее, стою и смотрю. Худой мальчик с серьезным взглядом. Папа снова высовывает язык и уходит в спальню — камера следует за ним, где возле супружеского ложа, на столике, стоит заправленная пишущая машинка «Оптим», а на полу там и сям разбросаны исписанные страницы. Он садится на кровать и начинает печатать, продолжая улыбаться. А дальше камера скользит по потолку, и внезапно в кадре возникает мама, еще молодая женщина с косой, зашпиленной на затылке. Она хохочет, запрокинув голову и закрыв глаза, и прядь волос дрожит на щеке...*

— Буччу-Куыж!<sup>1</sup> Где ты бродишь до сих пор? — окликнула меня мама.

Лихорадочно стал озираться по сторонам — куда бы спрятать камеру и пузырьки, поскольку из-за съемок я совсем забросил уроки, да еще хламу натаскал домой — лишний повод для взбучки. Наконец открыл обувной ящик и быстро захихнул туда все.

— Неужели не проголодался? — Мама появилась в белом переднике, руки в тесте, и от нее веет теплым уютом. Я бросился ей на шею, чтобы предотвратить неприятный разговор, но, увы, бесполезно. — Ты сегодня играл на скрипке? — спросила она строгим голосом.

— Конечно, мамочка, пять раз гамму и два раза этюд номер десять Гедике, — ответил я не моргнув глазом.

— Врет он все! — подала голос младшая сестра, Залинка.

— Мой руки — и за стол, после поговорим.

Из спальни, разминая поясницу, вышел папа. Он был очень серьезен, даже грустен.

— На мын комы, — сказал он по-осетински, — не получается.

— Давай помогу, — попытался я пошутить.

Мы стояли в тесной прихожей напротив детской. Дверь была хлипкая, застекленная, с зелеными занавесками. Толкнул ее ногой. В комнате горел свет, за столом сидела Жужу, старшая сестра, и что-то писала.

— Бери пример с сестры, — укоризненно произнесла мама, — видишь, она целыми днями учит уроки, а тебе б только мяч гонять да с Тенгизом якшаться. Он же старше тебя.

— Я не виноват, что Жужу глупее меня, — усмехнулся я, — она весь день сидит, а мне и пятнадцати минут хватает.

— Мам, скажи этому идиоту! — завизжала сестра, откинув длинные косы с бантами. Мне нравился ее нос с горбинкой, медовые глаза и длинные ресницы, что нет-нет да вспархивали, словно воробьиные крылышки.

Папа поскреб костяшками бледных пальцев ребра под левым соском и улыбнулся.

— Подогрей араки, — попросил он маму. Значит, пора за стол. Ритуал.

Обычно мы ужинали на застекленном балконе. У стены, под горящим плафоном, вокруг которого роилась мошкара, стоял мой гусарский диван, в углу, возле буфета, буржуйка, рядом — тумба с телевизором. За столом было тесно, но уютно. Посреди стола дымились пироги с сыром. Младшая сидела в дальнем конце и уплетала за обе щеки, периодически отхлебывая из блюдца горячего чаю. Ее черные как смоль волосы разметались по плечам. Мама подогрела над газовой горелкой араку в эмалированной кружке, следя, чтобы она не закипела, иначе потерялся бы вкус, осторожно наполнила бычий рог и передала его отцу. Тот произнес тост и медленно процедил сквозь зубы горячий напиток.

<sup>1</sup> Буччу-Куыж — мальчик-шенок (осетинск.).



Вышла обернутая пледом бабушка в обнимку с дядей Бено, врачом, другом отца. Она жаловалась ему на сердце и на плохой сон. Дядя Бено щупал ее пульс и смотрел куда-то ввысь, улыбаясь в усы. Толстые линзы очков поблескивали на свету. Волосы у него были зачесаны с затылка и казались накладными.

— Все нормально, джичи, — сказал он, — продолжай принимать седуксен.

— О, Бено, — оживился папа, — садись с нами ужинать.

— Мне чаю крепче, больше ничего — хую.

— Почему не женишься, Бено? — поинтересовалась бабушка.

— Работы много, джичи, — отшутился тот. — Вот дом дострою, тогда посмотрим.

— Без семьи плохо, — резюмировала бабушка.

Все расселись за столом и принялись за ужин. Разговор протекал непринужденно: обсудили последние городские новости, затем речь зашла о поэзии. Отец с Бено стали декламировать Галактиона Табидзе и с воодушевлением обсуждать вокальную структуру его стихов, которая никак не подавалась художественному переводу.

— Леонович достигает приличного уровня версификации, но в ущерб смыслу, — говорил дядя Бено, блуждая линзами в небесах. — «Колеблясь, шел пирамидальный слон сквозь призрачную взвихренность и взвистость» — возможно, и не плохие стихи, но это не Галактион. «Кари-крис, кари-крис, кари-крис, потлеби-микриан-кардакар...» — вот Галактион.

— Ты прав, — согласился папа. — Ахмадулина — прекрасный поэт, но ей категорически нельзя переводить Табидзе, ей вредит собственный талант. Переводчиком Галактиона, впрочем, как и переводчиком нашего Коста, нужно родиться, иначе, как в случае с Леоновичем и Ахмадулиной, будут получаться неплохие вариации на тему оригинала.

В общем-то, они позировали перед мамой и бабушкой, выпендривались, но слушать их было интересно.

— Между тем есть немало примеров настоящего переводческого мастерства. Скажем, «Le voyage» Шарля Бодлера в переводе Марины Цветаевой, — блеснул эрудицией дядя Бено. — Признаться, это шедевр, только так и надо переводить стихи.

— Наш Коста или Илас не хуже твоего Бодлера, просто не родился еще переводчик, — сказал папа и отхлебнул горячей араки.

— Никто не спорит, — сказал дядя Бено.

Воцарилась тишина.

— Папа, — вдруг очень серьезно заявила Жужу, — я только что прочитала «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Скажи, зачем нужны книги, если они заставляют плакать? Что нужно этим писателям?

Отец с дядей Бено растерянно переглянулись. Наконец нашелся папа:

— Да ничего не нужно. Они пишут, потому что не могут не писать.

— Это что, болезнь такая? — переспросила она.

— Да, — кивнул дядя Бено. — Что-то вроде флюса. Пока не вырвешь зуб, боль не отпустит.

Я вытаращил глаза: каждый день папа садится за машинку, значит, он все время мается зубами.

— Пап, покажи зубы, — полезла ему пальцами в рот Залинка.

— Ну-ка прекрати немедленно, — строгим голосом сказала мама, — как тебе не стыдно, ты же большая девочка.

Дядя Бено заразительно расхохотался.

— Зачем же заставлять страдать других? Зачем делать из Квазимодо уродом? Неужели нельзя было сделать его красивым, как Фэба, чтобы Эсмеральда полюбила его, и они были бы счастливы? — не унималась Жужу.

— Тогда было бы неинтересно, — возразил отец.

— А кто такой Фэба? — поинтересовалась Залинка.

Жужу бросила на нее уничтожающий взгляд, дескать, мала еще задавать подобные вопросы.

— Ой, ой, ой, какие мы умные! — вступился я за младшую сестру.

— Пошел к черту! — парировала она, и я дернул ее за косичку.

— Вопрос довольно серьезный, — сказал дядя Бено, сербая чай. — Дело в том, что в каждом конкретном произведении есть замысел, идея, и все персонажи должны подчиняться идее, в противном случае это не более чем макулатура.

— Лично я предпочитаю романы со счастливым концом. И мне все равно, какая там идея, лишь бы никто не умирал.

— Знаешь что, давай закончим ужинать, пойдем погуляем и спокойно поговорим обо всем, — предложил отец.

— А как же я? — Волна ревности захлестнула меня.

— Ты пойдешь уроки учить, — сказала мама.

*...Проектор все еще трещит, пленка рвется в очередной раз, а бобины крутятся вхолостую, но я не выключаю его. Я знаю наизусть этот старый фильм, знаю до последнего микрона: сейчас появится мальчик с плавательным кругом на поясе, всхлипывающий на ходу, а за его спиной, прислонившись к дереву, юноша с крепким торсом распахивает и запахивает рубашку, люди в панамках разложили тела на горячем песке, и море штормит. Медленно погружаюсь в мучительный сон, и мне снится бесконечность в виде пульсирующей картофелины, и странное ощущение оскомины во всем теле...*

*Кому это нужно? Стоит ли беречь раны? Может быть, плюнуть на все и жить, как все, заботясь о хлебе насущном? Не утруждая себя, ходить на службу, сократить словарный запас до минимума и, перемежая речь отборным матом, обсуждать со знакомыми новости футбола, а вечерами пить водку и закусывать ломтиком лимона? Ведь прошло столько лет, а я с маниакальной настойчивостью извлекаю из недр памяти то или иное событие, стряхиваю пыль и протираю ладонью до блеска. Кому это нужно, кроме меня самого? Может, детям моим, не успевшим вырваться из-под моего влияния? Впрочем, иногда полезно обернуться назад, чтобы согнать с души жир, чтобы лоск сошел с лица, чтобы в конце концов еще раз уяснить себе — кто ты и чего стоишь... Глубокая осень, ветер подхватывает желтые кленовые листья и кружит над землей. Солнце то появляется, то исчезает. Они позируют перед кинокамерой у здания музыкальной школы — отец, Бено и Гутар — директор школы, три неразлучных друга, к которым безуспешно пытались примазаться многие. Бено в щегольском плаще и шляпе, Гутар без верхней одежды и без головного убора, в коричневом кримпленовом костюме, при галстуке, улыбается одними губами и крутит на указательном пальце связку ключей. А отец в коротком черном плаще и черной кепке. Не знаю почему, но он вызывает жалость. Может быть, дело в кепке, надвинутой на уши, или в измятом носовом платке, который он достает поминутно из кармана брюк-дудочек и вытирает слезящиеся глаза? Позже он вообще перестанет носить головной убор, ощутив, видимо, магическую силу своих ослепительно белых волос, развевающихся на ветру... Я наблюдал, как при встрече с ним люди почтительно расступались и здоровались с каким-то трепетом, и отцу это льстило. Однако, очутившись за его спиной, они глядели ему вслед и говорили с оскорбительным для них самих ехидством: «Кто он такой? Чем он лучше нас? Подумаешь, писака! В гробу мы видели этих писак!» Нет, в гробу они его не видели. Не удостоились...*

*Это было время, когда одна из статей отца, опубликованная в местной газете, вызвала бурю негодования. Я и мои сестры уже не знали, как относиться к проявлению внимания со стороны посторонних людей. «Что он о себе возомнил! — останавливали нас на улице. — Кто ему дал право обсуждать дубленки наших детей!» Мы не ведали, кто дал право отцу обсуждать предметы чужого туалета, и растерянно молчали. Статья касалась вопросов вос-*

питания. Среди прочего отец со свойственной ему прямоотой и патетикой высказал убеждение, что ученики, как и прежде, должны носить одинаковую школьную форму, дабы внешний вид одних не смущал других. Учеников, по его мнению, вообще меньше всего должно волновать, кто во что одет, то ли дело свежесть воротников да линии стрелок на форменных брюках. Это мешает гармоничному развитию подростка. Впрочем, желание его выделиться среди сверстников понятно. Наиболее простой метод — отказаться от школьной формы, тем более когда родители состоятельные. Однако если отказ сознательно маскируется под один из видов протеста, что тоже способ самоуверждения, — требуется вмешательство педагогов и психологов.

В райкоме и роно радостно потирали руки. Чиновники от партии не решились на карательные меры против отказников, поскольку в большинстве своем те являлись отпрысками влиятельных людей и портить с ними отношения было небезопасно. А тут представилась возможность въехать в рай на чужом горбу. Собственно, статью пропустили с целью спровоцировать конфликт, чтобы в дальнейшем, сославшись на директивы партии, наказать виновных. Ведь по тогдашним неписаным законам не отреагировать на подобную публикацию было нельзя. Так оно и произошло: спешно созвали внеочередной пленум, где и всыпали кому надо и не надо, крайним же оказался отец. Бедный папа. Он сам был как ребенок, чистый и наивный. Воспитание, — писал он в статье, — начинается в семье, а заканчивается в школе. И самое главное — научить ребенка думать самостоятельно. Но купленные в Кулаши у евреев новая дубленка и джинсы, которые наверняка привлекут к себе внимание однокашников, вряд ли поспособствуют этому. Наши дети должны проявлять себя в сфере учебы, познания, иначе грош цена родительской любви. И вдруг отец привел в пример меня и сестер, что, как казалось тогда, было неправильно. Мы действительно все десять лет ходили в школьной форме, я — в серой паре за шестнадцать рублей, а сестры — в коричневых платьях и черных фартуках за тридцать два рубля. И дело не в том, что таскали мы эту застиранную форму не от хорошей жизни, что иные мои сверстники щеголяли в дорожих «Levis Straus'ax», а я лишь облизывался. Просто мы решили, что статья для нас бесполезна. Какой смысл отказываться от того, чего у тебя не было в помине и никогда не будет. Педагогического эффекта можно достичь только в том случае, если есть выбор. Но мы ошибались. Много позже я понял, что статья скорее всего предназначалась мне и сестрам, и поразила мудрости отца. Мало заронить в душу зерна добра и справедливости, важно питать идеалы семьи — ежедневно, ежечасно, а это непросто. И только после того, как во имя этих идеалов человек добровольно откажется от чего-то важного для себя, можно будет утверждать, что цель достигнута, преодолена первая ступень духовного взросления. Подсознательно я чувствовал, что поступил бы правильно, встань передо мной дилемма, и обида душила меня, обида от невостребованности моего благородства. Отец видел все, но помалкивал, ухмыляясь в усы. Он-то не сомневался в нас. В этом смысле статья была лакмусовой бумажкой для нашей семьи. Но однажды вечером Жужу, не выдержав, бросилась на шею отцу и заревела. Глотая слезы, она сообщила, что в школу больше не пойдет, что на нее показывают пальцем, а малышня дразнит, и отец ответил, утерев ей мягкими подушечками ладоней глазницы, что человек выбирает режим существования раз и на всю жизнь, а не приспосабливается к обстоятельствам, иначе он подлец.

Мне было девять или десять лет, и я не мог до конца осознать смысл его слов, но я их ощущал, к тому же я боготворил отца. Да, ему иногда не хватало простоты и чувства юмора, и он говорил заумно, но по выражению его глаз я понимал, о чем идет речь. Отец всегда носил на лице печать одиночества, потому что знал лучше кого бы то ни было человеческую природу, и только великодушие не позволяло ему облечь это в вербальную форму. Если же становилось невмозможу, он уходил к Риони, а вернувшись, с жаром рассказывал домочадцам, как огромный черный ворон повадился встречать его у бере-

га, слетает с дерева, лишь приметит отца в отдалении, да каркает на всю округу. Скорее всего он придумал эту байку для хохмы. А может, действительно на берегу реки жил ворон и отец тревожил его покой... Здание музыкальной школы зеленое, двухэтажное, николаевских времен. Дверь то и дело распахивается, туда-обратно снуют детишки с нотными папками, с футлярами для скрипок и флейт, и дружелюбно заглядывают в объектив кинокамеры. Выходит плотная секретарша Гутара в черном обтягивающем платье (вечная вдова), с короткой стрижкой, присоединяется к тройке, и друзья начинают подтрунивать над ней, но секретарше это нравится — она расплылась в улыбке, нет-нет да стреляет глазками в объектив. Затем все, кроме отца, входят в здание, а папа остается один, словно бы размышляя о чем-то. Он направляется в сторону библиотеки, останавливается у фонтанчика, ослабляет галстук и пьет воду большими глотками. Наконец выпрямляется, достает из кармана платок и вытирает губы. Камера задерживается на его лице, чуточку небритом и, как всегда, печальном, и я ловлю себя на мысли, что с тех пор отец так и не смог утолить жажду.

Кто же снимал эти кадры? Кто сопровождал его? Мама? Нет, исключено. Она вкалывала целыми днями. Кто-то из сослуживцев? Наверяд ли. И тут меня осенило: Отставкич. Зачем он снимал? Из праздного любопытства? Не похоже — кадры скомпонованы довольно аккуратно, во всем ощущается законченность, основательность. Набирался опыта? Ведь, в конце концов, он стал профессиональным видеооператором — свадьбы, крестины, юбилеи и т. д. — и сытно кормил семью. Нет, думаю, Отставкич просек, что отец превращается в эпицентр неких событий, и поспешил запечатлеть того в момент кризиса. В любом случае проведенные съемки характеризуют Отставкича не с худшей стороны...

— Когда все живы-здоровы, вроде как никуда и не нужно спешить! — донеслось до меня сквозь сон.

Я проснулся ранним утром на своем гусарском диване. Бабушка возилась на кухне. Спать больше не хотелось, но я валялся с закрытыми глазами, наслаждаясь свободой. На серванте, в зале, работал приемник, играл Армстронг, и нога моя, торчащая из-под одеяла, дергалась в такт музыке. Внезапно я услышал смех отца, негромкий и сухой, ровно кто-то тряс дырчатой солонкой, и его подхватил чистый, высокий хохот мамы, — Господи, они стояли в изголовье минуты две по крайней мере и наблюдали мой утренний танец. Я вскочил и с криком: «Ах, вы подсматриваете!» — бросился их тискать и обнимать. Отец отстранил мыльную щеку — он брился — и сказал: «Эй, эй, испачкаешься!» — а мама чмокнула меня в ухо, звонко так, и это была радость...

О, Смерть! Я преклоняю перед тобой голову. Лишь ты никогда не ошибаешься в людях. Я терял немало близких, и каждый раз убеждался, что твой выбор точен. Ты не жизнь обрываешь, ты оттачиваешь человечность и предотвращаешь подлость. Но это лишь слова...

Вдруг пространство крутанулось, что мельничный жернов, и я потерял сознание. И снова видение пульсирующей картофелины, в общем-то, гладкой, с небольшими розовыми шишечками. Они дышали. Потянулся к ней, чтобы обнять, ощущение, будто затекли руки, и это была бесконечность. В горле застрял тугой комок, и мне хотелось вытолкнуть его, вытолкнуть, изрыгнуть, но не получалось... Утро было теплое, светлое, и надо мною склонились лица. Мама сидела подле, держа мою ладонь, и плакала, а папа пытался заглянуть через головы.

— Как ты, богатырь? — спросил дядя Бено, поблескивая толстыми линзами очков.

— Хорошо, — ответил я.

— Если хочется поплакать, не стесняйся, поплачь, я тебе разрешаю, — сказал он и погладил меня по лицу.

— Я видел дурацкий сон, — попытался я приподняться, но дядя Бено не пустил меня:

— Лежи, сынок, лежи.

— Мне приснилась бесконечность, и я трогал ее руками.

— Помолчи, пожалуйста, Буччу-Куыж, — сказала мама.

И тут я заметил Джига. Он стоял среди столпившихся соседей и испуганно смотрел на меня. Должно быть, вид был у меня неважнецкий.

— Дайте ему немного вина, — сказала тетя Лена, — ему не повредит.

Кто-то поднес стакан с янтарной жидкостью, и я отхлебнул.

— Вкусно? — спросила мама.

— Мамочка, милая, — обнял я ее и залился слезами. Она подхватила меня и, прижав к себе, понесла к окну, и я увидел двор и пацанов возле насыпи.

*...Они стоят полукругом. «Народу слишком много, вот он и развылся», — вполголоса произносит кто-то. Стоят возле насыпи, переминаясь с ноги на ногу, и поглядывают на наши окна. Рядом оранжевое ведерко с бабочкой, полная песка, и лопата, воткнутая в песок. Тут же валяется ржавая, залаяпанная раствором, дружинная кровать без спинки. На ней стоит Витька Шкандин в белых шортах и кедах «Два мяча» и, качаясь, ест яблоко. Недалеко от насыпи штабелем лежат плоские железобетонные плиты, на которых нежится дворняга Гуляш, и металлические прутья, что гулко звенят, когда по ним ходишь, а дальше — заросли крапивы и бурьяна, и левее, за холмиком, две айвы и дикая груша, а дальше — перекошенная изгородь, за которой виднеется замшелый фундамент недостроенного дома, а дальше — древняя сторожка стрелочника с алюминиевым рукояйником на крыльце и окном с фанерками вместо стекол, испещренными непечатными словами, и прохудившаяся толевая крыша с оборванными проводами на гнилой крестовине, так красочно загаженная голубями, что кажется шедевром кисти Сёра, и железнодорожное полотно, поросшее резедой и одуванчиками...*

Вечером следующего дня Джиг принес горячих пирожков, специально для меня испеченных его матерью Мэри. Они были аккуратно уложены в белую эмалированную кастрюлю, и, когда Джиг снял крышку, тепло пахнуло сдобой.

— Поешь, пока горячие, — сказал он и вскарабкался на стул. — Ну и напугал же ты всех.

Я лежал на диване, укрывшись легким одеялом. Мне запретили вставать, хотя чувствовал я себя вполне сносно.

— Джиг, ты здорово вытянулся за последнее время, — пухнул я в него дежурную шутку.

— Издеваешься, — обиделся Джиг. — А вчера, если б кто пукнул в твою сторону, ты бы упал.

— Нет, — возразил я, — устоял бы и даже ответил бы, как мужчина, — настоящим залпом.

— Ты, пердун, — засмеялся Джиг.

— Нет, я Паганини, — засмеялся я.

— Кстати, что у тебя было?

— Малокровие, что ли. Есть надо больше, в особенности гранаты.

— Вот и трескай пирожки. Они с яблоками, вкусные. — Джиг помолчал. — Мехико сказала, что видела твоего отца на Копитнарском шоссе.

— Ну и что? — Я достал пирожок из кастрюли и откусил побольше.

— Ей показалось, что он пьян.

— С чего она взяла?

— Он шел по дороге и размахивал руками.

Я откинул одеяло и стал одеваться.

— Почему же Мехико бросила его?

— Так она видела его из окна автобуса. Может, и перепутала с кем-то.

— Сам знаешь, что отца трудно с кем-то перепутать. Не ходи со мной, Джиг.

Слабости не было, было ощущение пустоты внизу живота. Я не ведал, где искать отца, ноги несли меня сами. Каждый день по рекомендации Бено он совершал пешие прогулки. Маршрут выбирался произвольно. Размышляя о своем, отец мог дойти до еврейского села Кулаши, что в семи километрах севернее города, а обратно вернуться огородами или направиться на восток, к реке Цхенисцкали, и там подолгу сидеть на берегу под дубом. Однажды в семье случился скандал, во время которого мама обвинила отца в супружеской неверности. С присущей всем кавказским женщинам горячностью она в присутствии детей выплеснула на него свое негодование и тут же замолчала, спохватившись. Отец хлопнул дверью и ушел. Спустя полчаса мама горько жалела о своей несдержанности. Она велела мне пойти и разыскать его.

Было поздно, часов девять, и я не знал, куда идти. Прохожие подсказали, что возле ипподрома видели пьяного вдребезги высокого худого человека с зачесанными назад проседыми волосами. Побежал туда и встретил отца при входе в село Чагани. По-моему, он был совершенно трезв, просто шел, чуть покачиваясь, возможно, от усталости. В темноте отец не заметил меня, и я подкрался к нему сбоку и поймал его теплую руку. Он обрадовался, и мы сели у дороги на траву, лицом к кладбищу, так, что при лунном свете отчетливо были видны могильные плиты и кресты. Отец сказал, будто оправдываясь, что женщина, о его связи с которой судачит весь город, чем доводит маму до истерики, на самом деле донкихот, предпочитающий поэзию земным благам, что она шепелявит и носит очки, а очкарик не может быть плохим человеком, но городу этого не объяснишь. Я чувствовал себя не в своей тарелке, потому что от меня ждали понимания, и не то чтобы я не дорос до подобных вопросов, — мозг категорически отказывался воспринимать их применительно к отцу, и тогда я ответил: «Папа, мне все равно, что говорят в городе. Я люблю тебя больше всех на свете!» И он улыбнулся и потрепал мои волосы, а на большую нежность не решился. Потом стал вспоминать, как я подавился яблоком, когда мы еще жили в Нахаловке: выскочили соседи и принялись плевать мне в лицо, стараясь привести в чувство, но без толку. Пришла бабка Рачечка с длинными грязными ногтями и сказала: «Все равно он умрет!» — и, выткнув мой язык, вдруг сунула мне в глотку два пальца и каким-то чудом протолкнула кусок яблока в пищевод, и я задышал. Отец усмехнулся, и на память пришли слова матери, как он бился головой о стену, а затем, когда я очнулся, плакал от счастья. Домой мы вернулись за полночь, а мама, увидев нас с балкона, немедленно юркнула в постель и притворилась спящей, и мы сделали вид, будто поверили ей и на цыпочках прокрались на кухню, где молча выпили по стакану теплого чая, и тоже легли спать, но долго не могли уснуть.

В этот раз я застал его на берегу Риони, метрах в трехстах от паромного причала. Он сидел на покачивающейся коряге, опустив босые ноги в мутную воду, и смотрел в одну точку. Обувь с носками лежала рядом. Две верхние пуговицы его белой рубашки с короткими рукавами были расстегнуты.

— Да да? — спросил он по-осетински. — Это ты? Как ты себя чувствуешь?

— Неплохо.

— Напрасно ты встал с постели, — сказал он. Голос его был действительно хмельным, и меня это позабавило. Я даже засмеялся, но, когда отец взглянул в мою сторону, осекся.

— Скоро стемнеет, пап, — сказал я, — пошли домой.

— Ничего, не заблудимся. — Он отряхнул ноги и стал натягивать носки. — Тут недалеко живет мой знакомый ворон, я тебе рассказывал о нем?

— Да, рассказывал.

— Никогда не видел таких больших воронов. Когда я иду к реке, он встречает меня карканьем и кружит надо мной. — Отец выпрямился и спрыгнул на сушу. — Как ты думаешь, что он хочет сообщить?

— Не знаю.

Мы помолчали, наблюдая течение реки. Послышался шум приближающегося к берегу небольшого парома с телегой, груженной мешками. Пьяный возница болтал что-то под руку пожилому паромщику в широкополой войлочной шапке, не спеша, солидно орудуя длинным буглем. Возница затянул песню, и мы засмеялись.

— Вот счастливый человек, — сказал отец.

Я подошел к нему и сжал его руку. Он ответил на мое рукопожатие.

— Трудно будет нам с тобой, сынок.

— Почему же, — возразил я, не совсем понимая, о чем идет речь, — с нами мама, Жужу, Залинка, джичи.

— Э, — отмахнулся он, — они женщины. Ладно, идем домой.

Мы пошли полем, я еле поспевал за ним — отец всегда ходил быстро. Внезапно он остановился и сел на траву, держась за сердце.

— Тебе плохо? — спросил я.

— Сейчас пройдет. — Он стал скрести костяшками пальцев ребра под левым соском. — «А на мечтах сидят мухи!»

— Что с тобой, папа? — забеспокоился я.

— «А на мечтах сидят мухи!» Неплохие стихи! Автора этих строк упекли в сумасшедший дом, где он по-настоящему свихнулся. Сначала обвинили в изнасиловании какой-то проводницы, а потом упекли в дурдом.

— А что, он умер? — сказал я, чтобы преодолеть жалость к отцу.

Он лег на землю и подложил ладонь под голову. Смеркалось, и при свете выплывшей луны лицо его казалось бледным.

— Ца-арство ему небесное! — протянул отец. Он был, конечно, под градусом, и его беспокоило сердце, но чувство ответственности за него угнетало меня. Отец угадал мои мысли и сказал: — Тарсга ма кан, не бойся, все будет нормально. Ты же мужчина.

— Да, — согласился я, — все будет нормально. Всегда.

— К сожалению, не всегда, — произнес он, будто разговаривал сам с собой. — Присядь, скоро мы тронемся. Сегодня в районной библиотеке я впервые ощутил себя загнанным зверем. «Кто дал тебе право поучать нас, указывать нам на наши грехи? — спросили они. — Чем ты лучше нас?» — «Братья! — ответил я. — Никто никому не дает таких прав. Может быть, я хуже всех вас, потому что острее чувствую, как заплывают жиром наши души. А потом, не забудьте, что я писатель. Кому, как не мне, говорить об этом». — «Ты — не грузин, — сказали, — мы сами разберемся в наших делах, а ты указывай своим осетинцам». — «Братья! — возразил я. — В первую очередь я человек, потом уже осетин». — «В какую же очередь ты являешься грузином? — спросили. — Когда, в какое время суток?» — «Ни в какое, — сказал я, — я всегда осетин, и днем и ночью, присно и во веки веков! Но неужели надо быть грузином, чтобы делиться собственной болью и размышлять о человеческих пороках? Или у грузин особенные, свойственные им одним, пороки? Нет, это ошибка. И у осетин, и у грузин, и у евреев, и у японцев одинаковые пороки, потому что мы все люди, и ничто человеческое нам не чуждо. К тому же смею вас уверить, что я больше грузин, чем многие из вас...» И тогда они зашикали на меня, — отец приподнялся на локте и заглянул мне в глаза, — мол, заткнись, пока цел. Спросите, говорю, у Бено или Гутара. Они знают, я родился и вырос в Грузии, и грузинский язык мне так же близок, как и родной. Спросите. Они повернули головы в сторону моих друзей, и Бено сказал: «Они абсо-

лютно правы. Ты здесь гость и должен вести себя соответственно!» — «В каком смысле? — переспросил я. — Я отказываюсь тебя понимать, Бено!» — «А в том, — произнес он с расстановкой, — что можешь писать свои статейки, а грузинской морали касаться не моги! Мы лучше знаем наши пороки! Пиши о чем хочешь, но эту тему не трогай!» — «Ты не прав, брат мой!» Отец приблизил лицо и задышал на меня винным перегаром, и голос его сорвался на крик, ровно перед ним сидел не я, а его друг Бено. — Ты так не думаешь, я знаю. Разве об этом болели наши сердца? Нет грузинской морали, как нет осетинской морали. Мораль одна на всех, и она либо есть, либо ее нету!.. «Разберись вначале со своими бабами! — крикнул кто-то. — Нашелся мне моралист!» — «Это не ваше дело, — сказал я, — это мое личное дело». Они снова зашикали на меня, и я ушел из библиотеки, хлопнув дверью.

— Не мог Бено так сказать! — Брызнули слезы у меня из глаз.

— Гм! — усмехнулся отец. — Вчера я сам дал бы руку на отсечение. Но он сказал именно так, и Гутар поддакнул, и другие закивали следом.

— И что теперь?

— Ничего. Попробуем жить дальше.

— Пап, почему они так поступили?

Он откинулся на спину и уставился в звездное небо.

— Я не могу тебе ответить однозначно, сынок. Может быть, дело в том, что Бено с Гутаром не умеют писать, хоть и публикуются регулярно в местной газете, но их таланта хватает лишь на сводки об эпидемии гриппа или об успеваемости учеников музыкальной школы. Поэтому к моим статьям они относятся ревниво, как крестьянин, который заколол одну из своих дойных коров, потому что молока было слишком много. Люди, в общем-то, все одинаковые. И отличаются они тем, насколько у кого хватает сил скрывать свою гниль. Бено и Гутара прорвало слишком рано.

— С такой мыслью трудно жить, папа, — сказал я.

— Я хочу, чтобы ты знал об этом.

— Тебя тоже может прорвать?

— Надеюсь, я умру раньше, — улыбнулся отец.

— Не говори так, папа.

— Хорошо, не буду. Но ты не забывай, что я тебе сказал.

Стемнело. К ногам подступила холодная река безмолвия, чье течение, подобно щепочке на водной глади, можно было различить лишь благодаря треску цикады, напоминающему глотательные движения адамова яблока вселенной. Мы были одни в целом мире, и никогда еще мы не были так близки.

— Я тоже хочу смотреть на звезды, — сказал я и лег рядом с отцом.

— Правда, ведь потрясающее зрелище, — тяжело вздохнул он.

— Да, — согласился я. — Тебе все еще плохо?

— Уже лучше.

— Существует аппарат переливания крови. Если бы существовал аппарат для переливания боли, я бы первый перелил часть из твоей души в мою.

— Здорово, что ты так говоришь, сынок. Переливание боли — это прекрасная метафора.

— Что такое метафора?

— Это аппарат переливания боли, — засмеялся отец, и я ощутил правду его слов.

— Папа, а мы правда гости? Ведь даже когда Джиг приходит к нам, он ведет себя как хозяин, и если мне бывает обидно, когда он лезет в буфет, я молчу, потому что он мой друг и мне хочется, чтобы он вел себя так.

— Глупости, никакие мы не гости. Не Бено с Гутаром решать это. Человек является гостем настолько, насколько он чувствует себя гостем. Он может быть хамом или глупцом, а национальность тут ни при чем. В Осе-



тии тоже живут грузины, но им никто не тычет в лицо, что они гости и им надо ходить по струнке.

— Теперь мне придется доказывать, что я не гость, — не унимался я.

— Прекрати, — оборвал он меня. — Тебе ничего не придется доказывать. Ты еще ребенок: и тебя это не касается.

И тут меня осенило.

— Пап, а может, нам тоже стать грузинами? На время, понарошку? — сел я на траве.

Он посмотрел на меня грустно и промолчал.

— Зачем же нам трезвонить на каждом углу, что мы осетины? Мы будем осетинами, будем говорить по-осетински у себя дома, а на улице — по-грузински. Тогда никто к нам не пристанет.

— Замолчи! — повысил голос отец. — Никто не может запретить нам говорить на родном языке — ни дома, ни на улице, ни в школе.

— Мне немножко стыдно, когда я среди друзей, а ты заговариваешь со мной по-осетински.

— Знаю. Но я буду говорить с тобой по-осетински всегда, везде, даже если ты забудешь все слова.

— Но я же перестану тебя понимать, — смахнул я слезу.

— Нет, — сказал он, — лишь в том случае, если ты перестанешь любить меня и мать, потому что слова наполнены не только смыслом, но и любовью, а этого человек никогда не забывает. — Отец помолчал немного и добавил: — Хотя случается и такое.

— Зачем же делать то, что не нравится другим?

— Запомни раз и навсегда: ты можешь изучить двадцать языков, но грош им цена, если не знаешь родного. Мы не имеем права забывать родной язык в угоду кому-то, нас слишком мало. У каждого народа есть нечто сокровенное, которое с благоговением переносится из поколения в поколение, и не дай Бог оборвется цепочка, потомки этого не простят.

Я утомился, меня клонило ко сну, и мы встали и направились в сторону шоссе. По пути утолили жажду из чьего-то колодца, смочили лицо и шею и немного приободрились. Шоссе пахло остывающим асфальтом. Посреди дороги лежали буйволы, пережевывающие жвачку, а возле них рыжая собака. Учувя нас, она приподнялась, наострила уши и залаяла. В этот поздний час машин было мало, но каждой из них приходилось притормаживать и аккуратно объезжать животных, которые и ухом не вели. Мы встали на обочине и принялись голосовать. Подобрал нас военный «Урал». Вскрабавшись в кузов, где сидели солдаты в пропахших потом гимнастерках и драеных сапогах гармошкой, мы втиснулись между ними. Отец стал декламировать стихи Пастернака, и солдаты, посмеиваясь, внимали ему, а меня укачало, и я сказал: «Тошнит!» — но отец не расслышал. Меня вырвало желчью, и отец подставил ковшик ладоней, однако чтения стихов не прервал. Тогда показалось, что руки у отца огромные, как таз, и я успокоился и больше не переживал, что могу испачкать ненароком солдат. Кто-то снял солдатский ремень и предложил пожевать кожу — помогает от тошноты, — и я сунул ее в рот, соленую и жесткую, и жевал, покуда не перестало мутить. Потом отвернулся к натянутому, как барабан, брезентовому тенту — бессильный и безучастный — и закрыл глаза, а отец всю дорогу держал в ковшике ладоней мою блевотину, бережно, ровно выпавшего из гнезда воробышка, и продолжал читать:

Дымились, встав от сна,  
Пространства за Навтлугом...

*Из письма отца, написанного мне незадолго до смерти. (Письмо написано по-осетински.)*

*...Эта треклятая жизнь все больше сжимает свои костлявые пальцы на моем горле, и мне, вместо того чтобы сидеть за моим (чужим) письменным*

столом, приходится вкалывать редактором на телевидении. Должность моя, доложу тебе, солнышко, на одну ступеньку выше той, которую ты занимал, работая в этих стенах в шестнадцатилетнем возрасте. Здесь все по-прежнему: длинные коридоры с шипящими клозетами в конце, та же суета, те же массивные деревянные двери при входе в студию с круглыми смотровыми окошечками и громадными металлическими задвижками. А кнопки осветительных приборов, видимо, до сих пор помнят прикосновение твоих пальцев. Диктор Дадонов гуляет с педерастическими ужимками, Римма Абоева сверкает жаждущими антоновки зубами, а твоя подруга Зифа раздалась после родов. Ребята вспоминают тебя с неподдельной грустью, пересказывая историю о том, как ты напоил их кахетинским вином, а потом вы вышли на Осетинку и горланили песни. Признаться, это льстит отцовскому самолюбию.

Настало то самое время, и я молю Уастырджи<sup>2</sup> не лишать меня сил бороться с превратностями судьбы. Осенью хотел приехать в Москву повидать внуков, но не довелось. Больше всего меня угнетает одиночество. Сбежав из Грузии, я полагал, что друзья не оставят меня в беде. Какая наивность! Они, как и Бено с Гутаром, бросили меня. Впрочем, Бено и Гутару это простительно, их подлость напитана ложным патриотизмом. А здесь-то, здесь?! Если б ты знал, каким холодом повеяло с их седеющих бород. Я стал сторониться их, чтобы не тревожить лишней раз. В этом году только один раз побывал в кабинете у Цамела, да и то меня силком затащил туда Нафи. Три дня тому назад забрел к Аслану Бедойты. Завидев меня, он вскочил со своего кресла и заявил: «Михал, извини, но я плохо себя чувствую и ухожу домой». Оскорбился? Не то слово. Неужто он был настолько болен, что не удержался и обосрал нашу дружбу! Уж не говорю об осетинском Фарне<sup>3</sup>. В прошлом году Аслану понадобилась машина съездить в Саниба, и он из-под земли меня достал. А теперь ему и другим плевать на то, что со мною жена, и мы вчетвером ютимся в однокомнатной квартирке вместе с моим двоюродным братом Ильей и его женой Маквалой, что буханка хлеба нынче стоит пятнадцать целковых и Михалу неоткуда взять эти деньги. Я задержался в дверях и бросил ему через плечо: «Аслан, я не только хороший шофер, могу выполнять и другую не очень тяжелую физическую работу, например чистить ботинки или мыть окна в кабинетах. Авось пригожусь!» Я думал, это моя Осетия, но где она, где Осетия?! И что мне делать, ведь обратной дороги нет. Мы, писатели, должны заботиться друг о друге. Хоть они с Цамелом приличные сволочи, но все же я не перестаю о них думать, потому что знал их совсем друзьями и потому что они были хорошими поэтами, пока не стали чиновниками. Когда мы добрались до Дзауджикау, Аслан с Цамелом обнадежили меня, дескать, пиши побольше, а с публикациями проблем не будет — и в «Мах дуге», да и в «Растдзинаде». Справедливости ради, газеты публикуют все мои материалы, но разве ж на эти гонорары проживешь. А недавно принес Аслану повесть и попросил прочитать, прежде чем передать редакторам. Он отказался категорически. Ситуация сложилась презабавнейшая. У меня давно есть имя, и, в общем-то, я не подохну, коли меня не опубликуют. Дело в другом. Я просил Аслана прочитать повесть только потому, что в кармане моем давно гуляет ветер, он может ускорить публикацию. А он прикинулся шлангом, как ты выражаешься, остался безучастным к моим проблемам. Игорь, я пока в состоянии оценить настоящего писателя, человека — не всегда. И я спрашиваю тебя: как бы я поступил на его месте? Как бы я поступил, будь я первым секретарем Союза писателей, а Цамел Хугаты беженцем? Разве я не разогнал бы всех своих литконсультантов, чтобы высвободить для него рабочее место? Я бы сказал ему: Цамел, брат мой, успокой свое израненное сердце,

<sup>2</sup> Уастырджи — святой Георгий (осетинск.).

<sup>3</sup> Фарн — мир, уважение, благодать (осетинск.).

выбери себе любую работу. Я бы сказал Аслану Бедойты, будь я главным редактором журнала, а он беженцем из Грузии: Аслан, брат мой, для тебя всегда найдется работа! А если не найдется, поделим с тобой мой кабинет, и так мы будем жить до лучших времен! Не знаю, может, они и впрямь больны неизлечимой болезнью. Может, от водки сердца их раскисли и перестали ощущать чужую боль. Я готов высказать им в лицо свое негодование и оставить их навсегда.

Игорь, никогда еще не было так тяжело нашей с тобой Осетии (если она еще существует!) и нашему народу (если он еще сохранился!). Ты должен уяснить себе это. Помнишь, мальчишкой ты предлагал создать аппарат для переливания боли? Но разве писатель не есть тот самый аппарат? Только действие его обратное. Он забирает часть боли, дабы облегчить страдания человека. Однако писатель, кроме функции перекачивания через себя боли, выполняет еще и функцию фильтрации ее, очищения, накапливая в собственной душе грязь и смрад, дабы передать реципиенту облагороженную, чистую боль, которая не вызывает побочных эффектов в виде тошноты или отторжения.

Как же быть, как дышать этим воздухом, если нам не нашлось места даже на родине? Может, податься в далекие края, подобно нашему Иласу, где, по мнению поэта Шамиля Джиккайты, скорость износа сердечной мышцы не всегда пропорциональна расстоянию между стертymi до крови ступнями и давно погасшим очагом, но пыли, осевшей на лицо, вполне достанет насыпать могильный холм. Или вернуться в Грузию, где враги уже сняли маски, а люди, чьим мнением я дорожил, попрятались по норам. Ты догадываешься, кого я имею в виду. В дни, когда народ, словно бы сорвавшись с цепи, с пеной на губах отстаивает национальную идентичность, писатель должен найти в себе силы преодолеть эту тяжелейшую косность, стряхнуть с себя оковы национальной принадлежности, возвыситься и быть прежде всего благородным и великодушным. Он должен быть рядом с братьями по перу и делить с ними их участь, а не молчать, набравши в рот воды, как это делают грузинские писатели — братья Тамаз и Отар Чиладзе, Джансуг Чарквиани и другие. Даже под страхом смерти. Ибо грош цена всем нашим произведениям, лишенным человеческого, мужского, если угодно, эквивалента, которым питается и писательский, и прочие таланты и без которого все наше творчество — очковтирательство. Как просто в период смуты быть оратором, эксплуатируя национальную идею, одобренную набившей оскомину темой народного страдания! Господи! Знал бы ты, кто выползает в лидеры. С каким самозабвением, дрожью в голосе, разглазывают они о притеснении собственного народа, который еще вчера обирали без зазрения совести, какая ненависть горит в их глазах при упоминании о невесте как обосновавшихся на их земле гостях-осетинцах и с каким удовольствием сбрасывают с себя вечером взятую напрокат чуху с газырями да обтягивающие икры азиатские сапоги, пахнущие хозяйственным мылом. Национальная гордость? Прекрати, не смей меня. Человек, торговавший сосисками да пивом на платформе Самтредиа, с подобострастием заглядывавший клиентам в глаза, чьей вожаделенной мечтой была черная машина «ГАЗ-24», не может пробудить во мне симпатию избитыми фразами об униженной Грузии. Но речь ведь не о нем, Игорь...

Какая печаль, но земля, кажется, действительно уменьшилась в размерах от болтовни политиканов, свернулась, что дворняга под дождем, и не в состоянии уместить на себе национальные амбиции. Ибо даже крепкое дружеское рукопожатие не сокращает расстояния между людьми настолько, насколько — взгляд, обращенный на тебя через автоматный прицел, взгляд, заставляющий уткнуться мордой в черное жерло непонимания. Названия этому чувствую ты не найдешь ни в одном словаре, так как оно не наше, не земное. Думаешь, стреляем друг в друга? Не-ет, ошибка! Мы взяли на мушку собственное будущее, и дрожащим от нетерпения пальцем пытаемся спустить курок. Все равно что вспороть брюхо беременной бабе. Это, доложу тебе,

*похлеще каннибализма. В чем дело? Что творится в мире? Неужто Господь судил нам отсечь себя от будущего? Прости мне мою сентиментальность, но перед бегством из Грузии я поднялся к могиле великого Ильи Чавчавадзе и набрал в пакетик горсточку землицы, а потом, проезжая Нар, остановился у могилы нашего Коста и снова набрал земли. Я смешал их и храню в кармане. Глупости, конечно, но пакетик этот не позволяет мне слишком отдаляться от дедовских истин. Наши предки были умнее нас, раз сумели прожить среди грузин в мире и согласии и не позабыть свой язык.*

*Пакетик всегда со мной. Надеюсь, имена двух великих людей, с чьих могил я взял по горсточке земли, помогут мне сохранить достоинство. Впрочем, кому это нужно? Только мне? Что мне ответить твоим грузинским племянникам, Георгию и Нино Хажалия, или твоим сыновьям, Алану и Джиуару Булкаты, если они спросят меня: «Где ж ты был, дед, когда осетины с грузинами убивали друг друга, а мертвых не позволяли хоронить на своих кладбищах и тогда погост пришлось устроить возле школы, на футбольном поле?» Удовлетворит ли их ответ, если я вытащу из кармана мой пакетик, положу перед ними и, воздев руки к небу, произнесу: «Клянусь вам этой смешанной землей, моей вины нет ни перед кем!» Нет, не удовлетворит. Потому что это обывательский ответ. А знаешь, что бы их удовлетворило? Если бы с двух сторон границы собрались грузины и осетины и вместе подняли бы меня на копыя — так, мол, тебе, Михал Булкаты, с твоим двуязычием, за то, что не смог погасить огонь войны. И они будут правы.*

*Видать, я совсем состарился, если мечтаю о том времени, когда мы с тобой, как раньше, в Пицунде, сядем в соседних комнатах и станем работать, а вечерами пить Иорамовское вино и болтать о чем угодно, преодолевая неловкость общения (ведь нам с тобой было непросто общаться, разве что посредством эпистолярия), и однажды, после обеда, я приду к тебе со слезами на глазах и скажу: «Я, кажется, убил своего персонажа!» И может быть, мы поплачем вместе.*

*Не сердись на меня за эти строки. Береги детей.*

*Ваши Михал.*

— Вон твоя бабка Досыр. Кин, Игори! — закричал Джиг.

— Прекрати, — сказал я, не оборачиваясь.

Мы загорали на крыше, лежа на животе так, чтобы был виден весь город, и наш двор с вечно текущим краном, и скамейки вдоль забора, где вечерами отдыхали соседи.

— Не обижайся, Паганини, но это смешно, когда она пытается заговорить со мной по-осетински.

— Она уже старая и плохо видит.

— Скажи ей, пусть испечет пироги с луком, — попросил Джиг.

— Нравятся?

— Еще бы! — Глаза его загорелись неподдельным восторгом. — Они как-то по-особенному пахнут, надкусанным желудем, что ли, или пылью после мороси.

— Фантазер! — снисходительно улыбнулся я.

— А помнишь, как она возила нас в деревню? — спросил он внезапно.

— Конечно, — ответил я.

— Надо было дать пинка под зад тому мужику.

— Какому мужику? — притворился я, будто не понимаю.

— Да ты уже все забыл, — оживился Джиг, — мы шли к автобусу по автостанции, Досыр тащила тяжелую сумку, а мужик пробежал мимо и толкнул ее, даже не остановился.

— Уж он бы нам наkostenял, — сказал я.

— Досыр стояла в растерянности, а мы собирали продукты, рассыпанные по земле, помнишь?

— Конечно, помню.

— Мне так стало ее жалко, что хоть землю грызи.

— Да, — согласился я, — и мне тоже.

— А потом, в автобусе, ты проблевался, слабак! — хмыкнул Джиг. — Отчего тебя всегда тошнит в машине, а? Даже жвачка не помогает.

— Черт меня знает, сам себя ненавижу за это.

— Ничего, — хлопнул он меня по плечу, — это ничего. Со многими случается.

Со стороны железнодорожного вокзала донесся пьяный голос диспетчера, через громкоговоритель призывающего машинистов вернуться на исходную, так как через сорок минут ожидается прибытие тридцать шестого скорого. Мы лежали на крыше между самодельных телевизионных антенн, и весь город был как на ладони, и мы вдыхали его испарения, чувствуя, что он наш, до каждого камушка наш, и, что бы ни случилось, не променяем ни на какой другой. Взгляд шарил по пыльным переулкам, пробирался сквозь базарные ряды к шапиту с красно-белым парусиновым шатром и пестрым треугольным флажком на куполе, откуда однажды из клетки украли дрессированного медвежонка, и был скандал на весь город, а возле базара наша школа с двумя фонтанчиками у серого забора, а вдоль дороги канава. По двору бродил маленький усатый человек с морщинами на бритом затылке. Звали его Жора. Он совмещал обязанности сторожа и буфетчика. Маленький и усатый Жора, которого как-то во время перемены мы застали за мастурбацией, и он заорал: «Уйди от окна, не заслоняй вид!» — а мы, наоборот, бросились к окну и увидели француженку Кетеван Амирановну, собирающую рассыпанные яблоки, и юбка ее задралась, и видны ажурные трусики, а затем стали свистеть, гикать и стучать в стекло, и француженка обернулась и погрозила нам пальцем, но юбку одернула. Жора же оправился, как мог, зашел за прилавок, прикрывая коротенькими пальцами причинное место, и принялся копать в железном сейфе, будто от результатов этого поиска зависела судьба школы. На следующий день он пригласил нас — человек пятнадцать — в буфет и угостил булками с повидлом, умоляя никому не рассказывать о случившемся, мы дали слово, однако не сдержали его.

Нам отлично была знакома улица Горького, по которой мы ходили в школу и возвращались домой. Впрочем, случалось, сворачивали у отделения пожарной команды направо и мимо милиции выходили к городскому кинотеатру, на ступеньках которого дежурил директор — однорукий Гриша. Он самолично следил за тем, чтобы, не дай Бог, не проскочили в зал зайцы. А во время вечерних сеансов, когда демонстрировались фильмы для взрослых, изобилующие сценами насилия и убийств, зрители принимались скандировать: «По-мо-ги, Гри-ша! По-мо-ги, Гри-ша! По-мо-ги, Гри-ша!» За кинотеатром виднелся стеклянный продмаг с разжиревшими кошками на обитых клеенкой прилавках и тавотными консервными банками на полках, и булочная за углом, у которой к пяти часам вечера выстраивалась очередь, потому что привозили горячий хлеб, и люди брали его про запас, и автобусная остановка напротив кожно-венерического диспансера, больше напоминавшего сельсовет, нежели медицинское учреждение, и центральный универмаг, который по ночам охраняла огромная овчарка — она рыскала по торговым залам и рычала на прильнувших снаружи к стеклам прохожих. На противоположной стороне улицы высилось серое солидное здание Дома культуры с колоннами и порталом. Это было прибежище для самодеятельных музыкантов и актеров. Зал, впрочем, набивался битком. Пахло духами «Красная Москва» и нафталином.

Колоннада смотрела на привокзальную площадь. Наряду с Домом культуры в городе числилась еще одна достопримечательность — здание железнодорожного вокзала. Слева от входа помещался туалет, откуда несло аммиаком и хлоркой. Здание было длинным, двухэтажным. У входа сидел ассириец, чистильщик обуви с буденновскими усами, и курил «Приму» через янтарный мундштук. Постоянно толпящиеся вокруг него зеваки дали ему прозвище Червь. Стоило приглядеться повнимательнее к его худым юрким рукам с большим серебряным перстнем на среднем пальце, украшенным каллиграфическими инициалами, к подобострастной улыбке, к черному дерматинovому переднику с красно-зелеными матерчатыми подвязками, и к черной же подставке для ног с ящичками для кремов, гвоздей, шнурков и стелек, и никелированному сапожку на самой подставке, куда клиент клал ногу, откинувшись в удобное кресло с подголовником, — и подошва вставлялась в сапожок, словно в гнездо, стоило понаблюдать за его работой, тщательной и ловкой, за тем, как он выдавливал черный крем на каблук, сжимая тюбик большим и указательным пальцем, и при этом тюбик делал — пф! — и как он орудовал щетками, как отточены были его движения, и как любовно — после минутного перерыва, во время которого он успевал закурить и, коверкая слова, поведать о том, как пьяный стрелочник угодил под поезд и ему по колено оттяпало ногу, — он протира л обувь коричневым куском замши, доводя ее до блеска, — стоило приглядеться ко всему этому, и можно было понять простую истину: прозвище Червь не самое обидное на свете, и оно как нельзя лучше соответствует ассирийцу-чистильщику.

За универмагом начинался городской парк. Вдоль тротуара тянулся бетонный бордюр, на котором иногда устраивались задумчивые старушки — продавцы каштанов и семечек. Вареные каштаны нанизывались на черную нитку и стояли двадцать копеек, стакан семечек — десять. Вход в парк со стороны улицы Кецховели также украшали колонны. По бокам на постаментах сидели каменные львы с отбитыми носами. Они больше походили на бульдогов, и только густая грива напоминала о том, что перед нами цари зверей, а не собаки. В постаментах были выдолблены скамейки, но на них почему-то никто никогда не сидел. А напротив росла сирень, густая и раскидистая, и квадратные плиты на тротуаре качались, словно сдвинутые с места крышки канализационных люков, и дальше — зеленые двери сберкасс, с треснувшими стеклами, что держались на честном слове да на пуговицах, величиной с целковый, — где я однажды выиграл в лотерею мопед «Вятку», но двоюродный брат Рубен отобрал у меня лотерейный билет и смылся, а взамен оставил гармонь без двух клавиш, и дальше — открытый сквер с поющим фонтаном, возле которого вечерами собиралась молодежь и слушала музыку, и площадь Победы за сквером с лубочным памятником матери погибших солдат, сжимающей в руках венки, и вечный огонь, который зажигался только под Девятое мая — к монументу подъезжала газовая машина с надписью «Пропан-огнеопасно», из кабины выпрыгивал молодец с похмельной физиономией, со скрежетом вытаскивал металлическую задвижку и сбрасывал у памятника три заправленных баллона, и газа хватало почти на сутки, а потом огонь гас. За памятником высился четырехэтажный дом с красными деревянными балконами, и дальше забегаловка «Пирожковая» — напротив нашей бакалеи, и улица Руставели, обсаженная кленами, под листьями коих днем таилась комариная мошкара, а ночью вылетала в спальни, и книжный магазин, где продавали все, что угодно, только не книги, и «Овощи», и пивной завод, откуда пахло дрожжами, и речушка Лохоба, что несла в своих темных водах фекалии еврейского поселка Кулаши, расположенного выше по течению, и набережная, изрытая ржавыми трубами, а за ним — автомобильный мост через железную дорогу, с которого, когда начиналось наводнение, видне-

лось, как разливается река Риони и вода подступает к городу, а за мостом — автострада, ведущая на восток...

— Локомотив маневрирует, — подал голос Джиг. — Скоро придет московский поезд.

— Опять у вагона-ресторана выстроится очередь за сметаной, — отозвался я.

— Я люблю сметану, — сказал он.

— А я предпочитаю московские конфеты, в особенности «Раковые шейки».

— Ну, — обиделся Джиг, — про конфеты я вообще не говорю.

— Смотри, на перроне уже толпится народ.

— Айда спустимся вниз, — предложил Джиг. — Отставкич вытащил свой велосипед.

— Погоди, успеется, давай полежим еще, — откинулся я на спину. Солнце палило нещадно, пот катился градом, а уходить не хотелось.

Джиг отхлебнул из бутылки теплой воды.

— Мы с тобой схлопочем солнечный удар, — недовольно пробормотал он.

— Интересно, засекала нас тетя Юля или нет, — сказал я и закрыл глаза.



---

---

## ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ



### YESTERDAY

#### Спор

Как думает вчерашний школьник  
о том, куда пойти учиться,  
так ветра творческого дольник  
еще в моей груди стучится.

И в три часа сентябрьской ночи  
я часто думаю о главном:  
о нашем будущем — короче,  
о тайном, сделавшемся явным.

Хоть кровожадные ацтеки  
пришли на смену смирным инкам,  
нельзя не видеть в человеке  
природу, сродную былинкам.

И есть Москвы-реки верховье,  
где ты навек моя невеста.  
Там черных аистов гнездовье,  
с трудом срывающихся с места.

Про молчаливые разборки  
они едва ли вспомнят наши,  
когда осенние пригорки  
внизу прогнутся, будто чаши.

Но там ли, здесь ли, где шагаю  
сейчас один я отрешенный,  
мы разрешаем, дорогая,  
наш давний спор неразрешенный...

#### В сторону Вия

Помнишь панну в открытом гробу,  
освещаемом тускло свечами,  
искушавшую нашу судьбу  
на высоком помосте ночами  
непоблекшей лавиной волос?



Ранний Гоголь с румянцем хохлушки  
 в саквояже на север привез  
 рецептуру летучей галушки  
 прямо с праздничной кухни бурсы.  
 Но потом заострились с устатку  
 легендарные нос и усы  
 в назидание миропорядку.  
 И от тех приснопамятных дней  
 оставалось прибавить лишь ходу  
 под идущим сильней и сильней  
 звездопадом честному народу.  
 А на склонах карпатской гряды,  
 отделенной к тому же таможней,  
 статья, пеннее стали сады  
 и могилы еще ненадежней.

### Родословное

С тех пор как миновавшей осенью  
 узнал под дождичком из сита,  
 что родом ты из Малороссии  
 да и к тому же родовита,  
 как будто в сон медиумический  
 или протрацию какую  
 впадаю я периодически  
 и не пойму, чего взыскую.

Люблю твои я темно-русые  
 посеребренные виски  
 и ватиканским дурновкусием  
 чуть тронутые образки.

Где гулить горлицы слетаются  
 об отчих тайнах небывалых  
 и мальв удилища качаются  
 в соцветьях розовых и алых,  
 где увлажнилась темно-серая  
 твоя глазная роговица —  
 там между колдовством и верою  
 размыта ясная граница.

### Осень в Гурзуфе

К сентябрю от агитбригад цикад  
 остаются сушие единицы.  
 Их еще звучащие невпопад  
 хуже оркестрованы небылицы.  
 По утрам пугливые из засад  
 прилетают пегие голубицы.

Кто их знает, выбрали почему  
 лоджию моего вертепа.  
 Не любить тебя? Расскажи кому —  
 не поверят, хмыкнут: реликт совдепа.  
 Не любить тебя... как не пить в Крыму —  
 так же унизительно и нелепо.

Время, время, дотемна заолифь  
 в баре моря около в раме скверной,  
 словно не слыхавшую *осчастливь*  
 разом и смиренницу, и inferно —  
 впредь недосыгаемую Юдифь  
 кисти усмиренного Олоферна.

\* \*  
 \*

Опасно гребущему против течения  
 не верить в значение предназначенья.

Он все, что поблизости и вдалеке,  
 не плотно, но жадно зажал в кулаке.

Видения потустороннего мира  
 пожутче заточек дантиста Шапиро.

А то поснимали в теньке пиджаки  
 и хавают ханку, галдя, мужики.

Зачем стихотворца будить на скамейке  
 ударом поддых, как бомжа в телогрейке, —

ему, наставляя в таинственный путь,  
 так много вложили в стесненную грудь.  
 .....

В Тавриде спелее кизил на пути и  
 еще родовитее из Византии

шиповник на склонах пригретых, пока  
 мгновенный потоп не вспорол облака.

Коснея в упрямстве своем торопливом,  
 не мни испугать меня скорым разрывом.

Как вихрь, пробежавший по водам, затих  
 я, медиум тайных движений твоих.

### Апокриф

...Вот и лезет в голову всякий бред,  
 раз учебник в кляксах, а сам под паром.  
 Говорят, что скоро тому сто лет,  
 как однажды, преля за самоваром,  
 на подпольной хазе хмыри и хрыч  
 обсуждали самый больной вопрос, но  
 неожиданно отрубил Ильич:  
 «Победим сегодня, раз завтра поздно!»  
 Усомнился кто-то: а вдруг прокол? —  
 покачнувшись даже на табуретке.

Оказалось, все-таки прав монгол  
в жилетке.  
...И летит — и этот полет полог —  
над щебенкой вымершего бульвара  
перепончатый золотой листок,  
словно оторвавшийся от пожара.

### Темные аллеи

*(Пережитое)*

Озолотясь, обрадовал  
клен, а теперь как быть —  
столько листвы нападало,  
некуда и ступить.

С радужными прожилками  
окна — уже к зиме.  
Томики со страшилками  
По или Мериме.

Новый настал миллениум.  
Только ведь в холода  
в отчет твоём имении  
все еще прежний, да?

Лучше бы нас не трогали,  
был же когда-то встарь

у персонажа Гоголя  
собственный календарь.

...Ежась, добудешь байковый  
с темной искрой халат.  
Станут синицы стайками  
склевывать все подряд,

пленницы нежной хвори и  
могут в ее плену  
запечатлеть в истории  
наше на глубину

сумерек погружение,  
где началось как раз  
броуново движение  
будущих снежных масс.

### Перевозчик

*Н. Грамолиной.*

Не на русскую душу доносчиком,  
лучше стану судьбе вопреки  
с поседевшим лицом перевозчиком  
у безлюдной излуки Оки.

Кулаки побелеют от сжатия  
рукоятей весла и весла.  
Если правду — пока демократия,  
жизнь меня хорошо потрясла.

Ив клубление зыбко-прощальное  
и дубки на другом берегу —  
будто вдовый кольцо обручальное,  
очертания их сберегу.

Чтобы в час убывания с белого  
света, ставшего меркнуть в окне,  
частью именно этого целого  
на мгновение сделаться мне...

7.X.2001.

**После недавних вьюг**

После недавних вьюг  
тихо дымятся дюны  
в снежных полях вокруг  
нашей с тобой коммуны.

Чахнут былье, репье  
по замиренным весям.  
Ворон свое тряпье  
было на миг развесил.

И остается в знак  
всей полноты картины  
выбросить белый флаг,  
сдав небесам глубины —

где никак не умрет  
шепот внезапной встречи  
и догорят вот-вот,  
в плочечках плавясь, свечи.

16.I.2002.

\* \*  
\*

Не сейчас, не нынешним сентябрем,  
был я равным в стае других пираний.  
А теперь вот сделался дикарем  
и чураюсь шумных больших компаний.

И не смысла, в сущности, ни аза  
ни в одном из русских больших вопросов,  
я спешу порою залить глаза,  
не дождавшись вечера и морозов —  
при которых зыблется бирюза  
над непаханой целиной заносов...

Вот тогда, считай, на излете дней,  
я порой завидую лишь породе  
старика, игравшего *Yesterday*  
на баяне в сумрачном переходе.



---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

МИХАИЛ АРДОВ (протоиерей)



## КНИГА О ШОСТАКОВИЧЕ

**С** молодую я знал трех людей, к которым вполне был применим эпитет «великий». Это были поэты Анна Ахматова, Борис Пастернак и композитор Дмитрий Шостакович. С Ахматовой я был в доверительных отношениях, с Пастернаком часто виделся и иногда разговаривал... Впрочем, и встречи мои с Шостаковичем в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов носили довольно регулярный характер, поскольку я дружил с его детьми. Было бы преувеличением утверждать, что я общался с Шостаковичем, — он был наглухо закрыт для людей посторонних, к каковым, безусловно, относились приятели его сына и дочери. Но при том я смотрел на него, как на некое чудо, поскольку уже тогда понимал, что среди современных композиторов нет ему равных.

Со дня смерти Шостаковича прошло более четверти века, из книг, посвященных ему и его творчеству, можно составить целую библиотеку. Но среди этих весьма многочисленных изданий нет ни одного такого, которое могло бы дать ясное понятие о том, что за человек был Дмитрий Дмитриевич, каков он был в общении с близкими людьми, какие имел привычки и пристрастия. Нельзя сказать, чтобы мемуаристы и биографы обходили эту тему, но такие свидетельства распылены по многим изданиям, и их не всегда легко отыскать среди пространных музыковедческих, да и политических пассажей.

Моя давняя близость с детьми Шостаковича — Галиной и Максимом — натолкнула меня на мысль записать их рассказы об отце, и в результате появилась эта книга. Их воспоминания дополнены выдержками из некоторых изданий, чаще всего я цитирую замечательнейшую книгу «Письма к другу. Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману» (СПб., 1993) и фундаментальный труд Софьи Хентовой «Шостакович. Жизнь и творчество» (Л., 1986, том 2).

За время работы над этой книгой я прочел множество публикаций, так или иначе связанных с личностью великого композитора, много думал о нем. И вот теперь, если бы меня спросили: знал ли я когда-нибудь абсолютно гениального человека? — я бы ответил: да, я был знаком с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем.

А на вопрос: известен ли был мне подлинный русский интеллигент, интеллигент до мозга костей? — я бы дал тот же самый ответ.

### I

#### Галина:

У ворот нашей дачи стоит маленький красный автомобиль. Отец и мама нагружают его чемоданами, а мы с братом Максимом смотрим на них. У меня

---

Ардов Михаил Викторович родился в 1937 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ, работал на радио. В 1980 году принял священный сан в Ярославской епархии. В 1993 году ушел из Московской Патриархии в другую юрисдикцию. Ныне — настоятель храма во имя Царя Мученика Николая I, что на Головинском кладбище в Москве. Автор нескольких книг. В «Новом мире» публиковалась его мемуарная проза.

в руках огромная кукла — мне ее подарили совсем недавно, и я ужасно боюсь, что родители оставят ее на даче...

Это — одно из самых ранних моих воспоминаний. Лето 1941 года, только что началась война, и мы переезжаем из Комарова (тогда это местечко называлось по-фински — Келомяки) в город, на нашу ленинградскую квартиру.

Следующее воспоминание относится к осени того же года: аэродром в окруженном немцами Ленинграде. На этот раз мы со своими вещами погружаемся в самолет. Он был совсем небольшой, кроме родителей и нас с братом только летчики, три или четыре человека.

Внутри никаких сидений, дощатый пол и деревянные ящики. Нам сказали, что на них садиться нельзя, и мы расположились на чемоданах. В крыше самолета был прозрачный колпак, под ним стоял один из летчиков, он все время глядел по сторонам. Он нас предупредил: если махну рукой — все ложитесь на пол.

**Максим:**

На аэродром мы ехали на черной «эмке», это была собственная машина отца. Он вспоминал, что там, возле нашего ленинградского дома на Большой Пушкарской улице, когда мы усаживались в автомобиль, я впервые внятно произнес звук «р», до той поры я не умел его выговаривать. Тут я обратился к родителям с таким вопросом: «А вдруг немец нас как т-ррр-ахнет?!»

А во время полета я смотрел в иллюминатор и видел внизу вспышки... Я спросил: «Что там такое?» И мне объяснили, что это немцы стреляют по нашему самолету.

**Галина:**

Приземлились мы возле какого-то подмосковного леса, там стояла небольшая избушка. Тут наши летчики принялись рубить деревья и закрыли ими свой самолет. В том самом домишке возле леса мы переночевали.

Потом мы жили в гостинице «Москва». Это я плохо помню. Зато мне запомнилась поездка в магазин, нам с Максимом купили новые игрушки, взамен тех, что остались в Ленинграде.

**Дирижер Борис Хайкин:**

«...1941 год, октябрь. Я живу в гостинице „Москва“. Частые воздушные тревоги заставляют спускаться в подвал под громадное по тем временам здание гостиницы. Там встречаемся — Шостакович вместе с Ниной Васильевной и с двумя маленькими детьми. Сыро. Холодно. Сколько продлится тревога — абсолютно неизвестно. Шостакович ходит по подвалу беспокойными шагами и повторяет ни к кому не обращаясь: „Братья Райт, братья Райт, что вы наделали, что вы наделали!“» (Хайкин Б. Э. Беседы о дирижерском мастерстве. М., 1984, стр. 97 — 98.)

**Галина:**

Из Москвы путь нашего семейства лежал в Куйбышев. Ехали мы на поезде, и в дороге у нас потерялись два чемодана. Это я запомнила.

**Максим:**

Вместе с нами в эвакуацию ехал композитор Арам Хачатурян, много лет спустя он рассказывал Г. М. Шнеерсону, что в вагоне вместо сорока двух человек разместилось более ста и что какого-то парня, забравшегося на третью полку, долго убеждали уступить место Нине Васильевне Шостакович с детьми. А Б. Э. Хайкин вспоминал, что у Дмитрия Дмитриевича был вид подавленный. Оказалось, что в одном из утерянных при посадке чемоданов была рукопись Седьмой симфонии. По счастью, чемоданы нашлись, в суматохе их забросили в соседний вагон.

**Галина:**

Сначала мы поселились в здании школы, вместе с семьей художника Петра Вильямса, но вскоре нам предоставили отдельную комнату.

Художник Николай Соколов записал такой монолог Шостаковича:

«Знаете, Николай Александрович, когда в Москве мы с ребятами влезли в темный вагон, я почувствовал, что попал в рай!.. Но на седьмые сутки езды я уже чувствовал себя как в аду. Когда же меня поместили в классе школы, да еще на ковре, и обставили кругом чемоданами, я снова ощутил себя в раю, но уже через три дня меня стала утомлять эта обстановка: нельзя раздеться, кругом масса незнакомых людей... Я вновь воспринял это как ад. Но вот меня переселили в отдельную комнату... Так что же? Через некоторое время я почувствовал, что теперь мне необходим рояль. Дали мне и рояль. Все как будто хорошо, и снова я подумал: „Вот это рай!“ Но начинаю замечать, что в одной комнате работать все-таки неудобно: дети мешают, шумят...» (Хентова, стр. 43).

**Галина:**

В Куйбышеве у нас появилась лохматая собака Рыжик. Мы с Максимом нашли его в подъезде на лестнице, и — о, радость! — родители позволили ему у нас жить. Он был сообразительный и неприхотливый — типичный дворовый пес.

И еще одно существенное воспоминание о жизни в Куйбышеве: нас с братом впервые взяли на концерт, это была премьера Седьмой симфонии нашего отца. До этого мы присутствовали на репетициях, и наша мама вспоминала: Максим выходил на сцену и начинал дирижировать, так что его пришлось насильно увести за кулисы.

**Максим:**

Я репетиций почему-то не помню. А вот концерт мне запомнился, музыка Седьмой симфонии вошла в мою душу... Тема нашествия из первой части, приближение чего-то жуткого, неотвратимого... У нас с Галей была тогда набожная няня, такая Паша. И я эту музыку слышал во сне. Издалека звучит барабан, все громче и громче... И я в ужасе просыпался от этого кошмара, я бежал к Паше, она крестила меня и читала молитву...

А еще я запомнил вкус конфет, которыми нас с Галей угощали на той премьере. Это была шоколадная помадка, такие конфеты мне никогда больше не попадались.

**Галина:**

В военные годы катастрофически не хватало продовольствия, и в этом, конечно, причина того, что вкус той помадки так запомнился Максиму. Разумеется, мы, дети Шостаковича, никогда не голодали, но отцу было непросто прокормить всю многочисленную родню, которая приехала к нам в Куйбышев.

Из письма Д. Шостаковича И. Гликману, 1 марта 1943 года:

«Все члены моей семьи здоровы и все время громкими голосами говорят о продуктах питания. Я, слушая эти разговоры, начал забывать многие слова, но хорошо помню следующие: хлеб, масло, полкило, водка, двести грамм, пропуск, кондитерские изделия и немногие другие» («Письма к другу», стр. 53).

**Максим:**

И еще одна история, связанная с городом Куйбышевом. Во времена советские для лиц привилегированных существовали так называемые «закрытые» магазины и столовые, продукты и товары там были лучшего качества и по низким ценам. Так вот отец рассказывал, что на какой-то двери он обнаружил в те дни такое выразительное объявление:

«С 1 февраля открытая столовая здесь закрывается. Тут открывается закрытая столовая».

## II

**Галина:**

В дверях комнаты появляется скульптор Илья Львович Слоним, строгим голосом он говорит:

— Дети, отдайте мой пластилин.

Мы с Максимом смущены, быстро собираем кусочки и возвращаем хозяину...

Это было в те дни, когда Слоним работал над портретом отца. Уходя после очередного сеанса, он прятал свою работу в картонный ящик и ставил его под папин рояль. Специального пластилина для детей тогда не существовало, и вот мы с Максимом тайно залезли в ящик и похитили оттуда некоторое количество... Мы, конечно, предполагали, что скульптор пропажи не заметит, но просчитались. Дело кончилось нашим позором и строжайшим выговором от родителей.

**Максим:**

А я хорошо запомнил, что мы делали с этим пластилином. Мы брали с папиного стола карандаши и на конец каждого из них налепляли такое пластилиновое утолщение, вроде сосиски. Получалось нечто похожее на куриную ногу. У нас это так и называлось — куриные ноги. А потом мы их швыряли так, чтобы они прилипали к стене...

**Илья Слоним:**

«Шостакович пригласил меня в свою студию. Вся мебель состояла из рояля, стола с чернильницей и стула... До моего прихода он работал... и я начал извиняться. „Вы мне несколько не помешали, никто не может мне помешать, когда я работаю”, — сказал Шостакович. Я тогда подумал, что он сказал это просто из вежливости, но я вспомнил об этом, когда стал свидетелем такой сцены: Шостакович работает у стола, а его дети (четыре и шесть лет) кувыркаются по всей комнате (и надо отдать им справедливость, это дети, которых не только видно, но и слышно). Затем следует такой диалог:

— Папа, пап!

— Ну что?

— Папа, что ты делаешь, папа!

— Пишу.

Тридцать секунд молчания.

— Папа! А что ты пишешь, папа?

— Музыку...

...За все время, что мы с ним разговаривали, он ни секунды не сидел спокойно, он непрерывно выходил из комнаты и возвращался обратно» («Советская музыка», 1980, № 6).

## III

**Галина:**

Из окна высовывается разъяренный человек и громко кричит нам, детям:

— Я вам сейчас уши оборву!.. Я родителям пожалуюсь! Чтобы я вас тут не видел!

Это — Сергей Сергеевич Прокофьев. Мы частенько играли под окном его комнаты, шумели и мешали ему сочинять музыку.

Происходило это летом 1943 года в Иванове, вернее, в Доме творчества и отдыха композиторов возле этого города. Там была деревня Горино и в ней



птицесовхоз № 69. При нем-то и был организован этот самый дом, дабы именитые музыканты не бедствовали в голодные военные годы.

Когда-то в Горине была усадьба — господский дом, парк, конюшни, скотный двор... А во времена, о которых я веду рассказ, кроме композиторов, исполнителей и музыковедов там обитали лошади, коровы, свиньи и великое множество кур... А вокруг — лес, луга, поля, речка Харинка...

Начиная с 1943 года наша семья подолгу жила в этом красивейшем месте. У меня сохранился альбом с фотографиями, их делала моя мама: отец и я на стоге сена; отец с маленьким поросенком на руках; мы с Максимом на лугу среди цветов...

**Максим:**

Я очень хорошо помню, как мы дразнили Прокофьева. Он жил в главном, каменном доме, и окно его комнаты бывало настезь распахнуто. Мы потихоньку приближались, а потом начинали кричать:

— Сергей Сергеич, тра-та-та! Сергей Сергеич, тра-та-та!

И тут в нас летело пресс-папье и еще какие-то предметы. «Уши обору!» — этот крик я до сих пор слышу.

Композитор Арам Хачатурян о Восьмой симфонии Шостаковича:

«Помню, что он работал над этим сочинением в небольшом сарайчике, куда втиснули пианино. Любопытно, что, пока он не закончил партитуру, никто никогда не слышал из его „кабинета” ни одного звука. Он писал ее за маленьким столиком, прибитым к стене, почти не притрагиваясь к инструменту» (Хачатурян А. Страницы жизни и творчества, из бесед с Г. М. Шнеерсоном. М., 1982, стр. 21).

**Максим:**

Я вспоминаю отца, сидящего на высоком стуле. Это — волейбольная площадка, обитатели Дома творчества бьют по мячу, а Шостакович судит игру.

Композитор Николай Пейко:

«Мы, молодые композиторы, жили в большом доме в одной общей комнате, отгороженной от столовой простынями. Ровно в пять, ни минутой позже, простыни раздвигались, в щель просовывалась голова Д. Д. (Шостаковича), и он изрекал по-английски: „It is time to play volley-ball”. (Пора идти играть в волейбол.) И добавлял любимую фразу спортивного комментатора тех лет Вадима Синявского: „Матч состоится при любой погоде!”» (Петрушанская Р. И. Дом творчества Иваново. М., 1983, стр. 18).

**Максим:**

Жившие в Горине композиторы делились на три категории — согласно своему таланту и месту, занимаемому в советской музыкальной иерархии. И был такой порядок: каждому уезжающему из Дома творчества выдавались куриные яйца — 50, 40 или 30 штук. Это зависело именно от категории, которая была присвоена данному индивидууму. И Шостакович, который, разумеется, входил в первый разряд, бывало, смущался, если одновременно с ним получал свою порцию какой-нибудь третьеразрядный коллега.

И еще такая деталь. Чтобы попасть в деревню Горино, с поезда надо было сходить на станции, которая называлась Иваново-сортировочная. Так вот С. С. Прокофьев в отсылаемых оттуда письмах делал пометку: «Иваново-сортир».

#### IV

**Галина:**

Мы, несколько девочек, выходим на середину комнаты и синхронно проносим:

— Э!..

Мы — участницы игры в шарады и должны изображать имя — Эразм Роттердамский. Первая часть: произносим «Э» — разом. А вторая часть такая: некто «рот тер дамский». Этот некто — юный Мстислав Ростропович, а дама, чей рот он тер, была я...

Происходило это во время школьных зимних каникул все в том же птицевосхозе № 69, то бишь в Доме творчества и отдыха композиторов. Там наше семейство и познакомилось с будущей знаменитостью. Ростроповичу предстояло стать весьма близким нам человеком, а потом и соседом по даче в Жуковке.

Той памятной мне зимою мы с Максимом катались с горки на лыжах, и происходило это под надзором Ростроповича, было у него такое поручение от наших родителей.

## V

**Галина:**

Мы с Максимом стоим в кабинете отца, и он произносит:

— Улица Кирова, дом 21, квартира 48. Телефон К5-98-72. Запомнили? Повтори! И ты повтори!..

Нас только что привезли в квартиру, которую отец получил в Москве. И он требовал, чтобы мы на зубок знали свой новый адрес и телефон. Вдруг потеряемся, и тогда без этого не обойтись.

Я хорошо помню нашу первую московскую квартиру — дом был старый, с высокими потолками, стоял он во дворе, прямо против Главного почтамта.

## VI

**Максим:**

Из радиоприемника доносится бодрый голос:

— Так! Ноги — на ширине плеч! Первое упражнение...

Еще раннее утро, в окнах зимняя тьма, а мы — папа, Галя и я — делаем наклоны и размахиваем руками под аккомпанемент невидимого рояля.

Поскольку отец весьма заботился о нашем с сестрою здоровье, он поднимал нас с постелей и заставлял заниматься гимнастикой. Я это очень хорошо помню, я даже не забыл фамилию человека, который вел по радио эти передачи: Гордеев.

**Галина:**

Еще до войны, в Ленинграде, нас лечил известный детский врач Александр Федорович Тур. А когда он приезжал в Москву, то непременно заходил к нам домой и внимательнейшим образом осматривал и меня, и Максима. Все рекомендации, которые давал этот доктор, наши родители старались выполнять неукоснительно. Так, по совету Александра Федоровича были для нас куплены велосипеды.

## VII

**Максим:**

Оркестр умолк, и дирижер обернулся к нам.

— Очень хорошо, очень хорошо, — говорит отец своей обычной скороговоркой.

И репетиция Восьмой симфонии продолжается.

Это было в Ленинграде весной 1946 года. Я был еще маленьким, но отец взял меня на одну из репетиций, и я запомнил это на всю жизнь. За пультом стоял Евгений Александрович Мравинский, и я с восхищением смотрел на него, на то, как он управлялся с оркестром... И вот тогда, именно тогда я твердо решил: когда вырасту, буду дирижером.

Я часто присутствовал на репетициях, куда приглашали моего отца. Он делал очень мало замечаний. Обычно это были лишь четыре слова: «громче», «тише», «медленнее», «быстрее». Иногда он мог сказать и что-то большее, но лишь тем музыкантам, которым он доверял, в чем мастерстве и таланте не сомневался. Если же исполнитель ему был не по душе, он мог отделаться лишь такими словами:

— Пошли дальше, пошли дальше...

**Дирижер Александр Гаук:**

«На репетициях Дмитрий Дмитриевич всегда спокойно (это, конечно, было внешним спокойствием) сидел в зале. Он не позволял себе никаких выкриков или нервничания, хорошо понимая, что репетиции служат для того, чтобы разучить новое произведение и ни в коем случае не являются показом. Все свои замечания он делал всегда в антракте и в самом деликатном тоне. Только в том случае, когда он находил опisku (в нотах), он позволял себе подходить к пульту, терпеливо ожидая ближайшей остановки, и тихонечко указывал на ошибку. Он всегда был предельно скромн. Многoму могли бы в этом отношении у него поучиться другие композиторы, которые требуют, чтобы оркестр и дирижер сразу же на первой репетиции исполняли сочинение, как на концерте» (Сб. «Александр Васильевич Гаук», М., 1975, стр. 126).

**Хоровой дирижер Клавдий Птица:**

«Вспоминается, как восторженно рассказывал Александр Васильевич (Гаук) о необычайном музыкальном слухе Шостаковича.

На репетиции одной из симфоний Шостаковича, в Большом зале консерватории, когда шло первое Allegro, Александр Васильевич, стоящий за пультом, оглянулся и увидел, что композитор, болезненно сморщившись, спешит к нему: „Александр Васильевич, — говорил Дмитрий Дмитриевич, — второй скрипач на третьем пульте первых скрипок сыграл вместо фа — фа-диез”.

Так оно и оказалось» (там же, стр. 198).

**Максим:**

В сентябре 1962 года мы с отцом были в Эдинбурге на фестивале. Я помню одну из репетиций, польский оркестр играл Восьмую симфонию. Там есть соло трубы, довольно продолжительное. И оркестрант сыграл это весьма фривольно, совсем не в том характере, что хотелось бы автору. Шостакович сидел в первом ряду и морщился. А дирижеру, наоборот, это очень понравилось, он повернулся к моему отцу и самодовольно спросил: «Добже?» И в ответ Шостакович крикнул ему, тоже по-польски: «Дуже не добже!»

## VIII

**Галина:**

В послевоенном Комарове, то есть тогда еще в Келомяках, были широкие ровные дороги, которые строили финны, а кроме того — великое множество узеньких тропинок, они вьются между деревьями.

Во время велосипедных путешествий отец прививал нам культуру движения. Например, учил при каждом повороте показывать рукою ту сторону, куда собираешься свернуть, хотя на безлюдных и извилистых лесных дорожках это выглядело чрезмерной предосторожностью.

## IX

**Максим:**

Возле нашей дачи на скамейке сидит человек в поношенной и застиранной военной форме. Вид у него жалкий, он озирается и поглощает ломоть хлеба,

держа его обеими руками... А я поглядываю на него с любопытством и затаенным страхом, ведь он — немец, фашист, пленный солдат германской армии.

Это — одно из самых первых моих воспоминаний о Комарове. В те времена шло строительство Приморского шоссе, и на этих работах были заняты пленные немцы. Один из них иногда подходил к нашей даче и, ужасно стесняясь, просил подаяния.

И вот однажды, когда я глядел на него, сидящего на нашей скамейке, ко мне приблизился отец. Он погладил меня по голове и стал говорить тихим голосом:

— Не бойся, ты его не бойся... Он — жертва войны. Война делает несчастными миллионы людей. Ведь он не виноват, что его забрали в армию и погнали воевать на русский фронт, в мясорубку. Ему еще повезло, он остался жив и попал в плен. А там, в Германии, его ждет жена. И, наверное, у них есть дети, такие же, как вы с Галей...

Наш отец ненавидел всякое насилие, а уж тем паче войну. Он иногда вспоминал старый, дореволюционный анекдот. Еврея из местечка взяли в армию и отправили на фронт. И как только раздались выстрелы противника, этот человек выскочил из окопа и закричал в сторону стрелявших немцев:

— Что вы делаете?! Здесь же живые люди!

Когда Шостакович рассказывал этот анекдот, он не улыбался, не смеялся... У него было трагическое выражение лица.

## X

**Галина:**

В 1946 году была возобновлена аренда комаровской дачи, и с тех пор мы всякое лето жили на Карельском перешейке. Это был тот же самый просторный дом на Большом проспекте, который наша семья занимала еще до войны. Он стоит и по сю пору. В те годы поселок был немногочисленным и гораздо более уютным, чем теперь.

Письмо Шостаковича другу Льву Арнштаму:

«Я живу прекрасно. Наслаждаюсь природой. Здесь хорошо, хотя и бывают дожди. Довольно часто бываю в городе. Интересует меня проблема легкого заработка, так как мои средства к существованию иссякли. Привыкши жить на широкую ногу, испытываю несомненное неудобство, переходя на узкую ногу. В шагу... жмет, как говорят работники иглы» (Хенцова, стр. 231).

## XI

**Галина:**

Я притаилась в кустах, а Максим лежит на дороге возле своего брошенного на землю велосипеда... Это воспоминание до сих пор заставляет меня стыдиться, хотя с тех пор минуло более пятидесяти лет.

Происходило это в Комарове, около нашей дачи. Родители ушли к кому-то в гости, а мы с братом были предоставлены самим себе. Мы еще были маленькие и глупые, и вот Максиму пришло в голову подшутить над мамой и папой. Дескать, он катался на велосипеде, и его сбила машина. И когда мы издали увидели возвращающихся родителей, брат улегся на дороге, приняв позу самую неестественную.

Легко себе представить, какова была реакция отца и матери. Они вовсе не смеялись нашему «остроумию», и мы оба были строго наказаны.

Вообще-то я никаких особенных наказаний не припомню. Если мы с братом были виноваты, мама укоризненно смотрела на нас, а отец начинал нервничать, курил... В определенном смысле это действовало сильнее криков и нотаций.

**Максим:**

Если я совершал какой-нибудь проступок, отец ужасно расстраивался... А когда что-нибудь такое повторялось, он произносил фразу, которая очень пугала:

— Зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет, мне надо с тобой серьезно поговорить...

Я шел туда. Он мне говорил:

— Ты несколько раз обещал мне этого не делать, и вот опять... — Тут он доставал чистый лист бумаги и говорил: — Пиши: я больше никогда не буду делать того-то и того-то... Так... Теперь распишись... Поставь сегодняшнее число.

Потом этот лист убирался в стол. И вот если я еще раз совершал такой проступок, он опять звал меня в кабинет, доставал мою расписку и говорил:

— Вот твоя подпись, ты опять нарушил свое обещание...

И тут уже бывало так стыдно, не передать...

Отец терпеть не мог моих школьных и дворовых привычек. А в те времена мы все время друг с другом менялись — перочинные ножи, рогатки и прочее в этом роде. И я помню, как давал такое письменное обязательство: «Не приносить домой предметов, принадлежащих другим лицам».

И еще я прибегаю домой:

— Папа, всего за тридцать рублей продается духовое ружье!

Он говорит:

— А мне его и за две копейки не надо!

Он реально себе представил, что будет у нас в доме, если я начну стрелять из духового ружья.

## XII

**Галина:**

Отец появляется в дверях:

— Кто взял мой красный карандаш?

Или:

— Где моя линейка?

Мы с Максимом смущенно переглядываемся и начинаем искать пропажу...

Подобные сцены повторялись и в Москве, и на даче... Как известно, Шостакович сочинял музыку без рояля — он сидел за столом и писал ноты. И тут не требовалось соблюдать какую-то особенную тишину: могла залаять собака, проехать машина... Единственное, что его раздражало, — нарушение порядка. У него на рабочем столе лежали карандаши, ручка, линейка... А мы с Максимом то и дело таскали у него эти предметы.

**Максим:**

Шостакович не сочинял музыку в прямом смысле этого слова, он слышал ее каким-то своим внутренним слухом и фиксировал это на бумаге.

Постановщик фильма-оперетты «Черемушки» Герберт Раппапорт:

«Я пришел к нему вечером в гостиницу „Европейская“. Застал гостей. Шостакович за столом что-то писал, отвечая на шутки. Всем было весело, мне — грустно, потому что надежда получить музыку пропала. Шостакович продолжал писать и разговаривал. Я поднялся, чтобы уйти. „Куда же вы? — спросил Шостакович и протянул мне только что записанные нотные листы — новые фрагменты для „Черемушек“. Так я оказался свидетелем чуда рождения музыки гением. Это были лучшие фрагменты...» (Хентова, стр. 343).

## XIII

**Максим:**

Когда я был маленький, я часто наблюдал, как отец сочиняет музыку. Он сидит и пишет. Я брал у него нотную бумагу и, подражая ему, начинал изоб-

ржать точки с хвостиками... Потом я подходил к отцу и говорил: «А теперь сыграй, что я написал». Отец безропотно садился за рояль и пытался исполнять ту музыкальную абракадабру, которая выходила из-под моего детского пера... Разумеется, мне такая музыка не нравилась, поскольку он честно играл именно то, что там было... А он мне объяснял: «Для того, чтобы сочинять настоящую, хорошую музыку, надо долго и упорно учиться». А на мой вопрос: «А как учиться?» — он неизменно говорил: «Для начала напиши вариации».

#### XIV

**Галина:**

Мне вспоминается ясный весенний день. В кабинете отца раскрыта форточка, и мне слышны голоса резвящихся на дворе детей. А я сижу за роялем, играю развеселую полечку, и по лицу моему текут горькие слезы...

В это время в комнату вошел отец. Мои слезы в сочетании с беззаботным напевом произвели на него впечатление, и с того самого дня прекратились мучительные для меня уроки музыки. Это стало уделом лишь брата Максима.

Сомнения в моей пригодности к музыкальной карьере появились у отца несколько ранее. Как только нас стали учить игре на рояле, он стал сочинять специальные пьески для детей.

Первая из них была попроще, а вторая несколько сложнее. Отец решил их издать, но для этого опусы должны были быть приняты специальной комиссией в Союзе композиторов. И вот он решил, что играть там их буду я.

Помнится, первую пьесу я сыграла без запинки, а на второй сбилась... Начала еще раз — и опять сбилась...

Тут отец не выдержал и заявил:

— Она все забыла... Я сейчас сам доиграю.

И он уселся на мое место у рояля.

До сих пор не могу забыть этот конфуз.

#### XV

**Максим:**

В широком пролете раскачивается огромный концертный рояль... Кажется, что он сейчас упадет или ударится об одну из лестниц. Шостакович хватается рукою за голову и покидает подъезд, выходит на улицу...

Так происходило наше переселение с улицы Кирова на Можайское шоссе. В 1947 году советское правительство издало распоряжение о том, чтобы предоставить Шостаковичу квартиру в новом доме на Можайском шоссе и дачу в подмосковном Болшеве. Квартира была даже не одна, а две — их объединили. Вот тогда-то была наконец доставлена в Москву та мебель, что стояла в ленинградской квартире, в том числе два рояля — один концертный, побольше, а другой — кабинетный, поменьше. Их было затруднительно тащить на четвертый этаж, и тогда рабочие прибегли к помощи канатов и лебедки.

Кстати сказать, теперь концертный рояль отца снова вернулся на «берега Невы». По моей просьбе его реставрировали, и теперь он стоит в моей петербургской квартире.

#### XVI

**Галина:**

Я сижу рядом с отцом на скамейке и ужасно скучаю, в голове только одна мысль: «Когда это кончится?» А родитель мой оживлен, увлечен, азартен...

Это воспоминание относится к тому далекому дню, когда отец взял меня с собою на футбольный матч. Мне там было совершенно неинтересно, я в этой игре ничего не понимала, да и не стремилась понимать...

И вдруг на поле произошло нечто такое, что развлекло и рассмешило меня: от сильнейшего удара сломалась штанга ворот. На поле — замешательство, а на трибунах — невероятный восторг и крики. Вот почему я так надолго запомнила свой единственный поход на стадион.

А отец всю свою жизнь был горячим поклонником футбола. Он не только помнил фамилии игроков нескольких поколений, но и вел какие-то записи, составлял для себя статистику матчей. И будь он сейчас жив, я уверена, ему бы не составляло особенного труда ответить на вопрос: в каком году, в какой день и на каком именно стадионе была эта запомнившаяся мне игра.

**Софья Хентова:**

«...увлекаясь футболом, Шостакович мечтал написать гимн этому виду спорта, а когда появился футбольный марш М. Блантера, с гордостью объявлял: „Вот что наш Мотя сочинил!“ На почве футбола то и дело происходили случаи забавные.

Футбол свел с Константином Есениным — пасынком Мейерхольда, помнившим Шостаковича со времен, когда композитор писал музыку к спектаклю „Клоп“.

Ознакомившись с очередной статьей Константина Есенина, поднявшего футбольную статистику на высоту поэзии, изложил ему письмом свои фактические поправки. Почерк, по обыкновению, был малоразборчив, подписи неясны, и Есенин раздраженно позвонил по указанному в письме телефону:

— Есть у вас старичок, интересующийся футболом?

— Есть, — ответил женский голос, — сейчас позову.

Есенин вступил в запальчивую полемику с дотошным „старичком“. В конце разговора спросил:

— Как ваша фамилия?

И, услышав робкое „Шостакович“, обомлел» (Хентова, стр. 288).

**Максим:**

Между прочим, папа был не только великим знатоком футбола, он был дипломированный футбольный судья. Это звание было ему присвоено еще до войны, в Ленинграде. Он знал правила спортивных игр назубок, любил судить состязания.

**Галина:**

В пятидесятых годах отец отдыхал в правительственной санатории в Крыму, и там ему довелось судить теннисные соревнования. Среди тех, кто ежедневно выступал на кортах, был генерал армии Иван Александрович Серов, который тогда занимал должность председателя КГБ. Так вот, если главный чекист делал какой-нибудь промах, а потом выражал претензии, Шостакович неизменно останавливал его такой фразой: «С судьей не спорят». И отец признавался: говорить эту сентенцию в лицо председателю КГБ было для него истинным наслаждением.

## XVII

**Максим:**

Стол накрыт белой скатертью и сервирован с большим изяществом. У бабушки, матери отца — Софьи Васильевны, — парадный обед. Среди приглашенных наши родители, мы с сестрой и самый главный гость — Михаил Михайлович Зошенко.

Помнится, во время этого обеда я смотрел на него с особенным любопытством. Отец часто говорил о нем, цитировал его рассказы... И притом упоминал, что Зошенко очень смешно пишет, но сам никогда не улыбается...

Михаил Михайлович был дружен с бабушкой Софьей Васильевной, он высоко ценил и уважал Шостаковича. Наш отец отвечал ему взаимностью, однако же особенной душевной близости у них не было, слишком разные это были характеры.

И вот еще какое соображение. Зошенко был довольно далек от музыкального мира и по этой причине не мог оценить в полной мере композиторский талант Шостаковича. В противоположность этому наш отец прекрасно знал русскую литературу, очень любил Гоголя, Достоевского, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Чехова и, разумеется, понимал все величие Зошенки.

Михаил Зошенко — Мариэтте Шагинян:

«Я очень люблю Д. Дм. Он Вам правильно сказал, что я хорошо к нему отношусь. Я знаю его давно, лет, вероятно, 15 — 16. Но дружбы у нас не получилось. Впрочем, я не искал этой дружбы, потому что видел, что этого не могло быть. Всякий раз, когда мы оставались вдвоем, нам было нелегко. Наши токи не соединялись. Они производили взрыв. Мы оба чрезвычайно нервничали (внутренне, конечно). И хотя мы встречались часто, нам ни разу не удалось по-настоящему и тепло поговорить» (письмо от 4 января 1941 года — «Новый мир», 1982, № 12).

**Максим:**

В 1946 году Зошенко был ошельмован в постановлении ЦК Коммунистической партии, и отец принял произошедшее очень близко к сердцу. Исаак Давыдович Гликман свидетельствует, что в десятилетнюю годовщину со дня смерти Зошенки они с Шостаковичем поехали на его могилу в Сестрорецк. Гликман запомнил такие слова нашего отца:

— Он безвременно умер, но как хорошо, что он пережил своих палачей — Сталина и Жданова.

А еще я помню, как отец время от времени произносил такую фразу:

— Все, что угодно, отдам за шеститомник Зошенки.

**Галина:**

Наша бабушка Софья Васильевна была очень активным человеком. В 1946 году она взялась помогать Зошенке, собирала для него деньги — ведь его совершенно перестали печатать и лишили средств к существованию... Бабушка была общительная, веселая, часто бывала на концертах, и не только когда играли Шостаковича. Она прекрасно знала литературу, интересы у нее были самые разнообразные. Дома у нее — полно народу, кто-то приходит, кто-то уходит... Обязательно кто-то ночует. Она была собирательницей людей...

И в этом отношении она была полной противоположностью своему сыну. Шостакович по натуре не был ни общительным, ни разговорчивым. Посторонние люди, если они присутствовали в доме, создавали для него некое неудобство. Он с детства учил нас правилам общения с друзьями и знакомыми:

— Никому нельзя звонить после десяти вечера или ранее десяти утра. Нельзя приходить в гости без звонка или приглашения. Если вам говорят: «Как-нибудь заезжайте», — это еще не означает, что вас пригласили. Приглашают на определенное число и к определенному часу.

Вот он сам зовет кого-нибудь из друзей на обед. Например, Хачатуряна с женой. За столом обстановка самая непринужденная — шутки, смех... Но застолье не может быть бесконечным — если обед начался, предположим, в 15 часов, то в 17 он закончится. И все друзья это прекрасно понимали. Для тех, кто засиживался сверх всякой меры, у нас в семье был специальный термин: «каменный гость». А еще отец иногда говорил: «Бойся гостя не сидящего, а уходящего». Он очень не любил, когда кто-то уже стоит в прихожей и продолжает разговаривать.

Притом мама наша была общительным человеком. Я вспоминаю дачу в Комарове. На первом этаже мама сидит с гостями, а отец наверху сочиняет



музыку. Вот он спускается вниз, присаживается к столу, прислушивается к разговору... А минуты через три опять уходит к себе на второй этаж.

## XVIII

**Максим:**

В прежние годы в Комарове существовал так называемый Детский оздоровительный сектор. И вот как-то раз у меня заболел зуб, отец взял меня за руку и повел в этот самый сектор. Там был дантист, меня поместили в кресло, а папа уселся возле двери в кабинет этого врача. День, я помню, был жаркий, и окно было открыто.

И вот началось сверление моего зуба, тут я почувствовал боль невероятную... Терпеть не было сил, я выскользнул из кресла, рванулся к окну, выскочил наружу и помчался домой — на нашу дачу. А отец, весьма обескураженный происшедшим, вернулся несколько позже.

Потом он признался, что с ним, уже взрослым, был такой в точности случай. Некий дантист тоже причинил ему сильную боль, Шостакович оттолкнул врача ногами и, подобно мне, удрал из лечебницы. Но это совершенно нетипичное происшествие. Будучи человеком по натуре весьма аккуратным, наш отец надо не надо раз в два месяца шел на прием к дантисту... С такой же регулярностью он посещал и парикмахерскую. На письменном столе у него был перекидной календарь, где загодя были отмечены дни, в которые надлежит проверять состояние зубов или стричь волосы.

**Галина:**

В этом настольном календаре были отмечены дни рождения родственников, друзей, коллег, и отец никогда не забывал отправлять им поздравительные телеграммы и открытки. Он внимательно следил за четкостью работы почты. Когда появилась подмосковная дача, он отправил туда открытку на собственное имя, дабы проверить, дойдет ли она туда и как скоро.

**Максим:**

Как известно, Шостакович, что называется, не играл в «гениальность», это ему претило. Он никогда не сохранял ни своих, ни чужих писем, а уж тем паче выкидывал в корзину листки своего календаря. И теперь можно только пожалеть об этом. Ведь там были записаны не только дни рождения друзей и рутинные дела, но и то, что относилось к творчеству. Например, исправить в таком-то опусе такое-то место... Проверить партию альта и т. д.

## XIX

**Галина:**

Отец ходит по квартире из комнаты в комнату и непрерывно курит. С мамой они не разговаривают. Мы с Максимом тоже молчим, в такие моменты вопросы задавать не принято...

Это — зима 1948 года. Мне почти двенадцать, Максиму — десять. Мы знали, что во всех газетах превозносят «историческое постановление Центрального Комитета партии „Об опере 'Великая дружба' В. Мурадели”», а музыку Шостаковича и прочих «формалистов» бранят на все лады.

Максим учился в музыкальной школе, а там «историческое постановление» штудировалось. Учítывая это, родители решили, что лучше ему некоторое время в класс не ходить. По этой причине я ему завидовала. У меня-то была самая обычная советская школа, и на уроках в нашем шестом классе о постановлении ЦК даже и не упоминали.

А последствия этого «исторического документа» ждать себя не заставили: симфонические оркестры перестали исполнять сочинения Шостаковича, и,

чтобы кормить семью, отец был принужден писать музыку к кинофильмам, а этого он, надо сказать, не любил. Кроме того, его изгнали из преподавательского состава консерватории, и наша семья была лишена возможности пользоваться правительственной поликлиникой.

Атмосфера в те дни была очень тревожная...

**Максим:**

Когда мы были маленькими, то иногда обращались к отцу с вопросом: куда пропал такой-то наш знакомый или такой-то? У него для нас был весьма короткий ответ: «Он хотел восстановить капитализм в России...» Но как только мы немного подросли, стали разбираться в ситуации. Был арестован и погиб муж старшей сестры отца Всеволод Фредерикс, а его жена, наша тетка Мария Димитриевна, была выслана из Ленинграда. В свое время подвергалась аресту и наша бабушка со стороны матери — Софья Михайловна Варзар...

Начиная с тридцатых годов и до самой смерти Сталина Шостакович жил под угрозой ареста и гибели. От этого не могла спасти ни лояльность режиму, ни гениальная одаренность — судьба поэта Осипа Мандельштама или режиссера Всеволода Мейерхольда — наглядный пример.

Как известно, среди поклонников Шостаковича был расстрелянный по приказу Сталина маршал Михаил Тухачевский, они иногда с отцом общались. Композитор Вениамин Баснер рассказал мне со слов отца такую историю. Однажды после того, как Шостакович побывал в гостях у Тухачевского, его вызвали в Большой дом, то есть в ленинградское управление НКВД. На допросе следователь его спросил: «Вы были у Тухачевского. Вы слышали, как Тухачевский обсуждал с гостями план убийства товарища Сталина?» Отец стал отнекиваться... «А вы подумайте, вы припомните, — говорит следователь. — Некоторые из тех, кто были с вами в гостях у Тухачевского, уже дали нам показания». Отец продолжал утверждать, что ничего такого не было, что он ничего не помнит... «А я вам настоятельно рекомендую вспомнить этот разговор, — сказал следователь с угрозой. — Я даю вам срок до одиннадцати часов утра. Завтра придете ко мне еще раз, и мы продолжим беседу...» Отец вернулся домой ни жив ни мертв. Он решил, что показаний против Тухачевского не даст, и стал готовиться к аресту. Утром он снова явился в Большой дом, получил пропуск и уселся возле кабинета того самого следователя. Проходит час, другой, а его не вызывают... Наконец какой-то чекист, который шел по коридору, обратился к нему: «Что вы тут сидите? Я смотрю, вы здесь уже очень давно...» — «Жду, — отвечает отец. — Меня должен вызвать следователь Н.». — «Н.? — переспросил чекист. — Ну, его вы не дожидаетесь. Его вчера ночью арестовали. Отправляйтесь-ка домой». Так что без преувеличения можно утверждать: Шостакович чудом избежал ареста.

## XX

**Галина:**

«Дом отдыха суда и прокуратуры» — такая вывеска красовалась на старом финском доме, который соседствовал с нашей дачей в Комарове. А потом это заведение стало именоваться по-другому — Дом отдыха госучреждений. Но эта перемена никак не отразилась на интеллектуальном и нравственном уровне тех, кто там пребывал, а именно — мелкие служащие так называемых карательных органов. То есть соседство было не из приятных, в особенности это проявилось летом 1948 года, когда Шостакович был ошельмован во всех советских газетах и объявлен «формалистом», почти что «врагом народа».

Работники «госучреждений» в выражении своих вернопопданнических чувств нисколько не стеснялись: из-за забора доносились оскорбительные выкрики и на наш участок швыряли всякую дрянь... И тут надо отдать должное Максиму — он вступался за честь отца.

**Максим:**

В те годы еще свежа была память о советско-финской войне, которая проходила именно в тех местах, где была наша дача, — на Карельском перешейке. Мы знали, что самую большую опасность для советских солдат во время той войны представляли финские снайперы. Их называли «кукушками», поскольку они прятались в кронах деревьев и обнаруживать их было чрезвычайно трудно.

На нашем комаровском участке была высокая сосна, ствол которой был раздвоен у вершины. Именно там я укрепил небольшую доску, чтобы сидеть, и соорудил себе рогатку, из нее я стрелял камнями в наших обидчиков.

Но зловредные соседи досаждали Шостаковичу не только бранными криками. На их участке был громкоговоритель, который огулашал окрестности с шести часов утра и до двенадцати ночи, там звучали помпезно-хвастливые советские радиoprogramмы. Это мешало моему отцу сочинять музыку, и мне приходилось стрелять из рогатки не только по самим соседям, но и по репродуктору. Иногда мне удавалось выводить его из строя, и он на какое-то время умолкал.

**XXI****Галина:**

Я шёпотом произношу названия букв:

— Ша... Бэ... Эм... Эн... Ка...

Отец прижимает палец к губам и тихо говорит мне:

— Молчи!..

Мы — в полутьме медицинского кабинета. Отцу проверяют зрение с помощью специальных таблиц, а я по школьной привычке выручаю его — подказываю буквы.

Эта забавная сценка происходила в начале 1949 года в так называемой «кремлевке» — правительственной поликлинике. Нашему появлению там предшествовала целая история. В марте того же года большая группа деятелей советской науки и искусства должна была ехать в Соединенные Штаты, и было решено включить в эту делегацию Шостаковича. А он вообще не любил такие поездки, от этой же хотел уклониться еще и по той причине, что был очередной раз ошельмован: в течение целого года его ругательски ругали в прессе и на всех официальных собраниях. (В феврале 1948-го вышло «постановление ЦК», где осуждались все «формалисты», к которым был причислен и Шостакович.)

И тогда случилась вещь беспрецедентная — 16 марта отцу позвонил по телефону сам Сталин. Шостакович стал отказываться от поездки, дескать, ехать ему неудобно, так как существует запрет на исполнение его музыки. И Сталин тут же запрет отменил. Но разговор на этом не кончился, все еще пытаюсь уклониться от путешествия в Америку, отец сказал:

— Я плохо себя чувствую... Я болен...

Тогда Сталин спросил:

— Где вы лечитесь?

Ответ был такой:

— В обычной поликлинике...

Разговор продолжался, но эти три реплики не остались без последствий. Я уже упоминала, одним из результатов «постановления ЦК» 1948 года было то, что нашу семью лишили права пользования так называемой «кремлевкой» — поликлиникой для правительства. Так вот, в тот же день, когда Шостакович разговаривал со Сталиным, начались оттуда звонки: требовали заполнить анкеты, предоставить наши фотографии и, главное, немедленно явиться к ним всей семьей, дабы пройти полное обследование. И посещение окулиста, во время которого я пыталась помочь отцу подсказками, состоялось по случаю нашего возвращения в число пациентов «кремлевки».

Как я теперь понимаю, наше изгнание из правительственной поликлиники произошло по инициативе не в меру ретивых мелких чиновников, а спешное восстановление — по прямому указанию «великого вождя».

**Максим:**

Когда отцу позвонил Сталин, дома были папа, мама и я. Отец говорил из своего кабинета, а мама слушала этот разговор по другому аппарату, который стоял в прихожей. И я умолял ее, чтобы она дала мне трубку, ужасно хотелось услышать голос живого Сталина... И я ее упросил, мне довелось услышать несколько фраз из их с отцом разговора.

Как известно, поездка Шостаковича в Америку в 1949 году состоялась. Официально он был членом советской делегации, которая прибыла на Всеамериканский конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира. Кроме нашего отца в Соединенные Штаты приехали писатели, кинорежиссеры, ученые... По причине своей застенчивости и скромности Шостакович никогда не говорил о некоторых подробностях своего путешествия за океан. Но писатель Александр Александрович Фадеев, который был в составе той делегации, в свое время рассказывал друзьям о том, как в Америке принимали знаменитого композитора.

Начать с того, что на аэродроме в Нью-Йорке Шостаковича приветствовали несколько тысяч музыкантов. Самую группу тех деятелей, что приехали из Советского Союза, в прессе именовали так: «Дмитрий Шостакович и сопровождающие его лица». Американцам довольно трудно произносить нашу фамилию, и они ее переделали на свой лад, отца именовали сокращенно — Шости.

Время от времени ему кричали: «Шости, прыгай, как Касьянкина!» Незадолго до того, как наш отец приехал в Штаты, там разразился скандал. Русская учительница по фамилии Касьянкина, которая работала в школе при советском представительстве, попросила политического убежища. Дипломаты попытались ей воспрепятствовать, они заперли эту женщину в одной из комнат посольства. Но Касьянкина сумела открыть окно и выпрыгнуть на улицу, где ее ожидала толпа американцев.

Увы! — в 1949 году Шостакович не мог даже и помыслить о том, чтобы последовать примеру Касьянкиной. Он вполне отдавал себе отчет, какая судьба ждала бы нас — его жену и детей — да и всю прочую многочисленную нашу родню, останься он на Западе. Этот шаг довелось совершить мне в 1980 году. Но мои обстоятельства были иными — у моей первой жены уже была другая семья, и со мною был мой тогда еще единственный сын. Да и по части кровожадности брежневский режим был несравним со сталинским. Впрочем, не обо мне тут речь.

А еще Фадеев рассказывал одному из своих приятелей о таком эпизоде. Шостакович зашел в какую-то нью-йоркскую аптеку, чтобы купить аспирин. Он пробыл в магазинчике никак не более десяти минут, но, выходя на улицу, увидел такую картину: один из продавцов выставлял на витрине рекламный щит с надписью: «У нас покупает Дмитрий Шостакович».

## XXII

**Максим:**

И еще об окулистах, это — семейное предание. До войны отец поехал с концертами в Турцию и там заказал себе очки. Через два дня пришел, заплатил деньги. Мастер ему говорит: «Я вам такие замечательные очки сделал». — «Спасибо». Тот опять: «Смотрите, какие очки... Вот я их швыряю, они не разобьются...» Он ударил окуляры об пол, и они остались целыми. Отец говорит: «Спасибо, но они мне не для этого нужны». Но тот не дает и снова заявляет: «Я сейчас их еще раз брошу, и опять с ними ничего не будет...» Еще удар — очки не разбились. «И в третий раз я их ударю!» — вскричал мастер, и уж тут стекла разлетелись вдребезги.

## XXIII

**Галина:**

Я помню, как у нас на даче в Комарове гостил Митя Соллертинский. Он был постарше нас с Максимом, учился на одни пятерки, и наши родители ставили Митю нам в пример. Его покойный отец, известнейший профессор-музыковед, был самым близким другом нашего отца. В свое время Шостакович весьма болезненно воспринял безвременную смерть И. И. Соллертинского.

**Максим:**

Я почему-то не помню, как Митя гостил у нас в Комарове. Но я дружу с ним очень много лет, он долгое время был директором Большого зала Петербургской филармонии. А способности он, конечно же, унаследовал от Ивана Ивановича. Наш отец рассказывал о своем друге вещи невероятные. Соллертинский, например, читал не как все люди — по строчкам, а, глядя в книгу, воспринимал целиком всю страницу... И память у него была феноменальная, он знал не только свой предмет — музыку, но и литературу, философию, всеобщую историю...

**Дмитрий Шостакович:**

«Большое число ленинградских студентов пришли сдавать экзамен по марксизму-ленинизму, чтобы, сдавши таковой, получить право стать аспирантами. В числе ожидающих вызова в экзаменационную комиссию был и Соллертинский.

Я сильно волновался перед экзаменом. Экзаменовали по алфавиту. Через некоторое время в комиссию был вызван Соллертинский. И очень скоро он вышел оттуда. Я набрался смелости и спросил его: „Скажите, пожалуйста, очень трудный был экзамен?“ Он ответил: „Нет, совсем не трудный“. — „А что у вас спрашивали?“ — „Вопросы были самые простые: зарождение материализма в Древней Греции; поэзия Софокла как выразитель материалистических тенденций; английские философы XVII столетия и еще что-то“.

Нужно ли говорить, что своим отчетом об экзамене Иван Иванович нагнал на меня немало страха?» (Шостакович Д. О времени и о себе. М., 1980, стр. 111 — 112).

**Максим:**

В качестве анекдота отец вспоминал такую историю. Соллертинскому довелось выступать перед аудиторией каких-то «краснофлотцев». Один из этих морячков задал ему вопрос:

— Правда ли, что жена Пушкина жила с Николаем Вторым? — (Вопрошающий перепутал последнего российского Царя с его прадедом — Николаем I, при дворе которого блистала жена великого поэта.)

Иван Иванович ответил на поставленный вопрос с исчерпывающей точностью:

— Даже если предположить, что Наталия Николаевна Гончарова (в первом замужестве Пушкина) до конца своих дней сохранила женскую привлекательность, а будущий Император, Великий Князь Николай Александрович чрезвычайно рано развился, этого не могло быть. Поскольку Наталия Николаевна скончалась в 1863 году, а Николай Второй родился на пять лет позже — в 1868-м.

*(Окончание следует.)*

---

---

ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ



## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА ПЕНСИОНЕРКИ

**С** Ольгой Григорьевной Шатуновской я познакомился в доме моего тестя, Александра Ароновича Миркина. В ранней юности он вместе с другим гимназистом основал в Баку, в 1919 году, Союз учащихся-коммунистов. Это был их ответ на армянскую резню, устроенную аскерами Нури-паши вместе с местными азербайджанцами в октябре 1918 года. Тогда три дня трупы валялись на перекрестках. И над ними по ночам выли собаки...

Живой легендой бакинского подполья была Оля, член партии с 1916 года (ей было тогда пятнадцать лет), в 1918 году — секретарь Шаумяна, турками присужденная к повешению, уцелевшая благодаря порыву великодушия вновь назначенного азербайджанского министра внутренних дел. Заболевшая тифом, ухаживая за больными товарищами во Владикавказе, занятом белыми, вывезенная в тюках с коврами в Грузию и, едва оправившись, вернувшаяся на подпольную работу в Баку... Александра Ароновича больше всего потрясло, как Оля, девушка 17 лет, в одиночку управилась с парусом и компасом и пересекла Каспийское море. В мою память врзалось другое: пароход из Ванинского порта в Магадан. Качка страшная. Корабль то взлетает вверх, то падает в пропасть. В трюме зека не обнимаются, как родные братья, а перекатываются, живые и мертвые, в жиже из морской воды, дерьма, мочи и блевотины. В это месиво бросали и куски хлеба. Когда крикнули: кто хочет в галюн? — Ольга Григорьевна, устоявшая на ногах, поднялась — и осталась на палубе, спрятавшись за пришвартованные драги. Другие продолжали перекатываться в трюме.

Кажется, я впервые увидел ее в 1965 году. Постарела, пополнела, но сила блистала в глазах через толстые стекла. Дряхлеющее тело держалось на сгустке воли. После Лубянки, Колымы и ссылки Хрущев назначил ее, вместе с другой каторжницей, Пикиной, проводить реабилитацию. Старые кадры Парткомиссии для этого не годились. Ольга Григорьевна была создана для своей миссии. Окруженная ненавистью, она ломала сопротивление сталинистов. Узнав, что Указ о пожизненной ссылке противоречит основам права союзных республик, Шатуновская добилась аннулирования этого указа и одним махом распустила всю «контру» по домам. Маленков пытался саботировать, но у Ольги Григорьевны было право прямого доклада Хрущеву, и Хрущев показал, кто в Советском Союзе главный.

В 1960 году Хрущев назначил Шатуновскую в комиссию Шверника, расследовать убийство Кирова. Шверник там возглавлял, Генеральный прокурор, председатель КГБ и один из заведующих отделов ЦК присутствовали на заседаниях, а работала она.

Ольга Григорьевна умела говорить официальным языком (отдельные канцеляризм прорывались и в разговоре со мной), но со страстью каторжницы,

---

Померанц Григорий Соломонович родился в 1918 году в Вильно (Вильнюс). Окончил Институт истории, философии и литературы (ИФЛИ) в 1940 году. Участник войны, узник сталинских лагерей. Автор более 10 книг по культурологии, философии, филологии и мемуаров. Неоднократно печатался в «Новом мире». Действительный член РАЕН. Живет в Москве.

Это последняя статья, подготовленная к печати заведующим отделом публицистики «Нового мира» Александром Носовым.

помнившей Колыму. Ей невольно покорялись. Она сумела раскрыть сверхсекретные сталинские сейфы, найти бумаги, на которых рукой Сталина были набросаны схемы московского и ленинградского террористических центров, родившихся в его голове. Она нашла свидетелей, знавших о совещании на квартире Орджоникидзе, когда несколько членов ЦК, совесть которых вопила против голодомора крестьян, предлагали Кирову заменить Сталина (а Киров отказался, боясь, что не управится с Гитлером). Она разыскала члена счетной комиссии XVII съезда, забытого расстрельщиками и оставшегося в живых, и узнала тайну о 292 бюллетенях, в которых вычеркнуто было имя Сталина. Она выяснила, как в Ленинград был направлен чекист Запорожец с заданием убить Кирова, как Леонида Николаева убедили взять на себя эту роль, как его трижды задерживала личная охрана Кирова — и как трижды убийце возвращали портфель и оружие. Ей удалось восстановить картину первого допроса Николаева, кричавшего, что он выполнял волю партии. Все свидетели были расстреляны или покончили с собой, но Польшаев, прежде чем застрелиться, все рассказал Опарину. Чудов накануне ареста рассказал все Дмитриеву, и письменные показания Опарина и Дмитриева совпали друг с другом и с показаниями конвоира Гусева, которого Сталин не заметил и не уничтожил...

От имени комиссии Шверника Ольга Григорьевна запросила КГБ и получила официальную справку, по полугодиям, о масштабах Большого террора, развязанного после убийства Кирова. Общий итог она помнила наизусть до смерти, и я его помнить буду, пока жив: арестовано 19 840 000 человек, расстреляно в тюрьмах 7 000 000 всего за 6,5 лет, с 1 января 1935 по 1 июля 1941 года. Сегодня кажется, что это фантастически большие цифры. Но Пол Пот в маленькой Кампучии примерно за такое же время уничтожил 3 374 768 человек (из Протокола Комиссии по расследованию. Цитирую по книге «Похороны колоколов», М., 2001, стр. 9). Мудрено ли, что Сталин, в большой России, перебил больше.

Хрущев плакал, потрясенный результатами расследования, но Сулов и Козлов убедили Никиту Сергеевича сделать вид, что расследование еще не закончено, и Хрущев согласился отложить публикацию на 15 лет. Ольга Григорьевна безуспешно пыталась доказать, что это политическое самоубийство, и оказалась права. Цекисты не могли спать спокойно, зная, что у Хрущева, с его непредсказуемыми решениями, осталась в руках идеологическая бомба. Страх перед этой бомбой — одна из причин отставки Хрущева. Сразу же после выхода Ольги Григорьевны на пенсию (из-за ссоры с Сердюком, фактически возглавлявшим Парткомиссию)<sup>1</sup>, в 1962 году, дело в 64-х томах стали потихоньку потрошить, а после октября 1964 года его выпотрошили до основания. Улики и справки исчезали или подменялись другими. И правда осталась только в памяти пенсионерки, связанной подпиской о неразглашении, но твердо помнившей все основные факты. Незадолго до смерти Ольги Григорьевны дочь Запорожца, расстрелянного, как и все, кто слишком много знал, с огорчением узнала о роли своего отца и попросила меня еще раз расспросить, точно ли все было так, как я рассказывал. Я пошел на Кутузовский. Ольга Григорьевна очень одряхлаела, сидела согнувшись. Но, услышав, в чем сомнение, распрямилась и четко, как на экзамене, повторила слово в слово то, что я слышал от нее лет на десять или пятнадцать раньше. Слухи, что она потеряла память и все путает, злостно распространялись сталинистами.

При первой возможности, 10 февраля 1990 года, Шатуновская направила в «Известия» письмо, где коротко и четко изложила основные результаты расследования и главные подлоги, совершенные сталинистами (у нее оставались друзья в Парткомиссии, и они ее тайно информировали, а потом, когда нача-

---

<sup>1</sup> Ольга Григорьевна случайно занялась жалобой на оговор и натолкнулась на заинтересованность в этом деле Аджубея, зятя Хрущева. Ход к Хрущеву был, таким образом, закрыт, и Сердюк грубо торжествовал победу. Ольга Григорьевна не вынесла унижения и подала в отставку

лась перестройка, ей полуофициально обо всем рассказали). Это было последним делом ее жизни. Вскоре она умерла. Однако часть рассказов Шатуновской записывалась ее дочерью, Джаной Юрьевной, и внуками. Эти рассказы совпадают с тем, что я сам от нее слышал, и с ее письмом в «Известия». Внук Ольги Григорьевны, Андрей Бройдо, выехав в Америку, заложил «Рассказы в семейном кругу» в Интернет ([euclid.ucsd.edu/=Broido/ola/ola.html](http://euclid.ucsd.edu/~Broido/ola/ola.html)). Этот фонд до сих пор не учтен историками. Так же как публикация его, осуществленная в Америке в небольшом числе экземпляров<sup>2</sup>.

Им мешает, кроме всего прочего, антикоммунистическая прямолинейность. Слышатся голоса, что разница между Сталиным и Кировым невелика и не так важно, как один гад пожрал другого гада. С этой точки зрения переход от культурной революции Мао к новой экономической политике Дэна тоже не имеет значения... Думаю, что миллионы расстрелянных по тюрьмам и упавших без сил на Колыме, в Воркуте и на бесчисленных лесоповалах думали об этом иначе. Когда Сталин умер, я вышел на волю и вышли на волю все мои лагерные друзья. Для многих из нас очевидно, что Большой террор разрушил армию. Большой террор дал Гитлеру его легкие победы, а нам — необходимость затыкать собственной шкурой просчеты бездарных сталинских ставленников. Следствием Большого террора была блокада Ленинграда и миллионы пленных, умиравших в гитлеровских лагерях или в сталинских — за «измену Родине».

Вернемся, однако, к Ольге Григорьевне. Она стоит того, чтобы познакомиться с ней поближе. Со мной это случилось после одного совершенно неожиданного разговора. Я приехал, собственно, за какими-то лекарствами из аптеки 4-го Управления. Роясь в ящиках, она спросила: «Читали вы сегодня „Правду“? Там такой-то пишет, что Бога нет». Я был ошеломлен. Старая большевичка могла сказать мне: «Что вы делаете, Гриша? Это бандиты, они вас убьют!» Но Бог! Вопрос о Боге был давно закрыт для всех ее друзей. Они не сомневались, они знали, они верили в свой атеизм с твердостью Коли Красоткина (а Оля вступила в партию примерно в это же прекрасное возрасте). И вдруг — удивление, что «Правда» отрицает Бога! Я осторожно спросил, чего другого она могла ожидать от центрального органа своей партии. В ответ она очень просто пересказала свой духовный опыт в ссылке: что-то огромное, неизмеримое подхватило ее и подняло над землей, надо всем пространством и временем, и она почувствовала сердцем, что это дыхание Бога, что иначе эту реальность нельзя назвать, что других слов у нее нет. Почему она об этом заговорила со мной? Потому что ни с кем другим она говорить про свой опыт не могла, а сказать хотелось. Мостиком к разговору были стихи Тагора и стихи Зинаиды Миркиной, близкие им обеим. «„Гитанджали“, — говорила Шатуновская, — я в шестнадцать лет готова была носить на груди». (В стихах Тагора Бог и возлюбленный сливаются, как первая и вторая ипостась в Троице; и у Зинаиды Миркиной так же). «Почему же вы не сохранили книжку?» — «Пришли ходоки из деревни, сказали, что нет книг, я отдала всю свою библиотеку». — «Зачем в деревне Тагор?» — «Что вы, разве я могла так рассуждать? Революция — значит, все общее. Все мои друзья погибли на фронтах». Последняя фраза логически не связана с предыдущими, но она связана чувством, энтузиазмом, распахнутой душой. Когда Красная Армия вошла в Баку, Оля взбунтовалась против Наримана Нариманова, присвоившего себе несколько дворцов. Оля и ее друзья считали, что во дворцах должны жить дети рабочих. Но Нариманов нужен был как азербайджанская декорация для советского управления Азербайджаном. Бунтарей перевели в Центральную Россию и там понемногу приучили к партийной дисциплине.

Я застал в Москве двадцатых годов только следы революционного энтузиазма. Он уже угасал. Энтузиасты группировались вокруг Троцкого, трезвые

<sup>2</sup> «Об ушедшем веке рассказывает Ольга Шатуновская». Составители Дж. Кутьина, А. Бройдо и А. Кутьин. Берлин, 2001.



дельцы — вокруг правых, аппаратчики нашли своего вождя в Сталине. Но какой-то ореол святости вокруг слова «революция» еще горел, Бога писали со строчной, а Революцию, случалось, и с прописной. Это не было орфографически обязательно, но так было в сердцах советских мальчиков и девочек. Революция была богом, и этот бог увлек Олю и многих других, даже постарше. Их паровоз летел стрелой, в коммуне остановка... И они катились, как вагоны по рельсам, которые вели совсем не туда.

Что-то подобное произошло с Цюй Цюбо (надеюсь, что не путаю его фамилию; в семидесятые о нем писал синолог Л. П. Делюсин). Он учился в революционной Москве, увлекся — и стал одним из основателей китайской компартии. Потом произошел разрыв с Чан Кайши, Цюй Цюбо схватили, пытали... Он выдержал пытки, никого не предал. И тут случилось странное для нас дело (но совершенно обычное в Китае): ему предложили бумагу, тушь, кисточку — написать то, что хочется, перед смертью. В Китае нет физических прав личности, но есть твердое правило хранить духовный облик замечательных людей, оставивших след в истории. Это очень древний обычай, и Чан Кайши остался ему верен. Цюй Цюбо взял кисточку — и написал, что он выполнил долг перед товарищами. Но ему глубоко жаль, что пришлось ввязаться в политику. Он любил стихи, любил живопись, — зачем, зачем он все это бросил! Нечто очень сходное говорил Бухарин на очной ставке со своим учеником Александром Айхенвальдом: не пишите ни о политике, ни об экономике, думайте и пишите о человеке! Если довести эту мысль до конца — бросьте брэнное! Думайте и пишите о вечном!

В Ольге Григорьевне этот поворот к вечному начался — но остановился на половине пути. И я могу только догадываться, почему так случилось. Однажды я спросил ее, почему она не пишет воспоминаний. Она ответила мне: я посвятила жизнь ложному делу, и мне не хочется об этом вспоминать. Однако она очень охотно вспоминала отдельные эпизоды. Просила только детей, чтобы не записывали (видимо, помнила обязательство не разглашать; но рассказы — это тоже разглашение).

Приведу две истории, которых нет в записях детей. Первая история — как ее уломали подписать хоть что-нибудь. Пытать ее начальник запрещал. Возможно, она ему понравилась. Так бывает. Но придумана была нравственная пытка: приводили заключенного, и он умолял ее подписать, иначе его убьют. Она отказывалась, и его убивали. Потом приводили второго... На третий раз она согласилась подписать поданную ей нелепость.

Другая история — рассказ о встрече с Маленковым. Собственно, интересных встреч было три. Первая — заочная. Мирзоян (тогда — секретарь ЦК Казахстана) был вызван к Маленкову, зашел — и увидел на столе список с запросом санкции ЦК на арест. Заглянул — и увидел там имена Сурена Агамирова и Ольги Шатуновской. В 1937 году было ясно, что правду искать бесполезно. Зачем-то уничтожают героев бакинского подполья. Мирзоян встретил Агамирова и попросил предупредить Олю — у нее трое детей, пусть вызовет из Баку мать. И тогда Ольга Григорьевна в последний раз увидела Сурена, друга своей юности. Вместе играли в горелки, вместе были присуждены к повешению и отпущены во Владикавказ (тогда остававшийся красным). Вместе вернулись в Баку. Вместе создавали связь с Москвой. Вместе бунтовали против Наримана Нариманова. И наконец стали жить вместе. Их считали мужем и женой. Но Оля не хотела ничего, кроме нежности, а Сурен, направленный в другой город, не устоял там перед девушками; они просто вешались ему на шею. Все умоляли Олю простить. Все любовались этой прекрасной парой. Но Оля не простила. Чтобы отрезать возможность новых упрасиваний Сурена, сказала, что сблизилась с одним из своих поклонников, с Кутыным. И потом действительно вышла за него замуж, родила троих детей... В 1937 году Сурен пришел, гладил детей по головкам и говорил: «Оля, Оля, что ты наделала! Это могли быть наши дети!...» Ольга Григорьевна пересказывала эту сцену без комментариев.

Став членом Парткомиссии, она затребовала дело Агамирова. Всего три допроса. На первом — все отрицал. На втором — все отрицал. На третьем признал, что разрушал домны. Трибунал, расстрел. Ольга Григорьевна навела справки: никаких разрушений не было.

О второй исторической встрече с Маленковым я рассказывал: столкнулись по телефону, с помощью Хрущева член Парткомиссии заставил председателя правительства прекратить саботаж.

Третья встреча — члена комиссии Шверника с членом антипартийной группировки Молотова, Маленкова, Кагановича. Представляю себе железный взгляд Ольги Григорьевны, с которым она задала свой вопрос: почему члены Политбюро (или Президиума ЦК) не сопротивлялись безумным решениям деспота. «Мы его смертельно боялись», — ответил Маленков и рассказал, как Сталин, смакуя, излагал свой сценарий убийства Михоэлса и заодно Голубова (другого эксперта, посланного в Минск отбирать кандидатов на премии). Обоих пригласил министр ГБ, угостил вином — чтобы при вскрытии в желудке нашли алкоголь, — а затем вошли палачи, набросили на обреченных мешки и не торопясь, в течение часа били по ним ломami. Мне почему-то запомнилось, что в течение часа. Я совершенно не уверен, что убийство было совершено точно так, Сталин мог любоваться сценарием, пришедшим в голову задним числом, и сами убийцы могли схалтурить, но Маленков, в ответ на вопрос Шатуновской, не мог же мгновенно придумать эту историю, воображения бы не хватило. Характер Маленкова хорошо описан у Авторханова в «Технологии власти». Это канцелярист, а не поэт застенка.

С уст Ольги Григорьевны легко слетали страшные истории. Почему же трудно было взяться за перо?

Я думаю, трудно было свести концы с концами. Трудно объяснить самой себе, как порывистая мечтательница стала дисциплинированным солдатом партии и как эта партия пришла к внутренней катастрофе. Ольга Григорьевна была бесконечно смелее и независимее остальных бакинских стариков, друзей тестя. Выйдя из добровольного затвора, в котором она жила при Хрущеве, зная, что за каждым ее шагом следят, Шатуновская поражала резкостью своих суждений и как-то очень быстро повернула Александра Ароновича к оппозиции. Он привык быть вместе с партией, и «вместе с Олей» заменило ему это, повернуло к «социализму с человеческим лицом». В 1968 году и он, и все его друзья болели за Дубчека. Но пошла ли сама Ольга Григорьевна дальше этого? И вышла ли она сама из-под власти политики? Я думаю, что работа по разоблачению Сталина держала ее в старом, политическом русле, мешала полному духовному повороту. Стремление показать, что Сталин — убийца ленинской партии, поддерживало в ней некий образ ленинской партии, который сильно отличается от моего.

Уже в отставке, уже оторванная от своего дела в 64-х томах, она страстно собирала информацию о связях Сталина с царской охранкой. Я охотно допускал, что после кровавого ограбления тифлисского банка у Сталина просто не было другого выбора, иначе повесили бы. Симулировать безумие, как Камо, он не был способен. Но скорее всего, он обманывал охранку так же, как пытался обмануть своего заклятого друга Гитлера. Второе ему не удалось, но от охранки он, должно быть, отделался пустяками. Для его гигантского честолюбия роль агента была слишком мелкой. Революция обещала больше. И он ставил на революцию. А при этом кое-кого предавал. Еще в 1918 году Шаумян, получив телеграмму Ленина о помощи из Царицына, воскликнул: «Коба мне не поможет!» И на вопрос Оли — почему, рассказал ей, что в 1908 году был арестован на квартире, о которой знал только Коба, и Коба прямо заинтересован в смерти неприятного свидетеля. Тогда все перевесил авторитет Ленина, который Сталину недоверял. Но на Колыме и в ссылке старое всплыло, и в уме Шатуновской сложилась концепция Сталина-провокатора, сознательного разрушителя партии. По-моему, важно было другое...

Александр Петрович Улановский, анархист, отбывавший ссылку в Туруханске по соседству со Сталиным, рассказывал мне, как Сталин натравливал пролетарскую часть ссылки на интеллигентскую — с какой целью? Ради мелкого честолюбия оттеснить Свердлова от положения старшины ссыльных? Быть может, но думаю, что просто ему доставляло наслаждение стравливать людей друг с другом. Когда власть Сталина сделалась незыблемой — для чего он продолжал стравливать своих сподвижников, для чего он провоцировал их, уничтожив братьев Кагановича, арестовав жену Молотова? Я не вижу здесь политического смысла; одна радость игры, радость провокации ради провокации. Достоевский угадал этот характер в своих образах провокаторов — прежде всего Петруши Верховенского, но отчасти и Смердякова. Оба они мелки сравнительно со своим, еще не родившимся, прототипом. Даниил Андреев увидел Сталина крупнее, как метафизического провокатора, близкого предшественника Антихриста. Прямой связи с дьяволом у Сталина, вероятно, не было, и не прямо из преисподней он получал «хохху», эманацию мук, превращавшуюся в яростную энергию. Но образ, созданный Андреевым, занял свое место в карнавале образов, мелькающих в моем сознании, когда я думаю о Сталине. Академик Сыркин представлял себе органическую молекулу как резонанс нескольких структур. Вот и Сталина я представляю себе как резонанс нескольких образов. Вызывает он Гилельса, слушает всю ночь Бетховена и, вероятно, чувствует в этой музыке свое демоническое величие. Или над озером Рица, на Сосновке, велел соорудить беседку и приезжал туда в четыре часа утра слушать соловьев. Я спускался из Сосновки потрясенным. Такая природная красота — нерукотворная икона. Что она будила в Сталине? Что он сам встал на место Бога? Не знаю. А иногда он признавался себе (но только себе!) в своей слабости, вспоминал себя заброшенным подростком, высмеянным соседями шлюхиным сыном, и десятки раз смотрел «Огни большого города» — сентиментальную историю маленького человека. Или восстанавливал на сцене Художественного театра «Дни Турбиных» и по-лакейски любовался красивой жизнью господ. Которым он потом проломит голову.

Я пытался излагать Ольге Григорьевне свои взгляды и чувствовал, что она колебалась. Но ей очень хотелось, чтобы на первом месте была не логика превращения «добра с кулаками» в «зло с кулаками». Пусть лучше партию истреблял профессиональный провокатор, агент охраны, а партия остается партией и гибнет как партия. Это несколько даже риторично звучит в заключительных словах ее письма в «Известия»: «Судьбоносное, непреходящее значение 17-го съезда в этом и заключается, что партия коммунистов на том съезде последний раз дала бой, оказала действенное сопротивление побеждавшей на долгие годы диктатуре Сталина». Видимо, в порыве чувства Ольга Григорьевна не заметила, что последний абзац решительно противоречит предпоследним: «Многие делегаты съезда и сам Киров выступали на съезде со славословиями в адрес Сталина. Бухарин, Рыков и Томский капитулировали под улюлюканье некоторых делегатов, объявивших 17 съезд съездом победителей... Но все оказалось фарсом, трагическим фарсом: съезд победителей превратился в съезд расстрелянных...

Однако, несмотря на то что почти все присутствовавшие на съезде лично участвовали во всем этом, многие начали сознавать страшную суть содеянного и роковую роль Сталина в этих событиях».

Что же сделали те, кто «начали сознавать»? Перейдем к началу письма. «Во время 17 партсъезда, несмотря на его победоносный тон и овации Сталину, на квартире Серго Орджоникидзе, в небольшом доме у Троицких ворот, происходило тайное совещание некоторых членов ЦК — Косиора, Эйхе, Шиболдаева и других. Участники совещания считали необходимым отстранить Сталина с поста Генсека. Они предлагали Кирову заменить его, однако он отказался. После того как Сталину стало известно об этом совещании, он вызвал к себе Кирова. Киров, не отрицая этого факта, заявил, что тот сам своими действиями привел к этому».

Получается, что с Кировым даже не успели переговорить заранее, наедине, без возможности подслушивания и доноса. Посмотрели друг другу в глаза, почувствовали: стыдно; и задумались: что же делать? А делать было нечего. Истерика культа дошла до такой точки, что выступить открыто с трибуны не решился никто. Уже стали рабами. И по-рабски, втайне, вычеркивали в бюллетенях фамилию, которую дружным хором славили. Далеко не только те, кто собрались у Орджоникидзе. Мы знаем число тех, кто устыдились — и зачеркнули фамилию Сталина. А сколько человек устыдились, но *ничего* не сделали? Ведь страшно было. Подумать — и то страшно.

Я вспоминаю, как в августе 1944-го мы без команды сматывали палатки, чтобы идти на помощь Варшаве, а нам велели «отставить» и на другой день по радио сообщили, что помочь Варшаве нельзя. До самого вечера мы, офицеры, встречая друг друга, отводили глаза. Было очень стыдно. Но мы молча, подчиняясь военной дисциплине, вынесли свой стыд. А какая-то часть делегатов, встречаясь друг с другом глазами, не вынесла. Хотя, скорее всего, большинство про совещание у Орджоникидзе и не знало. А если и прошел слухок — какое уж тут «действенное сопротивление»! Шатуновская сперва описывает съезд реалистически (кровавый фарс), а потом нахлынула романтическая память о партии, в которую когда-то вступала, в *истинную* партию, в идеальную партию, которая, как все идеалы, не знает износа.

Шатуновская сама себя опровергает: «Несмотря на то что почти все присутствовавшие на съезде лично участвовали во всем этом, многие начали сознавать...» Что, когда? К 1934 году миллионы крестьян на Украине, на Кубани, в Казахстане уже вымерли. Когда же это начал сознавать Косиор, исполнявший волю Сталина на Украине, или Шеболдаев — на Северном Кавказе?

В 1953 — 1956 годах я работал учителем в станице Шкуринской. И мой коллега, завуч Батраков, рассказывал мне, как его отца, старого коммуниста, мобилизовали отбирать хлеб у кулачья. Вошли в дом. Казачку облепило пятеро детей — мал мала меньше. Без звука отдала ключи (мужа уже сослали). Старший Батраков вошел в клуню, посмотрел — в углу горстка кукурузы, до весны даже впроголодь на всю ораву не хватит. Вернулся и бросил ключи к ногам женщины. Его за это исключили из партии. Он заболел, умирал, сын (Батраков-младший) стал пересказывать что-то услышанное по радио про врагов. «Еще неизвестно, кто враги», — прошептал отец.

Екатерина Колышкина (в первом замужестве баронесса де Гук, а во втором — Дохерти) писала, что у русского, даже самого большого злодея, палец в святой воде. Но почему один Рютин почувствовал этот палец в 1930 году и прямо выступил против Сталина (тогда же хотели расстрелять; помешал еще не совсем безвластный Бухарин; расстреляли попозже)? Почему 292 делегата съезда почувствовали прикосновение святой воды только тогда, когда уже было поздно помочь вымершим с голоду — оставалось только умереть вместе с ними? Сталин правильно почувствовал, что против проголосовало в душе больше, чем 292, и истребил всех, в ком хоть колыхнулась совесть. Слабо. Беспомощно. Но мертвые сраму не имут. И за то, что всколыхнулась в них совесть, да простятся им грехи вольные и невольные. За всхлип совести ломали позвоночник Эйхе. За эти всхлипы миллионы коммунистов (с недостаточно гибкой спиной) при жизни прошли сквозь ад.

Но вернемся снова к Шатуновской. Где же она была в 30-е годы? Рожала, кормила, воспитывала своего третьего ребенка — Алешу. Когда ее арестовали, он потихоньку залезал в шкаф и подолгу сидел там: шкаф пахнул мамой. Многодетную сотрудницу не гоняли по командировкам. Сидела в аппарате МК, в облаке казенных слов и казенных мыслей, скрывавших страну, как дымовая завеса. Только во вторую половину 30-х годов, начав ездить по местам, она окунулась в безумие «персональных дел», взаимной травли, пыталась остановить то, что ей казалось чудовишной нелепостью, сорвала несколько уже подготовленных решений — и тут же ее саму посадили.

В одном из рассказов детям Ольга Григорьевна вспоминает эпизод из дела Бухарина. Отпущенный на Парижскую выставку, Бухарин встречал старых друзей, меньшевиков, и говорил им, что они были правы: революция 1917 года в России была демократической, никаких условий для строительства социализма здесь не было. Но если и впрямь не было, если меньшевики были правы, то весь ленинский эксперимент становился чудовищной авантюрой. Чтобы писать воспоминания, надо было решить проблему, выходящую за рамки фактической правды, вступить в область истинных и ложных теорий. Шатуновская, видимо, не чувствовала себя подготовленной к этому. Пафос ее работы (сохранившийся и в отставке) был в отсечении явных фактов от явной лжи. Но и в области фактов был личный опыт, колебавший кумиры большевизма! Меньшевики не расстреливали. Меньшевицкая Грузия была убежищем для большевиков, бежавших от националистического и белого террора. А потом в Грузию вошли большевики — и стали расстреливать. Ольга Григорьевна это знала. И знала, вероятно, что меньшевики повсюду протестовали против террора, без всякой личной симпатии к адмиралу графу Щастному или Великим Князьям. Знала, но не хотелось ей углубляться в это. Область явной лжи (она называла это контрреволюцией) начиналась для нее только с 1928 года. До этого была область сомнений, от которых она, кажется, так и не освободилась.

А как хорошо все начиналось! Как легко было бежать в революцию в одних чулках, оставив дома запертые отцом туфли! Такой же порыв, как за пару лет до этого: ухаживать за подругой, больной чахоткой, с риском заболеть самой, — и выходила ее. А потом, когда Ольга Григорьевна вернулась с Колымы (и ждала ее ссылка), подруга отказалась ее принять, боялась за мужа. Через несколько лет Шатуновская сама пошла в гору, подруга попросилась в гости, и Ольга Григорьевна ее не приняла. «Друзья познаются в беде». И не пошла к Хрущеву, приглашавшему в гости после своей отставки: презирала трусость. А между тем чего она от него хотела? Не аргументами убедили его Суслов с Козловым — какие они диалектики! — а чутьем: за ними стоит весь аппарат.

Впрочем, Бог с нею, с политикой. Мне интереснее мораль. Ольга Григорьевна готова была душу положить за други своя. В этом отношении она была «анонимной христианкой». Но она не чувствовала, что красота отца, прощающего блудного сына, выше ее гордой красоты. В чем-то напоминавшей мне королевскую гордость Ахматовой.

И тут вспоминается мне один совсем не политический эпизод. Я убедился на собственном опыте, что внезапное чувство причастия бесконечности блекнет и одной памяти о нем недостаточно, надо искать, как ежедневно причащаться своей глубине, сохранившей искру вечно живого огня, как раздуть искру... И я дал Ольге Григорьевне «Школу молитвы» Антония Блума. Потом спросил — как? И Ольга Григорьевна, ничего не говоря, с неумолимой своей твердостью отрицательно покачала головой. Если бы она сказала: «Не очень... мне многое здесь не нравится», — осталась бы почва для разговора, я охотно заходил бы, продолжая такие разговоры, но этот жест не допускал никакого диалога, никакого изменения раз и навсегда вынесенного приговора.

Почему? Ведь она любила религиозное чувство в стихах — на этом мы и сошлись. Но поэтическое чувство реальности Бога не затрагивало ее гордости. Можно подумать и так: я человек, и мне дано почувствовать Высшее, Бесконечное. Смирение — из другой сказки. Именно по глубине своей природы Ольга Григорьевна впитала в себя гордость не только социального, но и метафизического бунта, гордость Прометейя. «Бесконечное развитие богатства человеческой природы» в «Капитале» имеет за собой долгую традицию. Тут и Протагор (человек — мера всех вещей), и панегирик человеку Пико делла Мирандолы, и мысль Кириллова из «Бесов»: если Бога нет, то надо самому встать на место Божье... Не думаю, что Ольга Григорьевна все это прочла, но концепция бунтующего человека была рассыпана в сотнях книг, картин, музыкальных сочинений... Вместе с инерцией рабства революционное сознание отбро-

сило и «ценностей незыблемую скалу», на вершине которой бесконечная по мощи святыня, объемлющая мир своей любовью и ждущая от человека такой же бесконечной, превосходящей все земные мерки любви... Ждущая от человека открытости залива океану, готовности утонуть в море света, сгореть в пламени без дыма...

А без открытости залива океану, без опоры на Бога, стоящего над всеми земными системами, построенными из обломков Целого, человек становится рабом дела и системы, созданной для торжества дела, и только террор, вырвав солдата партии из строя, вернул Ольгу Григорьевну к поискам собственной глубины. Но тут же подхватило ее другое дело — дело реабилитации невинных, дело расследования сталинского коварства, и снова не было паузы созерцания, не было внутренней тишины, чтобы расслышать в ней Бога. Одна страсть — к справедливости для бедных — уступила место другой страсти — к обнажению страшной правды, — и стареющая женщина с неукротимой волей вступила в борьбу один на один с огромной машиной лжи, ничтожной в каждом винтике, но могучей именно своей безликостью. И до последних дней Ольга Григорьевна перебирала в уме улики и подлоги, держала в памяти свое резюме дела в 64-х томах.

Чтобы дойти до конца в духовном освобождении от иллюзий истории, ей надо было освободиться от захваченности обличением Сталина. Но тогда не было бы и дела в 64-х томах. Так же как без яростной памяти на зло не было бы «Архипелага ГУЛАГ». Без страстной односторонности история не умеет обойтись.

Ольга Григорьевна Шатуновская — трагическая фигура, оставшаяся в тени русской истории. То, что она не все могла до конца додумать, — не первый случай. История не дает нам видеть все с одинаковой ясностью, открывая одну перспективу, она закрывает другие. Сегодня легко видеть, к чему революция вела. Трудно понять пафос людей, ринувшихся в революцию от ужаса старого мира, от бойни Первой мировой войны, чудовищного истребления людей во имя «решения великого вопроса, какой мир хуже, Брестский или Версальский» (не боюсь процитировать Ленина).

В 1990 году, на заседании Восточноевропейского семинара Франкфуртского университета, мне был задан вопрос: не потому ли русским труднее дается расставание с прошлым, чем немцам, что в нацизме грубо торчала идея насилия, а в коммунизме насилие предлагалось только как средство к общему счастью. Я ответил: «Да, конечно!» — и вспомнил своих друзей из «коммунистической фракции демократического движения». Моему другу Хайнцу Кригу легче было перечеркнуть свою юношескую любовь к Гитлеру, чем Петру Григорьевичу Григоренко — свою любовь к Ленину. И хотя я достаточно сказал о фарсе XVII съезда, хочется сказать сейчас и о другой половине правды — о трагическом фарсе. Мои современники ничего не знают, ничего не помнят. А я помню. Я жил в 1937 году и даже написал письмо Сталину с советом не увлекаться террором... Было мне тогда 19 лет, и, к счастью, Сталин моего письма не прочитал... А террор все ширился, и понять его становилось все труднее. Чуть-чуть спустя я говорил Агнессе Кун, что Сталин трус и готов перебить сто невинных, только бы не уцелел один злоумышленник, способный его самого убить (что никто его и не собирался убивать, я и, будучи в лагере, все еще не понимал). Между тем колесо все раскручивалось, и понять смысл того, что происходит, стало вовсе невозможно. Террор вертелся, как вечный двигатель, сам себя подкармливая лавиной доносов и вызванных под пыткой признаний. Наверное, именно этот пик иррациональности схвачен в образе Сталина-демона, питающегося эманацией человеческих страданий, *хоххою*. Наконец после перерыва в год длиной родился первый анекдот<sup>3</sup> и, как голубь мира, облетел Москву: «„Как живете?“ — „Как в автобусе: одни сидят, другие

<sup>3</sup> В течение целого года анекдотов не было.

трясутся”». И я сказал себе: мы стали смеяться над страхом, еще немного, и страх перейдет в мужество отчаяния. Если кто-то управляет этим безумием, то террор пойдет на убыль. И в самом деле, плакаты с «ежовыми рукавицами» исчезли, и стало принято говорить о «ежовщине». Пик террора остался позади. Слава Богу, именно в это время я кончил свою курсовую работу о Достоевском, где опровергал оценки Горького, Ленина и Щедрина. Временно воцарилась усталость от казней, и работу вяло оценили как антимарксистскую, но за мной всего только установили наблюдение. Полгода раньше — сел бы как миленький.

И вот вопрос: перестал ли я хоть тогда считать Сталина гением? Не помню. Что-то пошатнулось, но не совсем сломалось. В 1941 году, когда нас стали бить, кумир почти распался. А когда начались победы — я снова поверил в Главнокомандующего...

Положение Сталина как живого бога установилось еще между XVI и XVII партсъездами. Подняться на трибуну и сказать, что Сталин грубо ошибся, в 1934 году было так же невозможно, как похулить Мохаммеда в Мекке перед миллионной толпой мусульман. А дальше такие мысли додумывались разве только в лагере, да и в лагере — не всеми. На воле человек, глядя в зеркало, шептал: «Один из нас стучит...»

Много позже, в другое, вегетарианское, время, когда оставалась только инерция культа, Петр Григорьевич Григоренко шел на трибуну районного партактива как на казнь. Хотя было очевидно, что казни за критику Хрущева не будет, жизнью платить не придется. Но оставалась какая-то мистика, окружавшая особу первого секретаря ЦК. Который по должности был великим теоретиком марксизма и проч., и проч., и проч., и за кощунственное попрание этой святости пришлось поплатиться всего только своей военной карьерой. Перечитайте то, что Григоренко написал об этом эпизоде, и умножьте страх, который он испытывал и преодолевал, подымаясь на трибуну, на какое-то очень большое число. На тысячу или даже на миллион.

И еще вспомните, что была и государственная опасность, что почти весь немецкий народ сплотился вокруг Гитлера, что с выкриками одержимого резонировало отчаянье безработных, резонировала обида за Версаль, и возникла огромная военная сила, опрокидывавшая европейские государства, как карточные домики. Киров отказался от предложенной ему роли не только потому, что плохо разбирался в международной политике. Нетрудно было создать совет из достаточно подготовленных людей. Еще живы были Радек, Бухарин. А в Генеральном штабе еще работали способные люди. (Вспомним Тухачевского. Он вместе с Гудерианом разрабатывал тактику танковых армий.) Но энергии и решимости вождя, способного противостать Гитлеру, ни у кого не было. И создавать новый фиктивный авторитет, подобный сталинскому, времени не оставалось. Авторитет Сталина-бога был бедствием, когда Сталин ошибался, когда он принимал преступные решения. Но этот авторитет бога был спасением, когда все разлеталось в прах, и оставалось только единство народа со своим вождем, и вместо разбитых армий создавались новые армии... Немцев это не выручило, но мы, уложив 20 или 30 миллионов, взяли Берлин...

Ветераны этого до сих пор не могут забыть. Я сам был и под Москвой, и к северо-западу от Сталинграда, и у меня в Берлине, в апреле 1945-го, кружилась голова; несколько капель моей крови упало и на русскую, и на немецкую землю; но ни чувство победы, ни чувство крови не заглушат во мне разума и совести, и для меня знамя Сталина — знамя лжи и победа его — победа лжи, обвинившей гибельную утопию коммунизма лаврами воинской славы. И наша национальная обязанность — разделаться с памятью Сталина так же, как немцы — с памятью Гитлера, сбросить имя Сталина, со всем, что к нему прилипло, в пекло истории. Золото народного мужества не сгорит.

Над XVII съездом партии парила тень Гитлера. Сила демократии — не на войне. Открытая оппозиция, раскол партии были риском, на который никто не решался. Делегаты съезда оказались между тигром и бушующим морем,

между тиранией Сталина и победой Гитлера. Они попытались избежать этой альтернативы, но робко. Неуверенно, вступая в борьбу со связанными руками. Их поражение было несомненным, но море крови, которое пролил взбешенный Сталин, не имеет равных в истории.

Больше всех мне жаль зачинщика этого «боярского заговора» — Серго Орджоникидзе. То, что он непосредственно делал в Наркомтяжпроме, не было людоедством, не ложилось грузом на совесть. Он мог видеть на стройках заключенных, но не умиравших с голоду детей. Значит, мучило то, что делали другие, мучило положение в целом. Мучило то, что когда-то он любил Сталина, верил в гений Сталина. И кажется, он всерьез верил, что Сталин сможет уйти с поста Генсека по-хорошему. Хорошие люди часто думают о других лучше, чем те заслуживают, а Серго был человек простодушный, прямой, вспыльчивый и добрый (мне говорили люди, близко знавшие его). От простодушия — его план (если можно говорить о плане): голосованием на съезде подействовать на совесть людоеда, и людоед станет вегетарианцем.

Очередной боярский заговор, очередная затейка верховников кончилась так же, как при Иване Васильевиче и Анне Иоанновне: причиною и бирюшчиной (далеко затмившими свои исторические прототипы). Кобе невыгодно было сажать своего друга Серго на скамью подсудимых, но он несколько лет настойчиво и умело изводил его и довел до самоубийства. Оставив в живых вдову и делая вид, что покойного он очень любил. Только на представлении оперы «Великая дружба» не выдержал и вышел из ложи, когда на сцене появилась тень Банко...<sup>4</sup>

А вдова не перестилала постели, на которой умер Серго, не трогала простынь, где запеклась кровь ее мужа, и до самой смерти ложилась спать рядом. Она дожила до встречи с Ольгой Григорьевной и рассказала ей, как все было. Об этом и о многом другом читатель может узнать, войдя в Интернет: [euclid.ucsd.edu/=Broido/ola/ola.html](http://euclid.ucsd.edu/=Broido/ola/ola.html)

Боюсь, что я не доживу до фильма или сериала, в котором узел русской истории, слившийся с жизнью Ольги Григорьевны Шатуновской, найдет свой зримый облик. Но только, будущие сценаристы, постановщики, актеры, — не халтурьте! Попытайтесь взглядеться в жизнь людей, бросившихся из огня в полымя, в ужас гражданской войны — от ужаса «законной» войны, начатой тремя законными императорами, в пролетарский интернационализм — от погромов и резни. Попытайтесь понять людей, «съеденных идеей», уверенных, что ради всеобщего счастья все позволено. Попытайтесь довести этих героев, через застенки и медленную голодную смерть, к той глубине, на краю которой остановилась Ольга Шатуновская.

---

<sup>4</sup> Сталин никому не объяснял, почему он помрачнел и вышел. Услужливые холоуи нашли в музыке Мурадели недостатки и сочинили постановление об опере «Великая дружба», которое директивно изучалось в музыкальных и других кругах.





---

---

# ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО



## САУНДТРЕКИ

**ШШШ**рифты на рекламных плакатах, дизайн упаковок, припевы модных песенок и прочая стиливая мелочевка не часто вызывают герменевтический интерес. Академически-аристократическая инерция относит перечисленное к мусору современности. Может быть, потом, когда и если эпоха превратится в миф, ее мелочи исполнятся значения. Но далеко не все. В апо-стериорном мифе многие детали, неприметно-непременные в когдатойшей жизни, отсеиваются. Иначе, возможно, случится (или уже случилось) с нашим временем. В сегодняшнем культурном укладе крошки и опилки повседневности занимают не просто статистически, но экономически (а потому и семиоти-чески) привилегированное положение.

**Анатомия гарнира.** Вот, скажем, перхоть. Ничтожная пыль жизни, неопасный обыденный прах, но какой коммерчески масштабный! Рынок средств от перхоти несравненно оборотистей, чем «серьезных» лекарств. У тех надежды на рост продаж связаны разве что с бактериологическим террором; для размаха мелочного целительства хватает повседневного шелушения эпителия. Рекламная статистика здоровья рисует новую анатомию, в которой волосы важнее и сердца, и центральной нервной системы. Вместе с волосами первые рейтинговые места занимают зубы и целлюлит, пораженные грибком ногти на ногах и заложенный нос, а также локусы тела, грозящие эксцессами несвоевременных выделений. Ведь применительно к зубам, волосам и т. д. предлагаются бесчисленные средства; в результате зубы, волосы и т. д. подаются самым крупным планом. Напротив, для лечения всех подряд внутренних органов рекомендуются две-три панацеи (циркониевый браслет или аппарат «Витязь»): стержневые системы организма взяты смазанной панорамой, без различий и подробностей. Человек предстает «гарниром» без «котлеты» (чтобы не сказать — перхотью без сердца).

**Миксер от Толстого.** В той же оптике периферийными деталями видится не только тело, но и идеальная сердцевина человека. Вечные вопросы служат рекламной насадкой для кухонных приспособлений: «Эта вечная проблема кухонных комбайнов!» А фаустианский порыв к последним пределам духовно поднимает процедуру макияжа: «На этот раз я решила дойти до конца своих ресниц!»...

Классическая словесность становится источником рекламных слоганов. Пример игры на неожиданное понижение: «Все смешалось в доме Облонских» — реклама миксера (в январе 2002 года в Москве состоялась выставка рекламных проектов, в которых использованы крылатые фразы из русской литературы).

Прикладному умалению подвергается сама система языка. Торговая марка рекламируется посредством грамматики глагольных наклонений: «Не тормози!

---

Чередниченко Татьяна Васильевна — музыковед и культуролог, доктор искусствоведения; исследователь истории музыки и современной культуры. Постоянный автор «Нового мира» и лауреат премии журнала за 2001 год.

Сникерсни!» Такой малости, как суффикс, оказывается достаточно, чтобы поставить на службу продажам импортной шоколадки грамматический дух великого и могучего; посредством этого «-ни» (как в «отдохни», «подмигни», «загляни») чужеродный корень изображает родную основу и укореняется в речи (и в потребительских привычках). Что же до наглой невыговариваемости гибрида, то она — не просто отход производства. Она заявляет о победном поправлении пришлым брендом местных покупателей вместе с их артикуляционными привычками.

Но речь идет не о злокозненном перекосе форматов. Мелочи чувствуют право присваивать большие смыслы, поскольку последние им не сопротивляются. По-видимому, традиционное большое сегодня не уверено в собственных основаниях и искупает вину анахронистичности участием в коммерческом крохоборстве.

**Вечное и пробка от пива.** Прежде дискурс продаж не задевал вечного-предельного. Он оперировал функциональной чудодейственностью продаваемого: скатертями-самобранками и сапогами-скороходами. Вот (в пересказе П. В. Анненкова, автора известных «Писем из-за границы») типичные сюжеты рекламных объявлений, которые в 1840-е годы публиковались на последних страницах журналов: «...эта последняя страница есть такой волшебный мир, с которым не может сравниться никакая фантастическая сказка... Там есть неизносимые платья, шляпы, на которые пропущен был, с согласия Англии, Атлантический океан, и они выдержали опыт; несгораемые свечи, лампы почти без масла, сапоги, излечивающие подагру: совершенный ералаш физических законов мира!»

Однако во времена Анненкова буйство сверхъестественной полезности смирялось перед лицом иерархии. Платья могли быть неизносимыми, но об ассортименте старьевщика скромно умалчивалось. За услугами блошиного рынка мотивы волшебных сказок не закреплялись. Какой бы то ни было культурно санкционированный язык в применении к индустрии грошовых пустяков представлялся слишком большой честью. «Немая», она казалась современнику едва ли достойной упоминания. У того же Анненкова читаем: «...упоминать ли вам о мелкой промышленности, которая собирает остатки обкуранных и брошенных сигар, чистит вам за 10 копеек сапоги, продает листки вечерних журналов за ту же сумму, играет на кларнете, придерживает вас за 5 копеек, когда вы выходите из кабриолета, и, словом, живет пылью, упавшей с ваших ног, прокармливается гвоздем, выпавшим из вашего каблука, спекулирует сброшенной перчаткой и проч.»

Сегодня аналоги «гвоздей, выпавших из каблука» (к примеру, использованная пробка от бутылки, эстетизируемая в рекламе «Пиво „Патра“! Пиво с пробкой!», «Жизнь прекрасна, пока прыгает пробка!»), легализовались в респектабельной речи. При этом к давнишним гиперболам функциональности добавилась метафизическая гиперболизация, распространяемая и на копеечную ерунду. Пустяк равновелик вселенной. Видеоролик: с сумасшедшей скоростью летит космический корабль, проходит некое страшное гравитационное завихрение, чтобы настичь сверхцель — молочный батончик.

**Новый культурный договор.** Конечно, реклама — прежде всего игра, в которой недобросовестное навязывание виртуозно обходит упреки в пошлости, подставив им, как подножку, подразумеваемую самоиронию. Реклама исповедует постмодернизм: строит текст из пародийных цитат и аллюзий. Она знает, что «вечная проблема» — как бы *чересчур* для «кухонных комбайнов», и устанавливает себя и на двусмысленности этого «как бы», и на беззастенчивости этого «чересчур» и притом еще, в отличие от постмодернистов, успевает изобразить простодушную (даже тупую) невосприимчивость к градациям ценности, которыми манипулирует (тупость создает алиби от подозрений в подлоге). Однако игровой характер рекламного дискурса не отменяет того обстоятельства,

что теперь продвижение товара систематически подпитывается от традиционно рыночных «истинных ценностей».

Но реклама — частность. В пушкинском «Путешествии из Москвы в Петербург» приводится анекдотический отзыв соседки-современницы о Ломоносове: «То-то был пустой человек! Бывало, от него всегда бегали к нам за кофейником». Нынче в глянцевого журналах значимость персоны с азартно-многословной серьезностью отсчитывают именно «от кофейника» (от аксессуаров жилища, одежды...), а участие стилистов в формировании «культовых» личностей напрочь заслоняет роль учителей. Молодежной аудитории для жаркой эстетической дискуссии вполне хватает четырехминутного клипа; зрителю постарше в качестве предмета обсуждения пока что еще требуется полнометражный фильм... Экзамены редуцируются к выбору одного из трех-четырех предложенных ответов (впервые у нас этот тип проверки знаний был апробирован в телешоу под, как выяснилось, многообещающим названием «Проще простого»)... Филологи ради уменьшения трудностей в школьном обучении протаскивают уродливую реформу орфографии... Газетные интеллектуалы толкуют об устарелости формата толстого журнала, зато издания типа «Ридерз дайджест» позиционируются как чемпионы интеллектуальной респектабельности... В качестве скандальных шоу-персон жадно глотаются малоинтересные люди с улицы, помещенные за телевизионное стекло; зрелище ничегонеделания ничего собой не представляющих статистов катастрофично вздувает рейтинг...

Малое ценностно укрупняется — ось культуры сместилась от аскезы/знания к развлечению/новостям; значит, к необязывающе рентабельным мелким форматам. Коллективный договор о том, что считать великим (и потребно ли в принципе иерархическое ранжирование), находится в состоянии ползучего пересмотра. Меняются и отдельные параграфы этого договора, в том числе регламент музыкальных жанров.

**Эпос из междометий. Картинки мира. Необсуждаемость.** Мелочь, брэнчание которой мы слышим дни напролет, — телепозывные. Звуковые «шапки» программ — самый портативный (от 2 до 10 секунд) из музыкальных жанров, в том числе и на фоне собственных функциональных предков, аналогов из прежних десятилетий и веков.

Сигнальная музыка была всегда. Но даже побудка, исполнявшаяся на простеньком горне (может быть, кто-то еще помнит по пионерским лагерям эти захлебывающиеся в собственном количестве «ту-ру-ру-ту-ру-ру...»), — утомительно длинное высказывание в сравнении с современными телесаундтреками. О музыкальных оглашениях королевских выходов, об игре на охотничьих рожках (в России, например, существовали целые роговые оркестры, и собирали их не для музыкальных пятиминуток) не стоит и говорить. Сравнить старинные сигналы с фонограммами, предваряющими телепередачи, — все равно что сопоставлять междометие с эпическим сказанием. Зато телепозывные пронизывают дни таким густым пунктиром, что вместе вполне тянут на эпос.

Да и взятые по отдельности, они выходят за рамки лаконичной непритязательности. Прежняя сигнальная музыка отличалась функциональной скромностью, знала свое (сугубо служебное) место. Саундтреки телепрограмм, в особенности новостных и политико-аналитических, преисполнены симфонических амбиций, оперируют категориями времени, истории, общества, личности. Настоящая, большая, симфония на таком фоне избыточна; недаром композиторы теперь симфоний практически не пишут. И вообще уходят от музыки с понятийно ухватываемым философским, моральным, психологическим смыслом. Высокая композиция сместилась в заповедную зону ритуала, к интуициям, которые невозможно пережить за пределами медитативного действия.

Что же касается классических шедевров, то они раздерганы на телемузыкальные слоганы. Тема финала Девятой Бетховена («Обнимитесь, миллионы») — постоянный девиз олимпийских телетрансляций, а недавно пришлось в пору рекламе евро. Фрагменты из Баха, настраивающие на строгость высше-

го закона и серьезность веры, словно специально созданы для программ «Человек и закон» и «Ищу тебя». А подстегиваемые добавленными ударными и потому обретшие несвойственную им тревожность баховские темы подкладываются под анонсы новостей и образуют возвышенно-невротический постамент для таких, например, сообщений: «Правительство приняло решение о повышении тарифов естественных монополий...»

В украсившем недавно шапку «Вестей» начале Первого фортепианного концерта П. И. Чайковского принято слышать «широкую русскую душу/бескрайние русские просторы», каковые составляют, вместе с самим Чайковским, достояние национальной культуры. Поскольку же это достояние стало девизом государственного телеканала и звучит после боя кремлевских курантов и перед протокольными репортажами с участием Президента, то русская душа/русские просторы/великая русская культура скопом превращаются в регалию и Президента, и государства, и государственного телеканала.

Сплошные картины (картинки) мира.

Что касается заставок, не являющихся цитатами, но специально сработанных для телевидения, то сегодня их отличает, как правило, стильный минимализм, прообразом которого является стук хронометра. Хронометрическая сухомятка приправляется теми или иными знаковыми добавками, так что в мировидческом отношении нецитатные саундтреки не слишком отстают от типичных хитов.

При всем при том на самоценный смысл позывные вроде бы не претендуют, ведь они — не само блюдо, а всего лишь гонг, созывающий к столу. Из обязательности/факультативности звучания извлекается необсуждаемость — преференция, никакой другой музыке (и никакому другому товару) не снисвавшаяся. Эту майку не то что не хочется снять — снять в голову не приходит, поскольку в своей повседневной надетости она едва ли заметна. А на майке пропечатан лейбл программы; и он так или иначе является идентификационным мотивом для телезрителей. Ведь любой рыночный знак означает не только фирму, а еще и доверяющих ей покупателей.

Фонограммы телезаставок — символы социальной веры, аббревиатуры ходовых идей. А по совместительству — судьи дефиле: уверенно ли, осанисто ли идеи ходят или гнутся и спотыкаются...

Поскольку музыка телезаставок необсуждаема, то оценочных суждений, выносимых ею по поводу ею же транслируемых идей, публика не осознает. Но восприятие сканирует то и другое вместе. Символы той или иной социальной веры усваиваются вместе с импульсами социального неверия. В результате доверия идеологемам нет, или, что то же самое, в идеологическом самоощущении доминирует недоверие как таковое. Можно говорить даже о сложившейся *идеологии недоверия*.

**Музыка не врет, даже когда лицемерит и выслуживается.** Саундтреки телезаставок — оценщики нечаянные. В приведенном выше случае с Чайковским на РТР стремились отработать национальный статус государственного телеведущателя. Прежняя заставка «Вестей» страдала вымученной стилистической индифферентностью. Мелкая нарезка времени озвучивалась насупленно-суевливыми минорными пробежками по фортепианной клавиатуре, которые напоминали о тягостно-упорных упражнениях пианистов. Государственное вещание желало казаться не менее независимым, чем частные каналы, и зависало в этнокультурной неопределенности, натужной «объективности».

А требовалось обойти в конкуренции за зрителя ОРТ, которое коммерчески дальновидно сохранило в вечерних новостях «Время, вперед!». Главный музыкальный девиз бывшего центрального телевидения закрепил лейбл «центральности» за нынешним ОРТ, в то время как официальная «центральность» числится за РТР. Государственный канал должен был противопоставить выигрышному бренду канала общественного музыку не менее яркую и популярную и не менее «нашу», родную, отечественную. И притом не «советскую», а «до-

советскую» — надо ведь побить прошлое имени Свиридова таким козырем, как тысячелетняя держава имени самого известного из отечественных композиторов.

Однако обрести желаемый ценностный профиль посредством Чайковского не вполне удалось. Уж не будем останавливаться на связке другого его шедевра с вырожденной властью (ГКЧП — «Лебединое озеро»). Первому концерту для фортепиано тоже приходилось декорировать ущербный официоз. Концерт навяз в ушах в качестве обязательного номера на Конкурсе имени Чайковского — единственном регулярном музыкальном мероприятии хрущевско-брежневских времен, выдержанном в парадном международном формате. Ореол мучительной тривиальности/пропагандистской ритуальности способен снять с многострадального хита разве лишь творческий подвиг гениального исполнителя. Но никак не дешевая синтезаторная подача (подачка) с телеэкрана, когда вместо полнозвучных аккордов благородного рояля звучат бесцветные шлепки, а вместо певучих скрипок — худосочное соло трубы (труба понадобилась из состязательных соображений: чтобы сразиться на равных с мобилизационным ораторством духовых из заставки программы «Время»).

Полинявшую и сплюснутую, тему Чайковского еще и наплевательски комкают. Если «Время, вперед!» Свиридова так устроено, что из него легко вычленишь краткие фразы, то широкоую мелодику Чайковского в заставке «Вестей» приходится тупо окорачивать посредством вивисекторской каденции. Национальному достоянию грубо затыкают рот. К тому же его погоняют в шею: гимнический темп ускорен; вместо торжественного напева звучит торопливо-формальная отговорка-отписка. На этом фоне изобильные демонстрации протокольных кадров, открывающие новости, обретают двусмысленность. Эстетическая фальшь легко модулирует в фальшь политическую: уж не равнодушных ли к «русским просторам/русской душе» прагматиков нам показывают?

Впрочем, эстетическая фальшь не сводится к простому разоблачению. В ней звучит еще и трудная проблема: традиционно российская идентификация современной власти, при всех стараниях и лучших намерениях, не удается — сквозь нее упорно пробивается традиционно советская. Так проявляется конфликт между неразложимой реальностью истории и потребностью в идеологической сепарации прошлого. Эта потребность, видимо, тоже является частью нашей традиции: Московская Русь — против Петербургской империи, царская Россия — против СССР, СССР — против России 1991 года и обратно — во имя постоянного репроектирования современности, и притом постоянно неудовлетворительного...

Не только с национальным государством — с традиционным народом на госканале тоже не очень получается. Из умильной самобытности жалко выглядит пенсия по инвалидности. Чего стоит хотя бы заставка передачи «Моя семья!» Песня, выдержанная в раритетном задушевно-горделивом стиле «родной завод — хорошие друзья», предполагает в телезрителях бывших «простых советских людей», ныне социальных маргиналов, гуманитарно опекаемых братьев меньших. Передача их подбадривает, обласкивает, вникает в их житейские коллизии и вместе с тем всячески подчеркивает их ущербность. Не зря ведь неправдоподобно откровенных солистов ток-шоу за умеренную плату изображают малоизвестные актеры, — реальные «простые люди» программе неинтересны. При этом и зрители имеют в виду неправдоподобные — до того «простые», что должны верить в документальность исповеди жены, которая на всю страну рассказывает об измене, тщательно скрываемой от мужа (хотя тот тоже смотрит телевизор). На фоне подставных придурков «из народа» блистает пониманием жизни, добропорядочностью и остроумием ведущий — депутат Госдумы; заодно рекламируются товары его майонезно-огородного холдинга. В таком контексте не кажется случайной эстетической издержкой, что обветшалый пафос советской коммунальности подается неряшливо расшатанным ныне голосом эстрадного героя-любownika, популярного в годы застоя. Тут не случайность, а принцип: отходы культуры — для отходов истории.

В довесок — анекдотический пример на тему «звучать не по лжи». Учредил Б. А. Березовский премию «Триумф». За десять лет ее существования премию получило множество деятелей культуры с большими и почтенными именами. Но некоторые оттенки репутации учредителя настолько яркие, что пробиваются сквозь сияние коллективного авторитета получателей премии. Что мы и слышим в телевизионном анонсе юбилейного «Триумфа»: на картинке чередой проходят лица известных писателей и музыкантов, красивым шрифтом выведено «Триумф», и звучит вроде бы что-то чрезвычайно классическое и возвышенное... Да ведь это зауспокойная месса — Моцартов «Реквием»! И притом его апокалиптическая кульминация — «Dies irae» («День гнева»): напоминание о Страшном суде, о расплате за грехи, плач о душах, которым уготованы адские муки...

**Привычное.** Всего идей, если судить по музыке телезаставок, в ходу у нас две. Как ходит первая, так или иначе связанная с *нашим* (государством, народом, культурой, историей), мы уже видели. Впрочем, четкостью эта идея не отличается не только в походке. Смешанная краска, она отликает множеством умонстроений. Доминирует стремление к стабильности, к чувству социального и государственного достоинства. Достоинство и стабильность в сознании старых общественных слоев (а они сегодня не только «доживают», но, как утверждают социологи, воспроизводятся) связываются с отечественными традициями, для одних — национальной культуры, для других — многовековой империи, для третьих — советской сверхдержавы. Так или иначе, имеется в виду *наше как привычное и привычное как наше*.

Ценность привычного, столь же конкретную, сколь и размытую, в жестких политических терминах неухватываемую, постиг исторический стресс — он не поддавался карнавальная терапия «старых песен о главном», с год назад был отчасти скорректирован возвращением старого нового Гимна, а теперь в новостях госканала проходит специфическое лечение Чайковским.

Есть для нашего привычного еще одно средство, лицензированное в столице.

**«Мужайся, княгиня».** На ТВЦ перед программой «События. Время московское» аудиторию приветствуют сугубо патриотически, но притом «цивилизованно». Звучит самобытно-национальный колокол в современной синтезаторной аранжировке.

Колокол понадобился, чтобы отметить перед отеческой культурной традицией, присягнуть новопостроенному храму Христа Спасителя, а заодно уж и его новостроителю. Вроде как телевизионный благовест. Но для величавости нужен степенный темп, а в прелюдии к мимолетным новостям темп должен быть энергичным. И колокол бьется со скоростью пожарного набата. Самобытность под угрозой? Или — страдает манией преследования? Катастрофический получил патриотизм.

Но и «цивилизованность» в московской телемузыке не спокойней. Дело в том, что обойтись одним набатом значило бы засвидетельствовать патриотизм «замшелый», как в подмосковной программе «Русский дом». Потому к колоколу подстроили наиболее легко читаемые знаки прогресса — звучания «техноцивилизации». Синтезаторные ударные издают высокоточное электронное бульканье; крутятся и фиксируются на вопросительном акценте минорные мотивчики: работает машина современной нервотрепки.

Итог: мутная смесь фундаменталистской тревоги и постиндустриального отчуждения.

Музыкальную шутку с атмосферой столичных теленовостей сыграл колокол — отомстил за конъюнктурное использование. Не будь в позывных традиционного звона, технологические звукообразы воспринимались бы нейтрально — ведь они в рассматриваемой фонограмме поданы бледно, почти что никак. Колокол же звучит двусмысленно не только из мести за пошлую ангажированность. Задолго до того, как на московском канале решили подать

национальное благолепие в пожарном темпе, колокол уже отождествлял торжество и бедствие. Имеется в виду не тот колокол, что в храме, а тот, что в театральной драме, на оперной сцене.

Есть закономерность: достаточно музыкальному сигналу оторваться от исходной ситуации, как он обретает расширительное значение, которое постепенно перевешивает его начальный смысл. Обобщенный знак «забалтывается» во все более широких контекстах и в конце концов превращается в стертую этикетку.

Традиционные функции колокола — призывать в храм и возвещать опасность. В первом случае колокол обозначает сакральный центр, во втором — центр гражданской мобилизации. В жизненном графике то и другое разделено: литургия регулярна, а пожары чрезвычайны.

Когда возникла русская опера, то колокол — отличительная примета национальной звукоатмосферы — не мог не попасть в партитуры. На сцене изначально разделенные роли колокола переплелись, сюжетно замкнули друг на друга губительный пожар и спасающий престол. Дело в том, что процентов на семьдесят действие классических русских опер датируется эпохами Смуты и нашествий (а иначе и быть не могло: национальному театру требовались сюжеты из отечественной истории, и по возможности остро драматические, ведь на музыкальной сцене нужен крупноформатный конфликт и пафосное действие). Колокол включается в самые сюжетогенные, самые трагические, самые «горящие» моменты (например, в «Князе Игоре» набатом завершается сцена «Мужайся, княгиня»: бояре объявляют Ярославне о пленении Игоря и набеге половцев на Путивль). И тот же колокол в оперных финалах сопровождает хорые здравицы князю или царю — дань традиции коронационных празднеств, которыми историографы XVIII — XIX веков размечали историю. На пути к финальному апофеозу колокол модулирует из пожарного набата в храмовое ликование, как от причины к следствию. То есть делает произвольно-логичный вывод: торжество русской государственности обусловлено непрекращающимся погорельчеством народа. Русская история — страдание во славу правителей: таково одно из значений обмирщенной в опере колокольности.

Надо отметить, что разработчики консервативно-национальной идеи, будучи, между прочим, увлеченными театрами, писали тогда же (1810 — 1840-е), когда самоутверждалась национальная драма. «Колокольная» версия отечественной истории по-своему утвердилась в историософии славянофилов. Историю они превращали в храм, а содержание народной жизни — в подвиг веры. В сегодняшних политизированных огрублениях этой доктрины отечественная история предстает сплошным священным мученичеством. Для соответствующих писаний (ср. передовицы газеты «Завтра») характерен условно-повышенный градус патетики, напоминающий громоздкую стилистику большой оперы.

Итак, *национальная история как опера* — вместе со всеми неизбежными коннотациями оперности, включая тяжеловесную сценографию, дальнобойный сценический грим и беспрерывно интригующих солистов. Включая, в конце концов, державно-сувенирную вампуку для туристов... На этой-то стадии смысловырождения оперный колокол подхватили московские тележурналисты.

В целом же нашему привычному — «плохо», звучит оно (за единственным исключением, о котором ниже) фальшиво, натужно, убого. Довольствоваться собой, судя по телемузыке, у нас не получается.

Зато в облике «других» мы делаемся до агрессивности самодовольными.

**Продвинутое.** Для второй идеи есть четкие термины — целый набор: «общечеловеческие ценности=западная цивилизация=глобальная экономика=демократическое общество=рыночные отношения». Внятность этого ряда, впрочем, относительна. Он использовался в оппозиционном дискурсе и за счет этого обрел однозначность, свойственную любому негативизму. И хотя ныне им широко оперирует официальная власть, непримиримые ее критики до сих

пор повторяют «рынок» и «гражданское общество» в уязвляющем политических противников смысле. Тем временем в массовом сознании (не столичном и не среднечеловеческом) рыночно-демократическая риторика смешивается с прочими приметам нестабильной современности и образует размытую тень — негативную проекцию «нашего привычного». Так возникает идеологема «продвинутого» — вынегрет из политических правых, актуального искусства, моды нон-стоп, пепси-чартов, стёбной публицистики и т. д. и т. п.

В сущности, обе идеологемы — негативные проекции друг друга. В аффективной конфигурации массового сознания привычное ценно в противовес продвинутому, и наоборот. Поэтому если на одной стороне — благозвучный Чайковский, то на другой — никакого Чайковского и никакого вообще благозвучия. До такой степени никакого, что ни мелодии, ни фактуры — только безапелляционные ударные (например, в заставке недавно закрытого телеканала ТВ-6: ударные скандируют в ритме самохвальной кричалки: «Спартак — чемпион! Спартак — чемпион!»).

Кроме непримиримо продвинутого (представленного, например, только что упомянутой фонограммой) есть лояльное продвинутое. Его позиционируют посредством смягченного «нечайковского» (варианты: ударные в сонорной вате или ударные плюс компьютерные фанфары, см. ниже).

**Основное трехголосие и новое одноголосие.** Музыкальные аранжировки привычного и продвинутого различаются примерно так же, как многослойная одежда на каждый день отличается от бикинизированного эстрадного прикида. А точнее сказать, как телосложение от скелета. Впрочем, ассоциация с поп-модой тоже нужна: скелет-то имеется в виду «стильный».

Есть такое музыковедческое понятие: основное трехголосие. Основное — потому, что с него начинают в школе и к нему сводимы и старинная оратория, и рок-н-ролл, и симфония, и эстрадный шлягер. Внизу ходит бас — создает тональное движение. Вверху мелодическая мимика и жестикуляция эмоционально мотивируют это движение. Средние голоса сплавивают воедино низ и верх. Если мелодия — лицо и руки, а бас — ноги, то средние голоса — корпус, фигура: определенного роста, пропорций, плотности, подвижности и т. д. Основное трехголосие антропоморфно. Оно выражает культурный архетип пространства и движения — человеческое тело. И потому в каком жанре или стиле, на какой национальный или исторический лад ни звучало бы основное трехголосие, в европейском слухе оно отзывается теплом естественной нормы.

Если привычное в позывных телевидения представлено основным трехголосием, то в связи с продвинутым придется говорить о так называемом новом одноголосии.

Термин подразумевает, что слоев фактуры может быть сколько угодно, но ведут они себя как единая сверхлиния — недифференцированная плоскость. Дело обстоит примерно так же, как в новейшей архитектуре: эстетика объема вытесняется игрой выпукло-вогнутых поверхностей (см. статью Владимира Юзбашева «О языке нелинейной архитектуры» в «Новом мире», 2001, № 12).

Различаются богатая и элементарная версии нового одноголосия. Богатая — когда насыщенная звуковая ткань сжимается в единую линию, объем звучания катастрофически уплотняется и обретает таинственно-«неземные» свойства, подобно веществу в сверхтяжелых звездах — белых карликах. Так звучат темы симфоний Алемдара Караманова (род. в 1934 г.; как раз применительно к сочинениям Караманова профессором Ю. Н. Холоповым было введено понятие нового одноголосия).

Бедная версия — когда от фактуры остается ритмический скелет, притом лишенный трехмерной топологии, разобранный на части, — кости выложены в тарактящий пунктир. Так звучит, например, рэп. Впрочем, в рэп-скороговорках сохраняются голос, его интонация и артикуляция — реликты музыкальной антропоморфности.



В продвинутых телепозывных голые костяшки акцентов выстукивают щеголяющее неангажированностью «время вообще». Правда, на фоне эмфатически «наших» фонограмм голос «самого времени» поневоле превращается в «голос америки» — ведь общечеловеческие ценности последние десять лет эксплуатировались для получения западной поддержки (в том числе материальной).

**Независимость как муштра.** Основное трехголосие благосклонно к нашему естеству. Не зря реклама улещивает публику фактурой с мелодией, басом и заполнением: для покупателей отечественных молочных продуктов — поближе к шлягерно-сладким творожкам, для любителей пепси — поближе к пузырящейся и стреляющей рэп-жвачке. Зато новая одноголосная бедность не слишком доброжелательна ни к фанатам фанты, ни к жильцам «домиков в деревне». Известную симпатию она питает лишь к жестким деловым людям, к самодовольно-агрессивному бизнесу.

Характерно тяжелое скандирование ударных под картинкой бурного совещания менеджеров в рекламе пива «Сокол». Пиво, высокотехнологично выползающее на подъемнике из центра стола (тем самым утилитарно пародируется старая театральная модель разрешения конфликтов — «бог из машины»), в этой рекламе позиционируется в качестве эксклюзивной релаксации для успешных яппи. Грузный ряд внемелодических и внеаккордовых акцентов озвучивает объективно подсчитанное, бухгалтерски учтенное время, которое есть тяжело дающиеся деньги. Образ корпоративно-денежного времени нужен, чтобы быть присвоенным конкретной фирмой, которой принадлежит торговая марка. Акценты ударных подсвечены артикуляцией названия пива: дескать, именно мы есть бизнес *rag excellence*, поэтому идентифицируйтесь только с нами, пейте только наше пиво...

И в новостных телезаставках голое время озвучивают резкими или давяще-тяжелыми тембрами (ср. отголоски взрывов в упоминавшейся заставке ТВ-6 или долбежку медных духовых в саундтреке программы «Сейчас»), а то и стонами-скрежетами из камеры пыток (ср. саундтрек авторской программы С. Доренко). Тем самым подчеркивается бескомпромиссная оппозиционность «свободы слова».

В отказе от основного трехголосия угроза и агрессия ощущались всегда. Даже в проникновенно-светлых сочинениях Антона Веберна и даже столь тонкому слушателю, как Т. В. Адорно, чудилось «отдаленное эхо Вердена» — из-за фактуры, разъятой на изолированные точки. Что же тогда говорить о прусской (а затем и русской) музыке для маршировки на плацу? В ней поступь баса заменялась дробью ударных (знак бессмысленного, никуда не направленного движения). На палочный стук малого барабана накладывались посвисты флейты-пикколо (игра на ней сопровождается экстремальной мимической напряженностью, и эта мучительная гримаса слышна в зажатом звуке). Шпицрутенная дробь не только синхронизировала шаг, но напоминала о наказании, карающем хождение не в ногу. Режущие визги флейты подхлестывали движение и одновременно символизировали свист кнутов и/или пухля. Между барабаном и флейтой зияла холодная пустота: запланированная потеря живой силы.

В телемузыке продвинутой, представительствующей от имени свободы, типичны опорные (заменяющие бас) ударные — те самые, родом из музыки принуждения. Только опора эфемерней: ударная установка колотит не в темпе скорого шага (120 ударов в минуту), а сыплет частицы времени струйно, как в песочных часах (от 240 до 360 акцентов в минуту).

**Хорошо одетая свобода.** Продвинутость не исчерпывается независимостью; предполагаются еще и высокие потребительские стандарты. Поэтому хронометрический скелет заворачивают в подарочную вату: смягчают агрессивное звучание ударных (верность голой свободе сохраняли только саундтреки ТВ-6 и С. Доренко). В обволакивающей звуковой среде оппозиционность смягчает, но не в смысле политического центризма. Упаковочные звукоматериалы сти-

листически неопознаваемы, не ангажированы групповыми вкусами и ожиданиями — упакованная независимость интересуется обществом постольку поскольку. Главное — корпоративное преуспевание. В задрапированном однолосии озвучивается высокий социальный статус телебизнеса.

Есть два способа драпировки одноголосного секундомера. Первый: пульс ударных облекается аморфной акустической тканью, которая состоит из зависших аккордов, реверберирующих гулов, монотонно повторяемых темброво-мотивных групп (ср. заставку воскресной аналитической программы НТВ «Намедни»). Сонорная взвесь инертна, как газ аргон. Она никого не задевает — ни благосклонностью, ни агрессивностью. Она не отсылает ни к традиции, ни к авангарду, ни к «нашему», ни к «чужому», шеголевато подчеркивая собственную индифферентность. Если в ней и есть притяжательный модус, то связанный исключительно с принадлежностью музыкального лейбла конкретной телекомпании. Вместе с тем, заполняя регистры, нейтральный раствор создает эффект «массы всего» — избытия. Это избытие никому не принадлежит, за исключением самой телекомпании, звуковым логотипом которой является. В лелеемой стильности аморфного саунда прослушивается приверженность корпоративным гонорарам.

Другой способ драпировки. Ударные уводятся в фон, а на авансцену выпускаются трубы (ср. заставки дневных новостей ОРТ, воскресной аналитической программы «Времена» на том же канале и информационной программы «Сегодня» на НТВ). Трубный рельеф сдержанно напоминает о привычном, о традиции (на ОРТ — о мобилизационном ораторстве оркестровой меди из свиридовского «Время, вперед!», на НТВ — о фанфарных хеппи-эндах в голливудских фильмах). Но воспоминания едва пробиваются сквозь стилевую стерильность. Собственно, трубы всего-то и делают, что распахивают высотное окно, «раскрывают интерфейс» — разворачивают звуковые регистры вверх по диапазону. Примерно так же компьютер озвучивает включение программы Windows-2000.

Отсылки к компьютеру не случайны. Трубные линии в продвинутых телезаставках отчуждены от певческой интонации. Как когда-то в потусторонней гамме Черномора («Руслан и Людмила» Глинки), ступающей негнушимися ногами по целым тонам, актуальные телетрубы предпочитают абстрактно-цифровые вежи — например, прочерчивают траекторию ровными квартами и квинтами («Времена»).

Кстати: сигнал Windows-2000 использовался в декабре 2001 года каналами ОРТ и РТР в качестве начального девиза и промежуточной отбивки прямого эфира российского Президента, отвечавшего на вопросы граждан. В порядке нечаянной рекламы Билла Гейтса подчеркивался технологический шик интерактивной конференции (а заодно «цивилизованность» самого Президента). Цитата из Windows, конечно, крайний случай, но вместе с тем — респектабельная модель. Варьируя алгоритм миллиардера от информатики, компьютерно-трубные позывные эстетизируют дорогостоящую оснащенность телеканала. То есть опять-таки корпоративный достаток.

Итак, слева — ущербное привычное. Справа — агрессивное продвинутое. В центре — самодовольная корпоративная сытость... Так телемузыка оценивает действующую идеологическую конфигурацию.

**Время и место. Стандарт «Евроныйос».** Время зависит от места. То, что у нас вчуже продвинуто или эгоистически корпоративно, у себя дома звучит уместно и совместно.

Вслушаемся в доступный ныне отечественной аудитории саундтрек «Евроныйос». Как и в продвинутых позывных отечественного телевидения, звуковые девизы «Евроныйос» избегают устойчивых стилистических ассоциаций. У нас музыкальная бесконтекстность используется для указания на «ничье» (то есть предельно «объективное») время. В нейтральности музыки «Евроныйос», напротив, слышна почвенность.

Подобно наличным еврокупюрам, на которых изображены мосты, перекинутые с неизвестно какого берега на неизвестно какой, арки, обрамляющие пустоту, порталы, открывающие ход в незамкнутое «езде», позывные европейских новостей (звучавшие в эфире задолго до введения в обращение евроденег) абстрактны, лишены узнаваемых мелодических интонаций и характерного тембрового колорита — того, что может казаться сугубо и исключительно «родным» какой-то определенной, пусть даже очень широкой, группе зрителей. Но именно потому и способны озвучить общность европейских ценностей и европейский союз — как ценность.

Саундтрек стилистически нейтрален, но семантически отнюдь не пуст. Он ориентирован на спешащего-преуспевающего человека, о психологии которого известно лишь то, что он привык жить комфортно. Ударные считают доли с высокотехнологичной скоростью, но при этом приглушены — резкость отодвинута от слушателей на безопасное расстояние. Сравнивая «Евроныйс» со скрежещущими и стонущими позывными программы С. Доренко, с царапающе-бичующе-свистящими ударными в заставке ТВ-6, получим разницу между офисным креслом и электрическим стулом.

И акустическая «вата» в «Евроныйс» уложена не столько для «массы всего» (которая есть на самом деле статусно высокий корпоративный гонорар), сколько ради политкорректности. Сонорная взвесь в «Евроныйс» неподвижна. Через октаву отзываются друг другу гулкие и звонкие тембры. Октава — одна и та же в заставках политических и спортивных, экономических и метеорологических новостей. Примечательная стабильность: что общество, что погода — в равной степени предсказуемы, отлажены, бесперебойны. Свой смысл имеет и то, что контрастными тембрами высвечен сравнительно узкий диапазон и что этот диапазон охвачен прозрачным консонансом. Европа — совокупность небольших стран, она чувствует себя уютно обжитым, легко обозримым, компактным целым.

Вообще: в саундтреках западных телеканалов звучит не столько время, сколько место, причем «свое». На отечественном телеэкране, напротив, звучит именно и исключительно время. Перечислим названия информационных программ: «Время», «Времена», «Тем временем», «Другое время», «Времечко», «События. Время московское», «Сейчас», «25-й час», «Намедни», «Сегодня», «Герой дня», «Вести недели», «Комментарий недели», «Прогноз недели», «Скандалы недели», «Катастрофы недели»... И — циферблаты, циферблаты... На государственных каналах — Кремлевские куранты («временем движет власть»), тогда как на былом ТВ-6 — стилизованный под игральные кости калькулятор («временем движет денежная игра»). Есть и другие варианты: хронометр-трансформер на НТВ (время имени компьютерного дизайнера) или табло из метро на ТВЦ (время имени столичного муниципалитета).

Но вернемся к «Евроныйс». Итак, музыкальное пространство европейских новостей компактно. Но при этом видит себя открытым во все стороны, «глобальным». Ведь тембровые переключки не замыкают границ. Если бы по верхней кромке пульсирующей звуковой массы шла самостоятельная мелодия, а по нижней ступал опорный бас, как в основном трехголосии, тогда другое дело. Но пространство «Евроныйс» снизу тонет в статичном басовом гуле, сверху же не фигурировано рельефной интонацией: оно равномерно и бесконечно, как в теории Ньютона.

Ничто не сгущается, не выпячивается, не привлекает внимания. Групповых ценностей, способных войти в конфликт с индивидуальным благополучием, нет. Есть лишь одна общая ценность: невмешательство в «прайвеси».

В заставках «Евроныйс» друг на друга замыкаются частное жилище и мировые новости. Между отдельным телезрителем и информационной глобальностью нет посредствующих инстанций, будь то государственная власть, политическая оппозиция или корпоративные интересы телевидения. Не чувствуются даже и рейтинговые заботы телепроизводителей. Не случайно музыки на «Евроныйс» так мало. Позывные укладываются в пару секунд, а часто и

в секунду. Объединенные европейские вещатели не фильтруют восприятие зрителей символическими настройками, не объявляют публике о своих претензиях на идеологическую инженерию. Новости словно самопорождаемы; подозрения относительно их заказного характера и манипулятивного использования не должны возникать.

У нас — должны. Заказом и манипуляцией отзываются даже позывные с саундом «независимости-объективности», не говоря уже о музыке нашего привычного.

Впрочем, образец музыки самопорождаемых новостей имеется и у нас. Парадокс заключается в том, что он-то как раз должен был бы звучать (и звучал) предельной ангажированностью.

**«Время» и место: стандарт ОРТ.** «Время, вперед!» Г. В. Свиридова оказалось наиболее успешным музыкальным брендом на современном рынке теле новостей. В 21 час ОРТ напоминает о былом времени (в том числе и «Времени»), тем самым встраивая нынешнее время (и свое «Время») в непрерывную и, значит, реальную историю. В ореоле истории новейшие события, как и комментарий к ним, обретают авторитетный вес независимо от советских коннотаций. А также и независимо от них — специально для консервативной аудитории. Великий композитор, не планируя того, написал идеальный новостной саундтрек — на все времена и для любой группы зрителей. И это — некая очевидность, четко осознаваемая профессионалами. Не случайно Свиридова просили написать позывные для новообразованного телеканала «Культура». Автор вежливо отказался от самоповтора. Или — почувствовал, что его смысловой масштаб войдет в противоречие с экскурсоводческой стилистикой канала «Культура». (Кстати, именно провинциальным культурсюсюканьем отличались музыкальные заставки телеканала вплоть до нынешнего сезона — отрывочки из барочных сюиточек, аранжированные в кукольно-попсовой манере свингл-сингерз. Теперь телеканал стремится к концептуальному минимализму: тык-мык пару раз на экзотических ударных — и великая тайна культуры обозначена.)

Судьба свиридовской телемузыки демонстрирует, что в России можно, не поступаясь прошлым, войти в рынок. И тем органичнее войти, чем сохраннее традиция. Ведь дело не просто в связи времен/«Времен». В настоящих заметках уже подчеркивалось: сохраненный лейбл некогда единственного Центрального телевидения переносит статус «центральности» на нынешний первый канал, и канал получает непобиваемое конкурентное преимущество. Забавно, однако, что «центральность» ОРТ подтверждают новостные саундтреки других телеканалов: они так или иначе перепевают (повторяют или отрицают) модель «Времени», поневоле образуя периферию в отношении к ОРТ как центру.

Выше говорилось о соперничестве с «Время, вперед!» саундтрека «Вестей». Но и в других случаях слышно невольное и/или неудачное подражание тому, что есть в музыке Свиридова. В самом деле, из чего состоит свиридовская фактура?

Попробуем вначале описать тему Свиридова в проекции из советского прошлого. В свое время (а музыка к кинофильму «Время, вперед!» написана в 1966 году) созданный Свиридовым образ пришелся как нельзя более впору к сверхзадачам тогдашней информации-пропаганды. Новостью тогда считалось исключительно лишь то, что «ведет вперед», и не вообще в будущее, а в будущее, которое строят, как завод или железную дорогу. Отсюда — напористая, мощная, экстатически-радостная и объединяюще-императивная пульсация оркестра и рояля. С уникальной интенсивностью воспроизводится Свиридовым многократно до и после него обыгранный в кинофильмах о новоселах-новостройках перестук колес паровоза, который «вперед летит». Локомотив мону-ментален, он движется с неостановимой энергией, но не «наезжает», не «давит», поскольку композитор трактует оркестровую массу как всего лишь аккомпанемент. Аккомпанементом его делает второй пласт фактуры — оратор-

ские фразы трубы. Размашисто, как будто через ступеньки, поднимаясь вверх, мелодия сливается в единый призыв несколько сигнальных формул. Мелодия ритмически шире, «медленнее», чем аккомпанемент. Мелодические фразы собирают под собой стыки, отсчитанные колесами паровоза, в осмысленные единства. Это — речь: энтузиастическая речь о целях и планах, призывная артикуляция исторической перспективы.

И вот теперь оказывается, что все это, такое советское, имеет универсальный и внеконъюнктурный смысл. Если слушать тему Свиридова как часть сегодняшнего контекста, то ясно: конструктивная идея свиридовской фактуры совпадает с типовыми схемами музыки современных телезаставок, и не только «привычных», но и «продвинутых». Музыка Свиридова сразу и традиционна, и авангардна. Она ориентирована на основное трехголосие. Но басовая линия (вместе со средним фактурным пластом) играет роль ударных (инверсия нового одноголосия, в котором, напротив, ударные играют роль баса). На первый план в свиридовском образце, как это делается во всех продвинутых саундтреках, выдвинут энергичный пульс. Моторика времени облечена праздничной звонкостью труб (ср. «голливудские» фанфары в программе «Сегодня» или на канале CNN).

Вроде все так же, как в прочих актуальных саундтреках. Но смысловой модус уникален. Еще раз обратим внимание на то, что ритмический пульс играют большой оркестр плюс рояль. Пульс получается массивным, коллективным, «общественным» — то есть «объективным», но не в смысле стука хронометра, а в смысле хода истории. Ход истории звучит сурово и восторженно: трудное созидание. Захватывающая все оркестровые пласты и всю временную протяженность моторика «Время, вперед!» глобальна, всемирна, в ней звучит всемирная работа. Работа освещена ярким целевым светом. Цели провозглашаются ослепительной декламацией труб. В фактуре «Время, вперед!» возникает огромное светлое пространство высокой работы — пространство столь же историческое, сколь и метафизическое. (Метафизический характер музыкального пространства подтвержден вводной картинкой новостей первого канала: бескрайнее небо, на котором проступает цифра «один» — нумерологическая «единица», начало-целостность; заодно небо играет и роль природного нейтрализатора, гасящего предполагаемую политизированность информации.)

В свиридовском фрагменте привычное и продвинутое объединяются знаменателем истории-труда. Труд — ценность, не поддающаяся идеологическим ревизиям и сепарациям. И, судя по безуспешной конкуренции с музыкой программы «Время» других телеканалов, — как раз та ценность, без которой любые попытки идеологии у нас зависят в общественном недоверии.

Ценность труда ходовыми доктринами не учитывается. Между тем свиридовские позывные, вызывавшие доверие как до 1991 года, так и после, подтверждают: именно труд есть тот стандарт самоопределения, который выживает вместе с нами сквозь все наши исторические репроектирования. Именно этот стандарт звучит без саморазоблачительной фальши. Ведь показательно: все упоминавшиеся выше саундтреки озвучены экономично-поддельными синтезаторными тембрами, и только «Время, вперед!» транслируется в настоящей оркестровой записи.

**Информационный контекст: один с сошкой.** Заставка «Времени», как и прочая телемузыка, погружена в утилизирующий контекст. Первый канал трудно оторвать от персонификаций сегодняшней власти (как и от истории отечественной власти). Ведь именно выпуски программы «Время» (и ОРТ в целом) сыграли ключевую роль в предвыборной кампании В. В. Путина. Первое развернутое интервью с еще не избранным, только лишь назначенным Президентом появилось тоже во «Времени», под все тем же звуковым девизом «Время, вперед!». И вот ведь совпадение: бросающаяся в глаза работоспособность нового первого лица оказалась созвучной созидательному пафосу главной музыки первого канала...

Возможно, в этих контекстных взаимодействиях содержится правда о новой российской власти (или скорее о причинах широкого доверия к ней). Но есть у контекста и другая сторона. Музыкальный сигнал «Времени» раскрывает пространство высокой работы, и в нем мы видим прежде всего и исключительно первое лицо государства. На него и «спихивается» императив труда, а зрители ему за это доверяют...

Впрочем, патерналистский поворот от музыки Свиридова не зависит. Сегодняшняя рубрикация новостей сводится к трем позициям: власть + войны и катастрофы + спорт. Повседневная деятельность людей, не являющихся политиками, спортсменами или жертвами чрезвычайных ситуаций, не считается информационным поводом. Существующим понятием информации трудовое содержание жизни игнорируется, как будто его нет. Потому на первом канале символически «трудится» только Президент (и на том спасибо — на других каналах труд вообще никак не заявлен). Роли остальных персонажей политической рубрики сводятся к функциям поддерживать — строить козни — комментировать. Пока такая рубрикация новостей сохраняется, первое лицо государства останется «нашим всем».

Да притом еще «наше всё» делает слишком мало: «работа» на первом канале умещается в единственную фонограмму, которая транслируется всего-то по два раза в вечер: капля в море... Но, может, оно и правильно?

**Альтернатива?** Сигналы никогда не были языком; они служили всего лишь маркировкой времени. Ситуация современной культуры такова, что в ней любая утилитарная чепуха источает языковые интенции. Существует истеричная потребность заявить о себе громкой символической речью (которая на поверку состоит из сплошных оговорок).

В таком контексте большое должно десимволизироваться и молчать. Что как будто и происходит, в том числе на телеэкране.

Только один штрих, но, как кажется, значимый. Ночная телепрограмма Александра Гордона на НТВ обходится без саундтрека и без видеозаставки. У передачи, по сути, нет и названия; лишь фамилия ведущего (впрочем, известного) — одна фамилия, без имени, фамилия, ушедшая в себя, в родовую неразличимость якобы неизвестно каких именно Гордонов. Без всякой оживляющей картинки и даже без обязательного в студии яркого света проблемы фундаментального и гуманитарного знания обсуждаются известными учеными. Известными — словно в специальном созвучии с вышеизложенным — «по трудам», «по опубликованным работам».

*Работа*, которая внушает безоговорочное уважение, обходится без музыкального лейбла и вообще без какой бы то ни было символической репрезентации. Возможно, такова тенденция, и скоро герменевтика окажется неприменимой к большой культуре. На долю экзегезы останется всякая труха: гвозди, выпавшие из каблука, да пробки от пива...



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## АРМЕЙСКАЯ ТРИЛОГИЯ ОЛЕГА ПАВЛОВА

КИРИЛЛ АНКУДИНОВ

\*

### МАНИХЕЙСКИЙ ВАРИАНТ

Скажу сразу: Олег Павлов — совершенно чуждый мне автор. Но — странное дело, — испытывая очевидное отторжение от его прозы, я желаю разобрататься в причинах этого отторжения.

Вспоминаю давний «святоточный» рассказ Павлова о бомже, поступившем в больницу под Новый год. Подумалось тогда: зачем автор сует под нос своего бомжа? Осмелюсь высказаться вразрез всей русской человеколюбивой литературной традиции: бомжи почти всегда *добровольно* выбирают свою судьбу, и в большинстве случаев помочь им уже невозможно (помочь — в широком понимании слова; иногда, конечно, бывает необходимо личное сочувствие и вмешательство). Более того, подавляющей части этих людей *нравится* жизнь, которую они ведут. А в рассказе увидел я столько фарисейства наизнанку, столько гордыни, столько насилия над читателем (бомжи на улицах дохнут, а ты веселишься, гад), что продолжать знакомство с прозой Павлова мне надолго расхотелось. Понимаю, Чехов писал про «человека с молоточком», который должен стоять за спиной каждого счастливца и напоминать о судьбе несчастных. Но в данном случае имел место «человек с кувалдой»...

Олег Павлов — самый мрачный и безысходный из современных литераторов. В «Карагандинских девятинах»<sup>1</sup> показатель «свинцовых мерзостей жизни» на одну страницу текста меньше, чем в «Деле Матюшина», но все равно не покидает ощущение, что писатель провел тебя по всем кругам ада (вагонные поминки — предпоследний круг ада, запредельный «бобок», а тюрьма — последний круг ада, где нет даже пошлости, ибо пошлость — человеческое свойство, а есть только бесконечный мрак и вечные муки). По сравнению с произведениями Олега Павлова «чернейшие» пьесы Коляды выглядят как эстетские экзерсисы филолога, проблемы персонажей Петрушевской — барские прихоти (а проблемы персонажей Ольги Славниковой, тоже не самой веселой писательницы, — вдвойне барские прихоти); рядом с Павловым все перестроечные «чернушники» напоминают романтиков XIX века, таких, как Золя, вообразивших себя «натуралистами» (реплика в сторону: пересмотрел недавно «Маленькую Веру» — поразительно смахивает на Золя). Павлов гораздо безысходнее всех прочих еще и потому, что «прочие» ищут идеалы в сфере социального (и эти идеалы присутствуют в произведениях «прочих», пускай даже как фигуры умолчания), а чаяния Павлова принципиально асоциальны (и даже антисоциальны).

---

Анкудинов Кирилл Николаевич — литературный критик. Родился в 1970 году в Златоусте. Окончил Адыгейский государственный университет, где и преподает основы журналистики; кандидат филологических наук. Публиковался в журналах «Октябрь», «Москва», «Литературная учеба», в «Независимой газете». В «Новом мире» печатается впервые.

<sup>1</sup> Это третья часть цикла (первые две — «Казенная сказка» и «Дело Матюшина»), уже изданного полностью под книжным переплетом: Павлов Олег. Повести последних дней. Трилогия. М., «Центрполиграф», 2001, 494 стр. («Современная проза»). (Примеч. ред.)

Но при создании мрачностей и безысходностей требуется чувство меры, иначе может возникнуть обратный эффект. Помнится, мы с приятелем обсуждали леонид-андреевскую «Жизнь Василия Фивейского», вслух читали отрывки и комментировали их. Трагические обстоятельства: рождение идиота, страшная смерть попадания. Василий Фивейский глядит на сына-идиота. Идиот клеит коробочки. «Коробочки выходили плохие, кривобокие, грязные, с торчащей и отклеивающейся бумагой». Как только мы дошли до этого места — так и упали в судорогах хохота. Мало всех мук, выпавших на долю нового Иова, еще и коробочки плохие... И сразу же открылось, что Леонид Андреев не людскому горю сочувствует (как думалось раньше), а ставит надуманные опыты над надуманным человечком-гомункулюсом. В прозе Олега Павлова есть много таких «плохих коробочек». Всякий творческий мир, даже творческий мир, претендующий на абсолютный реализм, есть следствие авторского волевого отбора. Иногда писатель может здорово подставиться на этом...

Разумеется, я не собираюсь на советский лад восклицать: у нас такого-де не может быть. Догадываюсь, что может быть еще и не такое. Суть в другом... В самых бесчеловечных, в самых безумных, в самых мерзостных обстоятельствах всегда присутствуют начала, напоминающие о нормальной жизни. Удивительно, что в прозе Олега Павлова эти начала напрочь отсутствуют.

Что это за начала?

Во-первых, так называемая респектабельность, добропорядочность, к которой (так или иначе) стремятся все, даже распоследние ночлежники. Мир «культурных людей» — где взаимная корректность заведомо выше истины. Еще с грибоедовских времен принято обличать «лицемерие и пустоту светской жизни». Никаких «высот духа» в светской жизни, ясное дело, не обрассешь, но бывает и она полезна: приобщится людоед к тусовке, глядишь, никакого людоеда уже нет, а есть безвредный чудак.

Во-вторых, культура. В среде, описываемой в разных вариантах Павловым, подлинная культура, как правило, недоступна и непонятна, ее подменяют полукультура и четвертькультура, а это — наркотики средней силы действия. Но чем бы дитя ни тешилось, лишь бы проложих по ночам не резало. Если убийца, вместо того чтобы убивать, начнет писать графоманские стихи, это следует приветствовать.

В-третьих, элементарная жалость к ближнему.

В-четвертых, наконец, юмор, который решительно необходим в ситуациях встречи с абсолютным злом, таким, как фашистский концлагерь, ГУЛАГ или павловские военные гарнизоны. Человек, столкнувшийся с абсолютным злом, обречен либо на беспредельную ненависть (если этот человек не до конца уверен в себе), либо на затаенную презрительную усмешку (если он уверен в себе до конца: делайте, что хотите, а я знаю, что ваш мир — неправильный, а правильный — мой). Изречения на воротах гитлеровских концлагерей типа «Работа делает свободным», если вдуматься, безумно смешны... Тем более странно полное отсутствие юмора в павловском мире. Если какое-либо подобие юмора (а точнее — черного сарказма) в этом мире и возникает, то — исключительно в пределах авторских метафор и сюжетных положений; персонажи лишены возможности осознать комизм чего бы то ни было, в противном случае они не сказали бы и десятой части того, что говорят. Еще поразительней атрофия чувства юмора у самого Олега Павлова как публициста и литературного критика. Вроде умный и тонкий человек, мастер психологического анализа. И вдруг — неизвестно откуда взявшаяся лакуна... Отношение Павлова к стихии комического навеивает догадки о бессознательном изживании каких-то глубоко личных и болезненных реалий. Смеялись над ним, что ли, в детстве?

Итог печален: персонажам Олега Павлова не хочется сочувствовать, потому что они как бы и не люди. Мучить друг друга они умеют (и весьма профессионально), а шутить, смеяться и осознанно помогать друг другу (подчеркиваю — осознанно, а не так, как чудик Алеша Холмогоров, — невпопад)... С этим у них проблемы. К этому они не приучены. Зачем автор сделал их так



ми? Я долго не мог найти ответа на этот вопрос. После прочтения «Карагандинских девяти» многое стало понятно. Павлов сознательно отвергает перечисленные мной начала как негодные.

Респектабельность? Начмед, «человек с образованием выше среднего», обращается к «все понимающему» заведующему отделением патологоанатомии — дело срочное, надо подготовить покойника к отправке, а никто этим заниматься не желает. То да сё, я, дескать, «вместо того, чтобы лечить больных, спасать жизни людей, творить добро...», «мы же с вами культурные люди» и так далее. А заведующий ему в ответ: «...От меланхолии на этой планете лечит только общение с прекрасным». И за этим светским разговором такие понты и кранты, такая (с одной стороны) ненависть, замешенная на необходимости самоуничтожиться неизвестно перед кем, такое (с другой стороны) снобистское презрение, что диву даешься. Вот она — респектабельность «культурных людей».

Жалость? Павлов разберется и с жалостью. Есть в «Карагандинских девяти» такой персонаж — Альберт Геннадьевич, «инженер-атомщик» и бог весть кто еще, отец погибшего солдата Мухина (начмед так и называет этого человека — «отец Мухина»). Пьяная дрянь, которая на каждом шагу взывает к жалости и вполне вольготно живет с чужой жалости. В иные моменты подумаешь — а не прав ли начмед Институт, отрезавший этому «человекомуху»: «Ты сам, сам во всем виноват, скотина ты пьяная. Виноват, что родился, что жил... Это ты, ты сам угробил своего сына в тот день, когда породил его на свет и уготовил одно свое же нытье...» Институт, конечно, грубиян и зубодер, но пожалеешь эдакого Альберта Геннадьевича — потом костей не соберешь. Опять же, шофер Пал Палыч, рупор авторских идей, много чего интересного о жалости говорит... И вообще — лучше выдирать зубы без наркоза... Нельзя сказать, что в павловском мире жалости нет. Иногда она наличествует, и автор относится к ней хорошо. Но это — или «жалость равножалких», гибельная и бессмысленная жалость убогого к убогому (вспоминаются строки Дмитрия Быкова: «И уж только когда калеку любит калека, это смахивает на любовь, да и то слегка»), или — жалость слабого к сильному — тоже не имеющая особого смысла. Затюканный солдат Алеша жалеет девочку-побирушку — и именно эта жалость, похоже, окончательно сносит у него крышу и делает проблематичным его выживание; санитарка патологоанатомического отделения (еще более затюканная) жалеет подвернувшегося Пал Палыча (знала бы, кому яблоко отдала...). Есть еще добрая следовательша Светлана Ивановна Светикова, этот «луч света в темном царстве» (удивительное дело: Павлов — «новый реалист», а фамилии своим героям дает, что твой Сумароков). Но эпизод со следовательшей вызывает в памяти анекдот про «доброе дядечку», который «прошел мимо, а мог бы и глазки выколоть». *Некоторые* положительные персонажи Павлова отказываются от предоставившейся возможности сломать жизнь невинному встречному. Другие — не прочь, а *эти* — могут обойтись без выдиранья зубов. Спасибо и на том.

С жалостью все ясно. С респектабельностью — тоже. А как насчет культуры? В этом случае Павлова опять выручает недоумок Альберт Геннадьевич, который на поминках своего сына начинает шпарить Евтушенко. «Смерть не гавань — смерть обрывает пути кораблей...» Культуру, к образцам которой обращается за примером «отец Мухина», не больно-то и жалко. Беда в том, что за грехи «Евтушенко» платит вся культура без исключения. Как говорит начальник полигона Абдулка, «много будешь знать, дурья башка, заболеешь, пропадешь. Птица много знает, много думает? А летает высоко-высоко, далеко-далеко!» Ну ее к бесу, эту культуру.

С юмором Олег Павлов расправляется радикальнее всего — он выводит на всеобщее обозрение медбрatьев патологоанатомического отделения Сержа и Жоржа — «игрунчиков, хохотунчиков, везунчиков». И эти живчики, умеющие шутить, — *самые* отрицательные персонажи в системе авторских образов; садист Институт, уголовник Пал Палыч, полное убожество — «инженер-атомщик» А. Г. Мухин — все получают долю авторского сочувствия, но для Сержа и Жоржика, веселых скотов, кошунствующих на каждом шагу и высме-

ивающих все и вся, — для *этих* господ — у Павлова луковок нет. *Эти* — самые беспробудные грешники. Вот и весь юмор...

А теперь проведем небольшой опыт. Вспомним о том, что в биографии одного известного писателя были странички, позволяющие экспериментально задействовать павловскую прозу. Этот писатель — Сергей Довлатов, служивший, как и Павлов, в конвойных войсках и оставивший о своем опыте литературные свидетельства (с определенного момента мир Довлатова начинаешь воспринимать как положительную альтернативу миру Павлова; читаешь павловские произведения и думаешь: мы пойдем другим — довлатовским — путем). Представим себе, что солдат Сережа Довлатов попался на глаза Олегу Павлову и стал героем его прозы. Каким героем? Уж не развеселым ли Сержиком? Предполагать, что Серж списан с Довлатова — бездоказательно и легкомысленно, но все-таки не оставляет ощущение: медбратья-весельчаки появились на свет не без учета довлатовского варианта поведения в соответствующих обстоятельствах.

Тут же обнаружатся интереснейшие детали. Например, выяснится, что для Павлова слова «здоровье», «наполненность жизнью», «жизнелюбие», «жизнерадостность», «сила» — сугубо отрицательные характеристики, применяемые исключительно к самым мерзким действующим лицам. Сержик и Жоржик, здоровеннейшие жеребцы, играют в футбол, меряются силами, им весело, «что кто-то помер, а они живут». У заведующего патологоанатомическим отделением «полное жизнелюбия лицо» — и что же? Развел во вверенном ему заведении бардак, пригред мазуриков-медбратьев, ни за что не отвечает. В здании судмедэкспертизы мы встречаем «пышущего силой, сытостью... молодого здоровяка», его начальник выглядывает «еще здоровее своего приспешника», к тому же позволяет себе говорить еретические речи: «Живой — так живи. Пока живы, будем кушать и пить, любить и радоваться», — конечно же сии персонажи «с каждого жмурика как с барана стригут, чего не радоваться». (К счастью, старшей из судмедэкспертизы произносит несколько уважительных слов о смерти — значит, не совсем еще безнадежен.) Глупая дамочка в вагоне неосторожно восклицает: «Я, простите, еще живая. Я хочу все знать о цветах, о море, о любви...»

В противоположность всем этим монстрам более-менее положительные герои Павлова непременно наделены каким-либо изъяном, в той или иной степени ущербны, эта ущербность — залог того, что они унаследуют рай. Начальника медицинской части Института было бы точнее назвать Инвалидовым, он распоряжается в своем лазарете «с въедливостью евнуха»(!) и, несомненно, наделен садистским синдромом — любит рвать зубы без наркоза и унижать слабых; но именно эта безжизненная и уродливая ходячая функция скрепляет всеобщий беспорядок и получает свою долю авторских симпатий. «Хозяйчик полигона» Абдулка — глух как пень, потерял слух во время учений. Доморощенный нищееанец шофер Пал Палыч (временами этот болтливый персонаж до карикатурности напоминает Челкаша и прочих горьковских философствующих босяков) — этот в физическом отношении вполне здоров, но в нравственном плане — соответствует компании по степени уродства. О главном герое повести — Алеше Холмогорове — речь впереди, пока напомним: сослуживцы принимали его за слабоумного — и не без оснований.

Еще один аспект — отношение персонажей к жизни и смерти, к живому и мертвому. Как было отмечено выше, жизнь у Павлова любят одни подлецы. Не в пример начмеду Института, «болезненно ненавидящему все живое, что издавало... хоть сколько-то самостоятельный звук», — удивительный и единственный в своем роде пример: подобной характеристики удостоивается *симпатичный* автору герой. Пал Палыч — судя по всему (ограничусь официальной версией за неимением прописанной яснее), убийца, умертвитель. А вот еще одно лицо — добрый гробовщик... «Рождение, мил человек, все нам и освобождает, начиная с ручонки! Бог творил нас несвободными, а мы все делаемся из-за греха первородного распеленатыми». Признаюсь честно — от этого квазикаратаевского говорка, от откровенной некрофилии, от истории со

«вновь рожденным» Амадеем Домиановичем и прочими «сущими во гробех» — меня начало мутить, как от лимонада с дихлофосом.

...И все в этом мире поверяется смертью, зависит от смерти. Как будто присутствуешь при отправлении какого-то некрофильского культа. Понимаю, Андрей Платонов... К Андрею Платонову у меня тоже есть свои вопросы, но ведь он не доходил до таких гимнов мертвечине. И это отрицание цивилизации, которая, в общем-то, и обеспечивает уважение к мертвым (попутно с уважением к живым — одно другому не мешает). Да тут еще и идеолог Пал Палыч... «Люди все воняют... А притворяются, что одни розами пахнут, а другие вроде как воняют... Нет уж, нюхайте! Я плохой, потому вы плохие... Вам будет плохо, пока мне плохо...» И этот культ подсознания, освобожденного от сознания, эти болотные, подпольные импульсы и чувства, такие, как чувство Алеши к побирушке Айдым...

Что ни говори, Олег Павлов — очень талантливый прозаик. Он умеет мастерски живописать нечеловеческое. Жаль только, что он не любит человеческое...

А ведь такое мироощущение далеко не ново, для нынешнего же времени — очень типично. У современной цивилизации действительно много проблем. Иные социумы не выдерживают невыносимого гнета настоящего и проваливаются в прошлое, в архаику, на нижние этажи (чем тяжелее настоящее, тем ниже конечный пункт прибытия). Особых экзистенциальных достижений после подобных обвалов не жди, просто люди будут иметь дело с архаикой такой же реальной, грубой, зримой, как и ненавистная современность.

Взять хотя бы Талибан, благо сейчас он у всех на слуху. Талибы смертельно ненавидят европейско-американскую цивилизацию и, судя по всему, недолюбливают жизнь вообще, вернее — они любят только такую жизнь, которая существует в строжайших рамках архаики. Талибам угодно бытие, выстриженное под ноль. Талибан — шекспировский Калибан, дитя природы, уродливое, как сама природа (в данном контексте «природа» синонимична «архаике»). Кажется, «цивилизация» по-настоящему возмутилась не потому, что талибы связаны с терроризмом, а потому, что они неподобающе относятся к комфорту — это выдержать человеку современного мира невозможно. Думаю, к юмору талибы также не склонны — он ведь отвлекает от постижения воли Аллаха. К счастью, «почва», на которую рухнул талибский Афганистан, является довольно здоровой — в душевной нормальности исламу не откажешь. Мужчины должны молиться, сражаться и обеспечивать семью, женщины должны воспитывать детей, вести хозяйство и трепетать перед мужчинами — все это для нынешнего гражданина «цивилизации» довольно-таки дико. Но, во всяком случае, такая «почва» способствует выживанию и приумножению человеческого рода («цивилизация» — не очень способствует, но это отдельный вопрос). А ведь иногда бывает, что и «почва» может оказаться гнилой... К примеру, «красные кхмеры» обучались у французских интеллектуалов-леваков, — не удивительно, что режим, ими установленный, был особенно противоестественным и кровавым. Мировая общественность, замечу, непонятно быстро забыла опыт Кампучии — уже почти никто не знает, в чем там было дело. Помнится только, что «красные кхмеры» тоже выступали против «тлетворной цивилизации», ратовали за «возвращение к почве» и с особенной яростью истребляли сколько-нибудь грамотных людей, так что ныне таковых в Камбодже-Кампучии почти не осталось. Во многом антицивилизационный пафос питал Октябрьскую революцию, до этого он подчинил себе философию Льва Толстого (называвшего «паразитами» и «обманщиками» людей интеллектуального труда). Все эти многочисленные примеры восходят к древним корням, самый просматриваемый из которых — манихейское учение, объявившее презренной материю, жизнь. Мани давно умер, но дело его живет, возрождаясь в каждом поколении тысячами учений, сотнями сект (самый разительный пример из последних: достаточно тошнотворный гуру Шри Раджниш — Ошо). Вероятнее всего бессмертие манихейства связано с какой-то подсознательной потребностью, заложенной в человеке. По словам Честертона, «тот, кто знает человеческую природу, знает и то, что вера — ужасная вещь. Она поистине способна

свести с ума, и очень часто Церкви приходится не насаждать ее, а сдерживать. Аскетизм — борьба со страстями — сам по себе могучая страсть. Его нельзя изъять из числа странных страстей человеческих, но его можно обуздать, и под властью Церкви он куда разумней и сдержанней, чем при языческом или пуританском безвластии» («Святой Фома Аквинский»).

Олег Павлов (вернемся к нему) — капитулировал перед таким злом, как манихейство. Он вообще склонен капитулировать перед злом. У него нет иммунитета к злу. Оттого в прозе Олега Павлова так часто господствует логика: «чем хуже, тем лучше». Грязный бомж валяется на улице — это будет получше вашего треклятого Нового года. Солдатики друг друга до смерти забивают — это настоящая жизнь, почище ваших умствований. У человека последние деньги отобрали — просветлится, Истину познает. Убили зека за пачку сигарет — и это хорошо, таинство Смерти, понимаешь ли... Бог ты мой, что во всем этом хорошего?

Надо уметь сохранять себя от воздействий мира, только тогда мир не будет тебе ненавистен.

Обращусь к своему опыту. Я попал в армию в конце восьмидесятых. Это было очень неблагоприятное время — участились самоубийства, убийства, несчастные случаи. О дедовщине стали везде писать — и дедовщина расцвела пуще прежнего! При этом ребята-призывники получали в корне неправильную установку — «необходимо не сломаться». Помню, что все материалы о дедовщине, написанные в тогдaшнее время, были проникнуты этим подходом... «Он — сломался». «А другой — не сломался, выстоял». Такая установка приводила к катастрофам: люди или «ломались» — на всю последующую жизнь, или «не ломались» — и доводили себя до убийств и дисбатов. В какой-то момент я почувствовал *неправильность* всего, что написано об армии, и сам своим умом дошел до противоположного подхода: я — этнограф, попавший в условия другой цивилизации, и я *изучаю* этих людей, они мне интересны. Что бы ни произошло, никакого позора мне от этого не будет, потому что я — другой. Я не включен в их игры. У меня — *свои* игры. Может ли Магеллан «сломаться» из-за встречи с туземцами? Абсолютно исключено... После того как я дал себе такую установку, мне стало гораздо легче. Люди, с которыми я служил, оказались мне симпатичны (каждый по-своему), я начал понимать их, потому что думал уже не о себе, а о них, о том — каковы они. В результате армию я прошел относительно безболезненно — несмотря на многие физические и ментальные показатели, в принципе несовместимые с армией. Мне помогло то, что я вовремя сумел отстраниться от мира, в который попал. *Отстраняться* — вот именно то, чего не может Олег Павлов — не может самым роковым для себя образом. Ах, если бы он умел отстраняться от среды, которую живописует (к примеру, как тот же Сергей Довлатов)!.. Тогда, может, и его персонажи выглядели бы как люди, а не как воплощенные силы зла. Олег Павлов позволяет втянуть себя в принципиально чуждый мир, он играет в игры этого мира. А быть бы свободным от них — при этом условии сделаешь добро всем: и себе, и миру, который тебе чужд. Лучше быть доктором, спасающим в том числе и бедолагу-бомжа (если его еще можно спасти), а затем отправляющимся на светскую вечеринку, на встречу Нового года — куда угодно, чем быть писателем, бесконечно стонущим про «несчастных бомжей» и одинаково бесполезным — для бомжей и для не-бомжей.

И надо ли жалеть людей так, как их жалеет Олег Павлов? Не та ли это жалость, которая унижает?

...Вот умильный Алеша Холмогоров (ясно, что этот герой восходит к князю Мышкину и Алеше Карамазову, однако, как мне кажется, Павлов слишком буквально понял название романа «Идиот» — в итоге вышел перебор). Но чему здесь умиляться? Человек не способен к связному логическому мышлению. Человек выстывает на морозе, видимо, потому, что ему жалко снежинку, человек на последние оставшиеся деньги покупает арбуз, потому что ему жалко девочку-нищенку, к моменту покупки находящуюся неизвестно где. Человек давно должен дембельнуться, но вместо этого безвозмездно рабо-

тает на хозяина, поскольку хозяин вырвал ему (здоровый!) зуб и обещает вставить новый — в неопределенном будущем (после всех перипетий несчастный Алеша лишится и остальных зубов, что символично). Идеальная жертва, которую по ходу сюжета обзывают, пинают, раздевают, обкрадывают и колошматят все кто ни попадя, — а у Алеши в эти моменты полная нирвана в душе плюс удивление Замыслом Творца (если бы Алеша был «претерпевшим до конца»! — но ведь он попросту *не понимает*, что с ним творят). Видать, мало в России было жертв, надо еще и некую всем жертвам жертву на пьедестал поставить — агнец, стало быть, Божий, — чтобы все любовались и растили детей по образу и подобию — такими же жертвами.

Позволю вопрос: а если мы увидели бы другого героя — того, кто способен к *сопротивлению злу*? Под словом «сопротивление» я разумею не хватанье за автомат Калашникова и даже не дерзкие речи. Сопротивление — это *понимание* зла. Тот, кто опознает зло, тот и сопротивляется ему. Так вот, если бы наш герой понимал все, что с ним случается и может случиться, если бы он сопротивлялся миру самым фактом знания мира, — умилился бы ему Олег Павлов? Нет.

Как-то в тетради одной девушки, студентки психологического отделения, я наткнулся на замечательное одностишие (знать бы, принадлежит авторство владелице тетради или это профессиональный фольклор). С тех пор данное одностишие стало лозунгом моей жизни. Оно таково:

Стреляй! Но знай — я это истолкую.

Герои Олега Павлова вольны делать все, что им вздумается, — резать друг друга, вставлять друг другу в спину заточки, прибегать к другим способам взаимоистребления, провоцировать зеков на побег, расстреливать их и получать за это отпуск домой, нажираться до блевоты, размазывать кровавые сопли, пропивать гробы, покупать на последние деньги арбузы неизвестно для кого — и прочая, и прочая, и прочая.

А я — все это истолкую.

Майкоп

---

## ЕВГЕНИЙ ЕРМОЛИН



## ИНСТАНЦИЯ ВЗГЛЯДА

**П**авлов идет трудным, мучительным и беспощадным путем. Вместе с ним нелегко пройти даже небольшую часть этого пути. Читать его прозу — сушая мука. Взявшись перечесть все три вещи, вошедшие в трилогию «Повести последних дней», я несколько раз надламывался, бросал книжку прочь и отдавался чему угодно — только бы не возвращаться к больному, кровоточащему, изнурительному тексту. Особенно измучило меня «Дело Матюшина» — вещь совсем «в себе», вообще, кажется, не для чтения. А для чего?

Из мрака в мрак — мое ли это дело? Что, Павлов не понимает, что его романы и повести невподъем сибариту читателю, легче машину дров раскидать и перепилить. Или там выпить литр спирта без закуси.

---

Ермолин Евгений Анатольевич — литературный критик, историк культуры. Родился в 1959 году в деревне Хачела Архангельской области. Окончил факультет журналистики Московского университета. Доктор педагогических наук, автор нескольких книг и многочисленных статей. Лауреат премии Антибукер «Луч света» за 2000 год.

К тому ж от писателя ждут либо конечных, позитивных истин — либо уж игривых забав со словом. Павлов же — сочинитель не от мира сего, страшно далекий и от народа, и от многих (чуть не всех) его критиков. Он чаёт абсолютного и мучается бесконечным.

Я скажу здесь о нем не все, что знаю и что мог бы. Но попробую сказать то, что чувствую главным. Тем более, что мнением Кирилла Анкудинова я оказался действительно задет. Тем более, что, будучи закоренелым персоналистом, ценю такой диалог как единственный, может быть, способ сообща добраться до истины.

...Господи, как это невыносимо. Какой-то театр жестокости, доморощенный Антонен, с позволения сказать, Арто! Ты вьешься ужом на сковородке, меняешь позы и места, прыгаешь с кресла на кровать, пьешь кофе, рвешь закладки, проклинаешь садиста автора — и, кажется, ни за что бы не дочитал эту книжку (во второй раз), кабы не обещанная журналу статья. Но если ты прошел этим путем — *он уже остался с тобой*.

Прозу Павлова не читаешь. В ней, собственно, живешь. Ее пропахиваешь вместе с автором и героем «на пузе». Способ Павлова в том, чтобы тормозить, медлить, останавливаться и в итоге пробуждать в душе и памяти читателя тот опыт, который спрятан в ящике без ключа, да не всем и известен, не всегда понятен. Он грузит знанием, о котором хочется забыть даже тем, кто им наделен. И ради этого совершает форменное насилие над читателями, хватая их за шкуру и волоча по кругам житейского ада. Это тебя там унижают, бьют, опускают так и эдак... Прав Анкудинов: нет никакого, даже маломальского отстранения от мира. Вовсе наоборот: есть попытка абсолютно совпасть с ним. Какие там цивилизация, куртуазность! Читателя — нежного баловня — заставить утирать кровавые сопли, сплевывать выбитые зубы, голодать и холодать — и даже убить зека, сообща с Матюшиным.

Впрочем, это ваше право — бросить книгу и забыть про нее. Тут писатель над вами не властен. Хотя в «Карагандинских девятинах» он уже предпринимает и дополнительные усилия, стараясь попридержать своего читателя, хотя бы отчасти заинтриговать его. И небезуспешно. Текст стал более концентрированным, более емким. Сказывается, вероятно, прирост литературного опыта. (Вообще «Девятины», на мой взгляд, — сегодняшняя вершина творчества Олега Павлова.)

Сдается мне, Анкудинов в своих оценках иногда исходит из того, что Павлов попросту стремится изображать жизнь, без особых затей, в формах самой жизни (как тот же Довлатов). Такой наивный реалист. А жизни-то и не знает. Точнее, знает; конечно, знает — но уж как-то слишком мрачен, слишком субъективен: капитулирует перед мрачными сторонами окружающей действительности.

Критик, в общем-то, не против личного участия писателя в той действительности, которую тот изображает. Но он ждет от прозаика более гуманной, более моральной, более позитивной тенденции. Чтобы если было показано зло — то было бы показано и добро. Чтобы положительный герой боролся со злом и иногда побеждал. Пусть бы даже Павлов в своей прозе хоть раз обрушился на личины зла с обличениями-разоблачениями, подобно, например, Виктору Астафьеву...

Я вот тоже, наверное, этого самого и хочу. Положительного примера. Воодушевляющего образца. Ну хотя бы как у Анатолия Азольского: чтобы вокруг было море зла, чтоб социум тяжело бредил — но чтобы и настоящий мужчина находил в себе силы и вставал поперек. А вот Павлов так не хочет. Доминирующий пафос Павлова в его прозе вообще не моральный. И не аморальный. Он не навязывает миру своего героя; борцы с жизнеутверждающим началом у него быстро сдают занятые позиции (как еще капитан Хабаров в первой большой прозе, «Казенной сказке»; а после, в других вещах, у павловского героя и вовсе нет никакой надежной позиции, нет никакого такого окопчика, где можно пересидеть страшное и потом встать против него с новыми силами; и в

«Девятинах» герой, Алешка, от окопной жизни только сильнее и больше обалдевает).

Наверное, Павлову не так уж легко отделять личное отношение от той задачи, которая определяет особенности его художественного видения. Возможно, не всегда и стоит разделять эти вещи. Но все-таки попробуем это сделать следом за нашим автором.

От сентиментальности, такой привычной и сегодня в нашей литературе, от дидактики Павлов отказывается в пользу новой суровой пристальности. Главное у него в прозе — не его личное отношение к житейскому. Не он, Павлов, выражает свои настроения и чувства и не его, Павлова, мысли организуют происходящее. Есть некая более объективная инстанция взгляда. Павлов давит не писательской рефлексией, не личными суждениями (а сколько они сегодня, собственно говоря, весят и стоят?), а тяжестью жизненных пластов, поднятых им на-гора́ благодаря особенностям авторского подхода к действительности, авторского взгляда. Потому с таким трудом, так мучительно пробиравшись вместе с ним сквозь жизнь.

Его проза по-своему научна — может быть, не меньше, чем произведшие в минувшем году фурор «Элементарные частицы» Мишеля Уэльбека. По-своему социологична. Социальный срез позднесоветской реальности, в особенности тогдашней армейщины, сделан вполне умело. Но русский писатель, конечно, вправе быть не столь социологичным, тем более не так плотно связывать себя с философской левизной, как видим мы это у француза. И нелепо считать прозу Павлова — воспоминаниями о недавнем «проклятом» прошлом. (Не случайно оно преподнесено как нечто извечное.) Анкудинов прав: социальные стратегии и утопии волнуют Павлова в последнюю очередь. Он еще в «Казенной сказке» довольно быстро разделался с ними, не оставив камня на камне от иллюзий по поводу армии и страны обитания. Однако не социальность у него в фокусе.

Особость Павлова в том, что этот писатель, кажется, не в шутку задался вопросом мирозерцательного свойства: а что есть жизнь в ее сути? Насколько те или иные формы отвечают этой сути? Как они связаны с тем, что является абсолютом?

Смотреть на мир глазами Бога. Это звучит в современном культурном контексте вызывающе. Даже претенциозно. Не потому ли напрямую эту мысль Павлов никогда и не выражает? Нет, не потому. На современный контекст ему вообще плевать с высокого забора, как он это уже не раз и не два демонстрировал, раздражая и скандализируя культурную, «приличную» публику. Богему и бомонд. Вот и Кирилла Анкудинова Павлов явно раздражает, но наш критик хоть человек не злой, не переводит стрелку на личности, затеявая настоящий идейный спор. А попадись-ка ты в пасть к поборнику либерализма без берегов, язвительному Александру Агееву... живым не уйдешь. Замордует *дедушка* не хуже твоего сержанта из охранной роты карагандинского концлагеря.

Кстати, в целях наступательной самозащиты Павлов вывел в «Девятинах» Сержа и Жоржа — легко опознаваемых, типичных московских тусовщиков, бойких газетно-сетевых пересемешников, несть им числа. Имелся ли тут в виду Довлатов (как боится предположить Анкудинов), я не знаю. Есть гораздо более очевидные и более актуальные прототипы. Но нет и не может быть на них прямого указания, поскольку важны не претензии писателя к конкретному коллеге-литератору; Павлов — все ж таки не чета мстительному инфанту Пелевину, который однажды (в своем последнем романе) взял да и утопил в сортире критика Б. Для него важность имеет само по себе явление, довольно типичное. И вышел «портрет поколения» у Павлова и на редкость узнаваемым, и смешным, и ядом обильно полит.

Однако у Анкудинова звучат даже более грозные сравнения. Талибан! Красные кхмеры! Это ведь не просто жупелы. Не игра ума. Это не слишком даже деликатно выраженное обвинение в азиатском фанатизме, в религиозном фундаментализме, в попытке присвоить себе инстанцию последнего, Страшного Суда и беспощадно править миром от имени и по поручению Господа Бога.

Занятие еретическое, греховное и богопротивное, кто спорит. Да и актуальные тревоги критика понятны. Ведь наша Россия снова снится себе ныне краем непуганых фундаменталистов, которые всегда правы. (А ты, балда, — никогда.) Так что и Павлов начинает выглядеть как знамя и знамение новейшей зловейшей ереси.

Что это у него за взгляд такой вообще — то ли живой, то ли мертвый, как будто зачарованный происходящим, заколдованный злом (об этом тоже говорит Анкудинов)? Откуда *де-факто* смотрит Павлов? Может быть, это действительно взгляд смерти (на что опять же намекает Анкудинов)? Может быть, Павлов не любит жизнь, гнушается живым? Эдакий новый русский манихей, последователь гностиков, катаров, богомилов и большевиков, многократно заклеянных проклятиями, а в одной из систем мысли презрительным клеймом «химера». Вий.

Но все-таки сравнение Анкудинова хромает на обе ноги. Нет у Павлова-прозаика столь грандиозных — и притом беспепелляционно заявляемых претензий. (Павлов-критик — дело отчасти другое, но и жанр другой. Тут без ригоризма не всегда можно обойтись.) Я не уверен, что он как художник знает, каков тот угол зрения, который объединяет его взгляд и взгляд Бога. Скорее он на ощупь пытается определить некую точку опоры. Кусочек почвы. Не судья, а диагност.

Отсюда, от этой ошупи, — изломы и корчи павловского стиля, чуждого гладкописи. Отсюда — впечатление павловских странностей, потусторонности, закрайности. Как бы писатель и все его герои не вполне в себе. Как бы у его персонажей мыши в голове. (Одна такая выбежала в «Девятинах» из убитого начальника медчасти Института: душа не душа, а все ж какая-то живинка.) Гротескные напряжения, сгущение абсурда в мире павловской прозы достигают фантастических степеней. И юмор? Да, и юмор. Но такой, что даже Анкудинов его не опознаёт, — вроде истории о «говноутопленнике» Корнейчуке в «Казенной сказке»... Наиболее очевидная для меня параллель — фантазмы Набокова и — еще более явно — Кржижановского (у него, кстати, немало персонажей вроде старичка, зело не понравившегося Анкудинову). Реализм? Пожалуй. Мистический реализм.

Поиск Павловым абсолютных вещей в дольном мире дает не так много. Иллюзий у него нет. Сфера сущностных очевидностей в прозе Павлова такова: смерть и боль. А также зло. Он знает только (или преимущественно) их. А потому и получается нередко, что на житейское копошение писатель смотрит взглядом смерти, переполняя ею мир, взглядом боли, отбирая в житейщине именно болевые феномены, взглядом зла (глазами дьявола?) и зараженных им, болеющих им людей. (А кто здоров? Все больны.)

Нет спора, такой подход позволяет сообщить много правды о мире, в котором мы живем.

Не стоит кривиться и гримасничать. Не нам, в нашем-то интересном положении, впадать в ханжество. Да, это богооставленный мир, прозябающий во зле и в грехе; ад разлагающихся и смердящих народов, отвергших Бога; ад нераскайанных, одичавших душ... Банкротство и вырождение народа-богоносца, разложение семьи, зверское бешенство человека-богоотпущенника, его заросшее диким мхом сердце и бродячий хаос его души диагностированы Павловым с полной убедительностью. Внутреннее отчаяние этого человека, безлюбкость, глубокая, смертельная тоска существования (прижизненной смерти) — об этом Павлов рассказывает незабываемо. У него есть поразительной силы эпизоды, в которых представлен этот томительный бред. И да, таков его онтологический диагноз. Что-то — по части метастазов, что-то — по ведомству патологоанатомии.

Его Россия — это заколдованное, проклятое место, слепоглухонемой угол мироздания; это, собственно, — Азия (и армия у Павлова — средоточие азиатчины, место, где кульминируется пораженность мироздания, — миро-руин — злом). Место, где русский теряется, растворяется и гибнет. Куда ни кинь, везде



Караганда. И все географические карты выпадают так, что попадаешь именно и только туда, куда бы ни метился... Вот тебе, бабушка, евразийский проект!

А его Азия — это Азия скорбного духа, сосуд скверны, уже случившийся провал в апокалипсическое время.

Люди наказаны Богом. И с тех пор стали друг другу обузой, наказывают друг друга, ожесточаются друг на друга и на себя. Взаимное мучительство — неизбежное состояние совместной жизни. Воистину: ад — это другой.

...А вместе с тем писатель многим рискует. Это риск художника, очень тесно соприкоснувшегося с темными недрами, с мистическими стихиями жизни. Риск испытателя абсолютных начал и причин. Это традиционная проблема мистика-анакорета, который ищет Бога за пределами канонических форм и ритуалов. Столь апофатично его богословие, так разгулялся у него абсурд, что уже и боязно становится. Выходит, что дьявол присутствует в этом мире куда явственней, чем высшие силы. И кажется еще иногда, что есть у автора некий внешний подзагод.

Уж не мает ли его какой чертушка? — рискну перефразировать я мысль Анкудинова о «капитуляции» перед злом. Истинна ли истина ненайденного Бога? «Открылись колодцы темные правды» («Казенная сказка») — но является ли подлинным откровением откровение о богооставленности, зов и вой к пустым небесам? Быть может, Бог знает о современном мире что-то еще? Что-то более обнадеживающее?..

Но на самом деле никакой капитуляции у Павлова я не вижу. Не отдан мир во власть зла, откуда в нем есть такие герои, как безответный солдатик Алеша Холмогоров или капитан Хабаров. Да, они далеки от суперменства. Не хозяйва жизни. Не победители. Больные. «Убогие». «Странные». «Иные».

Прозабшие странники в холодной степи бытия, несостоятельные пассажиры на экзистенциальном вокзале. Они гибнут — для здешнего мира зря, ни за что, просто так.

Но «странность» — простота, придурковатость — того же Алеши (как и командира его, Абдулки) выражает в первую очередь их несовпадение с окрестным миром, отстраненность от царящего в нем зла. Это печать неотмирного.

А в страданиях героя чувствуется искупительная жертва.

Тягостно жить. Жизнь становится бременем. Но и супротив того: жить-то человеку еще почему-то хочется. И кстати, все-таки не случайно Алеша выживает, несмотря на суровые испытания. Автор в финале «Карагандинских девяти», ничем не обнадежив читателя, все-таки останавливается в полушаге от Алешиной гибели, чтобы сохранить его для мира.

Вы скажете, что и тысяча таких Алеш не сделают наш мир лучше. Видали-де мы таких Алеш на перегонах между монашеством и революцией. А воз и ныне там. Не знаю. Может быть. Но Алеша и создан не для того, чтобы принципиально улучшить внешний мир, социум. Всякий социум обречен. И если Павлов, зная это, не дорожит тем, который имеется, и тем, какой он изображает, то сие еще не криминал. Мне вот (если о личном) тоже советская власть не нравилась. И в постсоветской нелепой стране почему-то не климатит. В этом моя, скажем с последней искренностью, ущербность по сравнению, например, с уже упомянутым критиком Агеевым, который однажды в Сети в полемике со мной выразился в том духе, что он-то, Агеев, в 90-е годы очень неплохо пожил и всем доволен. «Состоялся».

Неисцелимость павловского бытия — тот факт, с которым, как ни крути, приходится считаться. Говорит ли об этом Бродский, говорит ли об этом Павлов. Патологическое жизнелюбие ничем не лучше крошечного отчаяния...

А что же павловский Алеша? А его послал Бог мести и печали царям земли напомнить — если хотите — о Христе.

Не хотите? Дело ваше.

Ярославль.

ГЕОРГИЙ ЦИПЛАКОВ



## СВОБОДА СТИХА И СВОБОДНЫЙ СТИХ

## Границы поэзии

**В** знаменитом коротком стихотворении о прозаике и поэте Пушкин довольно точно описал феномен безграничности поэзии. Поистине «мысль, какая хочешь», точнее, «какая хочешь» мыслимая вещь, может стать предметом поэтического творчества.

Про то же самое сказано другим поэтом — о «соре», из которого растут стихи, «не ведая стыда». В обоих случаях признается, что поэты абсолютно свободны в выборе темы, средств, размера, рифмы и лексики.

Нет недостойных предметов для творчества. Есть стремительность и непредсказуемость. В какую сторону захочу, в ту и сверну стихотворный поток. Даже незаметная полевая мышь, гнездо которой случайно разорил плуг, если ей повезет, может стать героиней элегии.

Бывали, правда, попытки — иной раз бестолковые, а иной раз близкие к гениальности — опровергнуть тезис о безграничности поэзии. Разные эпохи в истории литературы выдвигали собственные табу («Так писать ни в коем случае нельзя!»), которые, однако, опровергались почти сразу после своего появления. Наиболее ярким примером может служить позиция, восходящая, с одной стороны, к салонным спорам начала XIX века о путях русской словесности, а с другой — к хайдеггерианству (в первую голову к хайдеггерианству, а уж потом к самому Хайдеггеру), согласно которой предметом поэзии может быть только вещь, укорененная в родном языке. «Язык — дом бытия», — это окрыляет и настраивает на высокий лад. А поэтому нужно избегать, согласно данной точке зрения, использования заимствований из других лингвистических систем. Но достаточно прочесть «Два часа в резервуаре» И. Бродского, чтобы понять, что для поэзии совершенно не существует никаких, даже радикально онтологических, пределов. Конечно, онтология<sup>1</sup>, прорисовываемая

Циплаков Георгий Михайлович (род. в 1974) — культуролог, кандидат философских наук, автор цикла статей в журнале «Урал» и ряда других публикаций. В «Новом мире» дебютировал обширной статьей о философских параллелях к прозе Б. Акунина (2001, № 11).

<sup>1</sup> В этом стихотворении 1965 года Бродский намеренно обращается к немецкому языку, который все еще воспринимался в то время как начало, явно антагонистическое русской речи и «советскому народу». Непереведенная немецкая речь («Гут нахт, майн либе геррен. Я, гут нахт»), как правило, слышалась как *вражеское* наречье в многочисленных фильмах и книгах о Великой Отечественной войне. В наиболее непримиримой форме негативное отношение к немецкому языку выражено у С. Михалкова: «Нет! — сказали мы фашистам, — / Не потерпит наш народ, / Чтобы русский хлеб душистый / Назывался словом „брот”» («Быль для детей», 1941 — 1945).

У Бродского использован интересный прием: к многочисленным транслитерациям с немецкого прибавлены широчайшие позитивные культурные конструкции («картезианства сладость», «кембрий... динозавры», «вени, види, вици» и т. д. и т. п.), как правило выстраивающиеся вокруг фигур Гёте и Фауста. Стихотворение насквозь иронично, но иронии подвергается не немецкий язык, а именно эти позитивные общечеловеческие контексты.

Так или иначе, словесный эксперимент Бродского нужно считать более последовательным, чем многочисленные и надоедливые иноязычные вставки в текстах других авторов, например А. Вознесенского. Если у Вознесенского прослеживается тенденция всячески опро-

Бродским, незамысловата и иронична, но все же это онтология, а «Два часа в резервуаре» — довольно выразительный текст, который нельзя квалифицировать иначе как поэтический. Что ни говори, дом — это не только фундамент на родной почве, но также стены и окна, конструкция и материал для которых могут заимствоваться.

Итак, поэзия безгранична. Тогда чем же отличается безграничность прозы от безграничности поэзии?

Дело осложняется тем, что поэзия и проза не антагонисты. Читая вслух, например, «Майскую ночь», невольно обращаешь внимание на то, что пытаешься поймать при чтении определенный ритм. Такое редко возникает, правда, когда читаешь, допустим, «Войну и мир» или «Воскресение». В первом случае говорят, что проза максимально поэтизирована, во втором — что она классически прозаична, то есть является образцово-показательной для этого вида литературы.

Я пытаюсь нащупать демаркационную линию между ними, обращаясь в конце концов к феноменам, лежащим на их пересечении, — *свободному стиху* и так называемым *стихам в прозе*. И параллельно — защитить эти интереснейшие явления от случающихся периодически нападков любителей «традиционной» русской словесности.

Когда-то Н. С. Гумилев, рассуждая о поэзии и прозе, написал: «Поэтом является тот, кто учтет все законы, управляющие комплексом взятых им слов. Учитывающий только часть этих законов будет художником-прозаиком, и не учитывающий ничего, кроме идейного содержания слов и их сочетаний, будет литератором, творцом деловой прозы. Перечисление и классификация этих законов составляют теорию поэзии. Теория поэзии должна быть дедуктивной, не основанной только на изучении поэтических произведений, подобно тому как механика объясняет различные сооружения, а не только описывает их. Теория же прозы (если таковая возможна) может быть только индуктивной, описывающей приемы тех или иных прозаиков. Иначе она сольется с теорией поэзии»<sup>2</sup>. Думаю, в этом фрагменте — ключ к восприятию разницы между прозой и поэзией.

Суть дела, полагаю, в следующем. *Проза не дорожит отпущенным ей временем, да и временем читателя тоже*. Она не думает о том, что когда-нибудь кончится. Она максимально свободна, даже порою чересчур. Ее свобода зачастую превращается в праздность, а затем — что вполне закономерно — в рутину, в сплин, в скуку. Потому-то прозаик вынужден постоянно придумывать что-нибудь этакое, чтобы заставить эту транжиру времени приносить радость читателю. Не зря говорят: закрутить сюжет. *Закрутить* — значит сделать прямолинейное, обыденное, пошлое захватывающим, уводящим в неожиданную сторону. Прозаик тем самым старается *хотя бы на время* из разговорной повседневной рутины (сырье прозы) сделать манеру, стиль, разновидность искусства.

Совсем другое дело — поэзия. Она, напротив, всячески выказывает свою занятость. Если проза «требует болтовни», поэзия — вдумчивого разговора. Поэтический текст нельзя отложить, его нужно *прочтешь сразу*. Даже фрагментация в поэзии заранее регламентируется автором: большие поэтические тексты делятся на стихи, строфы, песни, разделы, прежде всего для того, чтобы

вергнуть Хайдеггера, ищущего «бытийность» в языке, и любой ценой «ввернуть» в речь латинизм, сделать странность иноязычной речи стихийно близкой и понятной, для чего он часто рифмует иноязычные слова с русскими («ревю — реву», «лебеди — Кеннеди» и т. п.), то Бродский, кажется, продолжает поэтическую линию Мандельштама, как бы сознательно отстраняющегося от родной речи: «Чужая речь мне будет оболочкой» («К немецкой речи», 1932). «Бог Нахтигаль, меня еще вербуют / Для новых чум, для семилетних боен. / Звук сузился, слова шипят, бунтуют, / Но ты живешь, и я с тобой спокоен». Соловей (Нахтигаль) — образ, одинаково близкий русскому и немецкому восприятию. Соответственно в стихотворении Мандельштама национальное уступает общечеловеческому, эту «уступку» у него и заимствует Бродский, интерпретируя ее по-своему.

<sup>2</sup> Гумилев в Н. С. Анатолия стихотворения. — В его Собр. соч. в 4-х томах. Т. 4. М., 1991, стр. 185.

избавиться от иллюзии непрерывности, которая свойственна прозе. Хочешь сделать паузу в чтении — дождись, когда этого захочет текст. *Стихи* — идеальная форма существования поэзии. Каждый стих — самоценность и легко вырывается из контекста, даже если обрывается мысль. Поэтический отрывок поэтому замечателен, даже если незавершен.

Что касается поэтического времени, то оно всегда насыщено, «забито» полностью, у поэзии совершенно не бывает свободного времени. Прав Гумилев: поэтическая организация выжимает из речи все соки, все ресурсы. Так человек, который знает, что ему осталось жить пять минут, старается «наполнить смыслом каждое мгновенье».

Таким образом, безграничная проза и безграничная поэзия — два разных вида безграничности, причем безграничность поэзии напряженной, *определенной* во времени. Это как бы пойманная за хвост бесконечность, бесконечность в строго определенном направлении. Бесконечность прозы не поймана, наоборот — максимально отпущена, угадать ее направление невозможно. В прозе слова выгуливаются на длинном поводке, в поэзии — в строгом ошейнике. Если прибегать к метафорам из геометрии, поэзию можно сравнить с бесконечным в одном направлении *лучом*, проза есть бесконечность даже не плоскости, а нескольких пересекающихся плоскостей.

А между тем в прозе присутствует один формальный момент, непосредственно напрягающий повествование. Именно он и делает прозу разновидностью, частным случаем поэзии. Это *красная строка*, абзац — минимальный смысловой раздел, легко обособляющийся из прозаического контекста. По сути дела, прозу надо измерять не через строки, а через *абзацы*<sup>3</sup>. Именно разбивка на абзацы адаптирует «дикую» прозу к цивилизованному читательскому восприятию (текст без разбивки на абзацы нечитаобен) и соответственно направляет его, в этом смысле сближая прозу с поэзией. Не то чтобы абзацы не дают прозе бездумно тратить время, но они хотя бы отмечают определенные вехи его растраты. Абзац — это раздел, так же как и стихи, существующий в реальном времени прочтения. Хотите поэтизировать прозу — делайте больше красных строк. Развивая эту мысль, можно сказать, что стихи — это строки, каждая из которых — красная.

Абзац — проверенное средство поэтизации прозы. Это его свойство хорошо известно прозаикам, по крайней мере они им часто пользуются. Если, например, еще в «Братьях Карамазовых» среднестатистический абзац включает пять-шесть развернутых предложений и очень редки абзацы из двух-трех предложений, то ближе к концу века абзацы становятся намного короче. И что характерно — параллельно уходит время романов, наступает эпоха повестей и рассказов. Тургенев, затем Чехов, Куприн и Бунин уделяют абзацу огромное внимание. Известно, как Чехов добивался почти поэтической лаконичности письма, вымарывая целые страницы недостаточно «тугого» текста. Дальше — больше: начало двадцатого века вместе с эпохой небольших прозаических форм стало эпохой великого поэтического обновления. Читая прозу этого времени, сплошь и рядом сталкиваешься с абзацами в два и даже в одно предложение. Проза становится в этом отношении поэтичной.

Поэтичность прозы заметить легко, но когда пытаешься констатировать «прозаичность» поэзии, неизбежно возникают проблемы. Верлибр — одна из них.

### Зачем писать стихи без размера и рифмы? Версии

*Как возможна временная свобода* в поэзии, если поэзия, согласно нашему же определению, есть заострение временных ограничений? Можно ли вычленивать в повествовательном текстовом море лагуны, островки, нейтральные тер-

<sup>3</sup> Обратим внимание на более дробное и периодичное членение ораторской и повествовательной прозы, единица которого — *колон*. См., например, соответствующую статью М. Л. Гаспарова в «Литературной энциклопедии терминов и понятий» (М., 2001). (Примеч. ред.)

ритории, где происходит своеобразная «встреча на Эльбе» двух сверхдержав изящной словесности?

Существует два традиционно «маргинальных» вида словесного творчества — так называемые *стихи в прозе* и *свободные стихи (vers libre)*. Причем вопрос о праве верлибра на существование можно смело рассматривать как вопрос о существовании поэзии. Отрицать это — значит обречь поэзию на риск механицизма и технизации. Признавая свободу стиха, мы фактически отказываемся от любой возможной формальной скованности поэзии, оставляя из всех приемов и условностей стиха единственное — сам стих.

В чем же ценность верлибра? Зачем он нужен? Для чего писать без размера и рифмы, короткими неровными строчками? Версий существует несколько. Я не буду уделять здесь внимания расхожему утверждению, что верлибры пишут люди, не умеющие писать традиционных стихов. Упрощенность этой позиции видна невооруженным глазом. Сосредоточусь на двух других версиях.

**Версия 1. Люди пишут верлибры в пик у рифмованным стихам.** Это точка зрения профессиональных оппозиционеров от словесности. Верлибр при таком подходе — суперлитература и отличается от обыкновенной литературы так же, как рекламируемый стиральный порошок отличается от «обычного» стирального порошка. Линия рассуждений здесь следующая. «Нормальный» способ написания стихов с рифмой и размером исторически себя исчерпал. Рифмованные стихи скомпрометировали себя сначала в идеологизированной советской, а затем в развлекательной поэзии.

Появившись в горизонте русской поэзии, верлибр никак не связан с традиционными стихами и является законной альтернативой им. «Известно, что из груши нельзя сотворить яблоко, а детеныш вороны не может быть ласточкой. Известно также (по крайней мере профессионалам), что верлибр не „переписывается“ каноническим стихом, каким бы мастерством ни обладал переводчик, а, в свою очередь, ни один канонический текст не превращается в свободный путем снятия рифм и нарушения размера. Следовательно, искусство либрического и техника канонического стихосложения есть два принципиально разных метода освоения действительности. А это значит, что и в самом объекте исследования существуют зоны, доступные как только одному, так и только другому методу. Разумный подход предполагает ведение разработок по двум параллельным направлениям»<sup>4</sup> — таков вывод составителя «Антологии русского верлибра» Карена Джангирова.

Эта позиция представляется довольно грубым решением проблемы. *Любой* верлибр при такой постановке вопроса есть что-то однозначно совершенное, а написанные с размером и рифмой стихотворения Державина, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова и проч. по этой логике отдают чем-то одиозным. И я готов понять ортодоксов, которые после подобных высказываний грудью становятся за регулярный стих и уничижительно отзываются о стихе свободном. К тому же уважаемый составитель предлагает русским верлибристам вообще отказаться от родного поэтического поля и целиком и полностью прислушаться к романо-германским голосам: «*Контртрадиция* — вот слово, наиболее точно отражающее положение верлибра в русской литературе начиная с прошлых веков и вплоть до 70-х годов нашего столетия. Причем контртрадиция, испытывающая в последние десятилетия нарастающее влияние западноевропейской и американской поэзии»<sup>5</sup>. Автор этих строк не поясняет, почему лучшие верлибры на русском языке за редким исключением написаны людьми, первоклассно владевшими традиционной силлабо-тонической техникой. Да и в англосаксонской поэзии сочетание двух техник не редкость (классический пример — элиотовские «Четыре квартета»). Нет, нельзя противопоставлять верлибры и рифмованные стихи. Любители яблок вполне могут лакомиться и грушами.

<sup>4</sup> «Антология русского верлибра». М., 1991, стр. 7.

<sup>5</sup> Там же, стр. 8.

**Версия 2. Верлибры пишут рафинированные интеллектуалы с целью удовлетворения своей «страсти к умствованиям».** Это замечание верно в том смысле, что понимание верлибров и желание писать их требует определенного уровня владения художественной культурой. Свободные стихи родились вслед за белыми стихами именно в аристократической среде, иначе и быть не могло. Определенный налет салонности на них, безусловно, осел. Абсолютно прав писатель-католик Г. К. Честертон, заметивший: «Неграмотные люди любили искусственную резьбу и ритмичные, рифмованные песни; люди ученые любят голые стены и белый стих»<sup>6</sup>.

Авторов свободных стихов вообще очень часто обвиняют в удаленности от народа, во всяком случае, подчеркивают их «недемократичность» и «высококолобость». Но если приглядеться внимательней, недоброжелатели верлибра обвиняют только тех поэтов-модернистов, которые считают такой тип самовыражения истиной в последней инстанции и демонстративно противопоставляют себя сотоварищам по рифмованным стихам. Рифма для таких художников — дешевое усложнение, пошлый декор, излишество. Продолжим цитировать Г. К. Честертон: «Однако на примере поэзии нелегко разграничить простоту и сложность. Нелегко определить, в чем искусственность и в чем простота рифмы. Рифмованный стих прост потому, что искусствен. Именно такая искусственность радует детей и прочий поэтический люд; рифма — это игра. Как и плавание, и пляска, и рисование, она доступна каждому — но не сразу; она требует труда; и лишь немногие могут овладеть ею в совершенстве. Рифма — игрушка, игра, даже хитрость — из тех, которым так радуются дети. А тому, кто велик для детской, не войти в Царствие Небесное и даже в царство Аполлона». И абзацем ниже писатель добавляет: «Единственное мое возражение против нового искусства укладывается в одно слово — „гордыня“. ...Прежде художник верил в себя несмотря на свои провалы. Теперь он верит в себя благодаря им»<sup>7</sup>.

Еще раз отметим, что здесь критике подвергается не сам белый стих и не сам верлибр, а определенная модернистская программа, которой придерживались большинство авторов верлибров начала века. Честертон даже сам написал шуточный верлибр-обращение «К поэту-модернисту», заканчивающийся одной-единственной на все стихотворение рифмой:

Вы агитируете за Новое Искусство,  
но ваш призыв  
у меня вызывает позыв<sup>8</sup>.

Конечно, Честертон не является противником ни аристократизма, ни интеллектуализма, он противник *агрессивной рафинированности* указанных качеств (см. версию 1). Хотя на мой вкус, неизвестно, кто хуже — воинствующий умница-аристократ или полуграмотный любитель рифмованных военных песен. Первый был сочтен опасным только в неоромантической литературе, второй наделал бед в реальной истории.

В том и фокус, что, когда верлибры пишутся с целью исключительно интеллектуального самовыражения, редко получается что-то стоящее. Это справедливо для всей художественной литературы — она не ученый трактат. Цель написания любого стихотворения, в том числе и верлибра, очевидно, в другом.

### Апология верлибра

Когда погружаешься в чтение свободных стихов, почему-то кажется, что они удаются исключительно признанным поэтам. Когда большой поэт (*тра-*

<sup>6</sup> Честертон Г. К. Романтика рифмованных стихов. — В кн.: «Самосознание европейской культуры и искусства XX века». Западная Европа и США. М. — СПб., 2000, стр. 307.

<sup>7</sup> Там же, стр. 307 — 308.

<sup>8</sup> Честертон Г. К. Собр. соч. в трех томах. Т. 3. М., 1992, стр. 450. Перевод Г. Кружкова.

*диционно пишущий* большой поэт) сочиняет верлибр, последний притягивает внимание, завораживает, становится объектом интерпретаций. Никто при этом и не думает выступать против свободной организации стиха. Наступление на него начинается, когда за дело берутся поэты начинающие. В силу каких-то причин им редко удается написать действительно интересные свободные стихи. Складывается впечатление, что верлибр требует определенного эмоционального опыта. Верлибры не удаются слабохарактерным или эмоционально не окрепшим персонам.

Написание верлибра — всегда личная ответственность и самотестирование на поэтическую зрелость. Именно поэтому эталон поэтического мастерства — не умение написать сонет или французскую балладу, но умение написать верлибр. Сонет сегодня пишется с легкостью: гениальны были те, кто придумал такую форму и кто в *совершенстве* реализовал такую возможность словесной несвободы сразу после того, как она появилась. Но уже в эпоху итальянского Ренессанса сонет (конкретный итальянский сонет) исчерпался в различных самопародиях и был задавлен самим собою.

Неслужебные, не к случаю, «вольные» сонеты, сонеты-открытия, сонеты-фантазии, сонеты-универсумы появились лишь в Англии, освободившись от терцетов и вбрав в себя традицию «героической» английской парной рифмовки. И только отойдя от классических итальянских и французских паттернов, отдохнув и расслабившись в Англии, классический терцетный сонет вернулся к самому себе в девятнадцатом и двадцатом веках в сочинениях поэтов, вновь уверовавших в плодотворность его несвободы. К середине девятнадцатого столетия сонетная форма стала символом поэтического напряжения и в хорошем смысле скованности, воплощением, бытием поэтического времени, и все жаждающие «чистой поэзии» вспомнили именно о ней.

Верлибр пишется совсем не так, как сонет. Дело в том, что конъюнктурные и авторитарные жанры всегда стянуты формальными швами размера и рифмы. В современных условиях верлибр — это разновидность поэтического нудизма. Опять вспоминается рубеж двух ушедших последних веков. В той же самой среде ревинтелей чистой поэзии, возродивших из небытия сонет, и в то же самое время стали писать верлибры и стихи в прозе. Это, между прочим, критерий искренности интереса к чистой поэзии.

Итак, верлибр есть голый (вариант: чистый), не отягощенный ничем стих. Его время максимально демократично, насколько это возможно в поэзии. И пишут верлибры не от интеллектуальной чесотки. Графоманов много и среди традиционных версификаторов. Их пишут от жизненной необходимости, точно так же, как пишут другие стихи. Эта необходимость во многом продиктована культурной ситуацией конца Нового времени (XIX — XX веков).

Общество утратило традиционную систему иерархических ценностей. Появились большие города, а в них толпы неизвестно откуда взявшегося разношерстного народу. Как из-под земли выросли огромные заводы, и на них стали производить огромное количество товаров. Появились новые аристократы — не по рождению, а по достижениям на рынке. Социум стал чем-то враждебным для думающих людей, которые потерялись среди городских посредственностей. Как писал Макс Вебер, в трамвае не различишь, кто едет, профессор или чернорабочий.

При этом благодаря развившейся системе коммуникаций сузилось человеческое пространство. Земной шар из необъятного уже к середине XIX века стал маленьким и компактным. Человечество осознало себя единым целым. И когда в начале века началось «восстание масс», этот процесс очень быстро принял мировые масштабы.

Европейское человечество трагически долго осмысливало феномены массовости и глобализма. Очень уж они оказались неожиданными. Даже для того, чтобы осмыслить только свой *страх* перед вселенской массой, а не само это явление, европейскому обществу понадобилась мировая война, а потом еще одна, и только тогда были созданы международные органы общественного ре-

гулирования, написаны фундаментальные исследования специалистами различных профилей. Ученые, философы и политики запоздали с вердиктами. Пытаясь навести порядок в старом аристократическом мире, они слишком поздно заметили, что этот мир ушел в прошлое. И кинулись исследовать бессознательное и стихийное, проверяя на практике страшную гипотезу: а правда ли, что человек лишен от природы здравого смысла?

В среде писателей и художников, деятелей «модернизма» и «авангардизма» начала XX века, в их стихах и картинах — раздражение общественными процессами. Отсюда и неприятие традиционных форм и жанров, точнее, вольное к ним отношение. Отсюда и изобретение новых выразительных средств. И увлечение верлибрами возникло на волне писательского протеста рубежа веков.

Еще Макиавелли писал, что социальные конфликты и социальное раздражение благотворно сказываются на обществе, в котором существуют неразрешимые противоречия. Конфликты необходимо решать безотлагательно, а их решение ведет к возникновению обновленной социальности. Появляются новые формы искусства, новая философия, новые противоречия между группами и личностями, и как следствие — зреют новые социальные конфликты. В этом случае историки говорят о новом этапе развития, новой эпохе.

Все это человечество переживало, мягко говоря, не раз и не два. Но в XX веке, в эпоху глобализма и массовости, при очередном повороте колеса истории, когда очередные старые ценности перестали отвечать требованиям современности, *возникло разочарование в самой идее общественного бытия*. Общественное стало отождествляться с массовым, а массовое в эпоху до и после мировых войн воспринималось либерально настроенными людьми как однозначная угроза личной свободе.

В искусстве осознание социального кризиса всегда было связано с пересмотром системы жанров. Жанр, как правило, возникает по требованию общества, он всегда связан с желаниями публики и поэтому есть явление популистское. Тот же сонет возник как требование и как итог средневековой куртуазной культуры. *Но жанровость поэтическая всегда связана с особенностями версификации.*

Отказ поэтов писать с рифмой, а потом и с размером есть частный случай указанного разочарования жителей XX века в социальности. Не случайно верлибры возникли и вошли в моду параллельно с экзистенциализмом. Я осмысляю свободу своего существования, зная, что я смертен, и мир смертен, и речения мои смертны, но именно из-за смертности у меня есть уверенность, что я свободен. Парадокс? Не более, чем все мое существование, такое же абсурдное и нелепое. Все, что мне осталось, — «иллюзия и дорога», как писал ранний Бродский<sup>9</sup>.

Вот объяснение, почему верлибры удаются только опытным поэтам. Их чувства и мысли интересны и не будучи завернутыми в одобренную обществом упаковку. Когда человек пишет верлибр, он претендует на уникальность мироощущения, на тонкость понимания своих и чужих эмоций. И он должен знать, как написать об этом не банально. Писать верлибры, не познав самого себя, не ответив на важные для себя вопросы, связанные с экзистенцией, бессмысленно. Право пребывать в башне из слоновой кости и не чувствовать себя при этом в изоляции нужно заслужить.

Выступать против верлибра — значит выступать против права свободной личности уйти с вечеринки или парада. Запрещать верлибр — значит бороться со свободой слова. Отворачиваться от верлибра — значит игнорировать чувства пишущего. Он необходим думающим поэтам для временного творческого

<sup>9</sup> Кстати, показательно, что Бродский, разочаровавшийся не только в идее социальности, но и в идее существования вообще, демонстративно писал размером и рифмой. Силу жить ему придавало чувство трикстера — пребывать в смертности еще при жизни. Квинтэссенция его поэзии: все живое — на самом деле мертвое, а все мертвое — живое. Социального не существует, а несуществующее тоже социально. Как у Гераклита и у Элиота. Дорога вверх и дорога вниз — одна и та же.



эскапизма, для загорания в голом виде на потаенном берегу словесного искусства.

Итак, верлибр порожден радикально негативистскими стремлениями поэтов. Он и определяется, по существу, негативными признаками — *без рифмы, без размера*. Конечно, это самый резкий поэтический протест из всех, бывших ранее, но надо признать, и общество обошлось с поэтами резко. Определенная агрессивность поэзии здесь продиктована самосохранением, а стало быть, является доброкачественной.

### «Стихотворения в прозе». Заключение

В конце XIX века появились «стихотворения в прозе» и так называемые *версе*. Новое дыхание обрел жанр афоризма. Все эти формы правильнее было бы назвать *поэзией в строчках*, строчной поэзией. Строчная поэзия и верлибр изначально жили по одним законам и явились результатом недовольства литераторов общественными процессами. В отличие от верлибра, строчная поэзия могла пользоваться традиционными средствами прозы — диалогичностью, полифонией и т. п. Эта форма поэзии генетически возникла из прозы, которая, если так можно выразиться, «пропиталась» обаянием абзаца. Вспомним: стихи в прозе не бывают длинными именно потому, что ориентированы на абзац, а не на господство бесконечной строки.

Но зачем же писать стихотворения в прозе (а также *версе*, метрическую прозу и рифмованную прозу)? Зачем эта видимость, кажимость прозаического текста?

Не случайно стихотворения в прозе появились в русской словесности сразу вслед за литературой реализма, известной своим социально-обличительным пафосом.

Прозаик не может, в отличие от верлибриста, игнорировать социальность. Проза не имеет смысла вне общества, вне обмена мнениями, даже авторы дневниковых заметок надеются на их прочтение. Но вскрывать социальные «язвы» прозе сподручнее — и она это делает, становясь максимально короткой, поэтичной и насыщенной призывами. Так привлекает декларация. Так привлекает листовка. Тургенев и Лотреамон, Эллис, Максим Горький и Андрей Белый пытались каждый по-своему заклеить социальность старую и «нащупать» контуры нового общества. Показательно, что в советские годы стихи в прозе прописались на эстраде, призванной клеить, высмеивать общественные пороки<sup>10</sup>.

Конечно, со временем стихи в прозе во многом растеряли свой запал, стали добрее, рассудительнее, как и верлибр становится вроде бы более упорядоченным. Возникнув, литературные формы побеждают самих себя. Совсем как люди, которые, добившись своего, задумчиво смотрят в пространство...

<sup>10</sup> На мой взгляд, лучшие эстрадные монологи написаны именно в формате «стихов в прозе». К этому приближались некоторые написанные в сказовой манере рассказы Зошенко, но подлинным достижением здесь, безусловно, является творчество Михаила Жванецкого. Автор афоризма «Литература — это искусство избегать слов» достоин того, чтобы его рассматривали как «строчного поэта». Он часто заявляет в интервью, что писатели-прозаики не признают его за своего, что, мол, его миниатюры не являются «чистой литературой». Я бы сказал, что они не являются чистой прозой.

Это классические «стихи в прозе» с их ритмическими повторами, переносами, перескоками, которыми автор постоянно пользуется для создания комического эффекта. Шедевром вышучивания может являться, например, «Рассказ подрывника». Местами Жванецкий даже переходит на метрическую прозу: «...Вашей жизни, нашей школы, всей отныне» («Первое сентября»). Или: «Говорят, что карта мира не имеет белых пятен, что открыты острова и плывут материки, очертания известны, течения интересны...» («Карта мира»). Даже знаменитое «Те вчера по пять были очень большие, а сегодня маленькие, но по три» подчиняется определенной стиховой мерности. Делает это он, конечно, вряд ли сознательно, но механизм успеха и запоминаемости многих строчек, думается, связан именно с этим.

# Р Е Щ Е Н З И И . О Ъ З О Р Ы

## «МЫ ТАК ХОХОТАЛИ»

Марина Москвина. Гений безответной любви. Екатеринбург, «У-Фактория», 2001, 462 стр.  
Марина Москвина. Мусорная корзина для алмазной сутры. — «Знамя», 2001, № 5.

**И**з справоч, помещенных в «Знамени» и в книге, неосведомленные могут узнать, что Марина Москвина — известная писательница для детей (переведена на датский, английский, японский, диплом Г. Х. Андерсена, ведущая популярной радиопередачи), а вот во «взрослой» прозе — она фактически дебютантка.

Удачен ли дебют?

В книге два романа и цикл «Уральских рассказов». Ну, рассказы про мальчика Леню из городка Нижние Серги, лежащего меж четырех уральских гор, — это милые, исполненные доброты, юмора и легкого нравоучения, но совершенно «детские» рассказы. И в отличие от «Тома Сойера» и даже, пожалуй, от «Чука и Гека» и «Голубой чашки», что-то в них есть «понарошное», специально для детей причесанное или, возможно, больше литературным, чем жизненным опытом обеспеченное, как, впрочем, и полагается «детскому» произведению средней руки. Отодвинув в сторону этот, в общем-то, приятный сюжет, займемся вещами для взрослых.

Все три романа — «Дни трепета», «Гений безответной любви» и «Мусорная корзина для алмазной сутры» — написаны от первого лица, от женского «я», что выдержано с редкой методичностью.

Я хочу выйти замуж за первого встречного. Но мой папа Йося сует нос в мои дела и не дает мне разгуляться... Знаешь ли ты, что ты, Йося, давно мне никто? Все конечно между нами, я больше не вернусь на твой зов.

Несмотря на фантастические повороты сюжета, можно определить «Дни трепета» как историю девушки из еврейской семьи, живущей в советской тесноте вместе с родителями и страстно вождедеющей жениха или хотя бы любовника. Время — «предгайдарье», конец перестройки, секонд-хэнды, запасы макарон, отсутствия всего и вся. Возраст девицы не ясен. Во всяком случае, по внутреннему ее ощущению она уже перезрела. А родители все отвергают «недостойных» женихов. Эпизоды и остроты «из еврейского быта», восходящие к юмору Шолом-Алейхема и пародирующие патетику речей народа Торы, соседствуют в тексте с плоскими хохмами современных еврейских анекдотов, с нелепыми перипетиями «комедии адюльтера» и так далее и тому подобное.

Наконец находится некий калмык или не калмык, перс из Средней Азии, словом, «лицо азиатской национальности», мусульманин вроде бы, по имени Тахтамыш. Дальше якобы реалистическая проза плавно переходит в сказки разных народов. Тахтамыш сумел уговорить Милочку (так зовут героиню) и ее родителей до того, как они поженятся, выдать ее фиктивно замуж за своего якобы брата. «Брат» оказался косноязычным карликом. Их венчает отец Питирим в Елоховском соборе. В ресторане, в свадебном застолье, при невероятном скоплении разноплеменных уродов, называющих себя «новыми русскими», а также в присутствии еврейской родни невесты карлик-жених вдруг объявляет, что брак этот не фиктивный. Отец пытается сражаться за свою обманутую дочь — конечно, смешно и карикатурно. Тут в дверях появляется видимый только невесте ангел с коричневыми крыльями, «кrapчатыми, как у ястреба». Милочка выходит за ним из зала. И — наконец-то, ликуя, совокупляется с неведомым «партнером». Голубое сияние плывет над ними в гардеробной ресторана, под завесою плащей... Жених-карлик подавился-испарился, как полагается в сказке. Родители признали «партнера». «Он излучает спокойствие и тихую ясность, а также абсолютную, безусловную ошеломляющую любовь».

Уф, еле управилась. Конечно, Милочку можно поздравить — она вырвалась из экзотической еврейской среды, где отец, как йети, зарос волосами, в том числе в носу и на носу, он стриг себе все это и «не стеснялся» (бедный Йося «за стеклом» в своей квартире), а волосы с ног у него сами падали и лежали на полу ковром (разрядка в цитатах моя). Родня его, все эти «Хоня, Мона, Илья, Авраам, сын полка Тима Блюмкин, муж Хониной сестры Вова, очень еврейский еврей Соломон, Изя-старший» и основатель семьи, дед Аркадий, — все обладали такими большими носами и странными привычками, что дико делалось.

С другой стороны, из ее судьбы, слава богу, выпали не только карлик-муж, но и мнимый брат его, Тахтамыш, — интеллигентный человек, сын погонщика верблюдов, носитель татарского эпоса. Ей несказанно повезло — она нашла партнера, как и полагается современной девушке нормальной западной ориентации.

А что же читатель? Читатель устал. В аннотации к книге говорится о «карнавальном мироощущении». Это не карнавал. Это турецкий базар, где нет иерархии вещей. Где соленые помидоры лежат на индийских шелках, где алмазные остроты затоптаны в тесноте и мешанине, а фальшивые стекляшки (попадают и такие) дразнят глаз на прилавке... Зачем, например, на этом карнавале отец Питирим и Елоховский собор, которые в любом русскоязычном тексте не могут не значить ничего — а здесь катятся, как пустая жестянка по асфальту. Дина Рубина, автор предисловия, восхищается мастерством Москвиной-повествовательницы. «Как она это делает?» Да так, как делали и раньше хорошие мастера. Неожиданные и смешные перечисления, как у Рабле (помните знаменитый перечень «подтирок» для зада, увенчанный пушистым гусенком?), боковые сюжеты-сценки, как у Гоголя (поручик, примеряющий сапоги ночью в гостинице, в «Мертвых душах»), — все она умеет прекрасно, но это работает вполсилы: слишком много, слишком извилисто. Какое-то домодельное рококо.

Как, судя по ее же описаниям, и те удивительные свитера, которые она вяжет друзьям и поклонникам: «На груди Иаков, борющийся с Ангелом, на спине — переход Суворова через Альпы, а на руках скалистые ландшафты островов Франца-Иосифа, птичий базар и полярное сияние».

Мы жили, и разве это не было здорово? Мальчик и Левик шагали по улице, а я из окна смотрела им вслед. И разве это мгновение не было нашей вечностью?

«Гений безответной любви» — самое доброе из всех безусловно добрых сочинений Марины Москвиной: о ее первой любви, о друзьях — художниках и журналистах, о ее замужестве, семейной жизни, ее буднях и мифологии. И самое внутренне осмысленное, взвешенное. Героиня романа — Люся (см. Мила в «Днях трепета») по прозвищу Мишадоттер. Теперь отец у нее еврей, а мать русская. История брака — другая. Но, по существу, — это все та же героиня. Отец — на сей раз преподаватель, а не барабанщик, но его еврейская родня так и тащится за ним по тексту. Хотя здесь это, в общем, не так важно. Этот колорит наряду с буддизмом, экзотическим вязанием и психоанализом — лишь одна из красок на полотнах нескольких рассказов. Я не говорила. Где-то с середины становится ясно, что «роман» состоит из серии глав-рассказов: это части романа же «Утопленный», который пишет героиня, записки и признания, которые Люся адресует своему психотерапевту Гусеву, устные монологи и диалоги (с тем же психотерапевтом). Муж, сын, друзья только изредка подают реплики. Драматизм происходящего заявлен тем, что Люсе предсказана скорая смерть и она торопится писать свой роман, чтобы увековечить «всю свою жизнь», а также «тех, кого я люблю и кто любит меня, для кого я еще что-то значу». В это же время она, тяжело пережив измену мужа, лечится у психотерапевта. В итоге: надо не исчезнуть — этого нельзя, а жить другую, следующую жизнь, как полагается у буддистов.

Люся сдержанна, насмешлива, мудра, весела и только чуть печальна. Она вспоминает «для врача» различные события своей жизни. Вот как звучит эпизод изнасилования, случившегося когда-то: «Вновь и вновь прокручивая эту киноленту, я вижу

два раскаленных провода, две горячие линии, по которым шли токи моего сознания: *выжить и наблюдать* (здесь и далее курсив автора. — А. Ф.). Тогда я еще не знала, что выжить в подобных случаях сложнее всего потом, однако при общем оптимистическом настрое и некотором жизнелюбии стресс от насилия длится совсем недолго — лет пять или шесть... Однажды я не выдержала и рассказала об этом Левику (мужу. — А. Ф.). Но Левику стало так страшно, что он *ничего* не услышал».

Рассказы и эпизоды написаны в разной тональности, и только общие герои поддерживают их сосуществование. Самый лучший (глава вторая) — «Ричард Львиное Сердце», об отце героини. В отличие, скажем, от «Дней трепета», его хочется перечитывать, и не раз. Недурна и «Улыбка Фредерика» про «усыновление» маленького кита. А также глава седьмая — «Почему на Ван Вэя не садились птицы» — о смерти Люсиного друга, художника Паши Финикова. Прелестно аукается в каждом рассказе сквозная новелла о Коле из Гваделупы, который звонит по ночам со своего острова с самыми неожиданными сообщениями.

Москвина любит строить ассоциативные цепочки из эпизодов и отвлекаться на вставные новеллы. Есть в этом калейдоскопе, конечно, и просчеты. Пресным довеском выглядит история о бывшей домработнице Сушкиной в главе «Матрац летчика». Глава одиннадцатая «Бэсса мэ мучо!» — о тараканах — читается как эстрадный номер и диссонирует с мягким «семейным» юмором «Ричарда Львиное Сердце». Не слишком удачная выдумка — баночка йохуимбе (каламбурно обыгрывается название лекарства от импотенции) как финальный штрих, единственный предмет, оставшийся после ушедшей в «другую жизнь» героини (глава тринадцатая — «Мертвый корабль»). И зря отец, похороненный во второй главе, бодро воскресает в этой, последней.

К этому моменту роман автору надоедает. Шутки, пародии, каламбуры, литературные намеки так и сыплются в якобы печальном финале, и создается ощущение, что Москвиной хочется покинуть не в меру затянувшийся сюжет и вернуться к привычному жанру юмористического устного монолога: «мимо чего иду, над тем и шучу». Воспоминания детства помогают ей вырваться к некой «буддийской» фантазмагории перехода в другую жизнь, свести в пучок потерянные и рассыпавшиеся нити повествования и закончить его все-таки не «йохуимбе», а многозначительной фразой: «Я... с легким сердцем — в который раз! — отправилась в великий серый бесформенный лес». По причине ассоциативной круговерти роман не легко укладывается в памяти. Тем не менее мастерство, неожиданный ход мысли, разнообразие юмора увлекают с любой страницы, где ни открой. Это ли не достоинство?

Недолго мучилась старушка  
В высоковольтных проводах.  
Ее обугленную тушку  
Доели ежики в кустах.

(Из детского юмора.)

Есть в буддизме такое понятие — «корзина сутр», то есть собрание преданий и притч, составляющих основу учения. В «драгоценной корзине» содержатся три драгоценности: Будда, Дхарма и Сангха — «три источника буддийских верований и практик». Бодхидхарма — имя наставника в буддизме. Ну и так далее. Все это я вычитала во 2-м томе издания «Религиозные традиции мира» (М., 1996), но при обращении к «Мусорной корзине для алмазной сутры» много ясности мне эти сведения не прибавили. Должно быть, оттого, что, как извещают нас в начале и в конце этого буддийско-российского сочинения, писала его «короткоухая такса», а консультировал «учитель Сью-Юнь по прозвищу Порожнее Облако». Подводя итог повествованию, автор благодарит консультантов и обращается к читателям: «Вот вам россыпь историй про моих стариков...» Истории нумерованы, как и полагается сутрам в корзине. Старики эти — лубочные прародители главной героини по русской линии, явленные из семейных апокрифов, а также ее деды и бабки и их приятели, проживающие сейчас (кто еще жив) в дачном поселке старых большевиков под Москвой близ станции Кратово Казанской железной дороги. (Короткоухой таксой главная героиня предстает временно и фигурально.)

Персонажи, изречения, ситуации дзэн прицеплены к этим историям, как мне кажется, из тех же соображений, из каких Мольер вставлял в свои комедии «турецкий» язык и «турецких» действующих лиц.

Во-первых, дзэн — это все еще модно.

Во-вторых, само такое сцепление — еще одна грань смешного.

В-третьих, помогает придать сюжету тот уровень легкомыслия и необязательности, который без усилий скрывает настоящие размышления юмористки, может быть, гораздо более сложные и нелюбимые. В семейной саге Москвиной дзэн замешает собой тот объем, который у большинства «серьезных» авторов занят историей, идеологией и политикой. А у Гоголя и Булгакова — чертовщиной. Тематика «старых большевиков» пересекается с тематикой дзэн наподобие слов в кроссворде. Большевики по горизонтали, дзэн по вертикали. Основные термины пересечения: «просветление» и «превращение». Без «превращения» Москвина — автор сказочный и своевольный — не может обойтись. Да и сама конструкция «корзины» — тоже свежая и модная придумка: тут и мелкое дробление текста, и неожиданные жанровые перепады, и непредсказуемое течение фабул сразу в двух-трех планах. «Так... рюши, банты, здесь узор; все это к моде очень близко». Оглядитесь в электричке. Что у людей в руках? — кроссворды, сканворды.

Накушавшись судьбоносных истин, наглядевшись на фабулы, которые растут из жизни, как деревья, словом, начитавшись «Толстоевского», «Сартра — Камю» и прочая, и прочая, профессионально ориентированный читатель потянулся к рубленому тексту — к тому, что написан под номерами, «по диагонали», «с подстежкой», «через один» — смотри Милорада Павича.

Что касается заглавия, не думаю, что вымирающая компания «моих стариков» — это и есть для автора мусорная корзина. Должно быть, Москвиной понравилась звукопись (*p, z, y...*). Впрочем, в тексте дзенькающего романа есть опора для заглавия — эпизод сорок первый: кот Пушок был ужасный бандит. Для укрощения ему четыре раза прочитали «алмазную сутру». Он прочувствовал это, даже четыре раза воззвал на буддийский лад: «Фо! Фо! Фо! Фо!» А ночью все обгадил, в том числе и «сутру», и убежал. Пришлось «сутру» выбросить в мусорную корзину. Этот комический эпизод подпирает здание текста еще с другой стороны. Он настраивает недоумевающего читателя на нужный лад — не стоит искать в этих буддийских мотивах какой-либо идеологической утяжеленности, это просто прием «остранения» текста, перевод его из жизнеподобного жанра в развлекательный. Правда, этот намек появляется уже к самому финалу (всего «сутр» 45).

По жанру истории о стариках очень разные. Некоторые травестируют буддийские тексты на основе нашей (примерно 90-х годов) действительности, другие похожи на сказку, третьи — на лубок. Где-то проглядывает абсурдистский рассказ (всегда сравнительно с Хармсом растянутый), где-то бывальщина, побрехушка, какие встречаются у Юрия Коваля или Олега Ларина, только из совершенно другого быта. Есть неплохая эстрадная миниатюра о том, как неграмотная бабушка Груша поразила профессора математики Финкельштейна своим умением считать доходы и расходы. Попутно пародируются жития святых на материале из русской жизни XX века. Что не всем, может быть, понравится. А также истории арестов и анекдоты времен войны-послевоенной. Анекдот про аресты звучит так: «...а также чету Коган-Ясных, прославившихся в поселке тем, что Семен Аркадьевич каким-то чудом вернулся из сталинских лагерей, где в общей сложности провел без права переписки двадцать четыре года по обвинению в безродном космополитизме. А его жена Эля на пятнадцатом году заключения Семена Аркадьевича достигла просветления, глядя на цветущую сливу в саду у тети Пани Вишняковой». Таких заковыристых эпизодов и эпизодиков в тексте не счесть, но этот пример — особенно подходящий. Не покажется ли многим дико то, что здесь нарочито дурашливо передернуто? Конечно, Москвина знает, что была — расстрельная! — формулировка приговора «10 лет без права переписки» (а не 24), что за космополитизм брали в другую эпоху и сроки были другие, что для сотен тысяч людей (читателей в том числе) эти слова определяли преждевременную гибель их близких и в любом случае повернули их судьбу. Иные «космополиты» и сами еще не перешли в «другую жизнь» и даже не разучились читать. И вот теперь оказыва-

ется, что «без права переписки» и прочее — пустое клише, такая считалочка-ско-роговорочка: эники-беники ели вареники, эники-беники-ба.

А что сказать о сутрах 37-й и 38-й? Дело происходит во время и после войны. Солдат Паша переписывается с бывшей домработницей Лушей, живущей в поселке в семье деда рассказчицы — одного из главных героев семейной саги, старого партийца и дзэн-буддиста, рыжего и конопатого Степана Гудкова. Солдат Паша попросил Лушу прислать на фронт ее фотографию. Дед Степан сунул в ее письмо свою фотографию в бабьем платке. Солдат Паша перестал писать, но все-таки поехал после войны по этому адресу, чтобы встретиться с Лушей. Увидев Степана, он был поражен обманом, но потом Степан *просветил* его, что жизнь — «поток меняющихся форм» и «ни одна из них не реальна». А после и Луша объявилась.

Не обойтись без длинной, как ее ни сокращай, цитаты, а то не поймете, что такое здесь «сутра»:

«Степан Степанович как захохочет: „Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!”

— Значит, все это просто шутка?! — в ярости и отчаянии воскликнул Паша. — Мы там за вас кровь проливали, а вы?! — кричит. — Вы! Вы!

Степан глядит на его лицо внимательно, неотрывно и видит, что все погибли у него. Ни родни не осталось, ни дома. После того, что он пережил на войне, ему даже некуда податься. Все было истреблено неясными стихиями. Сюда он ехал с последней надеждой на счастье. Но люди обманули и предали его. Короче, Степан Гудков ясно понял, что этот парень является потенциально великой личностью дзэн, полностью созревшей для внезапного просветления...

— Смотри! — приказал он Паше-солдату, ударив себя в грудь кулаком.

Смотрит Павел, а перед ним стоит его мать... И вдруг — раз! Мама превратилась в отца... Зато его отец превратился в немца, которого Павел убил в рукопашном бою, штыком заколол... А напоследок Павел увидел Владимира Ильича Ленина, которого он никогда до этого не видел, но сразу понял, что это он.

Паша — бух! На колени.

— Владимир Ильич! — он бормочет и руки протягивает: — Владимир Ильич...

Но Ленин затуманился, подернулся розоватой дымкой, а когда туман рассеялся, вновь перед Пашей ясно и определенно возник Степан Степанович. Вся тьма вещей, те, кого Паша любил и ненавидел, невозвратимое и утраченное, — все было, как это ни странно, в одном лице Степана Гудкова.

— Да кто же вы?! — вскричал тут Павел, вообще не понимая, на каком свете он находится.

— *А ты-то кто?* — спросил Степан, и тысячи громов разом громыхнули над Пашей-солдатом.

Тут что-то замерло внутри у Паши, как будто он только что родился и ничего не понимал.

Настала такая тишина, что даже яблоки за окном перестали падать с яблони... Матильда (жена Степана. — *А. Ф.*), которая хотела убрать со стола, почувствовала важность происходящего и оцепенела, подняв тарелки, чтобы как-нибудь случайно не звякнуть, не спугнуть момент.

Паша-солдат уходил все дальше и дальше в себя, домой, в свою бессмертную сущность, туда, где нет тревог, нет страха смерти, ужаса войны, страстей, желаний и немыслимых надежд на мирную послевоенную жизнь...

Он уходил, как рыба в глубину, к истоку своего бытия... еще немного — он бы не вернулся, исчез в нирване, только бы его и видели.

Но тут Степан Степанович с силой дернул Пашу-солдата за нос. Паша вскрикнул — и именно в этот момент обрел полное, абсолютное и окончательное просветление.

— Да меня ведь нет!!! — сказал он радостно.

— Конечно! — воскликнул Степан ликующе, хлопнув себя по ляжкам. — И меня тоже нет! И ее нет.

— Ах! — облегченно вздохнула Матильда и с грохотом опустила тарелки в раковину.

.Павел поклонился Степану Степановичу и вышел на улицу...

Идет Паша — весь светится. Видит, навстречу ему движется некий светящийся объект. Это Луша помыла в столовой посуду и возвращалась домой...»

Превосходно написано, не правда ли? Но как поставишь это рядом с историей просветленного кота, как в таком соседстве припомнишь: «Все погибли у него...» — как-то делается не по себе.

И хочется вдруг сказать: «Что-то очень вы — хозяйка сочинения, „маленькая клетчатая тетечка“, как вы себя рекомендуете, — на другое „клетчатое“ создание походить начинаете, на господина Коровьева. Не текст похож, упаси боже, а просто: клетчатый прикид, оптика слегка треснула... Только он был персонаж, и его хозяин Булгаков Михаил Афанасьевич знал, зачем его персонаж шутики шутит и к чему „мастер“ повесть ведет. А вы уверены, что знаете?»

Почему так неприятны некоторые истории из «Сутры», в том числе и эта?

Москвина берет обычные слова («...все погибли у него. Ни родни не осталось, ни дома») — не сленг, не клише, не жаргонный косорылый говорок, — слова эти самые простые, которые определяют горе и беду. И она делает их пустыми, приготовленными для разудалого игрища, то есть лишает уже не персонажа, а читателя слов, которые выразили бы его боль, его судьбу.

Мастерство и остроумие повествовательницы побуждают читателя двигаться дальше. Но и закончив чтение, он остается в недоумении, скорее неприятном. Общеизвестно, что любой текст должен иметь логику в собственной системе координат; в том числе и абсурдистский рассказ обретает свою систему в отталкивании от фона — от «обычной» житейской логики, а не в чистой произвольности. Ну с какого такого перепугу бывшая студентка-хохотушка, бывшая зека — член семьи врага народа Света Бронштейн — в 90-е годы жена сумасшедшего скопидома Орешкина из поселка Кратово, после смерти вдруг объявлена богиней Дэви, женой Шивы? Какой-то индус выкупает у Орешкина ее мертвое тело. Орешкина завалило насмерть его же запасами. Как видим, Москвина могла бы объявить богиней Дэви и кошку Мурку (кот Пушок был бы Шивой, а Орешкин — Клеопатрой).

От всего такого остается впечатление подвоха, розыгрыша, «подставы». То есть — что здесь смеются не над «чужим», как в «национальных» анекдотах, и не над собеседником вместе с ним, как в иных шутках; здесь подстроили ловушку читателю и смеются над ним без его участия. И неуловимо — над чем, собственно, потому что прицел автора неточен.

...Первый и второй эпизоды «Сутры» как бы продолжают рассказ о писательнице, героине «Гения безответной любви», — они написаны печально, мудро и, как всегда, грустно-смешно. Сообщается, что близкие — муж, сын — отдалились от нее и она от горя стала «короткоухой таксой» или даже «никем».

«Порой меня охватывают приступы тоски, и я, закинув морду к небу, вопрошаю Господа нашего Иисуса Христа:

— Кто я, в конце концов, черт побери, дитя человеческое или короткоухая такса?

И голос свыше мне отвечает:

— Ни то, ни другое!

— Но кто же я тогда???

А он отвечает мне:

— Ты никто».

Повествовательница загораживает свою растерянность, свою тоску, ослепляет читателя каскадом острот, фейерверком шуток и выдумок в остальных сорока трех эпизодах, составляющих «роман». С малоформатным юмором у нее всегда все в порядке. На троих юмористов хватило бы.

Кого-то вполне устроит этот фестиваль. Мне кажется — тех «профессиональных» читателей, у которых слово уже не возбуждает чувствований. Для них слово, обеспеченное «никем», даже приятнее. Возможно, Москвина сейчас на распутье. Или выявлять себя в своем искусстве — что, согласитесь, трудно вообще и трудно потому, что не женственно, но ведь автор-то не может быть никем. Или продолжить свои остроумные развлечения в какой-нибудь еще модной аранжировке.

В некоторой степени ту «неточность прицела», которая встречается во всех трех романах Москвиной, можно объяснить тем, что у нее, как повела нам Дина

Рубина, длительный и блестящий опыт устного рассказа в дружеском кругу. А в привычном устном рассказе и поддержка интонацией совсем иная, и ответственность за слово кардинально отличается от той, что в печатном тексте.

Но это частности. Хотелось бы обобщить.

Марина Москвина — изобретатель эксклюзивного, неповторимого слога, что редко встречается, искательница и созидательница новых жанров, что встречается еще реже и только при высоком уровне мастерства... Марина Москвина блестящий, неисчерпаемый юмористический и, естественно, печальный писатель и выдумщик. При всех огрехах, которые я с дотошностью старалась вытащить на свет, ее нельзя не полюбить как автора: эта затейливая сказительница обладает перспективным, великолепным талантом. Может быть, мы пока еще не вполне понимаем ее — к оригинальному надо привыкнуть. В «Гении безответной любви» сочинительница романа «Утопленник» — как всегда, не слишком серьезничая — собирается забрать в литературное бессмертие всех своих близких — своих героев. «Да, я хочу запечатлеть каждую деталь, успеть спеть... песнь любви небольшой толпе людей, которые повстречались мне на пути... чтобы все они обрели бессмертие под моим пером».

Путь открывается смелому. Но и запрос обязывает. С неполновесным словом в «бессмертные» никого не выведешь. По сему случаю пожелаем Москвиной духовных сил и творческого равновесия. И еще чего-то, о чем судить не нам.

Книгу «Гений безответной любви» иллюстрировал прекрасный художник Леонид Тишков. Сдержанный юмор его графики, намеренно напоминающей Шагала, приятно оттеняет неистовый бурлеск Москвиной. На передней крышке переплета — портрет долгоносой девушки, устремляющейся в полет. На задней — она, уже летящая, касается правой рукой фотографии смеющейся Москвиной.

«Мы так хохотали».

Анна ФРУМКИНА.

✱

## ЖИЗНЬ И РЕЧЬ

Владимир Салимон. Возвращение на землю. Книга новых стихотворений. Издательский дом «АСВ Акрополь», М., 2001, 175 стр.

**Н**овая книга Владимира Салимона включает в себя почти триста стихотворений, написанных меньше чем за два года — с августа 1999-го по июнь 2001-го. Это очень много. Почти полторы сотни стихотворений в год. Стихи, как правило, короткие — две-три строфы. Чаще всего — четверостишиями, но не всегда, строфика скорее свободная. При таком объеме и структуре книги каждое стихотворение само начинает играть другую роль, нежели в книге, состоящей, скажем, из двадцати — тридцати произведений. И интересно посмотреть на этом примере на поэтический сборник как на жанр.

Мы можем отнестись к такому сборнику как к более-менее случайному набору стихов, написанных поэтом за определенный им отрезок времени. У такого отношения и со стороны поэта, и со стороны читателя есть все права на существование. Можно сказать: поэт всю жизнь пишет одну книгу, и допустимо только одно расположение стихотворений — по хронологии. В этом случае важно отдельное стихотворение и все творчество как целое; разбивка на книги вообще несущественна — есть листья травы и есть цветущий луг, и никаких клумб! Но книга стихов может выстраиваться в некоторую метаструктуру, в некоторое предопределенное авторским замыслом сверхвысказывание. Само по себе формирование книги стихов внутренне противоречиво. Поэт работает со словом на микроуровне — на уровне слога, фонемы, смысловых обертонов, полисемантических переключек и сцеплений. Работа отливается в целое — в стихотворение. Стихотворение является самостоятельной ценностью и несет в себе вполне определенный смысловой заряд,



не нуждающийся в дополнении или комментарии. А потом поэт берется из этих больших блоков, вообще-то не подогнанных один к другому, выстроить еще одно высказывание, пользуясь стихами как словами языка и порождая своего рода вторичную семантику. Если стихи не делятся в книге на жесткие тематические разделы, где тема совершенно ясно выражена (скажем, «Времена года» или что-то в этом же роде), если высказывание, порождаемое книгой, нужно реконструировать по наитию, угадывая авторские принципы построения, то шансов на удачу очень мало. Смысл такого «вторичного» высказывания для читателя слабо уловим и практически произволен. Для того чтобы состоялась книга как целое, необходимо умаление каждого отдельно взятого стихотворения, сознательное недописывание, невыделенность и недоосуществленность. Поэт почти никогда не идет на такие жертвы. Для него едва ли не всегда стихотворение важнее, чем собрание стихотворений, каким бы интересным оно ни было.

Книга Салимона — это стиховой поток. Это тот редкий случай в русской поэзии, когда поэт жертвует стихом — книге. И стихи срастаются в словесную ткань, кристаллизуются, образуют внеположную стиху структуру. Стихи короткие, недоговорены, незавершены. Кажется, поэт начал говорить, и слова выстроились в отчетливое четверостишие, а потом что-то сломалось, засбоило, пошло вкривь и вкось: ритм нарушился, и высказывание осталось незавершенным — а значит, открытым. Его можно продолжить. Можно поставить рядом один или несколько таких же незавершенных вариантов. Можно попытаться еще раз обыграть образ или потому, что он удачен, или, напротив, потому, что сомнителен. Первый раздел книги Салимона называется «Фактура грубого холста», последний — «Песка и глины смесь». И то и другое — неделимо и неперечислимо. Это — сплошной и плотный фон, на котором детали выделены как шероховатости и отступления.

Такая внешняя структура ненасильственна. Она не сковывает слово и дает возможность каждому стихотворению остаться самим собой, будучи в то же время включенным в общее движение. Она естественна, как течение широкой реки или спонтанной речи. Поэт говорит много слов, чтобы одно из них сверкнуло. У читателя может возникнуть ощущение, что остальные слова излишни. Но ведь разным читателям сверкнут разные слова, поэтому не надо торопиться с выводом.

Поэт смотрит на мир ошарашенными глазами. Он — вечный первоклассник. Он не может привыкнуть к вещам, которых мы давным-давно не замечаем. На него «листья падают, как кирпичи» (Юрий Кузнецов).

Ложка дегтя —  
к чувству локтя —  
в довершенье ко всему.

А зачем и почему?  
Никакого смысла.  
Фраза в воздухе повисла.

Если мы попытаемся говорить так, как это делает Салимон, замирая в растерянности и недоумении перед каждым словом, перед каждой фразой, — мы вообще ничего сказать не сможем. Для того чтобы речь продолжалась, слово должно потерять свою полноту, пожертвовать чем-то, иначе речь бессвязна — она набор слов. Для ребенка его кубики не просто строительный материал, для него — каждый узнаваем и одушевлен. Каждый кубик не менее ценен, чем дом, построенный из них. Салимон строит из кубиков-слов. Он не говорит словами — он говорит слова. Говорит и смотрит, что получилось. Ничего не понимаю. Смысл утрачен, да и был ли он? Поэт не боится выглядеть глупо, не боится остаться за пределами принятого поэтического дискурса. Вот и «дискурс» этот самый, да есть ли он? «Никакого смысла», опять «фраза в воздухе повисла». Смыкание слов, срастание их в плотную ткань происходит минуя фразу, строку, строфу, стихотворение и порождает книгу как целое. Сама возможность речи возникает как следствие существования смыслового потока, который еще довербален.

Поэт задает вопрос: «В чем смысл?» Но ответа — не предполагает.

В глубоких выбоинах путь.  
Похоже — тут разлили ртуть.

Никто не знает, на черта  
она была здесь разлита.

Энергоемка и тяжеловесна,  
когда морозы грянут повсеместно —  
сия есть тайна велика, —  
ртуть плавиться начнет при минус сорока.

Это — стилевая какофония, столкновение строки «сия есть тайна велика» и «энергоемка» создает комический эффект. Но поэт не собирается никого смешить, он собирается разобраться в «сей великой тайне». А разбирается он всегда одинаково — он умолкает. И слушает, но не «шум языка», а что-то зазвеневшее глубоко внутри. Стихотворение — это повод замолчать. Озадачиться, опешить от абсолютно парадоксальной действительности и замолчать. Мы ходим по этим путям, по этим выбоинам, мы, может быть, ту же ртуть разлитую видели, но ведь не остановились. Чем же, интересно спросить, мы заняты? Что такое важное делаем? Деньги зарабатываем? Ну-ну.

Главное качество великого ученого или философа — это умение сомневаться в очевидном. (Именно великого, просто ученый интересуется сложными вещами.) Дело в том, что очевидное нужно увидеть. Оно всегда ускользает. Все смотрят и не отдают себе отчета, что перед глазами совершенно уникальное явление. Да бросьте вы ерундой заниматься, это же очевидно. Но один посмотрит и скажет: «Странно. А почему же все происходит именно так? И вообще так ли все происходит?» Далее может последовать открытие, скажем, теории относительности.

Салимон этим качеством — непониманием очевидных вещей — наделен в полной степени. Но он не ученый, у которого есть математика, есть эксперимент — языки другого уровня формализации, точные и однозначные. И ситуация складывается трагическая — как быть поэтом, не понимая языка, не доверяя речи, останавливаясь, едва начав говорить. Не знаю, как быть. Но ясно, что так быть тяжело.

Книга Салимона очень печальна. Едва ли не беспросветна. Его попытки выхода к истине одна за другой кончаются ничем, кончаются возвращением к тому, от чего ушли. И фирменный салимоновский юмор, по которому его стихи опознаются практически безошибочно, тоже совсем не весел — горек.

Ничто не предвещает роковой  
развязки.  
А по дороге столбовой  
в тумане мчатся инвалидные коляски.

По эту и по ту сторону — тяжело и безысходно.

Потустороннего мира  
мерзок запах, как запах сортира.

Адски воняет.  
Верно, славный Алкид Герiona коров погоняет,  
а они на ходу  
непрестанно справляют нужду.

Или такое историческое замечание:

Революции забрали много сил.  
Без привычки к земляным работам  
на рытье окопов и могил  
трудно оставаться патриотом.

На чем держится эта книга? На усилии жить. Это усилие и есть основа «грубого холста», оно порождает ту интонацию, которая проходит книгу насквозь и делает ее значимым целым. Мир сопротивляется человеку, как слово, противостоящее поэту, и человек пытается вылепить из песка и глины не стихотворение, а себя са-

мого. Если бы жить было легко, аналогия бы не работала. А для Салимона усилие жить и есть речь. Говорить стихом, каждый день доказывая себе самому, что жизнь продолжается, потому что продолжается речь. Потому что длится стих и, пока он длится, остается надежда.

Владимир ГУБАЙЛОВСКИЙ.

✱

## НОВЕЙШИЙ ОПЫТ ИНИЦИАЦИИ

Уильям Сатклиф Ф. А ты попробуй. Роман. Перевод с английского Фанны Гуревич. М., «Фантом Пресс», 2001, 287 стр.

**А**нгличанин в Индии — тема вечная и трактоваться может по-разному: и в героическом, и в авантюрном, и даже в философском ключе. Молодой английский писатель Уильям Сатклифф добавляет к этим трактовкам свою собственную: у него на место первопроходцев и проходимцев заступает компания инфантильных подростков-путешественников, на каждом шагу влипающих в смешные и нелепые истории.

В основу сюжета положен чрезвычайно актуальный для нынешней Англии социальный стереотип. Между школой и университетом у английского тинейджера есть так называемый «свободный год», который принято проводить в путешествиях. Речь тут идет не столько о пространственных границах, сколько о возрастных. Подросток должен «проверить себя». Он подпадает под действие неписаного закона: не поехать нельзя, вернуться раньше положенного срока тоже нельзя, иначе сверстники всерьез усомнятся в его «крутизне». Недаром заглавие книги («Age you experienced?») звучит в тональности «А ты записался добровольцем?». Не избег этой участи и герой Уильяма Сатклиффа — девятнадцатилетний Дэйв, отправляющийся путешествовать по Индии в обществе своей знакомой по имени Лиз. «А ты попробуй» — это и есть история Дэйва, рассказанная им самим.

Происходящее с Дэйвом слегка напоминает обряд посвящения у первобытных народов: иницируемого изолируют в лесной хижине, подвергают всяческому мучениям, а затем, разъяснив новые права и обязанности, принимают в сообщество взрослых. У Сатклиффа испытания эти достаточно пародийны. Вместо мифических чудовищ, в которых обычно обряжаются соплеменники юного дикаря, — до крайности доброжелательные индусы. Вместо голода, выбивания передних зубов, отрезания фаланги мизинца или, на худой конец, крайней плоти — страдания от жары, острой пищи и индийской музыки, раздающейся буквально на всех углах. Особенно достается заднице героя — дороги в Индии плохие, и туристические автобусы на ухабах сильно подбрасывает. Самый кризисный момент для Дэйва — это острое чувство одиночества и собственной никчемности, которые он испытывает, рассорившись и расставшись с Лиз, и... сильный понос, от которого отведавший индийского гамбургера горе-путешественник на три недели слег в постель.

Ясно, что такое путешествие — это специфически английская, «тинейджерская» забава. Серьезных контактов с местной культурой она не предполагает в принципе, а потому Индия, по которой путешествует Дэйв со своей спутницей, ненастоящая. Это — муляж, декорация, продукт специальной индустрии по обслуживанию туристов, предусматривающей все, вплоть до желания от нее ускользнуть. И если Дэйв, следуя инструкциям из путеводителя «Планета в одиночку», ни разу не сворачивает с туристических маршрутов, то взыскующая восточной мудрости Лиз становится жертвой специальных индийских «эзотерических» лохотронов.

Очень характерен в этом отношении лепрозорий, предназначенный для того, чтобы юные англичанки, заплатив определенную сумму, там работали (в начальной стадии проказа излечима) и таким образом «смывали» свою карму, а заодно учились у восточных фаталистов оптимизму. Изюминка заключается в том, что прокаженных туда набирают по конкурсу. Во-первых, потому, что Индия — страча большая и на всех лепрозориев не хватает, во-вторых, подходят только те, кто в

состоянии убедительно изобразить этот самый восточный фатализм, про который английские девочки читали в книжке.

У Сатклиффа много и других забавных находок, напоминающих Ивлина Во. Однако при некотором сходстве стилистики есть одно радикальное отличие. В романах Ивлина Во всегда налицо четкая дистанция между автором и персонажами, у Сатклиффа же она оказывается крайне зыбкой.

Казалось бы, Сатклифф должен быть умнее своих инфантильных героев и иметь за душой что-то посерьезней их подростковой системы ценностей (секс, путешествия, наркотики). И в книге действительно есть эпизод, подтверждающий способность Сатклиффа к такому отстраненному взгляду. Однажды празднующий по Индии Дэйв знакомится в поезде с журналистом агентства «Рейтер», и тот, быстро разобравшись в собеседнике, выдает импровизированный текст статьи, которую напишет про Дэйва и ему подобных: «Современные корпорации предпочитают инициативных роботов, и посещение третьего мира стало тем идеальным горящим кольцом, сквозь которое не страшно прыгать. ...Покончив с таким грязным делом, как путешествие, можно спокойно возвращаться домой, и ваш работодатель будет уверен, что вы более чем готовы сунуть голову в его хомут».

Однако, столь безжалостно «раздев» своего героя и разгромив его миропонимание, Сатклифф почему-то идет на попятную.

Перво-наперво он вводит «положительные образы», противопоставляя зеленому девятнадцатилетнему лжепутешественнику «крутых» путешественников постарше, молодых австралийцев, которые и в китайском Тибете побывали, и в индонезийской тюрьме посидели, и даже на Эверест в гавайских рубашках и шлепанцах на босу ногу забрались. Затем Дэйв получает от автора утешительный приз: Сатклифф в подробностях описывает его роскошные кутежи à la Джеймс Бонд (естественно, не на свои деньги) на престижных индийских курортах. С основной интригой это не увязано, зато потерпевший неудачу в любви Дэйв теперь имеет возможность худо-бедно компенсировать ее путем сексуального самоутверждения.

Получается, что поставленная было под сомнение ценностная триада секс — путешествия — наркотики у Сатклиффа в целом реабилитирована. Нужно только иметь в виду, что крутизна путешественника бывает настоящей или мнимой, а в сексе соответственно — везение или невезуха.

На последней странице книги Дэйв, с полного одобрения автора и вопреки всему, что произошло, рассуждает о том, как он после всех этих передраг заматерел и вырос. Про «инициативных роботов» больше речи нет. «Испытание» пройдено, и герой Сатклиффа, нанимаясь на работу, отныне имеет полное право написать о «путешествии» в своем резюме.

Спору нет, книга Сатклиффа талантлива, увлекательна и смешна. Обидно только, что вместо нового Ивлина Во мы получаем апофеоз «тинейджерского» здравомыслия.

Василий КОСТЫРКО.

\*

## МЕЖДУ МЕТОДОМ И ЛЮБОВЬЮ

С. С. Аверинцев. «Скворещиц вольных граждан...». Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами. СПб., «Алетейя», 2001, 168 стр.

**К**нига, о которой идет речь, — итог (окончательный или промежуточный — покажет время) «ивановских штудий» С. С. Аверинцева, продолжающихся уже более четверти века. Значение их самоочевидно: по сути дела, именно Аверинцевым заложены основы современного осмысления творчества одного из крупнейших представителей русского символизма, — и любые хвалы в адрес книги и ее автора со стороны рецензента выглядели бы неуместной самонадеянностью.

Ограничимся потому лишь перечислением некоторых наиболее принципиальных и перцептивных, на наш взгляд, тезисов, развиваемых исследователем. Оригинальным и точным представляется замечание Аверинцева о языковой стратегии

Вяч. Иванова как ориентированной не на реконструкцию архаического строя русской поэзии XVIII века, но в конечном итоге на создание языка вне времени, на беспримесное выражение идеи языка как таковой<sup>1</sup>. Глубоко и полно разработано в книге положение о соотношенности творчества Вяч. Иванова с эпиграмматичностью в античном понимании этого термина. Наконец, исключительно важным и безусловно справедливым кажется утверждаемое Аверинцевым положение о системности художественного мира поэта — не отменяющее, впрочем, справедливости распространенного взгляда на Вяч. Иванова как на «александрийца», по известной характеристике Н. Бердяева, и «гостя многих станом» (Е. Лундберг).

Можно было бы остановить внимание на целом ряде конкретных наблюдений и разборов, но по причине, названной выше, лучше отказаться от этого занятия (отметим лишь блистательный анализ ивановского отношения к «чужому слову» на примере особенностей цитирования поэтом монолога Ганса Закса из вагнеровских «Мейстерзингеров»).

Подытоживая разговор о филологическом аспекте книги, воспользуемся замечанием О. Ронена о «Конце трагедии» А. Якобсона: «Литературоведческая часть безупречна». Высказывание это здесь тем более кстати, что, подобно работе А. Якобсона, исследование Аверинцева складывается как бы из двух составляющих. Коротко определить эту вторую составляющую затруднительно, и потому прибегнем к развернутому ее описанию.

Характеризуя в начале книги свой метод, Аверинцев говорит о необходимости, не растворяясь в объекте, оставаться с ним в диалоге, «чувствовать на себе его взгляд, одновременно такой общительный — и такой непроницаемый». Собственно, о совпадении оптики исследователя и его героя свидетельствует уже подзаголовок книги — «...путь поэта между мирами». Это ведь не что иное, как взгляд изнутри, взгляд Вяч. Иванова на самого себя (отметим, что «внешнее», жанровое определение — «опыт интеллектуальной биографии» — ушло при этом в издательскую аннотацию). Рискнем предположить, что мы наблюдаем здесь даже несколько более радикальное сближение автора и героя, чем то предполагал сам автор, заметивший, что метафизические интуиции поэта «входят в компетенцию историка литературы лишь в качестве топики текстов самого Вяч. Иванова».

Автохарактеристика Аверинцева актуализируется наиболее явным образом в его полемическом замечании в адрес М. Гаспарова, оспорившего символический характер поэтического метода Вяч. Иванова и предположившего, что в основе его лежит аллегория. Аверинцев отмечает в связи с этим, что «литературоведческое мировоззрение М. Гаспарова не оставляет места для концепта символа в смысле, скажем, шеллинговском». Едва ли, однако, какое-либо собственно «литературоведческое мировоззрение» способно оперировать категориями, базовыми признаками которых являются «бесконечное» и «конечное» или же «неисчерпаемость», «многосмысленность» и «темнота в последней глубине». Взгляд исследователя вновь сливается с точкой зрения самого Вяч. Иванова, для которого попытка отделить философскую концепцию от выражающего ее поэтического метода была бы попросту лишена смысла.

Сравнение подходов Гаспарова и Аверинцева, напрашивающееся и неоднократно проводившееся, позволяет, как нам кажется, понять важную (может быть — важнейшую) черту последнего. У Гаспарова даже в «Записях и выписках» предпочтения автора не эксплицированы, и ответ на вопрос, кого же он больше любит — О. Мандельштама или, скажем, В. Маккавейского, — неочевиден. Об отношении Аверинцева к своему герою можно догадаться практически по любой строчке. Имя этому отношению — любовь.

Отсюда нескрываемая оценочность подхода. Почти на каждом этапе пути Вяч. Иванов оказывается противопоставлен своим современникам — сначала К. Бальмонт, А. Белому, А. Блоку (о последнем сравнении мы еще будем иметь случай сказать особо), затем, в эмиграции, Георгию Иванову, «нашедшему в тупиках истории повод к тому, чтобы загнать в тупик собственную живую душу».

<sup>1</sup> Отметим попутно, что такой взгляд на проблему может оказаться плодотворным и при анализе стиля некоторых современников Вяч. Иванова, в частности Д. Мережковского.

Из того же источника — ошутимое стремление опустить или же, едва обозначив, не акцентировать те моменты ивановской биографии, которые, с точки зрения исследователя, выставляют поэта в не слишком выгодном свете. Характерно, что, говоря о тройственном союзе Вяч. Иванова, С. Городецкого и Л. Зиновьевой-Аннибал, Аверинцев, даже не назвав его участников по именам, прибегает к эвфемизму «странный эпизод», не вполне, думается, удачному — хотя бы потому, что «эпизод» этот, как известно, не был единственным. Но, собственно, и вся «башня» с ее специфической атмосферой является для автора своего рода «странным эпизодом» биографии Вяч. Иванова, состоящим из «морков и наваждений».

После всего сказанного становится ясно, почему Аверинцеву так важно подчеркнуть, что поэт, который «собственными усилиями способствовал самоопределению целой культурной эпохи, ставя ее как театральное „действие“», сам от нее зависел минимально. Более того, именно после того, как «эта эпоха внутренне, а затем и внешне исчерпала себя», Вяч. Ивановым, по мнению Аверинцева, было создано «едва ли не лучшее из того, что он написал»<sup>2</sup>.

Вообще «серебряновечный» Петербург как фрагмент биографии Вяч. Иванова исследователю не вполне близок и, пожалуй, не особенно интересен — достаточно посчитать, сколько страниц занимает он в книге<sup>3</sup>. Автор вскользь упоминает обо всем, что роднит Вяч. Иванова с эпохой, — так, по поводу конструирования поэтом собственной биографии он ограничивается одним полемическим замечанием и больше к этому вопросу не возвращается — подчеркивая то, что их разделяет. Те же черты близости к литературным и бытовым нормам серебряного века, которые Аверинцев у своего героя все же фиксирует, оказываются чертами сугубо отрицательными: «С чем у него были трудности, долго были, — как у всей культуры, у всей эпохи российской и всевропейской, к которой он принадлежал... так это уж скорее с понятием заповеди, простого и однозначного Божьего запрета на грех».

Некоторые естественные следствия такого взгляда на эпоху «башни» не могут, однако, не вызвать серьезных возражений. Это относится в первую очередь к попытке представить путь Вяч. Иванова в 10-е годы как преодоление только что завершившейся символистской эпохи. Доказывая этот тезис, Аверинцев опирается на стихотворение «Разводная» и на черновой набросок «Перевал». Однако «Разводная», по словам самого Аверинцева, «в контексте биографического момента» приобретает «довольно конкретный характер» (кстати, стихотворение это написано тремя годами позднее даты, указанной исследователем<sup>4</sup>), а невозможность делать какие-либо серьезные заключения на основании чернового наброска должна быть вполне очевидна автору, пишущему о «сугубо иерархизированном» ивановском поэтическом корпусе.

Еще того меньше может свидетельствовать об отходе Вяч. Иванова от своего «башенного» периода его сближение с кругом В. Эрн — П. Флоренского, тем более что сам же Аверинцев очень точно определяет последнего как «богослова русского символизма». Неославянофильские настроения Вяч. Иванова второй половины 10-х годов — даже если не брать в расчет ни «славянофильствовавшее» время, ни проявление подобных же настроений у «башенного» Вяч. Иванова — говорят

<sup>2</sup> Здесь речь идет о переносе автором центра тяжести на «постпетербургский» период творчества Вяч. Иванова; однако для книги в целом не менее важно и утверждение высокой значимости периода «допетербургского»: «Годы необычно затянувшегося становления имеют в жизни Вяч. Иванова особую важность» — положение само по себе несомненное, однако, как представляется, приобретающее для исследователя особую принципиальность именно в описываемом нами контексте.

<sup>3</sup> Впрочем, там, где автор все же говорит о символизме как литературном направлении, наблюдения его, как всегда, остры и точны. Достаточно в этой связи обратиться к предложенному здесь анализу причин, по которым Ф. Сологуб, «переживший в детстве ужасы похлеще, чем Максим Горький, не мог, в отличие от последнего, положить эти ужасы в основу своего писательского, как нынче говорят, „имиджа“, — или познакомиться с замечанием о характере «символистских браков».

<sup>4</sup> Пользуясь случаем, укажем на еще одну мелкую неточность в тексте исследования. Упомянув предполагавшуюся совместную работу Вяч. Иванова и К. Бальмонта после Февральской революции над гимном республиканской России, Аверинцев говорит об этом проекте как о неосуществленном. Между тем «Гимн Свободной России», написанный К. Бальмонтом на музыку А. Гречанинова, действительно существует.

лишь о его сближении с несколько иной фракцией русского символизма (разумеется, в широком понимании термина), нежели та, к которой он принадлежал раньше, — перемена, в любом случае не носящая «качественного» характера.

Стремление оградить поэта от «порочащих связей» с очевидностью проявляется и в подходе к описанию оккультно-мистических интересов Вяч. Иванова. О Р. Штейнере речь заходит в книге один раз, да и то в связи с Андреем Белым; А. Минцлова появляется только в сноске; о «мистическом анархизме», по существу, не говорится вовсе; «эзотерические доктрины» как таковые упомянуты лишь однажды в контексте вполне случайном. Впрочем, от напрашивающегося, казалось бы, вывода об «идеологической ангажированности» автора (скрыл, дескать, факты оккультных пристрастий и интересов своего героя, все метания поэта редуцировал до выбора между православием и католицизмом) приходится отказаться. Как представляется, ключевой тезис Аверинцева-исследователя до некоторой степени дает ему право на подобную избирательность при описании биографии поэта.

Дело в том, что, согласно Аверинцеву, мир Вяч. Иванова на всем протяжении его пути в основах своих неизменен и потому еще один эпизод ничего, по сути, не прибавляет к облику поэта, в творчестве которого «инварианты решительно преобладают над всем вариативным». Таким образом, исследователь получает возможность отказаться от «сплошной выборки» и сосредоточиться на том, что ему ближе.

Кстати, именно ивановская «неизменность» дает Аверинцеву основание для противопоставления Вяч. Иванова его ближайшему литературному окружению. Не имея возможности подробно обсуждать здесь этот вопрос, отметим лишь, что противопоставление «стабильного» Вяч. Иванова меняющемуся А. Блоку проведено, пожалуй, чересчур жестко. По крайней мере утверждения «нет и не может быть духовного „места“, которое собрало бы его (Блока. — М. Э.) символы воедино, сделало их совместимыми», или «никто не станет искать в блоковских... „Стихах о Прекрасной Даме“ содержание... „Двенадцати“» кажутся как минимум излишне категоричными. Издержки такого подхода видны на примере характеристики блоковской статьи «Безвременье»: поэт все же не только «славит бегство из дому... и бегство из города», как постулирует исследователь, но и обнажает его «морочи и наваждения».

Не менее спорным представляется вывод Аверинцева о сборнике «Cor Ardens»: «В первом томе христианские мотивы, артикулированные отчетливо, соседствуют с недвусмысленно языческими, также и ведовскими, с магическими асана; во втором томе христианское решительно преобладает». С этим наблюдением трудно не согласиться, но с историко-литературной точки зрения сомнительной здесь кажется сама попытка отделить в поэзии Вяч. Иванова мотивы христианские от оккультных и языческих, так как мотивы эти не были разведены и тем более противопоставлены в сознании эпохи. Христианство еще долго будет оставаться для Вяч. Иванова одним из резервуаров мистических символов, уравненным в правах с другими подобными кладовыми, как это явствует хотя бы из примечаний самого поэта к книге «Rosarium», входящей как раз во второй том «Cor Ardens».

Как кажется, мы с достаточной полнотой описали ту «вторую составляющую» рецензируемого исследования, о которой говорилось в начале. Описание это позволяет сделать вывод о присутствии в книге как бы двух различных повествователей — филолога и его двойника, которому тесно в рамках традиционного научного дискурса и который поэтому стремится разомкнуть его пределы. Повествователи эти отличны методологически и стилистически — именно второму из них принадлежат публицистические отступления, экскурсы в будущее и размышления о «проphetическом ужасе» поэта перед германским национализмом. Если для первого Вяч. Иванов — объект изучения, то для второго — «вечный спутник». Если первый реконструирует «интеллектуальную биографию» Вяч. Иванова, то второй ее конструирует. В результате книга сочетает черты исследования и эссе, причем Аверинцев работает не на стыке этих жанров, а внутри каждого из них в отдельности, свободно переходя от одного к другому, но не смешивая их.

Подозреваю, что не будь второго повествователя — не было бы и первого. Поэтому спасибо обоим.

Михаил ЭДЕЛЬШТЕЙН.

## КНИЖНАЯ ПОЛКА НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА

+7

**С. Н. Добротворский. Кино на ощупь. Сборник статей: 1990 — 1997. СПб., «Сеанс», 2001, 528 стр.**

При жизни быть не книгой, но легко читаемой, короткой, остроумной, парадоксальной статьей, блестящей лекцией и умереть в возрасте Пушкина — вот судьба Сергея Добротворского. Кажется, Трюффо говаривал: «Кино — искусство мальчишек». В случае Сергея Добротворского надобно добавить: «Кино — искусство ученых мальчишек». Да, самое обаятельное в его текстах — соединение азартного мальчишества и неподдельной, едва ли не энциклопедической учености. Он любил кино, как любит кино мальчишка; и знал кино, как знает предмет своей науки настоящий ученый. В предисловии к книге, собранной друзьями из газетных и журнальных статей, киноведческих эссе и лекций, Виктор Топоров сравнивает Добротворского с Аверинцевым. Это кажется странным: в самом деле, что общего между ученым-византинистом, филологом с мировым именем, и киноведом-синефилом? Топоров — прав: общее есть. Это общее — неназойливая ученость, позволяющая писать о сложном не просто, но интересно; естественная философичность, позволяющая включать самые разные факты — вестерн, комедию, фильм ужасов, авторское кино, кино андерграунда — не в газетно-журнальную сиюминутность, но в историю человеческой культуры. Вообще-то нельзя писать газетную заметку так, словно пишешь для вечности. Некая доля халтуры необходима в журналистской работе. Это понимал самый гениальный журналист всех времен и народов — Честертон. Добротворский этого понять не мог в силу обстоятельств места и времени, в которых он очутился. Его не успело испортить писание «в стол» без надежды на публикацию. Он не был «молодым и подающим надежды», он сразу стал — профессионалом.

**С. Е. Вольф. Розовошекий павлин. Книга стихов. Предисловие Андрея Битова. М., «Два Мира Прин», 2001, 144 стр.**

«Вольф был учителем целого поколения» — так пишет в предисловии Андрей Битов. Учил он прежде всего свободе, даже не свободе, но воле. Сейчас, когда опубликованы его стихи, странные стихи старого поэта, становится понятно, в какой опасной близости от графомании находилась эта тайная свобода, творческая свобода, если угодно. «И кто-то все время мужался, / И челядь лобилась в окно, / И мальчик в Карелии ссался, / Забравшись в чужое кино...» — что это такое, хочу я вас спросить, что сей сон значит? А то и значит, что стихи — не работа, не труд, но отдохновение, вдох и выдох, отказ от любой дисциплины и любого диктата — не более и не менее. Пишутся они для себя и для своих друзей, если же понравятся еще кому-то, спасибо большое. «Бог, пролетая надо мной, / Был с толку сбит моим занятьем, / А именно: я, с женским платьем / Обнявшись, плакал под лунной». Такие стихи — беззащитны, как беззащитна любая откровенность и открытость. Стихи — признание собственной слабости, а не силы, на это надо решиться. «Я не умею у Невы стоять, / Вот так стоять и ничего не делать. / Стоять. Глядеть. Нужна на это смелость, / Наклон души и Божья благодать».

**Елена Гуро. Небесные верблюдата. Избранное. Составление, предисловие и комментарии Арсена Мирзаева. СПб., «Лимбус-Пресс», 2001, 244 стр.**

Елена Гуро была Прекрасной Дамой российского кубофутуризма. Она стала необходимым оксюмороном угловатому, крикогубому «будетлянству». Впрочем, угловатости хватало и в ней, пишущей или странные верлибры, или стихотворения в прозе, или одностопишия. Но это была *нежная* угловатость болезненной девочки, а не взрывной эпатаж талантливого хулигана. Она умерла в 1913 году накануне «некалендарного, настоящего XX века». «Тишайшая» поэтесса самого громкого литературного течения, она и после смерти остается в тени своих соратников. Зато читатели и почитатели Гуро отличаются постоянством и верностью, как и положено



паладинам Прекрасной Дамы. «Избранное» Елены Гуро, по-моему, четвертый сборник поэтессы, напечатанный в России после 1993 года. Его составил и откомментировал петербургский поэт-верлибрист Арсен Мирзаев. Это подходит Елене Генриховне. Ее и должны издавать поэты.

**Франсиско де Кеведо. Стихотворения. Составление [и предисловие] В. Е. Багно. СПб., 2001, 278 стр. (Приложение к альманаху «Канун». Серия «Библиотека испанской литературы».)**

В знаменитом портрете Кеведо, помещенном на обложке, мне всегда нравились — очки. Дивные «очки-велосипед» с высокой горбатой дужкой. В Испании очки такого рода так именно и называют — «кеведо», по имени их самого знаменитого «носителя». Еще он был дуэлянт, «подлинный пронзатель шелковых пуговиц», за острый язык и острую шпагу неоднократно отправлявшийся в ссылки. Борхес называл его «литератором литераторов». Официально-научно Кеведо — один из самых ярких представителей золотого века испанской культуры, то бишь XVI — начала XVII столетия, времени, когда начало упадка «империи, в которой никогда не заходило солнце», мучительно и естественно совпало со взлетом ее литературы. Кеведо часто переводился в нашей стране, но эта маленькая, карманного формата, книжица, снабженная прекрасным предисловием и дельными, в меру подробными комментариями Виктора Андреева, как-то очень идет этому очкарику, дуэлянту, женоненавистнику и мизантропу. Его стихи четырехсотлетней давности вовсе не архаичны. «Остроумие вымерло раньше ума», но мне пришлось по душе даже не мрачные философические строчки: «В самом себе, как заживо в могиле, / Я не оплотом был себе, а пленом», но шуточные, ёрнические, неожиданно-детские, к примеру, «Огородная свадьба»: «Дон Редис и Донья Редька — / Не крепколы, не цветные, / Вроде там Цветной Капусты, / Но испанцы коренные / Поженились...»

**Юрий Анненков (Б. Темиряев). Повесть о пустяках. Комментарии А. А. Данилевского. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2001, 576 стр.**

Юрий Анненков принадлежал к той немногочисленной, но яркоталантливой, эксцентричной, бурлескной и трагической группе радикальной художественной интеллигенции, что поддержала большевиков сразу же после Октябрьского переворота. Эта компания была соблазнена одиннадцатым тезисом Маркса о Фейербахе: «Философы лишь объясняли мир, дело же заключается в том, чтобы мир изменить». К философам, естественно, подверстывались и писатели, и художники, и поэты, и артисты — все те, кто мир раньше не изменяли, но разными способами объясняли. Когда в результате проведения в жизнь одиннадцатого тезиса выяснилось, что прежде объяснявшие мир философы, писатели, художники и т. п. теперь даже этого не делают, радикалы от эстетики, то бишь авангардисты, мягко говоря, расстроились. Кто покончил с собой, кто был убит, кто эмигрировал, кто мимикрировал, погубив свой талант, кто мимикрировал, свой талант сохранив. Юрий Анненков был слишком жизнелюбив, чтобы дать себе погибнуть, слишком порядочен, чтобы мимикрировать, погубив свой талант, но слишком циничен, чтобы мимикрировать, талант свой сохранив. Он — эмигрировал. «Повесть о пустяках» — его расчет с революцией и с собой прежним, не то слишком наивным, не то слишком циничным, служившим этой революции. Название повести — обманка. «Идиот» Достоевского написан о святом, «Хам» Элизы Ожешко — о джентльмене, «Вор» Леонида Леонова — о рыцаре, так и «Повесть о пустяках» написана вовсе не о пустяках, но о гигантской социальной катастрофе и об участии в этой катастрофе русских интеллигентов вообще, Анненкова (выведенного в повести под именем-фамилией Коленька Хохлаев) — в частности. Название и иронический тон — бравада; так Пушкин пишет стихотворение о бесах лихим, разудалым хореом.

Впервые «Повесть о пустяках» была издана в Берлине в 1934 году. Нынешнее издание — труд, достойный уважения и упоминания. К сожалению, в комментариях А. А. Данилевского я обнаружил одну неточность. О Володарском там сказано: «...убит эсером Н. Сергеевым». Это — неверно. На процессе эсеров 1922 года руководитель Боевой группы эсеров *Н. Семенов* признал, что организовал покушение

на Володарского и что теракт совершил рабочий Ф. Козлов, но, поскольку рабочего Ф. Козлова не нашли ни в 1919, ни в 1922 году, а сам Н. Семенов, в отличие от других подсудимых, после процесса отправился не в ссылку, а в санаторий, — позволительно усомниться в существовании террориста Ф. Козлова. Ну и, конечно, обидно читать такое, например, примечание: «Тютюнник — петлюровский атаман, бывший офицер». И всё? Атаман, в 1924 году вернувшийся на Украину, преподававший в Харьковской школе красных командиров, сыгравший самого себя в фильме «ПКП», в 1929 году расстрелянный, — о таком человеке такая справочка? Жаль.

**Олег Ермаков. Свирель Вселенной. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2001, 192 стр.**

Олег Ермаков — настоящий медлительный прозаик, долго и много переделывающий свои книги. С самых первых своих афганских рассказов он настойчиво пишет об одном и том же — о противоестественности войны, насилия и унижения, о необходимости и недостижимости счастья и свободы. На фоне нынешней стилистической разухабистости и повсеместного бряцания оружием новый роман Ермакова поражает отважным традиционализмом и бескомпромиссным пацифизмом. В «Свирели Вселенной» дезертирство не уничтожает человеческое в человеке, но очеловечивает окружающий человека мир. «Тут к нему прилетела сова. Он услышал мягкий шум, поднял голову. Она сидела поблизости на ветке и в упор глядела на него. Бесцеремонно, по-хозяйски. Наглядевшись вдоволь, сова принялась озирать лагерь, вещи, палатку; она медленно поворачивала круглую лохматую голову и вперяла взгляд в ту или иную вещь. Вообще совы осторожные птицы, и поведение этой Меньшикова озадачило. Он даже не удержался и что-то сказал ей, когда она воззрилась на него. Сова выслушала». Человек, способный «поговорить» с совой или... с медведем (есть и такой эпизод в романе), разве не способен действием, бездействием, словом или молчанием «разговорить» армейского хулигана или армейское начальство? Это — одна из самых красивых, человеческих и руссоистских книг среди появившихся в последнее время.

**Аннет Вивьерка. Как я объяснила моей дочери, что такое Освенцим. Перевод с французского А. Миролюбовой. СПб., «Лимбус-Пресс», 2001, 80 стр.**

Объяснить такого рода вещи и очень трудно, и очень легко. Перечислить и пересказать факты — это одно; несколько другое — объяснение и понимание готовности людей ко злу. Здесь начинается область того естественного лицемерия, без которого немислима (по-моему) современная культура. Книга составлена из вопросов дочери-подростка, обращенных к матери, историку по образованию. Пафос всех вопросов: «Как могли люди опуститься до такого зверства?» В этом пафосе — некая (как ни страшно это написать) тактическая уловка: коль скоро подросток не может *понять* готовности уничтожать людей просто за то, что они — другие, то Освенцим и другие человекоубийственные факты XX века — катастрофические выбросы истории. Они — уникальны, они — исключения из правил. Однако чем дальше, тем больше удивление перед массовым зверством уходит в прошлое. Современный подросток вполне может понять и ненависть к другому — просто из-за того, что он другой, — и крайние формы проявления этой ненависти. Современность дает достаточно материала для понимания того, как тонок слой человечности в человеке. Поэтому я соглашаюсь с тактикой Аннет Вивьерки: писать о торжестве зла так, словно кто-то изумляется, словно кто-то не может поверить в возможность его будничной, педантичной, обыденной победы.

### -3

**Максим Русси. Кровь на яблоке. Роман. Перевод с французского И. Панкратова. СПб., «Лимбус-Пресс», 2001, 200 стр.**

Говорят, канадцу Максиму Русси — двадцать три года. В аннотации к его роману пишут, что он — *круче* Сорокина. У российских собственная гордость, но ис-

тина дороже. Максим Русси не круче Сорокина, а гаже. Монолог полубезумной пятнадцатилетней нимфоманки, готовящейся покончить с собой, сработан грамотно и безжалостно. Я даже не решусь написать, хорошая это или плохая книга. Она — чудовищная. Ненависть к человеческой плоти, к плотскому в человеке такова, что я начинаю сомневаться в молодости автора. Это писал много поживший жено- и человеконенавистник. Впрочем, всякий талант неизъясним. Талант не-любви к человеку, видно, тоже способен на многое.

**Александр Преображенский. Печать Сатаны. Роман. СПб., «Лимбус-Пресс», 2001, 262 стр.**

Вот книга, которую не мешает прочесть всякому, кто заинтересуется фобиями и комплексами, из коих может произрасти победа зла. Некий англичанин, ненавистник России, похищает наших людей, вживляет им в мозг микрочипы, отшибает память, зомбирует и превращает в рабов на своем водочном заводе. Катастрофа неминуема: одна часть русского населения сопьется, другая — свихнется и загнет-ся на непосильной работе по производству водочной отравы, но доблестные органы и самоотверженная любовь женщины по имени Маргарита («тридцать два года, ножка маленькая, подъем изящный, ягоды тоже безукоризненные, довольно упругие, сорок четвертого размера») спасают Россию вообще и гениального скрипача в частности от дьявола в образе человека по прозвищу «мистер Ричард».

**Сергей Носов. Дайте мне обезьяну. Роман, рассказы, пьесы. М., «ОЛМА-Пресс», 2001, 320 стр.**

Мне хватило романа. То есть это никакой не роман. Это — унылая дайджест-пародия на действительно великий политический роман, на «Всю королевскую рать» Р. П. Уоррена, или непомерно разбухший фельетон на заезженную тему: политиков делают их имиджмейкеры. Про это твердят так часто, что уже начинаешь сомневаться в правоте этой аксиомы. Главный герой фельетона — писатель, которого провинциальный имиджмейкер нанимает подзаработать на рекламе политика, пустой куклы, «обезьяны». Сам по себе политик — ничто. Его делает свита — те, кто пишет за него тексты и вырабатывает линию его поведения. В конце романа главный герой из кукловода превращается в куклу, становится политиком, «обезьяной», за что и получает тортом в рожу. Но язык! Матушки! «Теперь безотносительно Кати Тетюрин мог Риту хотеть, и это было по-честному». Чистая скороговорка: «Те... те... ти... тю... ту... те...» Срочно дайте автору — обезьяну!

---

## ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО

**В** Театре имени Гоголя, стоящем в некотором отдалении от столбовых дорог, на малой сцене идет спектакль, в котором играют два актера. А пьеса Дэвида Мэмета рассказывает как раз о двух актерах. Зазор между действующими лицами и исполнителями сведен к минимуму так, что можно вообразить, будто артисты играют самих себя, собственную свою жизнь за сценой, свой театральный быт.

Такая вот — во всех вроде бы отношениях — неглавная история. В программке, совсем одомашнивая сей сюжет, молодой режиссер Роман Пленкин, для которого «Жизнь в театре» — дипломная работа, написал посвящение Мастеру, своему учителю Леониду Хейфецу.

Старый актер Евгений Красницкий играет роль, которая так и называется — старый актер. Роль молодого актера досталась молодому актеру Ивану Шибанову. В общем, ту же историю при желании можно было бы «переделать» и под двух

врачей, и под мастеровых. Актеры, впрочем, и выступают здесь как мастеровые, рассуждающие о своем мастерстве и ремесле.

Старый актер еще чувствует себя учителем, еще пытается чему-то научить молодого. Молодой, почувствовав первые приливы славы, вкус успеха, учиться уже ничему не желает, поскольку все, что нужно для успеха, кажется, приобрел.

Репризы, реплики-афоризмы соседствуют с очевидными банальностями. Помнится, в одном интервью Сергей Соловьев вспоминал, как, бывало, переждал долгие монологи своих учителей, никак не желавших коротко и ясно выразить как будто простые свои мысли: говори, говори, хотя все и так понятно... И в этом, продолжает Соловьев, было что-то от отношения к больным, которым некоторые странности снисходительно прощают по причине близкого родства или давнего знакомства. И вот теперь знакомую снисходительность и выжидание он, по его словам, встречает в глазах своих учеников.

Все это есть в спектакле Романа Пленкина, в игре Евгения Красницкого и Ивана Шибанова.

Впрочем, такие спектакли обыкновенно ставят на старых актеров, известных, знаменитых в прошлом, предполагая вызвать публику на сентиментальные размышления, на слезы. Красницкий играет замечательно, и есть дополнительная несправедливость в том, что мы здесь не станем подробно останавливаться на деталях его тонкой, мудрой игры. Его личная актерская недосказанность, недовоплощенность пришлось как нельзя кстати и в пору этой роли. Его герою еще есть что сказать, но его слова, как говорится, отапливают улицу, уже не нужны. Замечания вызывают раздражение, а само его мастерство и умение смотрятся давно вышедшими из моды, едва ли не хламом...

Отношения учителей со своими учениками — можно сказать, сквозная тема нынешнего театрального сезона.

С одной стороны, сразу многим молодым дали поработать на академических сценах. Когда молодым режиссерам что-то удавалось, тут же вспоминали про их учителей, отдавали должное. Когда не удавалось, вопрос о «благоприобретенном» знании деликатно оставляли за скобками.

Смерть Гончарова вновь заставила говорить об отсутствии смены, по сути — о том же. Так что маленький спектакль для двух актеров, идущий на малой сцене Театра имени Гоголя час сорок пять без антракта, вышел на самую что ни на есть животрепещущую тему.

В этом году точно прорвало. За молодых схватились, будто и впрямь узрели в них последнюю надежду для выбивающегося из последних сил русского репертуарного театра. Выпускников Петра Фоменко в обыденной жизни степенные академические театры буквально вырывали друг у друга.

Василию Сенину дали постановку на большой сцене Театра имени Евг. Вахтангова, Миндаугас Карбаускис, едва оставив стены ГИТИСа, выпустил в Театре под руководством Олега Табакова пьесу Торнтона Уайлдера «Долгий рождественский обед», следом, на только что открытой маленькой сцене МХАТа имени Чехова (ее назвали Новой сценой), — «Старосветских помещиков». *Сочинение по повести Гоголя* — так обозначен в программке жанр часового спектакля. Час десять без антракта — довольно удобно и для актеров, и для публики.

Но короткий спектакль, если он окажется простым эскизом на заданную тему, может вызвать разочарование и даже справедливое недовольство зрителей. На Западе, где немало выходит таких вот часовых и даже пятидесятиминутных представлений, краткость — почти что вынужденная мера, поскольку в пятьдесят — шестьдесят минут постановщики вкладывают столько крайних, пограничных эмоций и событий, что больше часа выдержать и нельзя, просто нервы сдадут...

В «Старосветских помещиках» никакой особой пограничности, сгушенности чувств или событий нет. Спокойная, тихая жизнь без особых событий, наполненная одной едой, кажется пустым чревоугодием... «Жизнь их скромных владельцев так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и те беспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и

ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении» — эти гоголевские строчки помещены на первой странице программки, предворяя список действующих лиц и исполнителей.

В спектакле Художественного театра Афанасия Ивановича играет Александр Семчев, плотный занятый во мхатовском репертуаре, но более известный пока по рекламе пива. В роли его любезной, его Бавкиды, — Полина Медведева. Вокруг них водят хороводы, бесятся, мельтешат девки — молодые актрисы и студентки Школы-студии МХАТ. Они знаменуют собой шумные забавы пейзажной молодежи.

В спектакле Карбаускиса много чисто театральных смыслов, внутритеатрального содержания. Скажем, муха, которую эффектно и смешно ловит комнатный мальчик (его замечательно играет Никита Зверев, актер «Табакерки»), напоминает не столько малороссийское лето, сколько знаменитое латси с мухой из спектакля Джорджо Стрелера «Арлекино — слуга двух господ», который в прошлом году играл в Москве в рамках Всемирной театральной олимпиады.

Один из рецензентов заметил, что молодой режиссер пока больше знает о театре, чем о человеке. Но какие-то замечательные и человеческие мгновения (вроде того, как Афанасий Иванович — Семчев, проводивший уже свою Пульхерию Ивановну на покой, отказывается принимать еду из рук Явдохы, смотрит мимо еды куда-то в сторону; как верный пес, готовый бесконечно ждать хозяина, не хочет брать даже любимую пищу из чужих рук) в спокойной, умело придуманной театральной игре позволяют заключить, что школа и само понятие преемственности на театре — порой вполне осязаемые, вполне определяемые величины.

В размеренности сценического действия, в кантиленности, в желании не пропустить что-то важное в повествовательной речи (то есть в речи, не разделенной на реплики, как того требуют законы драмы) чувствуется школа Фоменко, или, если угодно, знание Петра Фоменко, которое он сумел передать своим ученикам. Или — которое сумели воспринять лучшие ученики.

В театральном деле преемственность — ценность столь же неоспоримая, столь же традиционная, как и... свержение авторитетов и отречение от опыта учителей.

«Старик Державин нас заметил...» Благословил или не благословил? Если в литературе, в изящной, так сказать, словесности само решение этого вопроса лежит в области эфемерной, в области духа и вдохновения, то в театре вопрос наследования имеет самое что ни на есть материальное «изложение» и написание. Ответ «да» или «нет» часто означает буквально: значится в списке наследников или окончательно вычеркнут из него и претендовать уже ни на что не может.

Но вопрос «благословения» — еще и вопрос ученичества. Которое на театре может «споспешествовать», а может и разрушить человека, превратить его в прах.

Каждый раз, когда кто-то из мэтров уходит, оставляя после себя подлинно (то есть не в бруковском смысле) пустое пространство, и оказывается, что рядом никого и не было, слышатся сокрушенные речи: смену не вырастил, учеников не воспитал. Часто — жестче, точнее: равных рядом не терпел, не любил, когда кто-то мешался под ногами со своим творчеством... Когда же на освободившееся по причине естественной убыли место назначают наконец кого-то нового, не-равного, не давая сделать первый шаг, загода итожат: не вытянет, облажается.

Сквозь театральную призму пословица про яблоки и яблоню видится не такой уж бесспорной. Те, которым удается упасть подальше или вовремя откатиться в сторону, чаще живут и лучше, и счастливее...

История театра последних десятилетий — целое кладбище имен, так и закончивших в бесславии свои дни вблизи Мастера, в участии подмастерья. «*Не мастер я, я — только подмастерье, тот, что сидит всегда у самой двери, не ведая секретов мастерства...*» Знание секретов, может, и ведомых, оказалось ненужным, поскольку востребованы были подсобные умения. Подсобные работники, профессионалы своего дела, самостоятельному плаванию они уже выучатся едва ли. Кураж уходит. И не возвращается. Они творили в тени Мастера, а тень его порой становится смертельной. Учитель их таланта, он одновременно оказывается и палачом. Они высушены, источены, истощены, вымотаны жизнью в тени. Жить самостоятельно уже не могут. Жестоко, конечно, так говорить, но такова бывает правда «благосло-

вения» и долгого, вынужденного, а значит, и беспросветного ученичества. И кто способен на терпение, которому не видно предела?..

Имена готовы сорваться с кончика языка. Но помню, Дима Бертман, который ныне сам руководит театром, учил меня, как правильно вести себя на вступительном экзамене (а поступал я в ГИТИС). Он говорил: «Когда тебя попросят назвать любимых режиссеров, никогда не называй живых, поскольку неизвестно, какие у них отношения с членами приемной комиссии. Назови Станиславского и Немировича-Данченко. Мертвых любят все». Вот и я — перейду к примерам из прошлого времени. Товстоногова, например, любят почти все и все без исключения уважают. А он, говорят, не очень любил, когда рядом возникало какое-то режиссерское поползновение. Полагают, что отчасти поэтому Москва получила неплохое прибавление по режиссерской части — в лице Камы Гинкаса, Генриетты Яновской. И, конечно, Сергея Юрского.

В Люксембурге, на эркере старинного дома, я увидел надпись: «Мы хотим остаться тем, что мы есть». Мне объяснили, что эта надпись — в напоминание и назидание. За эти несколько слов когда-то давно жителям города-государства пришлось повоевать. Гинкасу, Яновской, Юрскому тоже пришлось повоевать за свое право самостоятельно заниматься режиссурой (да и что такое, как может выглядеть несамостоятельная режиссура?)...

Можно ли сказать, что это притяжение — отталкивание наложило отпечаток на их творчество? Наверное. С другой стороны, как не заметить в этой же связи, что случай, когда ученики приживаются, «прорастают» и дают «потомство» (в виде здоровых и талантливых спектаклей) на чужой почве, точнее назвать как раз не случайностью, а верным правилом. В то время как, наоборот, на месте, где «жил и работал» Учитель, чаще всего остается выжженная земля, и при наилучшем раскладе осиротевшим актерам удается, собрав все силы, стиснув зубы, достойно завершать прежде великий театр.

*И, в гроб сходя, благословить...*

Конечно, важно, чтоб было у кого учиться. Чтобы не только из себя одного черпать вдохновение. Я — про Евгения Гришковца, который наконец сыграл свою новую пьесу «Планета» на сцене «Школы современной пьесы». Премьера «Планеты» вышла в Центре имени Вс. Мейерхольда. А расти, жить и умирать будет на Трубной.

Теперь спектакль попал в родной контекст, днем раньше или позже Гришковец будет играть свои монодрамы «Как я съел собаку» и «Одновременно», а в другие дни поклонники его творчества смогут посмотреть и «Записки русского путешественника», где играют Василий Бочкарев (теперь — в очередь с Альбертом Филозовым), Владимир Стеклов и режиссер спектакля Иосиф Райхельгауз.

Контекст меж тем оказался не слишком родным, не родственным по отношению к автору-исполнителю (хотя в «Планете» Гришковец выходит на сцену не один: его партнер — но партнер обособленный, не партнер-конфидент, а партнер-посторонний, — актриса Театра имени Евг. Вахтангова Анна Дубровская).

Слышу, читаю: все тот же Гришковец. Не тот же. Другой. Еще можно обмануться в начале, в первые несколько минут, признать в новом герое того же милого человека. Тем более, что он и впрямь буквально взывает к сочувствию. Торопливо выговаривает что-то замечательно трогательное — о женщине, которая спряталась за окном, а окно прикрыла полупрозрачной занавеской: мол, она меня не видит, потому что нет меня в ее жизни... И машет ветками перед окном, скрывая от героини зрителей, двести пар зрительских глаз. А потом подносит к ее окну длинную трость, на кончике которой — маленький мотылек. И мотылек трогательно бьется о стекло, за которым свет. А потом влетает в окно и забирается под абжур — точно под юбку.

Перед премьерой Гришковец не раз повторял, что ему захотелось сыграть нечто иное. Нечто новое. В частности, выйти на сцену не в гордом одиночестве, а вдвоем. Так, чтобы *вторым* был не просто человек без роду, без племени, возраста и пола, а женщина, *героиня*. «По-иному» сыграть получилось, но это иное — как будто не совсем то, к чему стремился автор и исполнитель и что он успел продеklarировать.

Этот, из «Планеты», — совсем не добрый и не недотепа. Слова, естественные в устах милого недотепы, простодушного Кандида, несчастного искателя счастья на земле, в «Планете» не доброму отданы герою. Этот Гришковец — конечно, не сам Евгений, но персонаж, о котором речь, — на вроде бы знакомо полусогнутых ногах, с теми же милыми дефектами речи, он органично мог бы исполнить монолог подпольного человека, повторить вслед за героем «Кроткой» его знаменитую саморекомендацию — про недоброго, даже злого человека.

Нет, герой «Планеты» совсем не милый. Посмотрите, как он натужен, заметьте, как громок, как недобро он выкрикивает то, что пристало выговаривать с виноватым видом прежнего Жени Гришковца... Сродни умелому музыканту, забывшему о юношеских мечтах покорить все лучшие концертные залы и ныне неплохо зарабатывающему в хорошем ресторане, новый герой Гришковца ладно сбивает знакомые «мелодии». Изучив вкусы публики, он знает, когда кстати придется очередной подходящий «сюжет». Смотрит из-под очков внимательно, остро: не обманулся, прошло...

То, что было хорошего, таким и осталось. Осталось там, в «Собаке», в «Записках русского путешественника», в «Одновременно». Новые ритмы не отбрасывают тень на прежде написанное и сыгранное (еще и в смысле — сложенное и, по слову Мандельштама, заученное вхруст). Но сами новые ритмы имеют мало сходства с тем, что умиляло, манило, было так обаятельно.

Что ж такого?

Гришковец и сам говорит, что был сентименталистом, а стал — гуманистом. Это ж совсем не одно и то же! Однако, став гуманистом, автор-исполнитель остается при все том же наборе замечательных средств. Но рассортировывает их по ходу дела небрежно и с какою-то почти нескрываемой деловитостью.

Что-то не то и не так выходит. *Вместо мудрости — опытность; пресное, неутрачивающее питье...*

Не так уж и много мыслей было вложено в его прежде написанных и сыгранных пьесах-спектаклях. Немногие, но дорогие... В разжиженном воздухе «Планеты» бьется человек, которому нечего сказать. То есть все, что хотел, он выговорил вчера и позавчера. Сегодняшнее его выступление сродни желанию договорить: а вот еще, кстати, на ту же тему... А вот еще и еще! Кричит, мечется, как будто позабыв о том, что на сцене он теперь не один и нельзя уже так много внимания требовать к себе одному. Принимает знакомые позы и выражение лица, но — нет. Не то. И не тот. *Твой голос на мамин совсем не похож...*

И как-то не здорово.

Смешно вроде бы местами, но к середине подмечаешь, что будто бы уговариваешь себя, что смешно, — уговариваешь, поскольку привык уже любить все, что делает этот замечательный маленький человек, который и мыслит, как ты, и все про тебя знает. Про детство, юность и университеты. Этот — не знает, но пытается убедить, что по-прежнему знает. И девушка ему совсем не нужна, поскольку она — отдельно и он — отдельно. И даже заочного — ну хоть малюсенького, крошечного — диалога меж ними нет. И любви — нет.

И вот мучается герой «Планеты», мучает себя, иссушает, но — бесплодны муки его. Повторяется. Повторяется (опять же) не мило так, как тот, прежний Гришковец, а вымученно, точно вытягивая из себя прежнюю радость.

Сказать ли: выговорился? Выдохся? Какие-то рецензии последнего времени, не оставляющие актерам и режиссеру даже шанса что-то поправить и как-то выжить в искусстве, учат осторожному письму, умению трижды, пять раз оговориться. Что страшного ничего нет. Одно получилось — другое не вышло. Все нормально. В конце концов, может, не повезло только мне одному и на том единственном спектакле? Где, кроме меня, кажется, все прочие были в полном восторге.

А теперь вернемся к начатому разговору. К учителям и ученикам.

Недавно в рассказе старейшего представителя режиссерского цеха, народного артиста России Бориса Гавриловича Голубовского я обратил внимание на один «педагогический сюжет». В газете «Дом актера» он пишет о своем ученике, ныне знаменитом режиссере Римасе Туминасе. Это даже не сюжет, а мысль.

В пору учебы, говорит Голубовский, Туминас был первым учеником, задания выполнял всегда точно, без озарений. А когда теперь приехал и привез свой спектакль, Борис Гаврилович поделился недоумением: «Римас, ты всегда был таким правоверным... Как же так?» А вот так. И дальше сам же Голубовский дает замечательное и, думается, точное объяснение: он уже свободен от того, чтобы думать, сколько будет дважды два, — он знает: четыре. И вот в этом — весь смысл обучения. Зная наверняка, что дважды два — четыре, конечно, можно заниматься проверкой иных, более сложных уравнений...

Дальше можно было бы долго говорить о сходстве и различиях в работе Петра Наумовича Фоменко и ныне много работающих, востребованных его учеников. Сергея Женовача, Елены Невежиной, Миндаугаса Карбаускаса. Рассказывать полубылинные-полуанекдотические истории о многочисленных «учениках» Анатолия Васильева, очень часто перенимающих лишь внешнюю форму и бытовые стороны поведения Мастера, но имеющих слабое представление о его совершенном режиссерском методе и совсем лишенных хотя бы намека на сосредоточенность его таланта... Но это были бы уже частные примеры только что высказанных соображений «вообще».

---

## КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

### СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА

**С**ергей Овчаров сделал фильм по сказке Леонида Филатова «Про Федота-стрельца». Судьба ее достаточно необычна. Литературная пародия, написанная на досуге знаменитым актером знаменитого театра, она так и не стала частью престижной, официальной культуры: в академических театрах ее не ставили, литературных премий не давали, по телевизору и по радио каждый день не читают. Тем не менее сказка «Про Федота» известна всем. На премьере во время фестиваля «Белые столбы» С. Овчаров рассказал, что был свидетелем необычного состязания: дети из бывших «пионерских», ныне просто лагерей читали сказку по строчке наизусть, примерно так же, как в дни пушкинского юбилея люди с улицы читали по телевизору «Евгения Онегина». Но пушкинский проект был инициирован и оплачен телевизионными деятелями, а «Федота» народ разучил по собственному почину — верное свидетельство того, что сказка обрела подлинно фольклорное существование. Как щука — из фольклора выпрыгнула, в фольклор и нырнула.

Думаю, причиной народной любви к «Федоту» стали не столько раннеперестроечные политические аллюзии (народ в сказке с легкостью свергает своих марзматиических мучителей), сколько сам язык — гремучая смесь рифмованных канцеляризмов, просторечия, политических штампов, цитат из классики, фольклорных формул, сугубо ученых и сугубо же неприличных слов... Вся наша история с географией от Магадана до Тетюшей, глобальная политика и совковый быт с его тоской по финскому сервелату и профсоюзным путевкам, стукачеством и героическими подвигами во славу отечества были тут мелко накрошены, перемешаны и пушены в незатейливый частушечный стих — бодрый и монотонный, как треньканье балалайки. Короче, простое сознание простого советского человека нашло здесь адекватное выражение своего семидесятилетнего жизненного опыта.

Массовый человек — хоть советский, хоть постсоветский (хоть наш, хоть западный) — постоянно чувствует себя объектом всяческих манипуляций, инструментом которых является язык, точнее, разные, но в равной мере «авторитарные» языки современной культуры — от школьной, классической до политической и бюрократическо-государственной. Человек живет с ощущением, что ему, грубо говоря, постоянно «засирают мозги» (крайне удачная фольклорная формула). И когда все эти давящие культурно-идеологические схемы оказываются изъятными из логического контекста и превращаются в цветное, игривое конфетти, читатель-



слушатель испытывает ни с чем не сравнимое удовольствие, освобождение от тотального языкового диктата. Именно поэтому пародия Филатова оказалась благодарно востребованной и мгновенно впитанной фольклорным сознанием.

Принято считать, что в XX веке массовая культура — индустрия по производству зрелищ, текстов и картинок для миллионов людей-винтиков индустриального и постиндустриального общества — полностью заместила все те потребности, которые в былые, патриархальные времена удовлетворял фольклор. Это не совсем так. В той мере, в какой массовый человек ощущает себя не только «винтиком», объектом манипуляций со стороны общества, но и субъектом (тем, *кто* живет, чувствует, хочет, стремится), он испытывает потребность ускользнуть от власти готовых формул, разрушить навязываемый профессионалами идеологический универсум. Анархическая, неофициальная составляющая низовой современной культуры — наверное, и есть пакибытие фольклора в эпоху поп-индустрии. Эта сфера существует вне признанных канонов и норм, вне осознания и рефлексии, но в ней тем не менее бродят недожизненные энергии. И внутренняя подключенность к ним способна порождать иной раз абсолютно незаурядные артефакты.

В кинематографе первым на ум приходит конечно же — Чаплин, создавший гениальную маску маленького «человека без свойств», ускользающего *субъекта* эпохи «восстания масс». Жестокий и великодушный, добрый и злой, профан и себе на уме, безответственный и усердный, нищий и франт; бродяга, стремящийся к публичности, и анархист, разрушающий любую социальную форму... В нем — все человеческие импульсы, стремления, страсти, пороки и добродетели. Единственная константа — уклонение от любых предписанных правил, любой навязанной определенности. Фольклорное сознание отстаивает свое право на абсолютную широту, право играть всеми регистрами человеческого существования. Не случайно фильмы Чаплина не стареют, их и по сей день любят все — от дегсадовцев до академиков.

В советском кино таким режиссером был, наверное, Гайдай — не в смысле универсальной всечеловечности и абсолютного эстетического совершенства (не все его картины можно назвать шедеврами), но в смысле безусловной причастности к фольклорной стихии, к пафосу ускользания от безуспешно уловляющих маленького человека силков официальной идеологии и культуры.

Столь же безусловно имеет отношение к этой стихии и Овчаров. Традиции немой комической, корифеем которой был Чаплин, а верным последователем — Гайдай, стали той матрицей, посредством которой Овчаров адаптировал к искусству кино народные жанры сказа, небывальщины, лубка, русского площадного театра. Правда, может быть, в силу особой, рафинированной аутентичности кинематограф Овчарова никогда не пользовался тотальным, всенародным успехом. Все-таки одно дело — верность фольклорной стихии, а другое — использование традиционных фольклорных форм. Последнее в наше время — радость для знатоков. К тому же Овчаров не очень умеет рассказывать истории. Его фильмы напоминают изысканные коллажи, сделанные в технике примитива; в них много наивной гениальности, но никакого желания потрафлять массовым вкусам.

Простая и понятная, любимая народом, разученная им наизусть сказка про Федота-стрельца помогла Овчарову снискать наконец признание самой массовой аудитории. Хотя, вышивая свои узоры по канве филатовской сказки, Овчаров увлекается, дает волю фантазии и создает *другое* произведение, в котором литературные достоинства «канвы» местами просто неразличимы, а там, где различимы, — мешают, отвлекают, сбивают с ритма. Принципы немого бурлеска и сугубо литературной пародии вступают в фильме в трудноразрешимый конфликт; комическая пантомима и декламация гасят, глушат друг друга, отнимая у действия большую часть энергии.

При этом внутренние, эстетические задачи в исходном тексте и в фильме схожи. Подобно тому, как Филатов перемешивает в своем раешном действе разнородные, несовместимые лексические пласты, Овчаров делает то же самое с визуальными образами. Чего только нет в его картине: и васнецовская птица Гамаюн, и шагаловские летающие евреи, и «Утро стрелецкой казни», и «Взятие снежного городка»; эйзенштейновский «Иван Грозный» и гайдаевский «Иван Васильевич», глянцевые картинки из модных журналов и отрубленные конечности из театра

«Гран гиньоль»... Все это перемешано в едином сказочном пространстве и производит впечатление яркого, как галлюцинация, потока образов, на глубине которого, кажется, бьется и плещет какой-то драматически-важный смысл. Правда, при извлечении он для многих выглядит разочаровывающе банальным, не соответствующим богатству и эмоциональной насыщенности образной ткани.

Нужно вспомнить, однако, что со смыслом в привычном его понимании народное искусство было всегда не в ладу. Фольклорное сознание игнорирует ту рациональную картину мира, которая существует сегодня в виде общепринятой матрицы восприятия точно так же, как народный художник игнорирует законы математической перспективы. Между подсознательными импульсами и выражающими их образами тут не существует прослойки абстрактного *знания*; подсознательное выбрасывает образы, как флажки, манифестирующие его желания, устремления, внутренние напряжения и конфликты. Только в отличие, скажем, от абсурда и сюрреализма в качестве «флажков» используются не вновь творимые, но уже устоявшиеся, обкатанные, как голыши, образы, приемы, эпитеты, жесты, сюжетные ходы и проч. И информация, сообщаемая таким образом, носит соответственно не личностный, но коллективный характер. Ныне репертуар фольклорных «готовых форм» чрезвычайно расширился за счет включения элементов разных прочих культур. Однако неизменными остаются и ускользающая, не поддающаяся цензуре универсальность фольклора (*все* внутренние импульсы здесь могут и должны быть сообщены), и его предназначение — выражать энергии, питающие культуру снизу, исходящие из *коллективного* бессознательного.

Конечно, крайне рискованно рассматривать фильм, сделанный режиссером, имеющим имя, отчество и фамилию, как фольклорное произведение. Но поскольку Овчаров пользуется именно *этим* языком и в творчестве своем, как кажется, подключен именно к *этим* энергиям, стоит, заранее принимая все возможные упреки, попытаться увидеть в картине не просто более или менее удавшийся опыт экранизации популярного текста, но некое сообщение, идущее из глубин нынешнего народного опыта и самоощущения.

Фильм начинается с пролога на какой-то апокалиптической свалке. Разномастные мутанты с цветными гребнями и шишковатыми головами (тут не без Т. Толстой с ее «Кысью»), сгрудившись вокруг балагура-потешника, слушают историю, как мы дошли до жизни такой. Помойка — образ, что называется, «неприличный», раз и навсегда скомпрометированный эпохой помоечно-перестроечного кино. Художественно облагородить эту плоскую визуальную аллегорию вышвырнутости, ненужности, выбитости человека из привычной жизненной колеи не удалось даже Овчарову в его «Барабаниаде», хотя там был замечательно придуманный барабан с трубой в качестве обиталища главного персонажа. И все-таки в новом фильме Овчаров снимает помойку опять. Видимо, в коллективном хранилище знаков-флажков нет пока что другой метафоры для описания того, что со всеми нами произошло.

Затем мы переносимся в узнаваемое, типологически сказочное пространство русской истории. Почти оперная, патетическая панорама: на фоне крепостной стены по белому снегу разбросаны тела стрельцов в красных кафтанах, над ними горестно склоняются женщины. Выясняется, однако, что стрельцы просто мертвецки пьяны. Проснувшись, они бодро отправляются служить государю.

Государь (А. Мягков), прямо как в фильме «Иван Грозный», возлежит на столе с горящей лампадой в руках, задрав к потолку узенькую, жидкую бороду. Правда, тут же рядом с царевыми обнаруживается еще пара босых ступней, и скорбное ложе смерти на глазах превращается в ложе разврата. Царь спит с нянькой, дебилой, простоволосой, в спущенной с плеча посконной рубахе. Покуда государь не реанимировался, нянька исполняет пантомиму с примериванием на себя царевой короны, отсылающую к овчаровскому же фильму «Оно» (по мотивам «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина), где за власть боролись такие же «толстомясые» царицы-градоначальницы, спросонок выползшие из постелей любовников. В общем, в России все, как обычно.

Очнувшийся царь, поставив на место зарвавшуюся сожительницу, призывает к себе Федота и отправляет его за дичью: послов нечем кормить. Федот-стрелец, удалой молодец (К. Воробьев) в фильме — неказистый, небритый, «ушибленный»

мужичонка с мелкими морщинками вокруг блаженных, сияющих глаз. Привязав к ногам плетеные «мокроступы» и вооружившись громадным ружьем, сетью и рогатиной, он чаплиновским, семенящим шагом отправляется в бесполезный поход. Первыми на пути встречаются ему русалки — ядреные, грудастые, «кустодиевские», они гурьбой выскакивают из проруби и норовят зашекотать, запутать Федота сетью, погубить... Едва отбившись от сексуальных русалок, Федот приходит в лес, забирается на сук, сидит пригорюнившись. И тут откуда ни возьмись опускается рядом голубица Маруся, сказочная полудева-полуптица в шелках, мехах и жемчугах, с постным лицом, парой поэтических сизых крыл и прозаически-когтистых, хватистых лап. Говорит эта мудрая дева певучим речитативом на манер Беллы Ахмадулиной и тут же набивается Федоту-дураку в жены.

Едва он приносит суженую к себе домой, та, превратившись в стройную, домовитую молодницу (птичьего осталось — только перышки на руках серенького скромного платья), принимается хлопотать, шить, варить, мужа обихаживать; а в избу между тем налетает еще целый выводок Марусиных родственниц — Гамаюнов — группа поддержки, призванная бабьим своим кудахтаньем аккомпанировать идеальному семейному счастью. Но Федот все равно невесел, бомжом сидит в углу, прихлебывает из фляжки, горюет, готовится ответ держать — дичи-то для царя он так и не настрелял. Еда — дефицит. Но для такой надобности есть у волшебной Маруси и другие родственники. Хлопнула она в ладоши — и закружились в небе две черные птицы: два шагаловских еврея в лапсердаках и с пейсами, Фрол Фомич и Тит Кузьмич. Стрельцы было с перепугу начали по ним из пушек палить, но ничего, благополучно приземлились евреи у Федота в избе, готовые для услуг: чего изволите? Тут же сварганили для царя миску красной икры — каждая икринка величиной с яйцо. Все остались довольны — и царь, и послы иностранные.

У Филатова, а тем паче в народной сказке Фрол Фомич и Тит Кузьмич — «двое из ларца, одинаковы с лица» — не имеют никакой национальности. Тут же они будто прямо из Елисейского магазина. При каждой идеальной семье должен быть свой знакомый еврей — неотъемлемая часть российского благополучия. Вреда, впрочем, от них никакого. Между доставанием нужного Федоту, вернее, царю дефицита евреи мирно гнездятся в корзине, шуршат пачками долларов и на пальцах обсуждают всяческие гешефты.

Изображение лубочной пары хасидов в фильме далеко от канонов политкорректности. Так же, как, впрочем, и образы других инородцев и иноземцев. Комическая галерея словес при царском дворе, среди которых испанец — чистый «пидор» в розовых атласных штанах, и брутальный шотландец вообще без штанов, а, напротив, в юбке (нянька так и норовит все время под нее заглянуть), и пламенный горец с кинжалом, пляшущий лезгинку и готовый не сходя с места оттрахать все, что движется, включая и испанца с шотландцем, показаны с изрядной долей фольклорного озорства. Однако — без какой-либо агрессивной ксенофобии. Они просто «другие», пестрые вкрапления иного темперамента, иного орнамента на ветхом парчово-посконном рубище русской жизни. Важно в фильме само обилие этих ярких заплат: тут и царева дочка, переодевающаяся, чтоб соблазнить Федота, то гречанкой, то турчанкой, и (во второй половине картины) выскакивающие из Америки, как черти из табакерки, идолы масскульта от трансвеститов до культуристов. Лубочная интерпретация визуальных стилей разных стран и народов — любимая забава Овчарова; по этому принципу построен создаваемый им мультсериал, из которого с успехом уже были показаны египетская («Фараон»), греческая («Подвиги Геракла») и русская народная («Яблоко») серии. Но в «Федоте» вкрапления иноземных культурных знаков — не просто забавный элемент декора; это свидетельство «продуваемости», открытости мира, по которому заполошно мечется маленький русский человек. Все иноземцы, как фигурки в часах, бодро исполняют свои раз и навсегда затверженные па. У всех у них есть программа, в следовании которой они доходят порой до абсурда: так евреи услужливо подносят свечку к порогу, рассыпанному на полке ружья, из которого Федот собирается застрелиться: помогать так помогать. Сам же Федот не ведает, чего он хочет. Домостроевская птичья идиллия: и правильная Маруся, берегущая мужнину честь и отгоняющая соискателей — от генерала до царя — сковородкой, и Марусины упавшие с неба

пернатые родственники, и кучки зерна на столе, которыми она потчует мужа на завтрак, обед и на ужин, — все это Федоту не в радость. Он в вечной истерике и в отчаянии, весь в своих отношениях с властью, которая гоняет его туда-сюда и пугает всякими страшными карами.

Сказочная партия власти — царь, нянька, генерал, тощая, длинная, как коломенская верста, царева дочка и примкнувшая к ним ученая баба Яга — изображается в фильме (как, впрочем, и у Филатова) с традиционным лубочным сарказмом. Грозный царь — похотливый импотент с морковкой, подвязанной к поясу вместо «мужского достоинства». Идиот генерал (В. Гостюхин) — шпион и наушник с собачьим «передником» для медалей, превращающийся по ходу рискованного общения с нечистой силой — то есть Ягой — то в орла, то в оленя, то в зайца (впечатлительный). Сама Яга (О. Волкова), претендующая на лавры представителя альтернативной медицины (в качестве взятки генерал преподносит ей профессорскую квадратную шапочку)... Еще один чудной персонаж — тощий, синий мужик, состоящий при пыточной камере для демонстрации (на нем) телесных наказаний и пыток. В фильме его последовательно четвертуют, обезглавливают, топят в бочке, сажают на кол... Бутафорские экзекуции показаны с жутковатым гиньольным натурализмом (по части изображения жестокости народное искусство, как известно, не знает ограничений; и Овчаров дает себе волю, раскручивая этот мотив по полной программе). И несмотря на то, что подопытный мужик неизменно воскресает, Федот все равно каждый раз пугается, как дитя, и бежит к себе в избу отчаиваться и стреляться. Русский человек все знает про свою власть; ее высмеивание и осуждение давно стало отполированной веками народной традицией. Но с этой властью он сжился, она своя, родная, понятная; ее можно терпеть до бесконечности, делая вид, что веришь ей и до смерти ее боишься, а можно взять и прихлопнуть одним махом. Только вот что потом?..

Федот терпит и боится, пока власть не отправляет его на поиски «русской идеи» — «То-чаво-на-свете-нет». Это дело серьезное, грозящее нарушить привычную стабильность домашнего российского беззакония. Всякий раз, когда русский народ устремлялся к «тому, чего нет на свете», власти приходилось несладко. Вот и здесь, на острове Буяне, где с неба падают шестизэтажные гамбургеры, Федот находит сие дивное диво. В сказке Филатова «То-чаво-на-свете-нет» фигуры и телесного облика не имеет; это просто невидимый податель волшебной халявы — бесплатных пряников, пирогов и плюшек. В фильме он обретает харизматическую наружность Виктора Сухорукова, обритого к тому же на полголовы. Этот разбойного вида персонаж приставлен к хитрому и сложному сооружению — бревенчатому колодцу с люлькой и воротом, проходящему сквозь всю толщу земли. На нижнем конце — Америка. Герой Сухорукова отправляет туда народ с лукошками, собравшийся, как по грибы, за дешевой жратвой, оттуда же прибывают к нам «антиподы» — персонажи американского рекламного трэша (особенно хороша парочка культуристов в экономных плавках и бикини, принимающих позы, подчеркивающие рельефность мышц; на фоне зеленого леса они — ну чистые Адам и Ева американской мифологии). Впрочем, колодец, по всей видимости, — не просто транспортная артерия. Судя по количеству кровавых рубцов и шрамов, которые демонстрирует Федоту «То-чаво-на-свете-нет», он помимо прочего персонаж, призванный конвертировать американскую модель капитализма в российскую. А такие люди воистину фантастичны. И коли «русская идея», национальная вековая мечта о «несуществующем», трансформируется в идею построения капитализма в России, результатов тоже остается ждать самых диковинных.

Едва Федот и «То-чаво-на-свете-нет» прибывают на Родину, там начинается форменный «русский бунт» — разгул стихии. Власть, подвергнув всенародному осуждению, сбрасывают в колодец (то бишь — в Америку). Одна только царева дочка не хочет никуда эмигрировать, ей по-прежнему подавай Федота в мужья. Польщенный и возомнивший о себе Федот готов пойти ей навстречу: подумаешь, женат! — воля, чего хоч, то и делаю. В результате обиженная Маруся улетает от него, вновь обернувшись сказочной полуптицей: глядит с небес на Федота и льет золотые слезы. Царская дочка тоже испаряется. Федот остается ни с чем. А прочий люд, задумавшись, какая же такая у него заветная мечта, и не найдя в душе своей ничего, окромя страстного же-

лания «истребить соседа Кольку», дружно принимается махать кулаками. Так и машет, пока не истребляет себя под корень. Вновь — оперная панорама: горелые печные трубы, побитые стрелы, рыдающие над ними бабы.

А вслед за тем мы видим, как потешник на помойке, закончив рассказывать историю про Федота, любовно оглаживает пасущегося тут же лилового шестиногого коня. И в последних кадрах за речкой, сияя анилиновыми красками, встает Кремль, осененный громадными небоскребами.

Как видим, эмоциональная доминанта этого разухабистого фольклорного повествования — самоирония и растерянность: все вокруг люди как люди, а русский человек вечно проносит ложку мимо рта. И ничто ему не впрок — ни сказочная упавшая с неба удача, ни почти чудом давшаяся свобода... Все, к чему он привык, — служить, чертыхаясь, развратной, беззубой власти. Избавившись же от нее, «Федот-стрелец, удалой молодец» с удивлением взирает на изменившийся в результате сего стихийного катаклизма русский ландшафт. Но главное, ему хватает трезвости и широты никого при этом не винить, ни на кого не злиться и по-прежнему относиться к жизни с философской ухмылкой.

Что ж, если таково послание, донесенное Овчаровым из глубин коллективного бессознательного, дела не так уж плохи. В кладовых лубочной, фольклорной образности хватает средств для адекватного постижения ситуации. И это значит: народ наш духовно жив, все так же свободен и готов, ускользая от всех идеологических манипуляций, горько и весело подтрунивать над окружающими и над самим собой.

---

## WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

*«Личная страница», сайты Александра Левина и Дмитрия Галковского*

«Личная страница» — на первый взгляд периферийный феномен в современном Интернете. Действительно, разве можно сравнивать какие-то поделки школьников и домохозяек с поисковыми программами, которые перелопачивают терабайты (2<sup>40</sup>) информации, или системами электронной торговли, которые то приносят многомиллионные прибыли, то еще большие убытки, с энциклопедиями и библиотеками, с сетевой периодикой и многими, многими другими явлениями, которые, кажется, сегодня определяют облик Интернета. По сравнению с этими глобальными явлениями «Личная страница» — частное дело, интересное кроме создателя еще, может быть, десятку его знакомых. Но мне кажется, что именно «Личная страница» и есть то совершенно новое, что принесли глобальные сети, то небывалое, что стало возможно только в эпоху Интернета. Все остальное было, может быть, не совсем в том или совсем не в том виде, что сегодня, но было. А вот «Личной страницы» не было. Ей просто негде было разместиться.

Как выглядит типичная «Личная страница» студентки второго курса университета (у нас теперь все сплошь университеты или, на худой конец, академии, один институт остался, и тот — Физтех)?

Несколько фотографий из серии «Как я провела лето» — довольно нечетких и не претендующих на совершенство формы, ссылка на сайт «Русская фантастика», рамблеровский счетчик посещений и вроде бы все. Нет, примостилась еще внутренняя ссылка: «Об авторе». Но и здесь как будто ничего особенно интересного. Родилась, училась, учусь, интересуюсь. Люблю то-то и то-то. Мои друзья — и ссылочки, как положено, на ресурсы друзей. Немудреный или, напротив, аляповатый, попугаистый дизайн (это чаще у мальчиков), когда на экране все время что-то моргает, падает, сыплется: бабочки летают, динозаврики откуда-то выскакивают. Что можно в такой странице увидеть? А ведь главное уже есть. Еще в непроявленном виде, еще с хвостом и жабрами, но есть.

Что нужно знать и уметь, чтобы сделать подобную страницу? Оказывается, довольно много. Для начала необходимо научиться не бояться компьютера. Он должен стать не зверем, который все время норовит не то чтобы съесть своего пользователя, но уж непременно как-нибудь напакоstitь, а тихим домашним животным, которое на все согласно и, если не дергать его за уши и не гладить против шерсти, может очень и очень помочь. У юного поколения процесс привыкания к компьютеру времени не занимает вообще. Они вырастают с мышью в руках. И бояться компьютера для них так же странно, как бояться домашнюю кошку. Но так дело обстоит не всегда и не со всеми! И сегодня есть сколько угодно людей (их просто большинство), которые садятся за компьютер, брезгливо поеживаясь, как будто входят в холодную мутноватую воду. Такой человек ни за что не станет заниматься такой ерундой, как создание своей «Личной страницы». При крайней необходимости он закажет эту страницу в веб-мастерской, а это не совсем то.

Но если у человека есть начальные (очень часто и совсем не начальные, а вполне продвинутые) навыки работы с компьютером, если он выходит в Сеть, чтобы посмотреть прогноз погоды, узнать программу телепередач, послушать последний хит Земфиры или Заремы, для такого человека, уже насмотревшегося на многие сотни и тысячи чужих страниц, совершенно естественно подумать о создании собственной. «Личная страница» в 99 процентах случаев — частная инициатива, за нее не только никто вам не заплатит, вам самим придется платить: за хороший модем, за доступ в Сеть, а может быть, и за доменное имя и пространство на сервере, если вы зашли настолько далеко, что бесплатный хостинг и имя третьего уровня вас уже не устраивают. (И что такое «хостинг» и «доменное имя», тоже нужно знать.)

Прежде чем человек решает создать «Личную страницу», сколь угодно простую, он должен почувствовать в этом насущную необходимость. Если вы знакомы с Интернетом только по слухам или статьям — все равно, ругательным или восторженным, — вам такое в голову не придет. Человек, создающий свою «Личную страницу» в Интернете, настолько адаптирован к сетевой среде, что она уже не устраивает его как среда чистого потребления, он начинает творить, он выходит в Сеть как полноправный член сообщества, он *делает* Интернет.

Есть огромная разница между юношей, пишущим свои сокровенные мысли в дневник, собирающим фотографии своих друзей в альбом, обсуждающим последний увиденный фильм с приятелем, и тем же юношей, но создающим свою страницу — чтобы вынести эти мысли, фотографии, суждения на холодный ветер сетевого пространства. Здесь вообще-то ни с кем не церемонятся, и псевдоним тоже не спасает. Под псевдонимом (ником) приятно и удобно пописывать посты в чужих гостевых книгах. Здесь я — X, там я — Y и всюду аноним. И никто не знает, одно ли это лицо, да и лицо ли это. Когда я создаю страницу, я могу все про себя выдумать, но и это не защитит. Делая страницу, я ассоциируюсь со своим псевдонимом — он уже я. Здесь я принимаю удар на себя, и нет того угла, за который можно спрятаться. И любой может высказать все, что думает обо мне (или моем нике), и это может быть очень больно.

Гоголь выпустил свою поэму «Ганс Кюхельgarten» под псевдонимом — В. Алов. Но когда появились рецензии — вполне в стиле сетевого общения, — презрительно-брезгливые, которые сводились к известной фразе «Не писал стихов и не пиши», Гоголь бросился скупать и жечь свою книгу. Ему было не легче от того, что обожгли желчью не Н. В. Гоголя, а В. Алова.

Чтобы создать свою страницу, нужно обладать определенной смелостью и дерзостью. Но только этого недостаточно. Необходим реальный навык работы по крайней мере с одной, а лучше с несколькими программами создания сайтов. Например, с Microsoft FrontPage. А это не самые простые приложения, в них нужно разбираться и помучиться придется. И, кроме того, понадобятся хотя бы начальные сведения о языке разметки документа (html). А это формальный язык, и работать с ним не слишком просто. Нужно привыкать. Понадобится выбрать провайдер и разобраться с его интерфейсами. Как бы они ни были просты, все это — время, деньги, силы. Зачем? Неужели только затем лишь, чтобы увидеть на экране свою фотографию, которая вернулась к тебе из сетевого далека? Конечно же нет.

Создание своей страницы — это объявление всему миру о собственном существовании. Это гордый поступок. Это создание своего виртуального двойника, который с этого момента может общаться с другими виртуальными образами, за каждым из которых стоит реальный человек. И интересен этот реальный человек (и его виртуальный двойник) не тем, что занимается каким-то чрезвычайно важным делом, а именно самим собой интересен.

Возникает совершенно неизвестная до Сети форма кристаллизации информации. Узлами этой новой решетки являются не проблемы, профессии, занятия и т. д. (хоть это все в Сети тоже есть), здесь узлы — люди. До сих пор человеком, именно как человеком, а не профессионалом в какой-то области, интересовались, кажется, только спецслужбы, собиравшие досье, или историки-биографы. Но и те и другие занимались (и занимаются) не каждым и не бескорыстно. Как это ни покажется странным, человек как человек, вне его профессиональной деятельности и вне профессиональной деятельности собирателя информации, никогда никого не интересовал. Даже психолога или социолога интересуют в конечном счете массовая статистика и закономерности развития, а не отдельная личность. Единственное исключение — литература. Но и ее интересуют все-таки типы, пусть и воплощенные в образах случайных на первый взгляд людей.

Я создаю «Личную страницу». Я человек — этим я интересен, об этом говорю. Иное дело, захотят ли меня слушать другие. Ведь говорить-то нужно о чем-то — человек проявляется через личную деятельность.

«Личная страница» — мое другое «я». Оно от меня довольно сильно отличается. Я могу быть скрытным и замкнутым — оно открыто и публично. Я привык сидеть на «камчатке» — оно всегда на сцене, а здесь и аплодисменты, и гнилые помидоры. Работа над «Личной страницей» никогда не заканчивается, она путешествует с одного сервера на другой, ее дизайн меняется, не говоря уже о содержании, потому что меняется автор — человек. И, может быть, наступит такой момент, когда эта страница станет действительным произведением сетевого искусства. Но не застывшим, а непрерывно становящимся, совершающимся на наших глазах, а значит, сопровождающим нас, живущим параллельной с нами жизнью.

Сегодня таких действительно живых и интересных страниц в Интернете очень мало, но нельзя забывать, что то поколение, для которого Интернет — это воздух, очень молодо — оно растет, и растут «Личные страницы». Однако и сейчас уже есть интересные примеры.

Один из них — сайт Александра Левина (<http://levin.rinet.ru/index.htm>). Не думаю, что для кого-то этот адрес станет открытием — он давно и хорошо известен обитателям Сети. Тем приятнее заглянуть сюда еще раз. Не только потому, что Александр Левин пишет хорошие стихи (мало ли кто пишет хорошие стихи), не только потому, что он пишет интересные статьи о стихах и книги о компьютерах и Интернете (этого добра тоже хватает), не только потому, что у него интересные друзья и знакомые — люди это, как правило, известные, и их можно встретить не только здесь. Но на всем этом сайте лежит отпечаток живой человеческой личности, обаятельной и крайне симпатичной. Здесь интересно все. И новое стихотворение, и, например, короткий рассказ о том, как автор отправился в супермаркет за продуктами и увидел там роман Владимира Тучкова «Танцор», и последующие рассуждения о дороговизне «роллс-ройсов». А роман как раз и выложен в разделе «Друзья и знакомые кролика». Но что самое важное, все это богатство создает кумулятивный эффект. Сайт работает в одном направлении, бьет в точку. И вот эта точка и есть человеческая живая личность, которую удалось выразить Левину.

«Нарисовал я на тетрадном листке блок-схему своего будущего сайта: тут мои статьи, тут про меня статьи, тут моя книга, тут мои стихи, тут мои песни, тут мои прочие труды... (Ну чем не титан Возрождения?.. — гордо думал я.) И повез старому другу Саше Асманову, который с Интернетом серьезных дел раньше не имел, зато умеет рисовать. И руками, и компьютером. Асманов только взглянул на мою бумажку и говорит: „Вот! Так и будем делать!“ Сунул ее, мятую, в сканер. И через пару минут протягивает дискету: „Сделай так, как есть. Такого никто еще не делал, могу спорить!“ Я сделал все, как он велел. Адекватно. Теперь на этом всем ле-

жит, как выразился Асманов, отпечаток моей личности. Человек, впервые увидевший на своем экране эту мятую бумажку, говорит: „О!.. А это еще что такое?!” А это отпечаток моей личности» (<http://levin.rinet.ru/VA/1997/20.htm>).

Одна из типичных ошибок начинающего веб-дизайнера — это увлечение разного рода нерегулярными фонами: «мрамор», «мятая бумага»... Но у Левина эта набившая оскомину «мятая бумага» на первой (индексной) странице сайта не только необыкновенно к месту, но она кажется единственным возможным фоном. Конечно, перед нами личная страничка, страничка, вырванная из школьной тетради в клеточку, где от руки нарисована карта сайта. Этим фоном сказано очень много. И некоторая (кажущаяся, конечно) небрежность, и свобода, и открытость — нас встречают в домашнем халате, значит, нам доверяют как добрым знакомым.

Хочется быть разным.

Хочется и так и эдак — главным образом потому, что хочется быть. Хочется становиться. Но, став, хочется быть дальше и опять становиться.

Хочется пойти, не знаю куда, найти, не знаю что, отнести домой и опять пойти.

Быть разным. Различным, но не безразличным, не безличным и отличным от заграничного. Хочется быть.

И что написано хорошо, да будет признано хорошим!

А что написано плохо, да будет признано плохим!

Как бы они ни и сколь бы оне не.

Каждый — сам. Один лучше, другой еще лучше, кроме тех, кто не сам (но тоже по-своему), и тех, кто уж чересчур сам (как все).

Да будем мы разными, но хорошими.

Да будем мы радоваться различию больше, чем сходству, и наоборот.

Да будем мы, будем! Когда-нибудь — обязательно»

(<http://levin.rinet.ru/TEXTS/unik.htm>).

Мне кажется, Левин точно высказал ту мысль, к которой я пытаюсь подбаться. Да, хочется быть разным. Не хочется укладываться в рамки профессии, или специальности, или проблемы. Но главное, разным быть можно. Не последовательно, по полочкам, сначала одним, потом другим, а сразу всем — целым человеком. Можно предъявить себя читателю-слушателю-зрителю во всех своих проявлениях. Так, как это делает Александр Левин — человек-оркестр.

При всем многообразии материалов, составивших сайт, в нем нет ничего лишнего, ничего, что не прошло бы придирчивый авторский контроль. На сайте нет гостевой книги, с неизбежными для нее визитами случайных людей, оставляющих свои не всегда блещущие умом и сообразительностью посты. И это тоже выбор.

Но гостевая книга может стать главным инструментом и методом организации «Личной страницы»: если нам интересно говорить с человеком и слушать человека, видеть его немедленную, сиюминутную реакцию, если человек такой азартный и острый полемист, как Дмитрий Галковский (<http://www.samisdat.ru>).

Интересны не «Бесконечный тупик» и не «Разбитый компас», а сам Галковский — резкий и глубокий мыслитель. Гостевая книга — это его жанр. Не очень важно, о чем он пишет, все равно получается свежо и ново. С ним не хочется спорить, даже если и не соглашаешься, его хочется слушать. Как раз спорить просто, а соглашаться трудно. Галковский — это такой сетевой Сократ, козел-провокактор — не ходите за ним, бараны: сгинете. Захватывает не тема, не аргументация, не стиль, а предъявленный процесс мышления, сами изгибы русла, а что там течет, хрустальной чистоты вода или царская водка, не главное.

Когда пашут целину, сначала мощный плуг переворачивает многолетнюю дернину. После него симпатичный лужок превращается в непроходимые нагромождения вывернутых пластов. Должен пройти культиватор и разбить комья, потом их нужно разборонить, и только после этого можно что-то сажать, выращивать, собирать урожай. Но сначала — плуг. Это и есть Галковский. Он вспахивает слои культурной мифологии, слежавшиеся до полного окаменения, сросшиеся, как трехсотлетний газон. Меня не очень трогают судьбы русского мasonства или еврейства, меня не занимает, напал Сталин на Германию или Гитлер на Россию, мне, строго говоря, наплевать на черносотенцев, краснобольшеви́ков, белогвардейцев, голубых,



розовых, крапленых, коричнево-кофейных... Все так, пока о них говорит кто угодно, кроме Галковского, когда заговорит он, я буду слушать. В Сети я мог наблюдать Галковского как явление в естественной для него среде. Но вот последняя запись, сделанная Галковским в гостевой книге на своем сайте:

«Поздравляю всех с Новым годом и с началом процесса перехода в новое столетие и тысячелетие. Сподобил Господь увидеть!»

Менее всего ощущал себя человеком XX века. Детство и юность — это скорее век XIX, далее — XXI. Мое первое чувство при виде компьютера: „Наши пришли!” Это было ощущение контакта не с советским человеком, а с чем-то серьезным. Реальным. Я записал в дневнике: „Розанов вышел в больничный коридор, где раздавался равномерный гул вентилятора. Его как будто схватило за волосы, он чуть не сел на пол от ужаса: „Ведь мы все умрем!” Розанов умер, а вентилятор гудит в моем компьютере. И снова охватывает ужас смерти.

Все-таки восстановление связи, преемственности. Люди перестали писать письма в начале XX века и начали снова — в конце. Проклятый устный век, век смерти. Сталин сказал: „Некоторые товарищи у нас боятся. А зачем боятся? Бояться не надо. Надо работать!”

Но ничего. Письменное слово — вечно. Устное — исчезнет как дым. Через пять лет о XX веке со всеми его ужасами никто не вспомнит. Возникнет новый мир, новая реальность. Это и будет лучшей формой мести — „забыли”.

Желаю всем счастливых перемен, и спасибо за поздравления. Мы увидим много интересного.

Самиздат до 14 января будет в загуле. А потом начнем улучшать реальность :-)

Дмитрий Галковский, Москва, Россия — Friday, December 31, 1999 at 14:22'46"» (<http://www.samisdat.ru/7/71-gbook.htm>).

Продолжения не последовало. Сайт замер. Изменяется только количество посещений — работает счетчик. Люди приходят. Реальность продолжает улучшаться. Сайт живет, пока его пишут, живет, пока он меняется, иначе он превращается в мавзолей. Не знаю, может быть, Галковский еще вернется к своему проекту, может быть, затеет что-то совсем другое. Мне жаль; это молчание длится уже больше двух лет. По интернетовским срокам — вечность. Вероятно, это конец «Виртуального сервера Дмитрия Галковского». «Личные страницы» тоже умирают, умирают, исчерпав до дна весь запас сил. Умирают, как люди. Может быть, к тому моменту, когда эти заметки увидят свет, сайт снова оживет? Я в это не верю.

«Личная страница» — это то новое, то необыкновенное, что принес в нашу жизнь Интернет. Сам этот феномен пока находится в поисках формы. И лишь немногие люди способны так выстроить свое взаимодействие с Сетью, чтобы она не подавляла обилием информации, а помогала раскрыться. Это только начало.



# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

## КНИГИ



**Анатолий Азольский.** Розыски абсолюта. Повести, роман. М., «ОЛМА-Пресс», 2001, 383 стр., 5000 экз.

В новой книге постоянного автора «Нового мира» (букеровского лауреата 1997 года за роман «Клетка») повести «Облдрамтеатр», «Нора», «Розыски абсолюта» и роман «Кровь».

**Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 18. Феликс Кривин.** М., «ЭКСМО-Пресс», 2001, 672 стр., 5000 экз.

Самое представительное (более 400) собрание коротких рассказов Кривина, создавшего в шестидесятых годах свой собственный жанр сатирической философской притчи-миниатюры.

«Апрель». Литературный альманах. Выпуск двенадцатый. М., «Соль», 2001, 287 стр., 1000 экз.

Проза: Владимир Войнович, Дина Рубина, Михаил Левитин, Феликс Кривин, Юрий Черняков, Вардван Варжапетян, Олег Клинг, Галина Вайгер, Даша Кузнецова. Поэзия: Владимир Мощенко, Татьяна Бек, Виктор Матвийко, Александр Аронов и другие. Публицистика Игоря Дуэля, Аллы Гербер и Михаила Ардова; критика Андрея Анпилова и Алексея Гелейна.

**Томас Венцлова.** Граненый воздух. Стихотворения. Перевод с литовского В. Гандельсмана. М., О.Г.И., «Дом Юргиса Балтрушайтиса», 2002, 88 стр.

Первый в России сборник стихов одного из самых известных в мире современных литовских поэтов.

**Гавриил Гагарин.** Забавы уединения моего в селе Богословском. Составление, послесловие, комментарий С. Сучкова. М., «Аграф», 2002, 240 стр., 2000 экз.

Избранные сочинения князя Гавриила Петровича Гагарина (1745 — 1807), стихи и философская проза забытого писателя — предыдущая его книга выходила в 1813 году.

**Лидия Григорьева.** Воспитание сада. Книга стихов. СПб., «Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ», 2001, 271 стр., 1000 экз.

«САД — это здание мира. Мироздание, одним словом. Так я его вижу и ощущаю. И хотя почти вся книга написана в последние два года в Лондоне, где судьба одарила меня маленьким садом... — оказалось, что Сад (то есть звезды, цветы, птицы и, как ни странно, коты) был в моем миропредставлении всегда на первом месте. Именно поэтому в книгу вошли и ранние, нигде до этого не опубликованные стихотворения» (от автора).

**Ларс Густафсон.** День плиточника. Роман. Перевод со шведского Н. Федоровой. М., «Текст», 2001, 157 стр., 2000 экз.

Третье издание на русском языке прозы известного шведского писателя: «Новый мир» уже писал о его предыдущих публикациях — о рассказе «Искусство пережить ноябрь» (Татьяна Касаткина в статье «Сверстники Ноя» — 1998, № 8) и о романе «Смерть пчеловода» (рецензия Василия Костырко — 2001, № 1).

**Эльфрида Елинек.** Пианистка. Роман. Перевод с немецкого А. Белобратова. СПб., «Симпозиум», 2001, 397 стр., 5000 экз.

Русское издание романа, впервые вышедшего в 1983 году и ставшего сегодня знаменитым благодаря его экранизации режиссером Михаэлем Хайнеке (Гран-при Каннского фестиваля 2001 года) — о фильме коротко в статье Натальи Сиривли («Новый мир», 2002, № 1).

**Лариса Миллер.** Мотив. Книга стихов. К себе, от себя. Рассказы, статьи, эссе. М., «Аграф», 2002, 336 стр., 1500 экз.

В «Мотив» вошли стихи 1999 — 2001 годов, а также избранное 60 — 90-х годов. Раздел автобиографической прозы и литературно-критической эссеистики предваряется авторским предисловием «Вниз по реке»: «Со временем все проходит: и человек и эпоха. Наступает другая эпоха, приходит другой человек. Но и он, как предшественник, непременно принимается выяснять отношения СО ВРЕМЕНЕМ И ПРОСТРАН-

СТВОМ. Прошлое, настоящее, будущее — что мы ведаем о них?»; «„Измени свое отношение”, — сто раз повторяла я себе, попадая в очередную тупиковую ситуацию. Измени свое отношение к изменчивому и непостоянному миру, в котором смена иллюзий — процесс столь же естественный и неизбежный, как смена времен года...».

**Анатолий Найман.** Софья. М., О.Г.И., 2002, 24 стр.

Новая книга Наймана, в которой он, после ряда сочинений в прозе, возвращается к поэзии, — цикл стихов, посвященных внучке Софье.

**Константин Плешаков.** Красный Камень. Роман, рассказы. М., «ОЛМА-Пресс», 2001, 319 стр., 5000 экз.

Книга живущего в США и активно печатающегося в России современного прозаика — роман «Красный Камень», рассказы «Старосветские изменщики», «Прыжок за вами», «Мертвая голова», «Ферма с карасями», «Поживший принц», «Темный лес», «Библиотека».

**Ольга Трифонова.** Единственная. Надежда Аллилуева — жена Иосифа Сталина. М., «Коллекция „Совершенно секретно”», 2002, 288 стр., 10 000 экз.

Роман на документальной основе о Надежде Аллилуевой, о жизни семьи и близкого политического окружения Сталина. Наиболее подробно изображены последние три года жизни Аллилуевой перед ее загадочной гибелью в ноябре 1932 года, разобраны сложные связи и сюжеты взаимоотношений Сталина с семьей Аллилуевых, истории первых внутрипартийных «разборок»; автор не верит в версию самоубийства, приводимые ею исторические свидетельства и их анализ (в частности, воспроизведенная в романе цепь безобразно-грубых скандалов и публичных издевательств Сталина над женой) дают писательнице право на предположение, что Надежда Аллилуева погибла от руки мужа.

**Пер Улов Энквист.** Пятая зима магнетизера. Низверженный ангел. Романы. Перевод со шведского Ю. Яхниной, А. Афиногеновой. М., «Иностранка», «Б.С.Г.-Пресс», 2001, 366 стр., 5000 экз.

Философско-психологическая проза одного из ведущих современных шведских писателей; два романа о двух «монстрах», один — о лекаре-магнетизере XVIII века (первая публикация в журнале «Иностранная литература», 2000, № 11), второй — о двухголовом человеке — имеет подзаголовок «любовный роман» и повествует о любви мужской головы героя к женской.

**Тама Янович.** На побережье Гитчи-Гюми. Роман. Перевод с английского Веры Пророковой. М., «Иностранка», 2001, 424 стр., 5000 экз.

Бытописательный, слегка подкрашенный юмором, с довольно поверхностным психологическим рисунком персонажей, претендующий на «легкое, но при этом серьезное» чтение роман популярной американской писательницы. Этим романом издательство «Иностранка» начинает новую книжную серию, названную «За иллюминатором» (составитель Илья Кормильцев). Остается надеяться, что ошутимую конкуренцию уже зарекомендовавшим себя книжным сериям «Иностранки» — «Иллюминатор» и «Лекарство от скуки» — серия «За иллюминатором» составит своими следующими книгами.



**Ульрих Бек.** Что такое глобализация? Перевод с немецкого А. Григорьева и В. Седельника. М., «Прогресс-Традиция», 2001, 304 стр., 3000 экз.

Попытка определить явление и проанализировать его на материале политической и экономической жизни Европы и США последнего десятилетия, предпринятая профессором Мюнхенского университета.

**Жак ле Гофф.** Средневековый мир воображаемого. Перевод с французского Е. В. Морозовой. М., «Прогресс», 2001, 440 стр., 3000 экз.

Новая для русского читателя книга известного историка, знакомство с которым началось в 90-е годы (у нас уже вышли его работы «Интеллектуалы Средневековья», «Цивилизация средневекового Запада», «Другое Средневековье»).

**Яков Друскин.** Перед принадлежностями чего-либо. Дневники 1963 — 1979. СПб., «Академический проект», 2001, 640 стр., 1000 экз.

Издание продолжает наше знакомство с наследием самобытного философа, в частности, с его дневниками («Дневники 1928 — 1962» изданы в 2001 году). «Дневники Друскина — невероятно сложный философский текст, требующий медленного, „соразмерного» чтения. Все события внутренней и внешней жизни Друскин осмысливает „с точки зрения вечности», превращает в „фигуры» трансторической драмы, вечный

сюжет которой — взаимоотношения Бога и человека. „Мотивная структура” дневников многослойна, богата, сложно организована, но в то же время традиционна и внутренне едина: страх, выбор, грех, боль, соблазн, подлинность, свобода, память, жизнь, вера, истина...» (Роман Ганжа, «Русский Журнал»).

**Л-критика.** Ежегодник Академии Русской Современной Словесности. Выпуск 2. М., АРС'С, О.Г.И., 2001, 176 стр.

Содержит тексты участников Вторых литературных чтений имени Аполлона Григорьева, посвященных теме «Русская поэзия в конце века. Неоархаисты и неоноваторы», — Аллы Марченко, Вл. Новикова, Игоря Шайтанова, Никиты Елисеева, Андрея Василевского, Дмитрия Бака; также в сборник включены статьи о поэзии и прозе членов АРС'С Льва Аннинского, Андрея Арьева, Дмитрия Бавильского, Евгения Ермолина, Михаила Золотоносова, Валентина Курбатова, Ирины Роднянской, Романа Арбитмана, Леонида Бахнова, Александра Гениса, Натальи Ивановой, Лазаря Лазарева, Аллы Латыниной, Марка Липовецкого, Андрея Немзера, Карена Степаняна.

**Твой нерасшатанный мир. Памяти Вадима Козового.** М., «Прогресс-Традиция», 2001, 248 стр., 500 экз.

Книга об известном переводчике, поэте Вадиме Марковиче Козовом (1937 — 1999), содержащая его стихи, автобиографическую прозу и письма. Кроме того, в книгу вошли копии следственных документов, фотографии, воспоминания друзей и коллег (Н. Г. Обушенкова, Анны Рапопорт, Жоржа Нива, Антонины Рубишу, Мориса Бланшо, Жюльена Грака, Кшиштофа Помяна и других). Материал расположен в хронологическом порядке: харьковское детство, учеба, арест в Москве в 1957 году и следствие по «делу Краснопевцева», мордовские лагеря, переводческая работа по возвращении в Москву, эмиграция во Францию в начале 80-х годов. Составитель книги, вдова поэта Ирина Емельянова: «Как определить жанр этой книги? Интеллектуальная биография, альбом, коллаж? Прекрасно отдаю себе отчет в том, насколько уязвимы и „несолидны” подобные издания — случайностью собранного, абсолютной разностильностью текстов. Но слышком велико было искушение как можно скорее, пока, казалось, слышен голос самого Вадима, рассказать о нем, а главное — как бы заново его перечитать... перечитать с „ключом”, который дает его жизнь...»

**Дж. Томас Шоу.** Поэтика неожиданного у Пушкина. Нерифмованные строки в рифмованной поэзии и рифмованные строки в нерифмованной поэзии. Перевод с английского Т. В. Скулачевой, М. Л. Гаспарова. М., «Языки славянской культуры», 2002, 456 стр.

Монография известного американского пушкиниста, профессора Университета Висконсин-Мэдисон.

Составитель **Сергей Костырко.**

## ПЕРИОДИКА



*«Вести.Ру», «Вестник Европы», «Время МН», «Время новостей», «Вышгород», «Газета», «Двадцать два», «День и ночь», «День литературы», «Завтра», «Звезда», «Знание — сила», «Иерусалимский журнал», «Известия», «Иностранная литература», «Искусство кино», «Книжное обозрение», «Континент», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учеба», «Мировые Дискуссии», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Нескучный сад», «Новая газета», «Новая Польша», «Общая газета», «Огонек», «Отечественные записки», «Полис», «Посев», «Пределы века», «Русский Журнал», «Сибирские огни», «Труд», «Фома»*

**Александр Агеев.** «Застой»? — «Время МН», 2002, № 4, 12 января <<http://www.vremyamn.ru>>

«Всех дискуссионтов [о 90-х годах] можно очень грубо распределить на две „партии” — „оптимистов” и „пессимистов”, то есть на тех, кто признает, что Россия

двигалась тогда в правильном направлении, и на тех, кто считает, что 90-е были путем в тупик. Но и те и другие практически согласны, что „бывали хуже времена, но не было подлей”. Помилуйте, господи! Я тоже жил в 90-е годы, и жилось мне так же трудно, как большинству в России, но все десять лет меня не покидало ощущение, что я „счастлив”, поскольку „посетил сей мир в его минуты роковые”...

**Лев Аннинский.** «Наше всё» — наше ничего? Мифотворчество на прицеле у мифоборчества. — «День литературы», 2002, № 1, январь <<http://www.zavtra.ru>>

«Так что же пишет Пушкин, когда ему предложено высказаться и он знает наперед, чего от него ждут, и решает высказаться [в записке о народном воспитании] именно так, как от него ждут? Он знает, что его читателем будет царь. Но знает ли он, что его читателями будем мы с [Юрием] Дружниковым? И хочет ли этого?» См. также рассказ **Юрия Дружникова** «Зачем нервировать Пушкина?» («Вышгород», Таллинн, 2001, № 6 <<http://www.veneportaal.ee/vygorod>>). См. также: **Лола Звонарева, Веслава Ольбрых**, «Состоявшийся вне тусовки: творчество и судьба писателя Юрия Дружникова. Опыт документального исследования» (М., «Academia», 2001).

**Юрий Афанасьев.** Образовательная антиутопия. — «Отечественные записки». Ежемесячный журнал. Выходит с декабря 2001 года. 2002, № 1 <<http://www.strana-oz.ru>>

«Современное общество, таким образом, нуждается уже не столько в профессионализме <...> сколько в универсализме и социальной мудрости, подразумевающей наличие простора для действительно образованного человека, мышление которого не ограничено торной колеей профессионализма», — считает ректор РГГУ.

См. также похвальное слово **Ревекки Фрумкиной** новому *толстому* журналу «Отечественные записки» и беседу с главным редактором «ОЗ» **Татьяной Малкиной** — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/period>>

**Андрей Баженов.** «Схождение во ад» как творческая задача Пушкина. К вопросу о «Гавриилиаде». — «Наш современник», 2002, № 1 <<http://read.at/nashovr>>

Статья была ранее напечатана в журнале «Москва» (2001, № 6 <<http://www.moskvam.ru>>).

**Павел Басинский.** Неслучайный свидетель. — «Литературная газета», 2002, № 1, 16 — 22 января <<http://www.lgz.ru>>

Астафьев и Горький. См. также рассказ **Виктора Астафьева** «Пролетный гусь» — «День и ночь», Красноярск, 2001, № 9-10, ранее печатавшийся в «Новом мире» (2001, № 1) и отмеченный премией имени Юрия Казакова как лучший русский рассказ 2001 года.

**Андрей Битов.** «Вертикаль вбивают нам в задницу, я не разбираюсь кто, но любым способом». Беседу вела Екатерина Варкан. — «Независимая газета», 2002, № 9, 23 января <<http://www.ng.ru>>

«Все помирают кругом. Ушло 12 близких мне людей, и сам живу, чтобы не умереть завтра. Идет подметание прошлого века — только непонятно, кто подметает и какой метлой».

**Брайан Бойд.** Жизнь биографа. Перевод с английского Марии Маликовой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 1 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

[Карл] Поппер восхищает меня с университетских дней в той же мере, что и Набоков».

**Алла Большакова.** Обломовка или обломовщина. Сновидческие прозрения в романном мире И. Гончарова. [Фрагмент книги «Деревня как архетип: от Пушкина до Солженицына»]. — «Литературная учеба», 2001, № 6, ноябрь — декабрь.

«Компенсаторские интенции автора-героя, однако, входят через ассоциативный намек...»

**Владимир Бондаренко.** Великолепная десятка. — «День литературы», 2002, № 1, январь <<http://www.zavtra.ru>>

«На днях мне сказал в разговоре о Проханове Александр Исаевич Солженицын, что „очень доволен его метафористикой. Он, конечно, незаурядный писатель”. Александр Исаевич просил передать Проханову, что прочитал весь роман „Красно-коричневый” и остался доволен „такой естественной, богатой метафористикой. У Личутина — язык, а у Проханова — метафора... Обоим передайте от меня привет”. Передаю с радостью, Александр Исаевич. Поражаюсь высокой объективности и требовательности Вашего видения современной литературы».

См. также: «Среди этих двух миллионов загубленных мерзкой властью [беспризорных] детишек погибли так и не возросшие Гагарины, Жуковы, Вернадские, Прохоровы,

Шолоховы, Корины, Прокофьевы, Жолтовские — те русские гении, что рождались бес-счетно в деревнях и поселках. <...> Может, мальчик в обносках, что задумчиво стоит на огромной зловонной свалке, наблюдая, как летит в Сочи нарядный самолет Президента, — это будущий русский бен Ладен?» — читаем в передовице **Александра Проханова** («Завтра», 2002, № 4, 22 января <<http://www.zavtra.ru>>). См. также: Алла Латынина, «Проханов как авангардист» — «Время MN», 2002, 6 февраля.

См. также: **Владимир Личутин**, «Сукин сын» — «Наш современник», 2002, № 1 — психологический очерк о собаке, но с общественно-политическими выводами.

**Брассан**. Генри Миллер. Портрет в полный рост. Перевод с французского Н. Сперанской. — «Иностранная литература», 2002, № 1 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

Фрагменты книги «*Henry Miller, grandeur nature*» (Paris, 1975): «Сам я отношу знакомство с Генри к декабрю 1930 года, и случилось это вскоре после того, как он приехал во Францию...»

**Ольга Брилева**. В защиту Гарри Поттера. Фундаменталисты объявили войну сказочному герою. — «Общая газета», 2002, № 6, 7 февраля.

«Магия в книге Роулинг — условность. <...> Конечно, христианского послания, сознательно заложенного в текст, у Роулинг нет тоже. Она писала просто сказку. Аполлогеты Роулинг не должны это замалчивать. В этом плане основное достоинство „Гарри Поттера“ — то, что наш мир в ее зеркале отражен верно. <...> Если Честертон или Льюис — распахнутое окно в христианство, то „Гарри Поттер“ — зеркало, где свет евангельской доброты отражен как скромное сияние человеческой порядочности. Но на определенном этапе духовного развития ребенка и это необходимо. Не прочтите от детей книгу о Гарри Поттере. Просто не забывайте перечитывать с ними Евангелие.»

См. также разные мнения о «поттеромании»: **Ирина Каспэ**, «Народ за Гарри Поттера» — «Иностранная литература», 2001, № 5; **Владимир Александров**, «Кто придумал футбол, или Гарри Поттер в школе и дома»; **Владимир Губайловский**, «Чужое детство»; **Ирина Роднянская**, «Заключительная реплика» — «Новый мир», 2001, № 7.

**Андрей Ваганов**. Учиться станет совсем легко и весело. — «Независимая газета», 2002, № 22, 7 февраля.

«По сути, планируется полное уничтожение российского образования, низведение его ниже уровня церковно-приходской школы, — прокомментировал ситуацию **Игорь Шарыгин**, заведующий лабораторией „Геометрия“ Московского центра непрерывного математического образования, член исполкома Международной комиссии по математическому образованию. — А население (именно население) России должно заниматься обслуживанием сырьевого комплекса. И немного уметь объясняться по-английски. Раб должен знать язык господина.»

«В августе 2002 года можно будет отметить памятную дату — 70 лет назад советская школа вернулась [после революционного экспериментаторства 20-х годов] к традиционным для русской системы образования учебным программам, университетской разносторонности, фундаментальности и гуманитарности», — пишет **Ирина Стрелкова** («Наш современник», 2002, № 1).

См. также статьи **Максима Кронгауза** и **Валерия Сендерова** о реформе образования — «Новый мир», 2002, № 4 и тематические номера «Отечественных записок» (2002, № 1, 2 <<http://www.strana-oz.ru>>).

**Сергей Волков**. Стране нужна орфографическая конституция. Беседу вела Элла Максимова. — «Известия», 2002, № 18, 1 февраля (приложение «Наука». Совместный проект РАН и газеты «Известия». 2002, № 4, 1 февраля) <<http://www.izvestia.ru>>

Говорит член Орфографической комиссии РАН, московский учитель **Сергей Волков**: «Стране необходим документ, определяющий общеобязательные нормы современного письма. Принятие государством Свода в качестве орфографической конституции, с теми изменениями или с этими, — первый шаг к улучшению ситуации. Вместе со Сводом должен быть утвержден базовый словарь и запрещен выход других словарей, которые бы отклонялись от главного. Нужны поправки в закон о печати — издательства должны отвечать за выпуск неграмотной продукции. Все это обязано сделать государство. <...>

**Э. М.:** Но в чьем лице? <...>

Совет по русскому языку существует при правительстве, которому, очевидно, после консультаций со специалистами и предстоит принимать решение».

*А вот составителю «Периодики» как раз правовые основания орфографических перемен совсем не очевидны: в Федеральном конституционном законе о Правительстве России-*

ской Федерации 1997 года я не нашел никаких правительственных полномочий в отношении государственного языка; в статье 17 о полномочиях в области науки, культуры и образования упоминается, что правительство «обеспечивает проведение единой государственной политики в области образования», — это близко, но, согласитесь, не вполне то. А федерального закона о государственном русском языке не существует.

См. также: Владимир Лопатин, «Русская орфография: задачи корректировки» — «Новый мир», 2001, № 5; Максим Кронгауз, «Жить по „правилам“, или Право на старописание» — «Новый мир», 2001, № 8; Лев Скворцов, «„Одежда языка“ или запечатленный „образ слова“? К нынешним спорам о реформе русской орфографии» — «Русский Вестник», 2001, № 38-39 <<http://www.rv.ru>>

См. также статьи Александры Силановой, Светланы Кузьминой, Людмилы Рахмановой и Людмилы Граудиной в журнале «Отечественные записки» (2002, № 1 <<http://www.strana-oz.ru>>) и статью Алексея Шмелева — «Отечественные записки», 2002, № 2.

**Михаил Волостнов.** Шведский овес и валдайская Майка. Рассказ. — «Наш современник», 2001, № 12.

«Валдай звучит так же притягательно, как Атлантида...» Деревенскую лошадь пустили пасть на соседский «шведский» газон — трава, она и есть трава, еще вырастет, — нет, не выросла. Рассказ написан прозаиком М. Н. Волостновым (1966 — 2001) незадолго до безвременной кончины.

**Александр Воронель.** Двести лет. — «Двадцать два» («22»). Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле. Тель-Авив, № 122 (2001 г.) <[http://club.sunround.com/club/fr\\_index.html](http://club.sunround.com/club/fr_index.html)>

Вступительное слово главного редактора журнала «22» Александра Воронеля к статьям Александра Мелихова «Каленый клин» и Льва Аннинского «С двух сторон» — о книге Александра Солженицына «Двести лет вместе».

См. также: Йоханан Петровский-Штерн, «Судьба средней линии»; Мариэтта Чудакова, «По лезвию ножа»; Сергей А. Иванов, «Проколы сиамских близнецов» — «Неприкосновенный запас», 2001, № 4; Александр Казинцев, «Евреи, русские и Солженицын» — «Наш современник», 2001, № 12; Евгений Мороз, «Русско-еврейские отношения по версии Александра Исаевича Солженицына» — «Народ Книги в мире книг». Издание Ассоциации еврейских библиотек. 2001, № 35, октябрь; Наталья Горбаневская, «Шаги истории» — «Русская мысль», Париж, 2001, № 4386, 22 ноября <<http://www.rusmysl.ru>>; Дмитрий Галковский, «80 лет вместо» — «День литературы», 2001, № 11, октябрь; «В историческом пространстве хватит места для всех...» [Дискуссия по книге А. И. Солженицына «Двести лет вместе»] — «Москва», 2001, № 9; Андрей Зубов, «Сильнейшее терапевтическое средство» — «Посев», 2001, № 9; Лев Аннинский, «Бикфордов шнур длиной в двести лет» — «День литературы», 2001, № 10; Александр Архангельский, «Русский ответ на еврейский вопрос» — «Известия», 2001, № 142, 8 августа; Владимир Бондаренко, «Цитатник Солженицына» — «Завтра», 2001, № 29, 17 июля; Владимир Бондаренко, Танкред Голеньпольский, «Зачем Солженицын поднял еврейский вопрос?» — «Труд», 2001, № 157, 28 августа; «Завтра», 2001, № 35, 28 августа.

**Владимир Воропаев.** Пошлости Набокова. — «Литературная Россия», 2002, № 4, 25 января <<http://www.litrossia.ru>>

Набоков написал о Гоголе с позиций атеизма и поэтому наговорил пошлостей.

**Валерий Гаврилин.** «О музыке и не только...» Отрывки из книги. Вступление В. Белова. — «Наш современник», 2002, № 1.

«Как мало поэтов в музыке. Все больше прозаики, очень хорошие, но прозаики».

**Дмитрий Галковский.** Святочный рассказ № 2. — «День литературы», 2001, № 13, декабрь; 2002, № 1, январь.

Хороший рассказ. См. также, по-моему, неудачный «Святочный рассказ № 3» — «Литературная газета», 2001, № 43, 24 — 30 октября <<http://www.lgz.ru>>

См. также антологию советской поэзии «Уткоречь», составленную Дмитрием Галковским (Псков, 2002).

**Александр Генис.** 2001: сюрпризы глобализации. — «Иностранная литература», 2002, № 1.

«На рубеже XIX и XX веков увлечение японским искусством привело к рождению первого оригинального стиля XX века — „ар нуво“ и к становлению эстетики модернизма в целом. На границе XX и XXI столетий подобную стилиобразующую роль может сыграть Китай». См. это эссе в сборнике «L-критика. Выпуск 2», подготовленном Академией Русской Современной Словесности (АРС<sup>С</sup>) и издательством «О.Г.И.».

**Александр Генис.** Ян и инь. — «Двадцать два» («22»). Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле. Тель-Авив, № 121 (2001 г.).

«В рыбалке тоже много непонятного — почти все...»

**Линор Горалик.** Метко кидает индеец Егор. (Аркадий Гайдар. «Маруся». Маленький рассказ). — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/razbor>>

«Страшен [Аркадий] Гайдар и темен; дергает у меня внутри за какую-то ниточку, а мне выть хочется».

**Иеромонах Дамаскин (Христенсен).** Христос, Вечное Дао. Перевод с английского Л. Н. Капитановой. — «Фома». Православный журнал для сомневающихся. Редакторы Владимир Гурболиков, Владимир Легойда. 2001, № 2 (12) <<http://www.fomacenter.ru>>

Впервые — в журнале «Китайский благовестник» (1999, № 2). Тема этого номера «Фомы» — *Православие и Китай*. На обложке журнала девиз: прочти и передай тому, кто сомневается.

См. также новый православный журнал *о делах милосердия* «Нескучный сад» (2002, № 1, 2), учредителем которого является сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице (почтовый адрес: 117774, Москва, Ленинский проспект, 8, корпус 5, больничный храм, для журнала «Нескучный сад»; e-mail: [vstrecha@mtu-net.ru](mailto:vstrecha@mtu-net.ru)).

**Ярослав Добролюбов.** Блеск и нищета военной футурологии. — «Отечественные записки», 2002, № 1.

О *мнимых предвидениях* Эрнста Генри (Семена Ростовского), о его легендарной книге «Гитлер против СССР. Грядущая схватка между фашистскими и социалистическими армиями» (М., 1938). Многие о ней слышали, но мало кто читал.

**Алесь Долич, Инна Кашляк.** Тайное бессмертие Винни-Пуха. [К 120-летию А. Милна]. — «Вести.Ru». Ежедневная интернет-газета. 2002, 18 января <<http://www.vesti.ru>>

А еще была гипотеза, что все персонажи «Винни-Пуха» (1926) не что иное, как *гротескные женские образы родственниц и знакомых писателя*. См. также: **Бенджамин Хофф**, «Дао Пуха» (М., «Дао и сыновья», 2001).

**Иван Драгин.** Ути-пути мульти-культи, или О пользе здорового шовинизма. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

Среди прочего (со ссылкой на [lenta.ru](http://lenta.ru)): «Как известно, в результате теракта 11 сентября погибли 343 нью-йоркских пожарных. Предполагалось, что в их память у штаба пожарной охраны в Бруклине будет установлена статуя. Проект был создан по мотивам знаменитой фотографии, изображающей поднятие американского флага над руинами разрушенного террористами *ВТС*. Однако из политкорректных соображений при изготовлении макета были внесены „небольшие изменения“. Все трое пожарных, поднимающих флаг на фотографии, — белые (что сделаешь, в нью-йоркской пожарной службе их подавляющее большинство). Так вот, при изготовлении макета двое из них превратились соответственно в афроамериканца и латиноамериканца. Пожарные и члены семей погибших (среди них белых больше 90%) — в шоке, изображенные на фотографии сохраняют молчание (пожалуй, наиболее достойная реакция). В то же время, по сообщению *CNN*, представители общества, объединяющего чернокожих пожарных, такой интерпретацией довольны: они высказали мнение, что символизм в данном случае вполне уместен».

**Ольга Дунаевская.** Пар выходит со свистом. Лаборатория современной мысли профессора Михаила Эпштейна. — «Московские новости», 2002, № 4, 29 января <<http://www.mn.ru>>

Говорит заслуженный профессор теории культуры и русской литературы университета Эмори (Атланта) **Михаил Эпштейн**: «Корни русского языка в XX веке замедлили, а то и прекратили рост, многие ветви оказались вырубленными, происходит облысение словолеса У Даля в корневом гнезде „-люб-“ приводятся около 150 слов, в четырехтомном Академическом словаре 1982 года — всего 41 слово. [Проект] «Дар слова» — это опыт выращивания языка из его собственных корней».

См. сетевой проект Михаила Эпштейна «Дар слова» <<http://emory.edu/INTELNET/dar0.html>>, который выходит с апреля 2000 года: «Каждую неделю подписчикам (в том числе и мне. — А. В.) высылается одно или несколько новых слов, с дефиницией, толкованиями и примерами употребления. Ни одного из предлагаемых слов нет ни в одном из существующих словарей (редкие исключения особо оговариваются). Каждое



слово создается автором или гостями проекта и передается всем подписчикам и читателям в свободное пользование».

См. также: **Михаил Эпштейн**, «Я еще не приобрел лица, но уже успел приобрести морщины» — «Новая газета», 2002, № 10, 11 февраля.

**Евгений Евтушенко**. Перевод «Слова о полку Игоревом» на музыку Шостаковича. — «Новая газета», 2002, № 6, 28 января <<http://www.novayagazeta.ru>>

«Я безбоязненно сокращал все то, что утяжеляло текст, отнимало у него летучесть: географические названия, необязательное перечисление имен, некоторые повторения. Я перекладывал не древнеславянский на современный русский, а древнеславянский на звучавшую во мне внутреннюю музыку». Здесь же — «Слово о полку Игоревом», *переклад* Евгения Евтушенко.

**Евгений Ермолин**. Владимир Бондаренко, или Сон о красном тереме. — «Континент», № 110 (2001, № 4, октябрь—декабрь) <<http://magazines.russ.ru/continent>>

Памфлет. См. еще один памфлет **Никиты Елисеева** «Красота дьявола. По поводу литературных очерков Владимира Бондаренко» — «Новый мир», 2001, № 5, и яростное выступление **Ильи Кукулина** против Владимира Бондаренко — «Литературная газета», 2002, № 6, 13 — 19 февраля <<http://www.lgz.ru>>

**Виктор Ерофеев**. Москва на склоне Фудзиямы. — «Огонек», 2002, № 1-2, январь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

«Кто не был в Лхасе, того за человека в Москве не считают. Мне тоже пришлось туда съездить, чтобы не потерять лицо».

**Александр Жолковский**. Новые виньетки. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 1.

У Жолковского есть сборник рассказов «НРЗБ» (1991), а у Сергея Гандлевского — повесть «<НРЗБ>» (2002); вот об этом одна из виньеток — «Другой „Юрий Милославский“...» *Не-новые мемуарные виньетки* см.: «Звезда», 2000, № 3, 4. См. также: **Александр Жолковский**, «Мемуарные виньетки и другие *non-fictions*» (М., 2000). См. также его страничку в Сети: <http://www.usc.edu/dept/las/sll/alik.htm>

О романе **Сергея Гандлевского** «<НРЗБ>» («Знамя», 2002, № 1) см. рецензию **Андрея Немзера** «В надежде на Курочку Рябу» — «Время новостей», 2002, № 9, 21 января, и «Обозрение [Сергея] К[остырко] #92» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/period>>

Да, еще у Виктора Куллэ есть стихотворение «НРЗБ», см.: **Виктор Куллэ**, «Палимпсест» (М., «Багряцкий», 2001).

**Николай Злобин**. Трумен. — «Континент», № 110 (2001, № 4, октябрь — декабрь).

Уникальные документы из архивов США. Данная весьма пространный публикация — промежуточный результат работы над книгой о 33-м президенте США, которую готовит автор (в настоящее время — директор русской программы Международного Центра в Вашингтоне, редактор американского академического журнала «Демократизация. Журнал постсоветской демократизации»).

**Андрей Zubov**. Изменение оси. Перспектива русско-американских отношений после 11 сентября 2001 года. — «Посев», 2002, № 1 <<http://www.webcenter.ru/~posevru>>

*Старый анекдот*: В Африке два путешественника смотрят на приближающегося носорога, один — другому: не волнуйся, я точно знаю, что носороги травоядные; второй: а он об этом знает?

*Автор-идеалист*: Наше место в рядах Севера!

*Составитель «Периодики*: А он об этом знает?

См. также: **Андрей Zubov**, «Сорок дней или сорок лет?» — «Новый мир», 1999, № 5; **Григорий Померанц** — **Андрей Zubov**, «Переписка из двух кварталов» — «Новый мир», 2001, № 8.

«И колокол пространства голубой раскачивался на мизинце Бога». Неизвестные стихи Павла Васильева. — «Наш современник», 2001, № 12.

Стихотворение «Крестьяне» (публикация, подготовка текста и предисловие Д. Г. Санникова). «Некоторые дополнения к посмертной биографии Павла Николаевича Васильева».

**Исправление имен**. Заявление Общественного комитета «Преемственность и возрождение России». — «Посев», 2002, № 1.

«Можно ли нам дальше терпеть, чтобы именами убийц наших отцов и дедов назывались наши улицы и города?»

**Владимир Казарин.** Классика и мы: диалог с Чеховым о гражданской войне. — «Наш современник», 2001, № 12.

«Состояния общества, подобные тем, что мы наблюдаем в „Дяде Ване“, — беременны гражданской войной. <...> Так пусть же Астров радуется сейчас тому, что он может спасти больных людей и вырубать деревья, а не смотреть в бессилии на трупы и пепелища. Пусть Войницкий осознает, как это хорошо, что можно трудиться целыми сутками, а не сутками воевать и убивать. Пусть Елена Андреевна сейчас, а не потом — в Сербии или во Франции — согласится, что учить или лечить людей, хоть даже и мужиков, что ее особенно пугает, — не такое уж несчастье...» В основе статьи лежит доклад, прочитанный в ноябре 2000 года в Симферополе на Международном научном симпозиуме, посвященном 80-летию окончания Гражданской войны в России (1917 — 1920).

О трех гражданских войнах в России XX века см. в книге **В. Шамбарова** «Государство и революция» (М., 2001).

**Сергей Кармаев.** Политкорректность и забота о правах человека как признаки надвигающейся смерти. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Как уже говорилось выше, энергетика белой цивилизации выдохлась».

**Рейн Караст.** Письма заложникам. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 1. Юлий Даниэль.

**Владимир Карпец.** *Solus Rex.* Консервативная революция Императора Павла. — «День литературы», 2002, № 1, январь.

«Когда еще не успевший примириться с Ватиканом Наполеон Бонапарт реально угрожал римской курии, Павел предлагает папе предоставить свое покровительство и резиденцию в Полоцке. <...> Верховный глава Римо-Католической Церкви, находящийся под покровительством Православного Императора, — не только указание всему его истинного места, но и реальное исполнение западных же предсказаний о Великом Монархе, равно как и чаяний средневековых гибеллинских королей, не имевших, однако, высшей санкции на их осуществление. Те же цели преследовало присоединение Павла к Мальтийскому ордену — русский царь был готов возглавить и защитить все формы сопротивления грядущим буржуазным революциям <...>».

**Юрий Карякин.** Автопортрет Юрия Давыдова: память=совесть. — «Новая газета», 2002, № 4, 21 января.

«Подходишь к его (Юрия Давыдова. — *А. В.*) даче — издалека слышится гомерический смех. Праздник какой-то небывалый разгорается. Подходишь ближе, прислушиваешься. А это он о войне, о лагерях своих рассказывает...»

**Сергей Кирухин.** Идолы возвращаются. — «Русский Журнал» <[http://www.russ.ru/ist\\_sovr](http://www.russ.ru/ist_sovr)>

«Формирование современной западной цивилизации в значительной степени шло под флагом *прямой речи*. <...> Возвращение к практике *табуирования*, процветающей в политкорректности в ее реальном виде, как раз и ведет к отказу от того наследия, которое обеспечило Европе прорыв Нового и Новейшего времени».

**Вадим Кожин.** О грядущем пути России. Предисловие Светланы Селивановой. — «Москва», 2002, № 1.

«Сегодня мы публикуем фрагменты одной из последних работ Вадима Валериановича Кожина...» Почему бы просто не указать источник: Кожин Вадим, Победы и беды России. Русская культура как порождение истории. М., «Алгоритм», 2000, гл. «Несколько соображений о грядущем пути России», стр. 362 — 368.

См. также мемориальную (год со дня смерти) подборку статей в «Нашем современном» (2002, № 1), среди которых выделяется — своим названием — статья **Сергея Семанова** «Вадим Кожин и его товарищи в русской антимасонской ложе».

См. также мемориальную страницу В. В. Кожина (1930 — 2001): <http://www.hronos.km.ru/biograf/kozhinov.html>

**Конец «мифа» о страданиях жертв аварии на Чернобыльской АЭС** («*The Observer*», 6 января 2001 года). — «Мировые Дискуссии/*World Discussions*». Информационно-аналитический журнал. 2002, 14 января <<http://wdi.ru>>

«По мнению составителей доклада ООН о последствиях ядерной катастрофы в Чернобыле, медицинские последствия радиации значительно менее серьезные, чем ранее считалось. Наиболее сильный удар по здоровью людей нанесли ипохондрия и благие, однако неправильно ориентированные попытки помочь пострадавшим. В докладе утверждается, что переселение сотен тысяч человек привело к „разрушению основ общественной жизни, развалу семей, безработице, депрессии и болезням, вызванным стрессом“...»

**Наум Коржавин.** Бомонд над клоакой. — «Континент», № 110 (2001, № 4, октябрь — декабрь).

Размышления о чекистском *beaumont'e* 20 — 30-х годов. По книге М. М. Яковенко «Агнесса. Устные рассказы Агнессы Ивановны Мироновой-Король <...>» (М., «Звезда», 1997). См. также: **Сергей Костырко**, «О даре жить» — «Новый мир», 1997, № 9.

**Корниловский мятеж совести.** — «Новая газета», 2002, № 4, 21 января.

«... Да только это не моя эпоха, / И это вовсе не моя страна...» Мемориальная подборка последних, 2001 года, стихотворений **Владимира Корнилова** с предисловием Алексея Симонова. См. также беседу с **Владимиром Корниловым** «Если жить — то сердцем» («Труд-7», 2002, № 18, 31 января — 6 февраля <<http://www.trud.ru>>) и большую подборку его стихотворений в «Дружбе народов» (2002, № 2).

**Сергей Кузнецихин.** Новые лекции. Повесть. — «День и ночь», Красноярск, 2001, № 9-10, декабрь <<http://www.krsk.ru/din>>

«...Сталин, разумеется, злодей, но два добрых деяния он все-таки совершил: наказал Бухарина за „Злые заметки“ и Пашу Дыбенко за то, что бегал на сторону от великопнейшей женщины Коллонтай». Начало см.: **Сергей Кузнецихин**, «Санитарный вариант, или Седьмая жена поэта Есенина» — «День и ночь», Красноярск, 1994, № 4.

**Диакон Андрей Кураев.** Отвергнув «разумность светил», именно христианство расчистило дорогу научному миропониманию. — «Труд-7», 2002, № 13, 24 — 30 января <<http://www.trud.ru>>

«Только религия Единого Бога смогла освободить мир от чрезмерного обилия богов. Только религия Надзвездного и Надкосмического Бога могла поставить по одну линию мир звезд и мир земных камней (тем самым позволив описывать небесные движения языком земной механики). Только религия Логоса, ставшего плотью, могла позволить описывать на языке математики (языке идеальных чисел и форм) процессы, происходящие в мире физическом (где не бывает ничего идеального). Наконец, только поверив в то, что Бог есть Любовь, можно было перешагнуть через скептицизм и начать изучение мира в дерзкой уверенности, что книга Вселенной написана на языке человеческой математики <...> [В эпоху Возрождения] научная картина мира была подержана Церковью, остро нуждавшейся в союзнике для борьбы с общим врагом — оккультизмом. <...> Да, [сегодня] по мере вытеснения христианства из общественной, культурной, университетской жизни старые тени вновь начали сгущаться. Астральные мифы, оккультизм снова вернули себе прописку в высокой европейской культуре. Снова модно сливать все религии в одну, вовлекая христиан в языческие игры. Случай из жизни: „Православный целитель настойчиво советует православному пациенту практиковать уринотерапию (лечение мочой). В ответ на робкое возражение пациента: „Мне батюшка в церкви не разрешил пить мочу, говорит, что это грех и язычество“ — „целитель“ терпимо отвечает: „Батюшка не совсем прав. Можно применять урину, надо только, чтобы она протекала по кресту или иконе“. Тревожнее же всего то, что разговоры о религиозном плюрализме и терпимости вновь начинают вестись с такими стальными интонациями в голосе, что христиане ощущают себя на пороге новых гонений. Это еще один урок христианства: умение жить, строить, работать, даже если знаешь, что твоя святыня будет разрушена. Это урок эсхатологической эпохи. Мы знаем, что однажды мы станем совсем чужими для мира официальной и массовой культуры. Знаем, что мраком застлан горизонт человеческой истории (имя этому мраку в христианском богословии — „царство антихриста“). Но это не повод для отчаяния и капитуляции. К каждому из христиан обращен совет мудрого Остромысла из сказки К. Льюиса „Последняя битва“: „Я был с ним в его последний час, и он дал мне поручение к Вашему Величеству — напомнить Вам, что миры приходят к концу, а благодатная смерть — это сокровище, и каждый достаточно богат, чтобы купить его“».

См. также беседу с католическим архиепископом **Юзефом Жицинским** «О науке и вере» — «Новая Польша», Варшава, 2001, № 12.

**Роза Ляст.** Об антисемитизме Цицерона. — «Двадцать два» («22»). Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле. Тель-Авив, № 121 (2001 г.).

И ты, Цицерон?!

**Юрий Малецкий.** Копченое пиво. Рассказ. — «Вестник Европы», 2001, том III. По Европе.

**Аркадий Минаков.** «Разрушитель» Казанского университета. Исторический портрет М. Л. Магницкого. — «Москва», 2001, № 12 <<http://www.moskvam.ru>>

См. также: **А. Ю. Минаков**, «Охранитель народной нравственности: православный консерватор М. Л. Магницкий» — «Исторический вестник». Москва — Воронеж, 2000, № 3-4.

**Татьяна Морозова.** Екатерина, ты была права! О генезисе антирусских стереотипов и мифов на Западе и их санитарной обработке в России. — «Москва», 2001, № 12.

Екатерина Великая («Антидот») полемизирует с аббатом Д'Отрошем («Путешествие в Сибирь»).

**Ксения Мяло.** Возвращение Афганистана, или Что сулит России новая американская война. — «Наш современник», 2001, № 12.

Война в Заливе. Косово. Афганистан. Много интересных цифр и цитат.

**В. С. Найпол.** Невроз обращенных. Перевод с английского А. З. — «Иностранная литература», 2002, № 1.

«Я думаю, что нефундаменталистский ислам — это определение логически некорректное. <...> Суть ислама, самое главное в нем заключено в представлении о рае. В своем стремлении обрести рай никто не может оставаться в границах умеренности», — с осуждением говорил нобелевский лауреат 28 октября 2001 года.

**«Но в этой бочке меда — увы! — есть и ложка дегтя, и даже не ложка, а целое ведро».** Беседу вела Марина Шелти. — «Газета», 2002, № 5, 15 января <<http://www.gzt.ru>>

Говорит **Михаил Ардов:** «Но оставим „Сэра“ в стороне. Пьесе [Анатолия Наймана], то бишь пасквиль под названием „Жизнь и смерть поэта Шварца“ („Октябрь“, 2001, № 10. — А. В.), читать гораздо интереснее. Когда в [Анатолии] Наймане говорят зависть и злость, он начинает изъясняться энергичнее, проявляется свойственная ему насмешливость и даже сатирический талант... Так вот, „поэт Шварц“, по мысли автора, должен внушать отвращение: лгун, хвастун, в прошлом спозвратник, в настоящий момент он домогается Государственной премии и любыми способами пытается устранить конкурентов. Про себя говорит, что в свое время получил „две лиры“ — от Пастернака и от Ахматовой, одну из них впоследствии вручил Бродскому, а „другую оставил себе“. По ходу пьесы Шварц повторяет это на все лады. Таким нехитрым способом Найман указывает нам на прототип героя: мы имеем дело со злобной карикатурой на Евгения Рейна (об этом же говорят и некоторые иные признаки). Дело в том, что Рейн, как и сам Найман, был одним из четверых молодых поэтов, которых Ахматова в шестидесятые годы приблизила к себе. Евгений Борисович в действительности получил Государственную премию, и именно его, Рейна, Бродский публично называл своим учителем. И вот уж этого, судя по всему, Найман никак не может простить ни покойному Бродскому, ни ныне здравствующему Рейну. <...> В этой „пьесе“ есть и антипод героя — персонаж положительный, некий поэт по фамилии Багров. На сцене он не появляется, но речь о нем заходит постоянно. При этом мы узнаем нижеследующее: 1. Поэта Багрова принимал Римский Папа. 2. Его вместе со Шварцем выдвинули на Государственную премию. 3. Багров навещал Бродского в ссылке. 4. У него — „чеканные стихи, честное служение музе, не раз уже отмеченная скромность“. 5. Имя Багрова множество раз встречается в дневниках и записных книжках Пастернака и Ахматовой. 6. „Багров — недостижимая высота. Монблан морали. <...> Рыцарь добрых нравов литературы“. 7. У него — „все лепое. Стихи лепые. Вся судьба на зависть“. Вот такой добродетельный человек. И возвышается этот „Монблан морали“ не только на фоне лживого и хвастливого Шварца, но и всех прочих людишек, алчущих получать Государственные премии. По некоторым признакам, таким, например, как поездки Багрова к ссыльному Бродскому или упоминания о нем в записных книжках Ахматовой, можно с уверенностью определить: Анатолий Генрихович изобразил тут самого себя, любимого. Подобным приемом он пользовался и в предыдущем своем пасквиле, который называется „Б. Б. и др.“ („Новый мир“, 1997, № 10. — А. В.)».

Говорит **Анатолий Найман** («Газета», 2002, № 7, 17 января <<http://www.gzt.ru>>): «В названии пьесы „Жизнь и смерть поэта Шварца“ ударение на слове „поэта“. Этот человек ведет себя самым земным образом, предпринимает какие-то шаги и интриги, для того чтобы получить то, что он хочет получить. Но во всех поворотах сюжета, во всех обстоятельствах — это поэт. Он довольно много говорит во вред себе, каким-то образом это всегда идет ему на пользу. Такое бывает у поэтов... Шварц интересен, по-моему. Его интересно слушать. Его поведение смешное не потому, что он клоун, а потому, что он свободен. Вообще всякий свободный человек производит смешное впечатление. И как всякий поэт, Шварц должен погибнуть. Поэтому и „...смерть поэта Шварца“. Но поскольку пьеса по жанру комедия — в старом смысле комедия, где довольно много легкого, — он и погибает так легко, условно».

**«Вы не согласились бы с такой оценкой: „Жизнь и смерть поэта Шварца“ — памфлет на Евгения Рейна?»** — спрашивает Николай Александров.

Я бы стал возражать по каждому пункту, в первую очередь, что это памфлет. Пам-

флет довольно плоская вещь. Я дерзаю сказать, что „Жизнь и смерть поэта Шварца” не плоская пьеса. Шварц — не плоский персонаж... Когда Бродский умер, образовался Клуб друзей Бродского. Мне позвонили, сказали: „Мы тебя приглашаем”. Все это мне претит. Когда Рейн употребляет имя Бродского в таком домашнем, что ли, применении — он имеет на это право. Они были близкие друзья. Но точно так же довольно много людей поступает... Поэтому говорить, что Шварц — это Рейн, потому что он говорит о Бродском... Я сам говорю о Бродском. Все-таки нельзя же представлять себе писание как описание. Это разные вещи. <...> Катаев действительно вместо Нарбута писал такое-то имя, вместо Олеши — такое-то. Все эти имена можно вычеркнуть и написать Олеша, Нарбут. Ну попробуйте в этой пьесе вычеркнуть имя Шварц и заменить его каким угодно реальным именем. Это было бы запрещенной вещью...»

См. в «Новом мире» стихи **Анатолия Наймана** (2002, № 3), статью **Игоря Ефимова** (2002, № 4) о романе Анатолия Наймана «Сэр», стихи **Евгения Рейна** (2002, № 5) и «Книгу о Шостаковиче» **Михаила Ардова** (2002, № 5, 6).

**Евгений Носов.** Рассказы. — «Москва», 2002, № 1.

«Сронилось колечко». «Два сольди».

**Глеб Павловский.** «О языке политики и конце русской литературы». Беседу вел Олег Проскурин. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Неправославная свобода в России не выстоит и опять не удержится».

**Валерий Подорога.** Гибель *Twinpeaks*. Заметки по поводу события. — «Отечественные записки», 2001, № 1.

11 сентября глазами философа. См. также: **Славой Жижек**, «Добро пожаловать в пустыню Реального!»; **Дмитрий Гольинко-Вольфсон**, «Террор символической растерянности»; **Андрей Дмитриев**, «История с географией»; и другие материалы об 11 сентября в журнале «Искусство кино» (2002, № 1).

**Анна Политковская.** Как жаль, что вы этого не видите! Россия, конец второго года президентского срока: телевидение [«ТВ-6»] делают на радио [«Эхо Москвы»]. — «Новая газета», 2002, № 7, 31 января.

«Во время передачи в студии [„Эха Москвы”] появляется Григорий Явлинский. Лидер „ЯБЛОКА” в ударе, как всегда в минуты подполья (? — А. В.) и опасности (?? — А. В.)...»

**Григорий Померанц.** Распадающаяся Вавилонская башня. — «Вестник Европы». Журнал европейской культуры. Главный редактор Виктор Ярошенко. 2001, том III.

«Не случайно Телемская обитель (на воротах которой написано „Делай что хочешь”) обернулась колымским лагерем смерти».

**Николай Пономарев.** Смертная казнь как предмет мифологии. Быть лишенным жизни — свободный выбор преступника. — «Независимая газета», 2002, № 11, 25 января.

«...Смертная казнь — это результат добровольного и абсолютно сознательного выбора человека, решившегося на совершение тяжкого преступления...» Автор статьи — юрист.

**Борис Пушкарев.** От двуглавого орла к... двуглавному орлу. — «Посев», 2002, № 1. Август 1991-го сделал возможным завершение 88-летнего революционного цикла в России, который начался с введения конституционной монархии в 1905-м и закончился принятием нынешней конституции в декабре 1993-го.

**Виталий Пушкарев.** 40-е: становление «черного» рынка. — «Посев», 2002, № 1. «Как свидетельствуют документы наркомторга, основной сферой, где растраты и хищения приняли в период войны лавинообразный характер, была государственно-кооперативная торговая сеть, включая отделы рабочего снабжения (ОРСы)...»

**Вячеслав Пьецух.** От Кюстина до наших дней. Фрагменты. — «Вестник Европы», 2001, том III.

Пьецух. Кюстин. Россия.

**Станислав Рассадин.** Время Окуджавы? — «Новая газета», 2002, № 2, 14 января.

«Как злосчастный автор статьи „Шестидесятники”, напечатанной аккурат накануне начала 60-х, не устаю повторять: термин, которому я нечаянно дал ход, не поколенческий. Шестидесятничество — псевдоним времени, его общих надежд и прозрений, в чем были равны и старик Паустовский (но не „старуха” Ахматова!), и фронтовик Окуджава, и дитя ГУЛАГа Аксенов».

«У Смелякова, поэта, чтимого Окуджавой, есть стихотворение „Хорошая девочка Лида” — о любви мальчика к девочке; подчеркиваю, ибо метафоры таковы, словно речь о любви Народа — к Вождю, к Сталину (что, кстати, было по-своему дерзко, хотя советская власть, трижды сажавшая Смелякова, это пропустила). „На всех перекрестках планеты / напишет он имя ее. / На полюсе Южном — огнями, / пшеницей — в кубанских степях...”». В книге «Русская литература: от Фонвизина до Бродского» (М., 2001) Рассадин упоминает о смеляковском *синдроме заложника*, когда человек отождествляет себя с теми, кто отнял у него свободу.

**Михаил Ремизов.** Утопия конституции. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Безразличие „народа” к празднику конституции можно, конечно, отнести на счет тривиальной аполитичности. Но по-моему, вернее увидеть в нем признак здорового государственного инстинкта. <...> Рационализировать конституционный скепсис масс можно при помощи хорошо известного аргумента: конституция представляет собой тавтологическое описание уже существующего единства, а не его фундамент, как это пытаются представить. <...> С равным успехом и мы, читая преамбулу своей конституции („Мы, многонациональный народ Российской Федерации... принимаем Конституцию Российской Федерации”), можем задать вопрос: а откуда взялся этот „многонациональный народ Российской Федерации”, если Российская Федерация как государство определена актом принятия настоящей конституции? <...> Наибольшая смысловая опасность состоит именно в этом: принять идею *конституции* всерьез. То есть увидеть в конституции государствообразующий акт. Ведь в таком случае *тавтологическое самописание* национально-государственного единства рискует предстать в качестве его последнего основания. Конституционное мышление лишает нас возможности артикулировать доправовые, *то есть настоящие*, основания политического сообщества. Если говорить о действующей Конституции РФ, то она делает просто не-мыслимыми некоторые решающие для нашей исторической судьбы вопросы. К примеру, вопрос о разделенном положении русских как нации... С этим связана возможность очень мощного кризиса легитимности национального государства. Кризиса, от которого нас спасает только дремотная недоверчивость нашего „народа” и его глухота к проповеди конституционализма».

**Михаил Ремизов.** Апология предвзятости. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Словом, „политкорректность” в своей завершенной форме видится мне онтологически подрывной практикой, стратегией деконструкции реальности. <...> Сколько ты ни строй дорожек для инвалидовных колясок, наш технический универсум все равно является проекцией *здорового* тела. Его паутина сплетена вокруг вполне определенной антропологической структуры. Вполне определенный человеческий тип, предполагаемый как нормальный, нависает здесь из каждого угла. Нет никакой проблемы усмотреть скрытую дискриминацию (по отношению к людям/„сущностям” с иными базовыми параметрами) во всех аспектах функционирования этого мира. Но устранить возможность этой дискриминации можно только одним путем: уничтожив его».

«Западный культ *меньшинств* — это не культ цветущей множественности, а культ расколотой целостности», — пишет **Михаил Ремизов** в другой статье на ту же тему («Общество жертв» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>), полемизируя, в частности, с Александром Тимофеевским-младшим).

**Леонид Романков.** Человек пиршественных столов. — «Вышгород», Таллинн, 2001, № 6.

«Однако, как впоследствии выяснилось, ее (И. В. Шеголевой. — А. В.) воспоминания носили довольно специфический характер. Когда я спросил ее о писателе-обэриуте Олейникове, она тут же ответила: «Как же, как же! Я его прекрасно помню! Однажды мы остались с ним вдвоем в одной из комнат в Союзе писателей, он обнял меня и повалил на пол. Когда я с трудом от него отбилась, он спокойно встал, почистил колени на брюках и хладнокровно заметил: „Не беспокойтесь, Ирина Валентиновна, я пошутил”...»

**Омри Ронен.** Вера. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 1.  
Вера Набокова. Не его вера, а жена Вера.

**Русский Канон Платонова.** — «Завтра», 2002, № 2, 8 января <<http://www.zavtra.ru>>

«Очень легко доказать, что весь Платонов вышел из Герцена», — говорит театральный критик **Михаил Ковров**. См. также его статьи о *Платонове* — «Мистик русской победы» («Завтра», 1999, № 35, 1 сентября) и о *Каноне* — «О драматургии. (Русский Канон)» («Наш современник», 2001, № 5).

**Вячеслав Рыбаков.** Клеветникам Ордуси. Кому и почему мерещится «коричневая чума» в эпопее «Евразийская симфония». — «Литературная газета», 2002, № 4, 30 января — 5 февраля.

Руки прочь от Хольма ван Зайчика, маниакальные демократы!!!

**Александр Секацкий.** «Мойшу не нужно нюхать, Мойшу нужно учить». Химеры глобализации. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Времена индульгенций вернулись как фарс: когда-то римская церковь торговала прощением за еще не совершенные грехи, теперь пытается получить прощение за чужие вины».

«В основе христианства, равно как и любой другой всемирной религии, лежит незыблемый принцип: существуют силы, примирение с которыми невозможно. Эти начала именуются „адскими“, „дьявольскими“, „инферральными“ — верующий может и должен им противостоять, попытка же *диалога* находится принципиально за пределами человеческой компетенции. Преступающий эту черту совершает не просто серьезное прегрешение, он, безусловно, отпадает от Бога как еретик. И вот начиная с середины XX столетия мы наблюдаем, как укореняется и распространяется новая массовая ересь в христианстве — *ересь всепрощения*».

«Смягчение нравов, о котором мечтала эпоха Просвещения, вне всякого сомнения, произошло. Правда, вслед за этим наступило и размягчение мозгов. Философия, когда-то считавшаяся „служанкой богословия“, быстро сменила хозяина и стала служанкой партии зеленых (как, впрочем, и богословие). А саму партию пора наконец переименовать: зеленые побеги давно подросли и превратились в *овощи*. И вот, пролетая над гнездом кукушки (над общеевропейским домом), нетрудно заметить важные перемены, произошедшие в его устройстве. Палата для буйных практически ликвидирована — за неимением буйных (остался только изолятор на Балканах). Зато все остальное заведение переполнено тихими маразматиками: кому не нравятся слово „овощи“, могут воспользоваться другим термином: *плоды Просвещения*».

**Сенковский о Гоголе.** Подготовка текста, вступительная заметка и примечания Л. И. Соболева. — «Литература», 2002, № 4, 23 — 31 января <<http://www.1september.ru>>

«В „Вий“ нет ни конца, ни начала, ни идеи, — нет ничего, кроме нескольких страшных, невероятных сцен. <...> Вероятно, что у малороссиян „Вий“ есть какой-нибудь миф, но значение этого мифа не разгадано в повести». Рецензии 1834 — 1843 годов печатаются по первой публикации в журнале Осипа Ивановича Сенковского «Библиотека для чтения». См. также его статью о «Мертвых душах» («Литература», 2000, № 37).

**В. М. Сергеев, К. В. Сергеев.** Некоторые подходы к анализу языка политиков. На примере понятий «хаос», «лидер», «свобода». — «Полис» («Политические исследования»). Научный и культурно-просветительский журнал. 2001, № 5 <<http://www.politstudies.ru>>

Понятия имеют свою судьбу.

**Евгения Смагина.** «В первую очередь я научный работник». Беседовала Елена Калашникова. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Некоторые выражения, не совсем верно переданные в русском синодальном переводе Библии, уже укоренились в языке. Вот один пример известной фразы из Екклезиаста: „Все суета и томление духа“. Слово „руах“ в Ветхом Завете прежде всего означает „ветер“, так что перевести эту фразу следует: „Все суета и погоня за ветром“, что и сделал А. Э. Графов, переводчик Екклезиаста по нашему проекту [перевода Ветхого Завета]».

**Илья Смирнов.** Ликвидатор, сыграй мне канцону другую... — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>

«Лично я не представляю себе театра *настолько вредоносного*, чтобы его следовало закрыть раньше, чем издательство „Ад маргинем“».

**Диакон Владимир Соколов.** Почему мироточат иконы? Размышления на апокалиптическую тему. — «Пределы века». Всероссийская общественная православная газета. 2002/7510, № 2 (18), 15 — 31 января <<http://www.predely.org>>

«Перед революцией 1917 года наблюдалось такое же, [как сегодня], массовое мироточение и обновление икон, а также обновление храмов». См. также: С. А. Сошинский, «Чудо обновления» — «Новый мир», 1992, № 6.

**Дмитрий Соколов-Митрич.** Симфония о сталеварах. — «Известия», 2002, № 9, 19 января <<http://www.izvestia.ru>>

«— ...Вернее оказались труд и постоянство, как говорит мой дедушка.

— Это Пастернак сказал, а не дедушка», — снисходительно поправляет юного героя очерка корреспондент «Известий».

На самом деле, конечно, Мандельштам: *но жертвы не хотят слепые небеса: вернее труд и постоянство*. Пастернак же хотел *труда со всеми сообща и заодно с правопорядком*.

**Виктор Соськин.** Кто стучится. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/gazbog>>

Видение *отложенной электронной почты*: посылая письмо через эту службу, отправитель веряет себя *в руки судьбы*, как если бы письмо было запечатано в конверт и опущено в настоящий, железный, ящик (сроки доставки письма адресату заранее неизвестны, часть корреспонденции пропадает...). Все это — в связи со стихотворением С. Маршак «Почта».

**Федор Степун.** Русские письма. Немецкие письма. Вступительная статья, публикация, комментарии, перевод с немецкого Владимира Кантора. — «Вестник Европы», 2001, том III.

Степун в Германии. Заглавия — «Немецкие письма», «Русские письма» — даны публикатором.

**Андрей Тарасов.** В поисках высшей правды. Л. Н. Толстой и православие как духовная и научная проблема. — «Литературная учеба», 2001, № 6, ноябрь—декабрь.

«В то же время в романе „Анна Каренина“ есть подлинно православные мотивы...»

**Михаил Тарковский.** За пять лет до счастья. Рассказ. — «Наш современник», 2002, № 1.

«Больше всего на свете любил дорогу...» См. также рассказ **Михаила Тарковского** «Замороженное время» — «Наш современник», 2001, № 6, вошедший в «шорт-лист» премии имени Юрия Казакова за лучший русский рассказ 2001 года.

**Татьяна Толстая.** «Народ хочет денег, но стесняется». Беседовал Александр Гаврилов. — «Книжное обозрение», 2002, № 5, 4 февраля.

«Вот Солженицын [как автор „Словаря языкового расширения“] стал с Богом тягаться, в данном случае — с русским языком. <...> [Солженицын] думает, что разбирается с одним языком там, где их тысячи, сотни, миллион. Один целый, другой в осколках, третий — пятна от предыдущего времени... Это такая смесь, в которой он пытается выдумать структуру».

**Андрей Убогий.** Поэт навсегда. — «Наш современник», 2002, № 1.

К 30-летию со дня смерти Твардовского (18.12.1971) — великого поэта-консерватора. «„*Conservatio*” значит сохранение, сбережение. Поэт-консерватор — истинный, Божий художник — пытается мир, ту реальность, которая нам препоручена Богом, спасти, сохранить, найти в ней бытийные корни, основы».

См. также: **Александр Твардовский**, «Рабочие тетради 60-х годов» — «Знамя», 2000, № 6, 7, 9, 11, 12; 2001, № 12; 2002, № 2 <<http://magazines.russ.ru/znania>>. — Цитата: «Умрет [Шолохов] — великий писатель, а пока жив — шут какой-то непонятный» (запись Твардовского от 25 мая 1965 года).

**Уроки Владимира Васильевича Вейдле (1895 — 1979).** Вступительная статья, подготовка текста и републикация Бориса Ланина. — «Литература», 2002, № 2, 8 — 15 января.

Статья «Последняя любовь Тютчева» («Новый Журнал», 1948, № 18) и фрагменты книги «После „Двенадцати“: приношение кресту на могиле Александра Блока» (Париж, «ИМКА-пресс», 1973). См. также: **Уроки Николая Оцупа** — «Литература», 2001, № 45, 1 — 7 декабря.

**Илья Утехин.** Доля, справедливость и благодать общения. Из очерков коммунального быта. — «Знание — сила», 2001, № 11 <<http://www.znanie-sila.ru>>

Квазинаучные очерки завершаются «Кратким глоссарием терминов коммунального быта Санкт-Петербурга». Например: «*Подменить* — разновидность присвоения чужого имущества, когда вместо присвоенного предмета жертве оставляют аналогичный предмет худшего качества; наряду с кражей встречается как в реальной повседневности, так и в бредовых фантазиях отдельных жильцов». Здесь же — гораздо более мрачная/эмоциональная статья **Льва Гудкова** «Коммунальная дыра», который среди прочего отмечает: «В Тбилиси не было коммуналок, жили хоть на трех метрах, но был свой вход и выход. Сами грузины это старательно подчеркивали. У узбеков [тоже] не было».



**Михаил Фаерман.** Откровение разума. Повесть. — «Москва», 2001, № 12.

Три морских офицера из русской подводной лодки, затонувшей в устье Амазонки, очнулись через 60 000 000 (шестьдесят миллионов) лет и еще через три дня умерли. Сочинение девятнадцатилетнего автора, участника Форума молодых писателей в подмосковных Липках (октябрь 2001).

**Георгий Хазагеров.** Жрецы, рыцари и слуги. Приключения метафоры, метонимии и символа в научном и общественном дискурсе. — «Знание — сила», 2001, № 12.

См. также: **Георгий Хазагеров**, «Персоносфера русской культуры» — «Новый мир», 2002, № 1.

**Сергей Хоружий.** Пластичность человека в пределе и беспределе; Эвтаназия. — «Искусство кино», 2001, № 11.

*Практикум по альтернативной антропологии.* См. другие статьи цикла: «Альтернатива как она есть» (2001, № 7); «Альтернатива из сего дня» (2001, № 8); «Азбука идентичности» (2001, № 9); «Мытарства идентичности» (2001, № 10). См. также: **Сергей Хоружий**, «Практика себя» — «Искусство кино», 2000, № 12; «Русский Джойс нового тысячелетия. Интервью с переводчиком „Улисса“ Сергеем Хоружим» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

**Мария Чегодаева.** Цветы зла. — «Знание — сила», 2001, № 12.

«Поставив себя „по ту сторону добра и зла“, искусство [XX века] оказалось лишь „по ту сторону добра“, зло в „натуральном“ виде, древние, как мир, черные силы вырвались на свободу и утвердились на „своей стороне“, альтернативой Богу и Божественному Разуму».

**Леонид Черкасский, Элла Шульга.** «Евгений Онегин» на иврите, или Счастливая встреча. — «Иерусалимский журнал». Ежеквартальный журнал современной израильской литературы на русском языке. Главный редактор Игорь Бяльский. Иерусалим, 2001, № 8 <<http://www.antho.net/L>>

Заметки на полях неоднократно издававшегося в Израиле (впервые — в 1937 году) перевода, сделанного Авраамом Шленским. Особенно интересные примеры: русский оригинал — русская транскрипция перевода на иврит — обратный перевод на русский.

**Самуил Шварибанд.** О «жидове» и о «жидехь». Историко-семантические заметки. — «Иерусалимский журнал». Ежеквартальный журнал современной израильской литературы на русском языке. Иерусалим, 2001, № 8.

«Собственно говоря, *семантическая* история слов „жидове“ и „жидати“, а не их этимологическая связанность/несвязанность позволяет уяснить достаточно скрытый механизм антииудейской полемики в памятниках старославянской письменности XI — XIII вв.».

**Алексей Шорохов.** Великорусский Гоголь. История одной победы. — «Москва», 2002, № 1.

«Великорусский Гоголь» — это Лесков. Лесковские праведники. «Русская литература побеждает в вечности».

**Александр Штамм.** О замыслах «революционной перестройки». Из доклада [на 45-й конференции «Посева»]. — «Посев», 2002, № 1.

«Почему же не были задействованы фашистский или нацистский варианты [горбачевской] перестройки?»

**Асар Эппель.** Где пляшут и поют. Рассказ. — «Вестник Европы», 2001, том III.

Рассказ вошел в коллективный сборник «Талан. Рассказы о деньгах и счастье» (М., 2002); об этом собрании *чудесных историй о деньгах* см. в «Книжной полке Андрея Василевского» («Новый мир», 2002, № 4).

**Ядерной зимы не будет.** Откровения засекреченного академика. Беседу вел Михаил Дмитрук. — «Литературная Россия», 2002, № 4, 25 января.

«Слава Богу, великие державы нашли в себе силы сократить количество и мегатоннаж боеголовок до такого уровня, что сейчас ядерное оружие способно решать чисто военные задачи и не может изменить климат», — говорит директор Российского Федерального Ядерного центра академик РАН **Радий Ильяев**.

**Аскольд Якубовский.** Мшава. Повесть. — «Сибирские огни», Новосибирск, 2001, № 5, сентябрь — октябрь <<http://www.nsk.su/~sibogni>>

Повесть А. Якубовского (1927 — 1983) была впервые напечатана в том же самом журнале «Сибирские огни» (1965, № 12). Ну и что такого: перепечатаваем же мы иногда на предпоследней странице старые стихотворения *из поэзии «Нового мира»*.

**Владимир Яранцев.** Гомо космикус провинциалиус, или Опасности «порнографического воображения». — «Сибирские огни», Новосибирск, 2001, № 5, сентябрь — октябрь.

Почему-то отождествляя московского профессора Владимира Новикова с героем-повествователем его «Романа с языком», новосибирский критик читает это сочинение «с чувством неловкости и недоумения: трудно представить элитарного филолога в постели с легкомысленными дамочками полусвета и всякими „этими“ подробностями...». С одной стороны, и мне, знакомому с почтенным профессором и его почтенной супругой, трудно представить... С другой стороны — ведь и филологи чувствовать умеют. Наверно. Возможно.

См. о романе рецензии **Дмитрия Быкова** в «Дружбе народов» (2001, № 3), **Виктора Мясникова** в «Новом мире» (2001, № 5), а также в статье **Ольги Славниковой** «Rendez-vous в конце миллениума» («Новый мир», 2002, № 2).

Составитель **Андрей Василевский.**

*«Вопросы истории», «Вопросы философии», «Дружба народов», «Наше наследие», «Новое литературное обозрение», «Октябрь»*

**М. Ц. Арзаканян.** Мишель Дебре. — «Вопросы истории», 2002, № 1.

Очерк ведущей научной сотрудницы Института всеобщей истории РАН (лично знавшей своего героя) о виднейшем деятеле Франции второй половины XX века, многолетнем соратнике генерала де Голля, послужившем своей стране в течение 50 лет, я бы советовал почитать нашим депутатам вместо поездок на стрельбища. Им, бедным, кажется, невдомек, что патриотизм — это служение, а не служба. Кстати, почему бы не перевести на язык родных осин актуальную книгу Дебре «Князья, которые нами правят» (1957)?

**А. С. Ахиезер, А. П. Давыдов, М. А. Шуровский, И. Г. Яковенко, Е. Н. Яркова.** Большевизм — социокультурный феномен (Опыт исследования). — «Вопросы философии», 2001, № 12.

Вот один из выводов, сделанных «ячейкой» авторов: «...На протяжении почти всей истории большевизм тяготел к полюсу традиционализма, к манихейству, хотя мера этого тяготения не была постоянной. Мощь традиционализма постоянно толкала к отходу от классического марксизма, его редуцированию в сторону традиционализма, превращению в респектабельную сказку, которая могла интересовать лишь молодых идеалистов, доктринеров и „зарубежных товарищей“. Но где-то на втором плане, подавляемом при малейшем кризисе, существовало прямо противоположное стремление овладения высшей культурой, высшей технологией и т. д.».

**Андрей Балдин.** Чистые числа. — «Октябрь», 2002, № 1 <<http://magazines.russ.ru/October>>

«Нет никаких чистых чисел (как нет и юбилеев, все это химеры счета, сонм цифр), есть голый *человеконоль*, вместилище переполненное — времени и пространства». Это о Льве Толстом, *разделенном пополам*, как считает автор, между Цифрой и Богом. Мудрёно все как-то, однако же — с подбором и сопоставлением разнообразных чисел в жизни и творчестве знаменитого «времяведа».

**Карл Барт.** Христианская община и гражданская община. — «Вопросы философии», 2001, № 11.

Опубликованная впервые в 1946 году и предваряемая в журнале обстоятельной статьей аспиранта Католического университета г. Айхштетт (Германия) К. Н. Костюка («Богословие и политика в жизни и творчестве Карла Барта»), статья К. Барта содержит в себе квинтэссенцию его зрелых взглядов.

«Что за безобразие, когда, например, в стране и в народе, который, начиная с основ, должен сегодня обрести элементы права, свободы, ответственности, равноправия и пр., т. е. элементы демократии, именно Церковь считает необходимым оставаться еще более иерархичной, еще более бюрократичной и в определенной ситуации становится оплотом национализма, в то время как именно она должна представлять как святая, соборная Церковь и вместе с тем должна также помогать немецкой политике выйти из тупика! Христианская община не должна забывать, что именно в гражданской общине она говорит наиболее недвусмысленным образом посредством того, что она есть...» *«Выполняя свою собственную задачу, одна община участвует в задаче другой, —*

пишет в своей статье о Барте К. Н. Костюк. — Христианская община молится за гражданскую общину именно потому, что гражданская община как таковая не имеет обычного молитвенного ритуала...»

**Лариса Березовчук.** У феминизма не женское лицо. — «Октябрь», 2002, № 1. Мужское, мужское. Двадцать пять страниц текста убеждают — мужское.

**Алексей Варламов.** Пришвин, или Гений жизни. Биографическое повествование. — «Октябрь», 2002, № 1, 2.

Подарок читателям, любящим Пришвина (автор «Периодики» из их числа). В дополнение к «Гению пола» («Вопросы литературы», 2001, № 6 <<http://magazines.russ.ru/voplit>> и наш обзор в № 4 «Нового мира» за текущий год) публикуется скрупулезная эпопея пришвинского жития. «Высшая правда, по Пришвину, всегда оставалась за жизнью, ее течением, ее не дано познать и предугадать никому, в ней нет ничего постоянного, и как писатель он не давал себе права в нее вмешиваться и ее судить...»

**А. Ф. Васильев.** Некоторые аспекты хода и последствий битвы под Москвой. — «Вопросы истории», 2002, № 1.

«Москву готовили к сдаче, предварительно взорвав заводы и несколько тысяч (курсив мой. — П. К.) различных зданий. <...> 16 октября в Москве не открылись двери метро, продукты во многих магазинах, к удивлению покупателей, не продавались, а раздавались бесплатно...» Убедительные аргументы в пользу тезиса о безграмотном и бессмысленном поведении Сталина как военачальника в те месяцы. Автор исследования во время войны был летчиком и принимал участие в до сих пор замалчиваемом провальном наступлении (апрель 1942 года) на Свирском направлении. То наступление было частью сталинского головокружения от успешной битвы под Москвой. См. также: **Аркадий Первенцев**, «Москва опаленная. Дневник войны» — «Москва», 2001, № 6.

**Р. Виммер.** *And my ending is despair.* («И конец мой безнадежен...»). Последние годы жизни Томаса Манна. — «Вопросы философии», 2001, № 12.

Профессор из упомянутого выше Католического университета пишет о невыносимом (и скрытом от глаз публики) психологическом состоянии автора «Доктора Фаустуса» в последнюю декаду жизни — уже после триумфального выздоровления вслед за тяжелой операцией. Так, любимая в последние годы фраза из монолога Просперо (Шекспир, «Буря») разворачивается в осмысление, говоря словами самого Манна, «переживания („жизнь после“) самого себя...» Замечательно: о проговорах писателя в предпоследнем эссе — о Чехове.

**А. Е. Войскунский.** Метафоры Интернета. — «Вопросы философии», 2001, № 11.

Рассматриваются — с «привлечением» ученых и философов — новые и старые метафоры Интернета (и WWW) — такие, как «электронный фронт», «глобальная деревня», «киберпространство», «всемирная паутина», «электронная агора» и другие.

**Е. В. Волкова.** Трагическая вина. («Убиты под Москвой» Константина Воробьева). — «Вопросы философии», 2001, № 11.

Ретроспективное осмысление такой философско-эстетической категории, как *трагическая ошибка-вина* с привлечением идей Аристотеля, немецкой классической эстетики, опоры на труды Я. Бремера, Шеллинга, М. Бахтина и Ю. Лотмана. Тщательный анализ воробьевской прозы приводит доктора философии к мыслям о преобразении боли, «которую надо принять в себя». Катарсис здесь — победа главного героя над собой в сверхэкстремальных условиях. См. также: **Андрей Василевский**, «Разорение» — «Новый мир», 1989, № 3.

**Анатолий Гаврилов.** Берлинская флейта. Повесть. — «Октябрь», 2002, № 2.

Интересная бывает проза в этом журнале. Честное слово, эти 13 страничек с нанизанными друг на друга предложениями названы повестью! Можно, я не буду цитировать? Тем более, что я тоже так могу. Извините.

Иное мнение: «Цитировать тоже нельзя: лишь целое (тот самый «потайной» сюжет) придает особое измерение прозе Гаврилова. Читайте. То есть слушайте. Тринадцать журнальных страниц чистой музыки» — из оперативного отклика **Андрея Немзера** («Время новостей», 2002, № 25, 12 февраля) на *шедевр* Анатолия Гаврилова.

См. также: **Андрей Василевский**, «Почтальон, или Пессимизм» — «Новый мир», 1998, № 8.

**Борис Гаспаров.** Заметки о Пушкине. 1. Буква как таковая. — «Новое литературное обозрение», № 52 (2001, № 6) <<http://magazines.russ.ru/nlo>>

Обнаружены (и блестяще описаны благодаря анализу рукописей и черновиков, изданных в 1995 году поечением принца Чарльза) две различные стратегии, которым Пушкин следует в пунктуации своих стихов. «Они соответствуют различному характеру

*поэтического голоса* (курсив мой. — П. К.), в котором воплощается каждый из этих типов...» Примечательно сравнение рукописей и напечатанных текстов — в Большом академическом собрании сочинений. Представленная работа тем более сложна, что, как пишет сам автор, «в распределении тех или иных пунктуационных и орфографических решений никогда не бывает полной последовательности, даже если явно проглядывает определенная тенденция».

**Виктор Живов.** Российское общество и его научные институты. Диалогические замечания к статье Михаила Ямпольского. — «Новое литературное обозрение», № 52 (2001, № 6).

«Реальными представляются мне лишь весьма скромные задачи, и лежат они скорее в сфере обустройства интеллектуального сообщества, нежели в изменении существующих образовательных структур. Нужна интеллектуальная пресса (типа „Новой русской книги” или „Неприкосновенного запаса”), и стоит приложить усилия к тому, чтобы толику снобизма в них обменять на толику общедоступности в надежде на то, что аудитория подобных изданий будет понемногу расширяться...»

**Ю. Н. Жуков.** Репрессии и Конституция СССР 1936 года. — «Вопросы истории», 2002, № 1.

Подробная (с цифрами, датами, и цитатами) реконструкция хитроумной сталинской комбинации по принципиальному изменению массовой базы избирателей. Интересно, что основные материалы июньского и декабрьского (1936) Пленумов ЦК (выступления Сталина о проекте конституции в прениях по докладу Ежова, тексты докладов и проч.) до сих пор строго засекречены.

**В. Д. Жукоцкий.** Народнические корни ленинизма: «хитрость разума» или «ирония истории»? — «Вопросы философии», 2001, № 12.

О русском, по мнению автора, «Лютере» — «реформаторе атеистического социального протестантизма» — товарище Ленине, совсем равнодушном к содержательной религиозности. Историко-философский корень *религии советизма* отыскивается через работу из первой легальной книги Ленина 1898 года «Экономические этюды и статьи» («От какого наследства мы отказываемся?»).

«Драматизм ситуации состоит в том, — пишет В. Д. Жукоцкий, — что *метафора* всеокрушающей ленинской критики народничества со временем совершит головокружительный кульбит и, поменяв субъектов полемики местами, произрастет *метаморфозой* практического советизма».

**Интервью с Вольфгангом Изером** (*и все-таки надо бы «интервью Изера», кого-то, а не с кем-то. Боюсь, не дождемся. Привет книжке Чуковского «Живой как жизнь».* — П. К.). Интервью провела (*кого? куда?* — П. К.) Е. А. Богатырева. — «Вопросы философии», 2001, № 11.

Немецкий профессор, исследователь истории влияния литературных текстов: «Вымышленный характер литературы составляет объяснения того, почему люди являются существами, нуждающимися в вымысле.<...> Мы живем в непрерывно расширяющемся мире, в котором более нет места, с которого все было бы обозримо, а тем более организуемо. Литература, напротив, является единственным местом, которое позволяет дистанцированное наблюдение этого многообразия. Благодаря литературе наш более неуправляемый (*beherrschbare*) мир поддается „присмотру”; она не желает власти, но отражает, что есть, ставя это себе в оправдание...»

**И. Т. Касавин.** Познание как иносказание. Человек после крушения вавилонской башни. — «Вопросы философии», 2001, № 11.

«Вспоминая» ветхозаветные сюжеты об Исааке и сыне его Иакове (главным образом благословение первородства обманутым отцом за рагу из козленка), автор говорит о трагичной пластичности языка, когда «деяние, поступок, событие *подменяют, обозначают* собой другие деяния, события, поступки. Слово рождается как *иносказание внутри самого бытия*. Вскипятить молоко — обречь на голодную смерть. Пасти овец — завоевать любимую. Принести агнца в жертву — заключить договор». Очень хороши рассуждения о современном «грехопадении языка» и умирании Истории в тексте, знаки которого вновь превращаются в слова, а слова оборачиваются знаками событий.

**Г. С. Киселев.** Постмодерн и христианство. — «Вопросы философии», 2001, № 12.

Одна из лучших статей об *ответственности*, читанных мною за последнее время. Лучшая — по внятности изложения, хорошему русскому языку, умению оставаться в рамках и контексте публикуемого издания и, наконец, по излучаемой *боли и надежде*. Радостно встретить здесь чудесный афоризм Мераба Мамардашвили: «Дьявол играет нами, когда мы мыслим неточно».

**Николай Климонтович.** Далее везде. Окончание. — «Октябрь», 2002, № 2.

Никак не привыкну к «мемуарам при жизни».

Вот описывается банкет после спектакля: «И вот входят гости. Бог ты мой — Анатолий Чубайс с женой Машей, Петр Авен с женой Леной...» Оказывается, автор учился с Авеном в одной школе. Здорово. А я в прошлом году вел ему экскурсию в музее. Пора писать воспоминания.

Начало публикации см.: «Октябрь», 2000, № 11; 2001, № 6.

**Л. Б. Красин.** Письма жене и детям. 1917 — 1926. Вступительная статья Ю. Г. Фельштинского, Г. И. Чернявского. — «Вопросы истории», 2002, № 1, продолжение следует.

Все письма публикуются впервые с разрешения администрации Международного института социальной истории (Амстердам) и охватывают период с лета 1917 года (когда отправивший семью в Скандинавию и давно отошедший от политики Красин томился в голодном Царском) до самой смерти Л. К. в 1926-м, от анемии. Последней его работой было полпредство в Великобритании и членство в ЦК. «Все видные б<ольшев>ки (Каменев, Зиновьев, Рыков (Алексей-заика) etc.) уже откололись от Ленина и Троцкого, но эти двое продолжают куролесить, и я очень боюсь, не избежать нам полосы всеобщего и полного паралича всей жизни Питера, анархии и погромов...» (письмо от 7 ноября 1917 года).

**А. Г. Мысливченко.** Западная социал-демократия: тенденция обновления и модернизация. — «Вопросы философии», 2001, № 11.

Полевение европейского электората, повороты к идеям «либерального социализма» и «социального либерализма», программа Тони Блэра «Третий путь», новые формы «этичного индивидуализма» (мода на «коммунити» — общение людей в малых сообществах по месту жительства) и т. п. России в этом обзоре уделена последняя, маленькая главка с цитатами из Гавриила Попова — о необходимости «российского варианта социал-демократической идеологии». Длинные фразы можно было бы сократить до формул, но «диктатура среднего класса», боюсь, как говорит сегодняшняя молодежь, *не покатит*.

**Г. В. Мясников.** «Душа моя спокойна...». Из дневников разных лет. Публикация, вступительная статья и комментарии М. Г. Мясникова. — «Наше наследие», 2001, № 59-60.

Редкий случай познакомиться с откровенным автопортретом *партийно-культурного* функционера. Немногие из них вели дневники. Ничего неожиданного или поучительного я здесь не нашел. Читать скучно и печально одновременно: Георг Васильевич искренен. Через сто лет, возможно, это станет памятником литературы, как дневники Никитенко. Даже сквозь купюры дневников 90-х видно, до какого разложения дошел возглавляемый несчастным Д. С. Лихачевым Фонд культуры (Г. Мясников был заместителем и вовремя подал в отставку). Речь не о Лихачеве, перед которым у Мясникова в ранних записях — преклонение, а в поздних — плохо скрываемая неприязнь (то и дело выскакивает рожденное в коридорах Фонда узкожаргонное «академик»), дело, кажется, в тщательно маскируемой самоуговорами и хозяйственными нагрузками многолетней внутренней растерянности и пустоте. До откровенного цинизма Г. В. не дошел, вот и утешается на старости лет, что в Пензенской области, где он был партийным начальником, трудился во благо. Что правда, то правда. *Музей одной картины* чего стоит.

**Анатолий Найман.** Блеск на ноже. Стихи. — «Октябрь», 2002, № 1.

«Что темна вода во облацех — / и м лишь выгодно одним. / Пусть на собственных мы доблестях / и пороках погорим».

**Валерий Пискунов.** Песни Птерота. — «Дружба народов», 2002, № 1 <<http://magazines.russ.ru/druzhiba>>

«Переживания отрока в пору зарождения чувственности». Это из предисловия лично главного редактора журнала. Если бы я хотел неудачно сострить, вспомнил бы одну из любимых фраз моей покойной бабушки. Цитируя чье-то высказывание о «Бесах», она поднимала глаза горé и с чувством произносила: «Мракобесие под личиной глубокого психологизма». «Мракобесие» в нашем случае можно заменить хошь на «порнографию», хошь на «литературную педофилию», это кому как. Кажется, в эссе Вен. Ерофеева о Розанове есть такая фраза: «Плюнул только, а больше ничего не сказал». См. также обстоятельно-развернутое мнение **Сергея Костырко** («Обозрение С. К. # 91» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/period>>).

**Последняя работа Мих. Лифшица.** Эстетика Гегеля и современность. Публикация В. М. Герман, А. М. Пичикян и В. Г. Арсланова. — «Вопросы философии», 2001, № 11.

Незаврешенный текст, датированный 1982 годом, представляет собой вдвое расширенный доклад (1984) на центральную для М. Л. тему — «онтогносеологии», обращен к теории и истории мировой литературы — от «Гамлета» Шекспира до «Душечки» Чехова — и имеет после себя эмоциональное, почти политическое послесловие-«заявление» В. Г. Арсланова под названием «Постмодернизм и российская альтернатива». Цитирую из послесловия: «Разумеется, новая державная идеология идет по стопам советского официоза, пользуясь его главным приемом — смешиванием того, что смешивать нельзя, что необходимо различать. <...> Постмодернизм, вслед за либеральными „перестроечниками” (В. А. пишет, кстати, и о том, что Лифшиц находил долю правды даже в презираемом им либерализме. — П. К.) и западными дельцами от искусства, находит в подобном смешении особый шик — „полноту неопределенности” (Жак Деррида)...» Крайне любопытная публикация.

**Мария Ремизова.** Опытное поле. — «Дружба народов», 2002, № 1.

Андрей Волос. Роман Сенчин. Николай Буба. Олег Павлов. Михаил Тарковский.

«Благостные времена, когда Адам *нарекал имена* в только что изготовленном мире, безвозвратно канули в прошлое. Нынешнего Адама изводят страхи, что все слова истрачены, остались пустые оболочки слов — вроде не обеспеченных золотым запасом груд девальвированных бумажных купюр. Люди с модернистскими наклонностями видят в этом основание девальвировать заодно и смыслы, чтобы закрыть проблему радикально, признав принципиальную непостижимость окружающего мира — либо его полную бессмысленность. Люди с менее нигилистическими склонностями не теряют надежды понять хотя бы что-то, руководствуясь если не логикой, то, может быть, интуицией».

**И. П. Смирнов.** Ответ оппоненту (С. Ю. Неклюдову, автору «Антитезисов» к «Метафизике фольклора» И. П. Смирнова — в том же издании). — «Новое литературное обозрение», № 52 (2001, № 6).

«Ноуменально авторство есть всеприложимая к текстам категория: не важно, за столблен ли создателем момент текстоположения или нет. Кто-то же выстраивает текст! „Фольклор является искусством отчетливо безавторским” — так сформулировали Вы, Сергей Юрьевич, Ваш тезис. Но ведь тогда и никакого фольклора быть не может. Деревнями, что ли, сочиняют былины? Дружинами?..»

Помню, как лет десять тому назад знакомый грузчик в соседнем магазине, вытащив последний ящик пива из грузовика, подмигнул мне и сказал облегченно: «Ох, не легкая это работа — из болота тащить бегемота». На вопрос об источнике ответствовал убежденно: поговорка. Ну и удивился же, узнав об авторе.

**Л. В. Стародубцева.** Философский нарциссизм и припоминание. — «Вопросы философии», 2001, № 11.

Две наиболее распространенные трактовки мифа о Нарциссе — самовлюбленном и самопознающем. «Первый, безнадежно влюбившись в собственное отражение, оказался сверженным в самообман; второй, напротив, очнувшись от самообмана жизни в неведении (или буквально: невидении) самого себя и вдруг впервые, по сути, себя „увидел”, или, как изяшно когда-то выражались древние, „вернулся к пониманию подлинного ’я’, познал свою истинную природу”...» Кончилась эта история известно чем.

**Р. Д. Тименчик.** Портрет владыки мрака в «Поэме без героя». — «Новое литературное обозрение», № 52 (2001, № 6).

«Маска это, череп, лицо ли — / Выражение злобной боли, / Что лишь Гойя мог передать...»

Появление Гойи в тексте поэмы (нельзя удержаться: сейчас, когда я пишу это, в открывшемся в Москве Институте Сервантеса выставлены «Капричос») отсылается ко многим этажам эстетической моды 10-х годов (Хлебников, Бодлер, Готье). Две странички плотного, *сюжетного* литературоведения. Между прочим, сегодня в России этой темой — назовем условно «Загадки Гойи» — занимается философ Юрий Карякин, осмысливший *предтечу* работы «Сон разума рождает чудовищ» — фигуру уже не автора, но Дон Кихота, который на более раннем, редком рисунке сидит за тем же столом, с нетопырями над головой.

**Андрей Устинов.** Биография одного рассказа. — «Новое литературное обозрение», № 52 (2001, № 6).

Речь о малоизвестном, но знаковом рассказе Евгения Замятина «Дракон» («...за 29 лет литературной работы [Е. Замятина] осталось — под мышкой унесешь; но весь — свинчатка» — А. Ремизов). В свое время (1966) этот рассказ дал название сборнику

прозы, переведенному на английский Миррой Гинзбург. Дракон — это красноармеец на площадке несущегося «в неизвестное, вон из человеческого мира» трамвая: заметивший замерзшего воробья, «превратившийся» в Человека, отогревший птичку и снова ставший Драконом. Понятно, что гумилевская «заблудившаяся трамвайная эпопея» незамеченной не осталась.

**15 лет Российскому фонду культуры.** [Тематический номер журнала]. — «Наше наследие», 2001, № 59-60.

Номер выпущен с помощью Минкульта РФ и открывается, естественно, интервью Н. Михалкова главному редактору В. Енишерлову («...Когда пришло безверие, вопрос „Зачем жить?“ заменили на вопрос „Как жить?“». А на второй вопрос „Как жить?“ нельзя ответить без первого вопроса „Зачем жить?“. Все. Точка-ру (так! — П. К.). Больше ничего!»). Ну и так далее. Лучшее, на мой взгляд, в номере — это материалы из архива Ивана Шмелева и блок текстов к 300-летию Санкт-Петербурга (все связанное с деятельностью графа А. С. Строганова). И — прелестные репродукции *возвращенного*. Упомяну портрет И. Бунина работы Л. Бакста (10-е годы) и портрет Е. Замятина работы М. Добужинского (1921). В следующих обзорах — подробнее.

Составитель Павел Крючков.



ЛИКБЕЗ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).



ДАТЫ: 18 (30) мая исполняется 110 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892 — 1975).



## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Май*

**10 лет назад** — в № 5 за 1992 год напечатана статья Дмитрия Галковского «Поэзия советская. Из материалов к „Энциклопедии Высоцкого“».

**15 лет назад** — в № 5 за 1987 год напечатана «Элегия» А. Введенского.

**15 лет назад** — в № 5 за 1987 год напечатана повесть Сергея Каледина «Смирненное кладбище».

**70 лет назад** — в № 5, 6, 7-8, 9 за 1932 год напечатан роман Л. Леонова «Скутаревский».

## ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

НИК. УШАКОВ

Украина глухо волновалась  
(Из цикла «Сказанье старых времен»)

Как быстро время протекло —  
уже январь не за горами.  
Начальник станции в стекло  
глядит сквозь тощие герани.

Каких-то паровозов дых<sup>1</sup>,  
каких-то эшелонов волок,  
и на площадках голубых  
оглобли задраны двуколок.

На кукурузе снег повис,  
и в инее лесные дачи.  
Неведомый кавалерист  
по шпалам  
на восток проскачет.

Летят теплушки кверху дном,  
мосточки головы срывают.  
Румын в буфете ледяном  
от черной оспы умирает.

Он мертвой матери сказал,  
что вылечить его не поздно.  
Луна в нетопленный вокзал  
плывет торжественно  
и грозно.

Слепец частушки говорит,  
и «Яблочком» рокошет лира.

Начальник станции зарыт  
перед крыльцом своей квартиры.

Глядят по-прежнему в стекло  
сквозь кисею  
его герани...

Как быстро время протекло, —  
уже февраль не за горами!

*«Новый мир», 1931, № 5.*

---

<sup>1</sup> В последующих изданиях — «дым».



## SUMMARY



The copy offers two stories by Vladimir Makanin — from his new book «The Moon so High in the Sky», as well as «The Farm-House» — a selection of stories by Boris Yekimov — and «Samtredia», a tale by Igor Bulkaty. The poetry section is made up of the new poems by Yevgeny Rein, Tatyana Poletayeva, Bakhyt Kenzheyev and Yuri Kublanovsky.

The «Close and Remote» part contains a number of chapters from Book on Shostakovich by priest Mikhail Ardiv. Along with it the reader is offered an article «The State Secret of a Russian Pensioner Woman» by philosopher Grigory Pomerants.

«Soundtracks», a study by Tatyana Cherednichenko, a musicologist and a specialist in modern culture is published under the heading «Time and Morals».

Literary critic is represented with the articles by Kirill Ankundinov: «Manichaean Way» and Yevgeny Yermolin: «Establishing the Views». Both the articles highlight the «Tales of the Last Days» by prosaist Oleg Pavlov. The same critic section publishes an article by Georgy Tsyplakov «A Freedom of Verse and a Free Verse (Vers Libre)».

---

**«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).**

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.**

**Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.**

---

**Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова**

**Главный редактор А. В. Василевский**

**Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, [А. А. Носов], И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев**

---

**Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова**

**Редактор-библиограф А. И. Фрумкина**

**Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова**

**Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева**

---

**Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.**

**Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,**

**отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,**

**зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,**

**для справок, продажа журналов — 200-08-29.**

**Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;**

**по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru**

**Сетевой журнал «Новый мир»: [http://magazines.russ.ru/novy\\_mi](http://magazines.russ.ru/novy_mi)**

---

**Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.**

**Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».**

---

**Сдано в набор 20.01.2002 г. Подписано к печати 04.04.2002 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.**

**Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.**

---

**Тираж 10 500 экз. Зак. 2139. Цена договорная.**

---

**Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.**

## **ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА**

**В 2002 году исполняется 75 лет со дня рождения  
и 20 лет со дня смерти замечательного прозаика  
Юрия Павловича Казакова.**

**Премия имени Юрия Казакова присуждается с 2000 года  
автору, живущему и работающему в России,  
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный  
в текущем году на территории России  
(циклы и сборники рассказов, рукописи  
и сетевые публикации не рассматриваются).**

**Премия за 2000 год была присуждена ИГОРЮ КЛЕХУ,  
за 2001 год — ВИКТОРУ АСТАФЬЕВУ (посмертно).**

**Правом выдвижения произведений на премию  
обладают критики, издатели и творческие организации.**

**Жюри формируется из сотрудников «Нового мира»  
и независимых экспертов.**

**Состав жюри 2002 года и денежное содержание премии  
будут объявлены дополнительно.**

**Объявление лауреата и торжественное вручение премии  
состоится в начале 2003 года.**

**Контактные телефоны:  
(095) 209-57-02, 209-91-81.**

**E-mail: [newworld@newtimes.ru](mailto:newworld@newtimes.ru), [new\\_world@mail.cnt.ru](mailto:new_world@mail.cnt.ru)**